

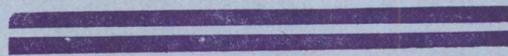
НОВАЯ МИРА

5

НОВАЯ
МИРА

1979

5



1979



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАЙСКИЕ СТРОФЫ — Михаил Касаткин, Мих. Найдич, Александр Волин, Юрий Беличенко, Н. Рудой, Иван Савельев, Петр Нефедов, Леонид Манзуркин, А. Коваль-Волков, Лев Кривошеев	3
АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК — Нежный возраст, роман. Окончание	12
БОРИС СЛУЦКИЙ — Новые стихи	129
НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ — Хэда, роман. Продолжение	133
ДЖОН СТЕЙНБЕК — Заблудившийся автобус, роман. Окончание. Перевел с английского В. Гольшев	158
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ЕВГЕНИЙ НОСКОВ — На орловском направлении	194
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ — Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах. Продолжение	210
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА. Николай Тихонов: «...на всю жизнь талантливый»; Пауль Куусберг: Исследователь глубин человеческой души (перевела с эстонского В. Рубер); Театр Леонова	248
АЛ. МИХАЙЛОВ — Этюды о поэзии	261
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
Литература и искусство	269
М. Кузнецов. Почему мы не можем не писать о войне... — Сергей Чуприян. Школа долга.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	278
В. Карпушин, Я. Поварков. «Китайская карта» в политике Вашингтона.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Владимир Карпов.— Михаил Котов, Владимир Лясковский. Курган. ♦ Семен Фрейлих.— Борис Павленок. Вернись к юности. Повесть. ♦ В. Цыбин.— Владимир Шленский. Планета, улица, любовь... Стихи. ♦ Д. м. Молдавский.— Александр Дымшиц. Любовь моя, Армения! Составитель Г. Я. Снимщикова. Предисловие Л. М. Мкртчяна. ♦ А. Немировский.— И. В. Шталь. Поэзия Гая Валерия Катулла. ♦ В. Косолапов.— Р. В. Стрельников. Империя кривых зеркал. Телевидение в идеологической экспансии империализма	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

МАЙСКИЕ СТРОФЫ

★

МИХАИЛ КАСАТКИН

Огни

Гляжу в полночные огни,
Как будто бы на перевале.
Какие отпылали дни,
Какие жизни отпылали!

Визжит последняя картечь,
И нет числа дымам и рубищам,
И к горлу подступает речь
В прошедшем времени о будущем.

* * *

Винтовка русская славна
Курком на взводе
И тем сильна, что не одна
Она во взводе.
Нас сорок — по числу штыков,
А по работе
Дадим вперед мы сто очков
Фашистской роте.
Бить в цель, волочь ли языка —
А он не ящик! —
Язык отвалится, пока
Его дотащишь.
Взвод — фронта становой хребет,
Дух командира,
Роднее не было и нет
Мне коллектива.
Семья? Но с ней гонять чай,
А не фашистов.
Взвод ставлю выше я семьи
По бескорыстью.
Да что там, если и родня
Чужой бывает...
Нет, взвод тебя или меня
Не забывает.

МИХ. НАЙДИЧ

День победы

...Под утро
отвели бригаду в тыл.
Шли пехотинцы,
солнцем обогреты.

Еще не он,
 еще не день победы,
 А все же праздник
 настоящий был!
 Гремела в рощице
 оркестра медь,
 Ревели на ухабах пятитонки.
 Впервые медсанбатовской девчонке
 Приснился ночью
 плюшевый медведь...

В те дни

Вокзал был шумен от пехоты,
 Седой в дверях стоял рассвет
 В те дни, когда я значил что-то,
 В руках сжимая пистолет.
 Какие лица! Брови... скулы...
 Глаза какие, наконец! —
 В те дни, когда всю блеснуло
 Большое золото сердец.
 Под раскаленным небосводом
 Гремели пушки вразной
 В те дни, когда я стал народом,
 Оставшись и самим собой...

Воспоминание

О любимых парни вспоминали
 Посреди окопной тишины.
 Мне-то хорошо — что на привале,
 Что в бою:
 Ни милой,
 Ни жены.
 Я свободен. Я почти что школьник.
 Я курсант... Патроны. Карабин.
 Треплет мокрый ветер — ну и школьник! —
 Обмундирование рябин.
 И шальная пуля как-то тонко
 Свистнула над самой головой...
 На Урале вздрогнула девчонка,
 Та, что позже встретится со мной.

АЛЕКСАНДР ВОЛИН

* * *

Спешу, моя хорошая, —
 Такая служба наша!
 Сложи все, что положено
 На десять суток марша.
 Ну полно! Так не дело —
 Жене танкиста плакать!
 Я знаю: надоело
 Месить то пыль, то слякоть
 В степи, забытой богом, —
 Такой уж гарнизон!

Не стой ты к жизни боком,
Везде свой горизонт!
Давай стоять как воины
В своей пустой степи!
Тебе я не конвойный,
Сама пойми, стерпи!
Война притихла зверем,
Готовым рвать на части,
А мир живет и верит —
Нельзя войне начаться!
И мы за веру эту
Ведем незримый бой
С тоской, обидой, ветром,
Со степью и с собой,
И лишь была б ты стойкой —
Стократ я буду сильным!
Еще учений столько!
Чтоб в будущее сына
Не мчались танки прошлого
В губительной атаке!..

Спешу, моя хорошая,
Все хорошо, не так ли?

* * *

Минуты быстрые, замрите!
Мы вспомним сорок пятый год!
И встал на якоре на рейде
Наш мирный белый пароход,
И чайки крыльями моргали,
Ведь чайки видели на дне
Корабль, потопленный врагами,
Он здесь давно наедине
С пучиной бед войны минувшей,
Во власти въедливых солей,
Для новых подвигов ненужный
За ржавой давностью своей,
Но память доблести присуща,
И на кресте координат
Был флаг торжественно приспущен,
И капитан при орденах
Припомнил прошлые команды,
И невоенный экипаж
Исполнил точно их как надо,
А пассажиры, копошась
На тесной палубе, смотрели
На этот праведный обряд,
И балагуры присмирели,
Но все же тискались вперед,
И каждый был живым портретом,
И каждый лучше был, чем мог,
И в тишине был морю предан
Огромный траурный венок,
И он уплыл, и в волнах стигнул,
И вновь мелькнул издалека,
Прилив торжественного гимна
Сменил могучий рев гудка.

И все суда гудком таким же
По рейду скорбно разнеслись,
И чайки с душами погибших
Моргали крыльями ресниц...

ЮРИЙ БЕЛИЧЕНКО

Приметы

В июне мир припоминал отца.
Стояла сушь по всей степи великой.
Орех висел, как туча, у крыльца,
и молодостью пахла земляника.

Не утомляя темного крыла,
степная птица в воздухе парила.
Она меня утешить не могла,
но про него со мною говорила.

Я вслушивался в этот разговор.
В неравновесье сумрака и света
мне чудилось, что наполняют двор
знакомые отцовские приметы.

Листвою оперялся черенок.
Покашливали тени на скамейке.
Непоеный крыжовник, как щенок,
трепал штанину и тянулся к лейке.

Поскрипывали грабли в борозде.
Играл сверчок, одной струны касаясь.
И поверяли яблони звезде
грядущих яблоч маленькую завязь.

Он рядом был. Природа берегла
все, чем его когда-то одарила.
Она меня утешить не могла,
но за него со мною говорила.

О праве жить. О смертном рубеже
на фронтовой горячей переправе.
О юности, которой нет уже.
О подвигах. О доблести. О славе...

Н. РУДОЙ

Поля, изрытые войной

Когда поля, изрытые войной,
Мы превратили в мирные равнины,
Казалось нам — у матери родной
Разгладили глубокие морщины.

Оглушительный грохот. Разрыв недалек.
 Заметались испуганно птицы.
 И сочится из веток березовый сок,
 Из поломанных веток сочится.
 Тень повозок длиннее. Темнеет восток,
 Тяжко клонится день к изголовью.
 Багровеет на ветках березовый сок
 И сочится березовой кровью.
 Оттого ли мы это заметить смогли,
 Что у раненой этой березы
 Красный след оставляют в дорожной пыли
 Санитарные наши обозы?

* * *

Мне было страшно на войне,
 Но билась ненависть во мне
 И душу так нещадно жгла.
 И страх она превозмогла.
 Переступил я ту черту,
 Где стало жить невмоготу
 Во власти самосохраненья,
 Где только самоотверженье
 И означало правоту.

Кровь

Она не томится сосудистым пленом,
 Бежит по упругим артериям, венам
 Большим или малым — не сыщешь числа...
 Но тело внезапная боль обожгла,
 И кровь покидает упругое ложе
 И каплей густой проступает на коже,
 И нет этой капле дороги назад,
 Свернувшийся сгусток что мертвый солдат —
 Не дал разгореться неравному бою,
 Мгновенно
 закрыл амбразуру собою.

* * *

Немцев выбили мы из села.
 Я иду от жилья к жилью,
 И ни света нигде, ни тепла
 В этом гарью пропахшем краю.
 И ни женских, ни детских лиц,
 Горечь дней и ночей фронтовых...
 Слепота оконных глазниц,
 Пустота проемов дверных.
 Вот едва уцелевший кров
 И для раненых сбитый настил.
 Здесь я переливаю кровь,
 Перед тем как отправить в тыл...
 А однажды в морозную рань,
 Чуть забрезжил рассвет вдали,
 Слышу: «Доктор, ты только глянь —

фрица, фрица нам принесли»,
 Положили его на настил.
 «Вроде б кончился... Будет ли толк?»
 К жизни я его возвратил.
 Ничего не поделаешь — долг.
 Неужели один только долг?
 Разве сразу найдешь ответ?
 Снова в бой поднимается полк.
 Для раздумья времени нет.

ИВАН САВЕЛЬЕВ

Благодарю

Судьбу благодарить не буду —
 Благодарю народ родной
 За то, что знаю жизни чудо,
 Не опаленное войной.

Погибших,
 Без вести пропавших
 Благодарю отцов моих,
 Что смог я стать в два раза старше,
 Уже прожив две жизни их.

И думаю: а так ли жили
 Мы самым длинным мирным днем,
 Чтобы и нас благодарили
 Потом?
 Когда-нибудь потом...

ПЕТР НЕФЕДОВ

Из новых стихов

.

Уходят мои одюгодки,
 Уходят один за другим —
 Кто в старой солдатской пилотке,
 Ремнем перетянут тугим,

А кто в генеральской папахе,
 Кто в робе простой, без ремня.
 Саперы, танкисты, рубаки
 Уходят, оставив меня.

А чем же, скажите, я краше,
 А чем же я лучше других?
 За все поколение наше
 Один, что ль, останусь в живых?

Ровесники утра свободы,
По градам и весям земли
Прошли и огни мы, и воды,
И медные трубы прошли.

Нас ветер ломал, но упрямо
Мы двигались только вперед.
Недаром глубокие шрамы
Нам время на сердце кладет.

Но мы не покажем и виду,
Уйдем и растаем, как дым.
И время свое лишь в обиду
Вовек никому не дадим.

* * *

На заре по озерам — туманы
И такая кругом тишина,
Что и впрямь в этот час безымянный
Даже времени поступь слышна.

Вот секунда — и дрогнули листья,
Покачнулся высокий камыш,
И опять в этом воздухе мгlistом
Первозданная царствует тишь.

Не играет, не плещется рыба,
Спят пернатые в гнездах своих.
И валун крутолобою глыбой
Над заснувшей волною притих.

Так и кажется — в это мгновенье
Только чудо свершиться должно.
Жди и слушай — сейчас в отдаленье
Запоет, засверкает оно.

Вот уж струны его золотые
Протянулись на землю, звеня.
И опять, как всегда, как впервые,
Наступает рождение дня.

Растворился туман, пробудились
Птицы в гнездах, и гомон пошел.
Даже камень натужился, сиясь
Приподняться, да больно тяжел.

* * *

Наверно, мы смешны с тобою,
Когда, как в молодости, вдруг,
Завороженные любовью,
Сидим, не разнимая рук.

И смотрим вдаль, как если б только
Наш общий начинался путь.
А между тем всего лишь долька
Его осталась, так, чуть-чуть.

Но, как у вешнего истока,
И ныне, в сумерках зимы,
Наперекор судьбе жестокой
Не охладели сердцем мы.

И пусть кому-то непонятно,
Пускай смешно со стороны —
Своей любви и в час закатный
Мы, как и в юности, верны.

ЛЕОНИД МАНЗУРКИН

На рубеже

На перепутье-перевале
своих огромных сорока
мы рукавами задевали
светящиеся облака;
уже внизу парили где-то
в смешной надменности орлы,
и стали все земные беды
микроскопически малы.
Там, духом мелок и увечен,
трус мельтешил в подножье гор,
а здесь
гремел высотный ветер
подобно выстрелам в упор!

А. КОВАЛЬ-ВОЛКОВ

Сверстникам

Над серебряным утренним плесом,
Где играл наш трубач на трубе,
И сегодня, как прежде, березы
Свет и небо несут в себе.
Разве стали повыше немного
Да прибавили колец года,
И других пионеров сюда
Привела полевая дорога.
И палаток брезентовых радость
Заменил белокаменный двор.
Встань, трубач, и сыграй общий сбор,
Чтоб слышали наши отряды,
Чтобы рядом вот с этой дружиной
На линейку под огненный флаг
Встали те, кто погиб на фронтах,
Кто до Вены дошел и Берлина...
Но уснул наш трубач в той долине,
Где чужая струится река...
По-над Доном плывут облака
Голубою тропой лебединой.
Я стою над серебряным плесом.
И за то благодарен судьбе,
Что, как в детстве когда-то, березы
Свет и небо несут в себе...

Палатная сестра

Она, как добрая богиня,
 В палату к смертному сошла,
 Прикрыв халатом два крыла
 В стерильной госпитальной стыни.
 Остановилась в изголовье
 И наклонилась надо мной.
 Над болью кроткою любовью
 Зажегся взгляд ее земной,
 Ресницы вскинутые плыли
 Вдоль глубины бессонных глаз.
 Я в них смотрел. И без усилий
 Мне мера мук моих далась.
 В любовь поверив неоглядно,
 Я после понял, что она
 Была родной сестрой палатной,
 На всех нас, страждущих,—
 одна...

ЛЕВ КРИВОШЕЕНКО

У зимней Волги

И этот вечер, и этот снег...
 Так будет во все времена.
 Уходит от Волги
 тропинка ввѣрх
 на склоне — освещена.
 Там на ветру звенит обелиск,
 скрипит над обрывом жѣсть.
 Зимняя Волга...
 Здѣсь дышит жизнь
 такая уже, как есть.
 Туман над черной водой встает,
 редѣет в небе ночном.
 В его глубине,
 стуча о лед,
 ворочается паром.
 Мысль пронзила жарче огня,
 я этой мыслью объят:
 и Волгу и вечер
 сберег для меня
 тот безымянный солдат.
 Все на земле, все может быть,
 но в этот единственный час
 я не хочу о нем забыть —
 именно здѣсь,
 сейчас...

Волгоград.



АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК



НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ*

Роман

ЖРЕБИЙ

1

После уроков, как было заранее сговорено, мы отправились на берег Оби.

Продравшись сквозь кусты, обметанные свежей зеленью и пухом цветенья, мы вышли на крутизну. И онемели от почтения — так широко и вольготно, так мощно текла река мимо города Барнаула. Было весеннее половодье.

Была весна сорок третьего года.

Мы заканчивали седьмой класс.

— Обь — это, я думаю, потому что обе, — прервал молчание Йонька Дуда. — Сливаются две реки, Бия и Катунь — обе, и получается Обь. Да?

— Чепуха, — отозвался Юрка Садков. — Значит, Катунь — оттого что катится, а Бия... били ее, так, что ли?

— Может быть, и так, — пожал плечами Йонька.

Он с любопытством въедался в каждое русское слово, в каждое название, поскольку был молдаванином и еще три года назад жил, изволите ли видеть, за границей — в Кишиневе. Везло мне на этих иностранцев!

— Ну ладно, все это семечки, — решительно сдвинув брови, сказал Юрка. — Давайте о деле. Сначала в принципе: кто идет, а кто не идет?.. Ты? — Он взглянул на меня.

— Да, — ответил я. — Иду.

— Хорошо... Ты?

Ваня Подобных кивнул: да.

— Ты?

Виктор Леонелли отвел глаза, и было похоже на то, что он сейчас заплачет. Однако он не заплакал, а начал объяснять:

— Я не могу. Конечно, я бы пошел — со всей охотой, честное слово. Сорвется номер... Сергей и Володя, братья, уже на фронте, воюют. Если я уйду, останутся папа с мамой и сестры. Четверо, и только один мужчина, а это уже не номер, понимаете?

Он смотрел на нас просительно и жалобно, надеясь, что мы пойдем безвыходность его положения.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

Между прочим, Виктор Леонелли не был иностранцем — из Рима, или Неаполя, или того же Кишинева. Нет, по правде он был вовсе не Леонелли, а просто Витькой Леоновым. Но так уж повелось, что циркачи обычно выступают под разными заковыристыми иностранными фамилиями. А Витька Леонов был циркачом. И на барнаульском цирке-шапито, поблизости от рынка, в тот год красовалась зазывная надпись «5 — Леонелли — 5». Мы часто бывали в цирке (иногда стараниями Витьки даже бесплатно) и с нетерпением ждали минуты, когда кончит кривляться рыжий клоун Алекс и когда пузатый шпрыхиталмейстер в белой манишке зычно провозгласит: «Вело-фигуристы Лео-нелли!» Оркестр разражался бравурным маршем.

На арену, покрытую пестрыми щитами, выкатывались пять Леонелли-пять в розовых трико, искрящихся блестками, на сверкающих никелем велосипедах. Отец Витьки — уже довольно пожилой, с обвисшими щеками мужчина. Мать тоже не первой молодости. Две очень хорошенькие и очень похожие друг на дружку сестрицы, хотя, как мы знали, одна из них была не родной, а приемышем из детдома. И наконец Витька Леонелли — стройный, ловкий, красивый. Он мог быть еще красивей, если б ему не мазали губы красной помадой, — нас это, признаться, смущало, но так полагалось в цирке.

Как они катались на своих велосипедах — трудно пересказать словами. Это было зрелище, от которого захватывало дух. Они ездил задом наперед, усевшись на руль. Ездили вверх ногами, крутя педали руками. Ездили на одном колесе, вздыбив другое. Кружились волчком на месте. Вскakiвали на ходу в седло. Леонелли-отец катался на крохотном велосипедике — в кармане упрячьшь. Леонелли-мама делала круг на допотопном велике, у которого переднее колесо больше паровозного, а заднее меньше, чем у швейной машины. И после каждого трюка под брезентовыми сводами цирка-шапито нарастал гром аплодисментов...

Но вот оркестр умолкал, оставляя лишь барабанный рокот. Из-за кулис выволакивали длинный металлический шест, эдакую ходулю с единственным колесом. Ее устанавливали отвесно, и Витя Леонелли с кошачьим проворством взбирался на самый верх. Разводил руки в стороны, нащупывая равновесие. Отец и сестры отбежали от шеста. И тогда он начинал отрывистыми толчками двигать педали — и ехал, ехал на этой ходуле с единственным колесом, на отчаянной высоте, почти под самым куполом, раскинув руки, беспечно улыбаясь. Рокотал барабан... И вдруг ходуля начинала крениться, падать. Зрители ахали от ужаса. Но Витька, подхваченный отцом и матерью, уже стоял на арене, а сестры перенимали ходулю. И вот они впятером, раскинувшись живой пирамидой, совершали триумфальный круг все на одной машине и укатывали за кулисы.

Выбегали снова — раскланиваться, делать публике комплименты. Публика бушевала. Мы не жалели ладоней, аплодируя прежде всего нашему Витьке, мы с гордостью озирались и видели, как горячо аплодируют велофигуристам, а ему, Витьке, в особенности, командиры Красной Армии, которых всегда было очень много в цирке, увешанные орденами боевые командиры, а уж они-то знали цену смелости.

А наутро Виктор Леонелли приходил как ни в чем не бывало в нашу школу, в наш класс, садился за парту, раскрывал тетрадку и ждал с робостью, что вот его вызовут: «Леонов, к доске...»

А сейчас он, явно мучась и сгорая от стыда, все пытался нам втолковать:

— Ну сорвется номер — что тогда? Отец — ведь он уже старый. Братья на фронте, кто знает, вернутся или нет...

В глазах Витьки и впрямь показались слезы.

Но мы уже понимали, что он прав. Сорвется номер, такой отличный номер. Без Виктора Леонелли, без ходули с колесом это уже не номер.

— Ладно,— сказал Юрка Садков и перевел взгляд на Йоньку: — Ты?

Мы заканчивали седьмой класс.

Была весна сорок третьего года, шла война.

Нам к той поре исполнилось кому четырнадцать, кому пятнадцать лет. Значит, предстояло еще три года протирать штаны за школьной партой и ровно столько же дожидаться призыва в армию. Нас еще и на учет не брали в военкомате. Нас, здоровых пятнадцатилетних мужиков, у которых (у некоторых) уже пушилась верхняя губа,— не брали.

Там люди воют, а ты тут сидишь мараешь тетрадки... Невыносимо. Дико.

Оставался лишь один выход. Спецшкола.

Туда принимали после седьмого класса и сразу же, помимо всякой литературы, алгебры, химии и прочей муры начинали обучать профессии летчика либо артиллериста. Правда, после спецшколы надо было еще пройти курс военного училища и лишь оттуда ты выходил младшим лейтенантом, но мы знали, что по военным обстоятельствам срок обучения там был предельно укорочен, младших лейтенантов пекли, как оладьи, а выпускникам спецшкол вообще оказывали предпочтение.

Короче говоря, это был прямой шанс сделаться военным человеком, не дожидаясь призыва. Окончил седьмой класс — и скидывай ко всем чертям эти протертые за партой штаны, этот стыдный штатский пиджачишко, эту блатную кепочку-шестиклинку. Облачайся в военную форму, становись в строй — есть стать в строй!

— Ты...— повторил Юрка Садков, обращаясь к Йоньке Дуде, которого мы, конечно же, звали Дудкой.

Мы сидели кружком на весенней шелковистой траве.

— Ребята,— сказал Дудка,— ведь мы все равно не успеем.

— Куда это не успеем? — весь напрягся Юрка.

— На фронт. На войну. Война закончится раньше, чем вы... чем мы...— Тон Дудки был рассудительным и чуточку заискивающим.— Теперь, после Сталинграда...

Он потянулся за своим ранцем, лежащим поблизости. Это был очень странный ранец, из коровьей шкуры, с которой даже не сбрили шерсть.

Однажды Йонька Дуда пригласил меня после уроков на Третью Алтайскую, где он проживал с родителями. И там, между прочим, показал мне свою фотографию прошлых лет. На этой фотографии Дудка был изображен в высокой белой барашковой шапке с кокардой, в шинели с какими-то петличками и вот с этим небритым коровьим ранцем за плечами. Дудка мне объяснил, что это гимназическая форма, он, оказывается, учился в гимназии там, в Кишиневе, когда Кишинев еще был за границей.

Он мне еще рассказал про то, как Молдавия была под пятою румынских бояр. Не просто капиталистов и помещиков, а именно бояр. Я даже представил их себе: с бородами до пупа, в раззолоченных кафтанах на меху и в таких же высоких барашковых шапках, как на Йонькиной фотографии,— они важно сидят вдоль стен и слушают, что им наказывает румынский король. У них ведь там был и король по имени Кароль, и королевич, которого звали Михай (по словам

Дудки, наш однолесток). А вообще там хозяйничали фашисты. Это они измывались над простым народом, они расстреливали и душили коммунистов, как задушили жену и двоих сыновей моего харьковского знакомого Теодора Барчи. Это они по приказу Гитлера снова ворвались в советскую Молдавию ровно через год после того, как Кишинев перестал быть за границей.

— Поймите, ребята,— продолжал Йонька,— теперь, после Сталинграда, немцам капут. Папа говорит, что война очень скоро кончится.— Он вынул из ранца газету, сегодняшнюю «Алтайскую правду».— Вот...

— Что — вот? — рассердился Юрка Садков и вырвал газету из рук Йоньки.— Вот, сводка Информбюро: «...на фронте ничего существенного не произошло». И вчера «ничего существенного не произошло», и позавчера, и уже целый месяц «ничего существенного»... А это значит — наступления нет, стоим. По всему фронту.. Ясно?

Юрка был прав.

Хуже того. Наши опять сдали Харьков. После Сталинграда, когда Красная Армия развернула наступление по всему фронту, я, что ни день, перекалывал флажки на карте, выданной из атласа. Ржев, Вязьма, Гжатск... Ростов, Ворошиловград, Курск... Изюм, Купянск — это уже под самым Харьковом. Ну еще немного! И 16 февраля, ошалеv от радости, я воткнул булавку с красным опереньем в заветный кружок на этой карте — Харьков, взят Харьков!.. Не пора ли собираться домой, уж больно далеко от Харькова забросила нас война.

А через месяц пришлось выдирать булавку обратно — Харьков снова пал. Опять там были немцы.

— Ско-оро... — передразнил Юрка Садков немного смущенного Йоньку.

— Нет, я не о том, — поспешил оправдаться Дудка. — Я имею в виду совсем другое — Тунис. — Он развернул «Алтайскую правду» и показал нам статейку в углу. — Понимаете, союзники разбили немцев в Тунисе. Это очень важно стратегически. Сталин даже послал поздравление Рузвельту и Черчиллю.

— Тунис какой-то, — отозвался молчавший доселе Ваня Подобных. — Вместо второго фронта воюют где подальше... где потеплее.

На меня этот самый Тунис тоже не произвел большого впечатления. Я знал, что это в Африке, Тунис, и, вполне естественно, в моем воображении тотчас возникли уютные пальмовые оазисы среди голой пустыни, верблюды, оседланные кочевниками в белых бурнусах, львы, крокодилы, жирафы. И было совершенно невозможно представить себе, что там, среди сыпучих барханов, идут друг на друга в лоб танковые клинья, что там под сенью зеленых пальм, на которых висят гроздь бананов, которых я никогда не пробовал, кто-то может строчить из пулемета по атакующим цепям... Все это было как мираж, что является людям в пустыне: будто заправдашний, а доехать до него, дойти и пощупать рукой невозможно.

— Теперь им удобней высадиться в Европе с юга, — излагал нам большую стратегию Дудка. — Теперь они будут вынуждены открыть второй фронт, иначе...

— Вот что, — прервал его Юрка Садков, и, как обычно, когда он сильно злился, смугловатая кожа на его лице натянулась. — Ты дипломатию не разводи. Говори прямо: идешь или не идешь?

— Нет... не иду, — выдавил из себя Йонька. — Папа не разрешает. И у меня есть свой интерес. Не всем же быть военными! Ну представьте себе, что война кончится раньше, чем вы на нее попадете. Все равно — будет армия и армия, а может быть, вам захочется иметь... Другую карьеру?

Ей-богу, он так и сказал — «свой интерес», «другую карьеру».

Можно было, конечно, извинить Дудку: он-то не виноват, что всего лишь три года жил при советской власти, еще не совсем оклемався от буржуйских нравов и еще употреблял иногда словечки, от которых вянут уши у нормального человека.

Кроме того, Йонька и вправду находился под очень сильным влиянием отца, старого Дуды. Старый Дуда был портным. Он и сейчас работал в мастерской, где шили военное обмундирование. А прежде, в Кишиневе, он обшивал господ. Он рассказывал мне, когда вечерами я заходил на Третью Алтайскую (сам я жил на Девятой Алтайской), что однажды ему выпало счастье шить полосатые брюки и черный фрак для молодого человека из богатой и родовитой семьи, который выучился на дипломата и ехал в Женеву заседать в Лиге Наций. С тех пор старым Дудой завладела мечта: увидеть своего сына дипломатом. В черном фраке и полосатых брюках. Это, конечно, была несбыточная мечта: сын портного — в Лиге Наций? Даже в гимназию он пристроил Йоньку с большим трудом, по протекции своего клиента... Зато теперь, при советской власти, старый Дуда мог вполне рассчитывать, что его заветная мечта осуществится. «Почему нет?» — спрашивал он меня, улыбаясь. И Йонька улыбался вместе с ним.

Так что переубедить Дудку было не в наших силах. Мы это понимали.

За вычетом Виктора Леонелли и Йоньки нас оставалось трое.

Но и это еще не означало тройственного согласия.

— В какую? — спросил Юрка Садков. — Лично я выбираю артиллерийскую — Бийск... Ты?

— Авиационная, — ответил я. — Ойрот-Тура.

— Ты?

— В морскую, — сказал Ваня Подобных.

— Чего-о?

— В морскую, — повторил Иван.

Он был здешним, коренным алтайским жителем, мать его работала уборщицей в нашей школе, а отца еще задолго до войны зарубили топором кулаки — тоже здешние, алтайские. Но он не помнил отца.

— Да сколько же раз тебе говорить, что таких нету? — снова вскипел Юрка. — Ну нету морских спецшкол. Артиллерийские и авиационные — все!

И опять он был прав. В нашем Алтайском крае с начала войны обосновались четыре спецшколы, эвакуированные из Москвы и Ленинграда. Три артиллерийские и одна авиационная. А морской не было. Во всяком случае, я не слышал про такую. Может быть, их и вообще не было, как утверждал Юрка.

— Братцы, а если вместе, втроем — в Бийск? — Он смотрел на нас урезонивающим взглядом. — Ведь артиллерия — это очень серьезно. Артиллерия...

— У меня с математикой плохо, — угрюмо перебил Ваня Подобных. — Тебе-то что: у тебя математическая шишка, тебе и нужно в артиллерию — там сплошные расчеты. А меня могут просто не принять. Не примут — и как...

— Ну насчет этого можете не беспокоиться, — бодро сказал Юрка. — Товарищ Садкова позвонит куда надо.

Юркина мать работала в крайкоме партии, и он ее за глаза усмешливо называл не иначе как товарищ Садкова.

— Ребята, артиллерия — бог войны! — выложил Юрка главный козырь.

— А я в морскую, — откликнулся Ваня Подобных.

— Тьфу! — иначе не сумел выразить свои чувства Юрка.

Меня возмущала его настойчивость. Ведь я с малолетства мечтал стать летчиком. Ощущение полета жило во мне по-прежнему, как в детстве, но это был уже не мальчишеский телячий восторг — вот разбегусь и взлечу, — а какое-то совсем новое чувство полной саитности с несущимся в воздухе оружием, в прицеле — враг.

А Юрка Садков давит мне на мозги своей артиллерией.

Вообще торг этот был просто глупым. Если уж по совести, то нам следовало решать дело так: я подаю заявление в авиационную спецшколу в Ойрот-Туру, Юрка в Бийск в артиллерийскую, а Ваня Подобных отправляется на поиски морской спецшколы — вдруг такая да отыщется где-нибудь?..

Ведь никаких особых и кровных обязательств у нас не было друг перед другом и вовсе незачем было поступаться мечтой только ради того, чтобы не разлучаться. Ну, Иван и Юрка — они хоть учились вместе с самого первого класса. А я всего лишь неполный год как объявился в Барнауле, поступил в эту школу, и еще некоторое время ушло на то, чтобы взаимно обнюхаться: кто ты, что ты, чего стоишь?.. Никакой одной веревочкой мы не были повиты по рукам и ногам. Вольному воля.

Но нам было по пятнадцать лет, а это такой возраст, когда законы дружбы неумолимы. В эту пору даются самые суровые клятвы. И в эту пору они еще соблюдаются.

Так что вроде не оставалось сомнений в том, что мы все трое — Юрка Садков, Иван Подобных и я — должны непременно поступить в одну спецшколу.

— Будем кидать жребий, — сказал Юрка.

Он отобрал у Йоньки Дуды «Алтайскую правду», которую тот все еще держал в руках, оторвал снизу чистую полоску, разделил эту полоску на шесть одинаковых клочков, достал из сумки карандаш и написал — на трех бумажках «ав», что означало авиация, а на трех других «ар», что значило артиллерия. Снял с головы кепочку — тотчас колючим ежом вздыбились волосы, неожиданно светлые при его смуглом лице, — скатал бумажки одинаковыми трубочками, побросал их в кепку и стал трясти...

Мы молча следили за этим священнодействием. Еще бы: на дне обтерханной кепочки — судьба.

— Значит, такое условие, — объяснил Юрка. — Если три ответа одинаковые — тут уж и спору нет. А если двое вытянут одно, третий подчиняется. Да?

Что ж, условие было справедливым.

— Тащи, — приказал он мне.

«Колдуй баба, колдуй дед, заколдованный билет... Колдуй баба, колдуй дед...» Я протянул руку, пошевелил гадающими пальцами, вынул бумажную трубочку.

— Развернул. Ну так и есть: «ар».

— Тащи...

Ваня с очевидным безразличием запустил пятерню в кепку: ведь там все равно не могло оказаться заветной для него бумажки с надписью «мор». Такой бумажки там просто не было.

— «Ар», — сказал Ваня Подобных, раскатав трубочку. И успокоенно вздохнул: — Ну все.

— Все, — согласился я, стараясь не выглядеть убитым.

— Нет, еще я! — запротестовал Юрка Садков. — Интересно все-таки.

Он стал шуровать в кепке среди оставшихся там бумажек. Вытащил. И заорал:

— «Ав»! Мне — «ав»! Ну бывают же на свете случаи...

Расхохотался от радости. Потом вскочил на четвереньки и залаял на нас свирепо:

— Ав-ав-ав...

Повалился наземь, на свежую траву, раскинув руки, заголосил истошно:

Была весна, цвели дрозда,
И пели лошади.
Верблюд из Африки приехал на конька-ах...

— Из Туниса — уточнил Ваня, подмигнув Дудке.

Ему что «ав», что «ар» — было без разницы. Он ничего не терял. Для меня же все было потеряно. И от этой безвозвратной потери на душе было странное чувство — покорности и свободы одновременно.

Ему понравилась колхозная коровушка,
Купил ей туфля на высоких каблуках...—

подхватили мы с Иваном дурацкую песню.

Виктор Леонелли и Йонька Дуда с завистью смотрели на нас.

Ладно, пусть не авиация, пусть артиллерия. Мне бы, честно говоря, хоть в пехоту — лишь бы поскорее.

Мне все надоело. Надоело быть никем, когда война заставляла любого и каждого быть кем-то. Надоело, что ни год, откочевывать за сотни, за тысячи километров от фронта. Всякую осень начинать учебу в другой школе. Всякую зиму жить под другой крышей — и непременно чужой. Надоело.

И еще мне хотелось стать вполне самостоятельным человеком. Уйти из дому.

Я, конечно же, любил по-прежнему маму Галя. Я по-прежнему уважал и чтил ее мужа, своего нерасписанного отчима Ганса Мюллера. Я не мог не оценить его благородства: того, что он не спешил оформить мое усыновление — ведь он понимал, что в эту пору лучше быть Рымаревым, чем Мюллером.

Мы оставались с ним добрыми товарищами.

Но что-то невысказанное и потаенное встревало порой в наши добрые отношения.

Началось это за Волгой, где нас еще раз бомбили — вдогон, у озера Баскунчак. Но бомбежка эта была нестрашной, всего лишь один «юнкерс», и все бомбы, которые он кинул, угодили напрямик в озеро. Вода в этом соленом озере была такая тяжелая и тугая от соли, что даже не было слышно взрывов — лишь взбулькнуло, озеро заглотало бомбы.

А следующим утром эшелон прибыл на какую-то станцию, в какой-то город. Неизвестно, что за станция, что за город: с вокзального здания вывеска была снята.

Мама Галя занялась хозяйством. У самых рельсов она поставила рядком пару закоптелых кирпичин, насовала промеж них щепок, запалила, а сверху чайник. Он уже брякал крышккой.

Впрочем, не она одна оказалась такой сообразительной. Возле всех вагонов вились голубые дымки, у этих дымков хлопотали женщины: у всех уже было накоплено вдосталь горемычной эвакуационной сноровки.

— А где Ганс? — спросил я.

— На станцию пошел, — ответила мама Галя. — Позови, будем завтракать.

Я побежал к вокзалу. Обогнул одноэтажное строение с закруг-

ленными верхами окон и там, с другой стороны здания, у выхода, на ступеньках лестницы увидел Ганса.

Он стоял в одиночестве и курил. Курил натошак, чего с ним никогда не бывало.

Однако же я не так удивился этому (что натошак), как иному — тому, что предстало моим глазам.

Моим глазам предстала крохотная привокзальная площадь такого же, по-видимому, крохотного городка. Площадь была вымощена стёртым булыжником. Ее обступили тополя-одногодки. И на ней было все, что обычно бывает на таких вот привокзальных площадях, захолустных и уютных. Парикмахерская с двумя завитыми портретами — слева тетя, справа дядя. Фотография с целой выставкой улыбающихся карточек в остекленной витрине. Галантерейная палатка. Булочная. Пивной ларек. Куцый дощатый рядок станционного базара. Все обычное.

Но кое-что здесь было необычным.

Вывеска на парикмахерской гласила «Фризюр», что тоже означает парикмахерская, но по-немецки. Вывеска на булочной была «Бакерай» — это и есть булочная. А на пивном ларьке было написано «Бир», что опять-таки значит пиво. То же самое, только по-немецки. Тут все вывески были написаны по-немецки, на этой привокзальной площади, в этом заволжском городке.

Однако никто не выходил из парикмахерской, и никто туда не входил, и самого парикмахера ее было видно. Никто не отирался у пивного ларька. Двери магазинов закрыты, висят замки. Ставни ларьков затворены. А на базарном прилавке хлопочут и ссорятся голуби.

Пусто, совсем пусто.

И дальше, там, за стеной тополей, где виднелись аккуратные кирпичные домики, крытые черепицей, утопающие в пышной зелени, — и там было пусто. Окна забиты досками, а другие, наоборот, распахнуты настежь, и белые занавески в них колышутся покинуто и тревожно...

Вблизи домиков тоже никого не видно. Лишь задичавшая кошка метнулась тенью от одного порога к другому.

Городок был безлюден.

— Почему здесь нет никого? — спросил я Ганса. — Почему, а? — Я не мог прийти в себя от удивления. — Куда подевались все люди?

Ганс затушил подошвой окурок, вынул тотчас новую папиросу. Закашлялся — вот оно, курево натошак.

— Я думаю, Санька, что отсюда всех эвакуировали, — сказал он наконец. — Просто эвакуировали.

— Но ведь здесь глубокий тыл? — возразил я.

— Нет... не совсем глубокий.

Он повернулся и зашагал сквозь пустое вокзальное здание туда, к путям, к нашему эшелону.

— А как этот город называется?

Ганс шел впереди и, наверное, не расслышал моего вопроса.

Я догнал.

— Ты не знаешь, как называется эта станция?

— Нет. Не знаю.

— А почему с вокзала сняли вывеску?

— Что?.. — Он оглянулся на меня слегка сердито, видно, ему надоели мои докучливые приставания. Но ответил терпеливо: — Наверное, для военной тайны.

Он вышагивал по шпалам, часто потягивая дым из папиросы.

— Я думаю, для военной тайны... Видишь ли, на войне бывает много тайн. Война, Санька, это очень сложное дело. Да.

Вот и наш вагон.

Ехали мы долго, почти месяц, кружным путем.

И все дни этого месяца, этого долгого пути я просидел на подножке тормозной площадки нашего вагона, свесив ноги, держась за поручни. В зной здесь обдувало на скорости прохладным ветерком. На поворотах, на изгибах колеи был виден паровоз в голове состава — он справно работал шатунами, будто жевал второпях, он отдувался белым паром, а из трубы его валял угольный дым.

За день такого сиденья на подножке я делался чумазым, как кочегар, как черт. Но на стоянках можно было отмыться под краном, который заливают паровозные котлы, — из них хлестала струя толщиной в бревно — а то удавалось даже искупаться в ближней речке, в озерке, в арыке. Лишь ночами я спал на дощатых нарах теплушки, а с утра — опять на подножку.

Полстраны я увидел с этой подножки.

Прогромыхали мосты над Уралом и Эмбой. Проплыли на горизонте уральские отроги. Мы выехали к Аральскому морю. В этом море я тоже искупался, но, когда вылез из воды под палящее солнце, вмиг все тело покрылось щиплющей коростой соли, мне пришлось бежать стремглав к станционному крану, чтобы отмыться — уже не от черноты, а от белизны.

Потянулись степи. Гордые двугорбые верблюды стояли среди степей и смотрели на поезд. На дынных бахчах сидели, скрестив ноги, седебородые старцы в полосатых халатах и тоже смотрели на поезд. Вслед за поездом ветер гнал шары перекати-поля.

Начались пустыни — безлюдные, безмолвные, обморочно жаркие. На исполосованных барханах корчились ветки саксаула. Но и пустыни остались позади.

За Арысью я впервые в жизни увидел настоящие горы. Они были зеленые снизу, а выше постепенно рыжели, а на вершинах лежал снег.

В Чимкенте мы узнали, что на улицах Сталинграда идут бои.

Я ехал на подножке вагона через всю страну. Черный дым, копоть облепляли мое лицо — снова, что ни день, — будто я вез людям весть о том, что Сталинград горит, что солнце затмилось над Сталинградом...

Я ехал и думал о том, что только распоследнему дураку вроде Гитлера могло втемяшиться, что эту страну, по которой я ехал уже целый месяц, можно завоевать.

Вокзал в Алма-Ате был ярко освещен, белые ночные бабочки, трепеща, билась в стекла фонарей. На перроне было много людей, они ходили, присматривались к приезжим, к проезжим — вероятно, надеялись встретить знакомых. А встретил знакомых я, хотя у меня никогда не было знакомых в Алма-Ате. Я вдруг увидел: идет по перрону воскресшая и живая Нина Арбенина, кивая изредка льняными локонами, рядом с нею Арбенин, голова его обрита наголо, а черные глаза с отчаянной дерзостью взглядывают исподлобья, и даже тот хмурый Неизвестный, что предрекал им несчастье, идет рядом, спокойно и надменно улыбаясь.

А в Рубцовске наш эшелон встречали уже прямые и давние знакомцы — харьковские, бекетовские, сарептские, те, что переправились через Волгу раньше и обживались здесь. Они зазывали в свои брезентовые палатки, разбитые табором близ насыпи, они указывали пальцами в голую степь — там торчали вешки — и объясняли, где какой цех.

Они оставались тут — завод опять делился, — а нам предстояло ехать дальше, в Барнаул.

Мы поселились в бревенчатом, кондовой сибирской рубки доме на Девятой Алтайской, вместе с Якимовыми. Хозяином тут был Данил Егорыч, расторопный вдовый старичок, семь взрослых дочерей, все замужем, у всех мужья на фронте. Так что женского общества хватало с избытком, а мужчин было всего трое — сам Данил Егорыч, Ганс и я.

Лишь однажды на моей памяти заглянул сюда на часок, гостем, еще один мужчина — хозяевам посторонний, а нам бывший харьковский сосед Ян Куля.

— Поручик Войска Польского! — представился он, поднеся два пальца к длинному, окованному по краю козырьку диковинной фуражки с квадратной тульей.

Был он, как всегда, великолепен.

Мама Галя сварила на плите какой-то ячменной бурды и поднесла ему, вроде бы это кофе, нам тоже.

— Поздравьте, панове, — сказал он с нескрываемой гордостью, — Ян Куля идет воевать. А если Ян Куля идет воевать, то скоро мы будем в Берлине. А по дороге мы будем в Варшаве. И я приглашаю вас — проше паньства — на чашечку кофе. Не знаю, есть ли еще там мой дом, на Жалибожу, но чашечка кофе будет!..

Мы, мужчины, охотно простили Яну Куле это очевидное бахвальство. Мы завидовали ему.

— Я приехал в Барнаул проститься кое с кем, — объяснил он со значением маме Гале. — Мало ли что может случиться по дороге до Варшавы... — Он шумно отхлебнул горячей бурды и продолжил, обращаясь теперь к Гансу: — Ты ведь знаешь, из какого дерьма пришлось выбиратья. Я был сначала у Андерса в его армии. Там многие хотели воевать — нам для этого дали оружие, чтобы мы воевали. Но скажу тебе честно, как старому другу: многие не хотели, хотя им дали оружие... Андерс и раньше был сволочь, а после того как в Москве он успел пошутукаяться с Черчиллем, — дело стало совсем дерьмо... Вы извините, пани Галя, что я говорю так при даме и при ее ребенке, но некоторые вещи надо называть своими именами... — Он расстегнул воротник мундира, обшитый серебряным галуном. — Они решили удрать. Им не понравился русский климат. Они стали доказывать, что самый близкий путь к Варшаве — через Иран. И это накануне Сталинграда!..

— Они многим смогли доказать? — осторожно справился Ганс.

— К сожалению, многим, пся крев... — Ян Куля брезгливо поморщился. — И, к сожалению, среди них были не только пилсудчики. Вот так. Их отпустили с богом... — Он отодвинул чашку. — Спасибо, Галечка... Но это ничего. Как видишь, я здесь и на мне эта форма. У нас уже есть новая дивизия — имени Костюшко. Пока дивизия, а скоро будет армия. И мы найдем самую короткую дорогу до Варшавы. Уверю вас, панове! Ян Куля идет воевать...

У порога он шутки ради нахлобучил свою диковинную фуражку с четырехугольной тульей на голову Гансу.

— О, как идет тебе моя чепа! Ты в ней как генерал.

Ганс не улыбнулся этой шутке. Снял фуражку, вернул ее законному владельцу.

— Я бы согласился рядовым, — сказал он.

Мама Галя подошла, положила ему руку на плечо.

— Вы знаете, Ян, вчера у нас было собрание. Ганса избрали членом завкома. Единогласно.

— Да? — восхитился гость. — Ты еще можешь сделаться профсоюзным бонзой?..

— Я согласен рядовым, — повторил Ганс.

Ян Куля щелкнул каблуками, приложил два пальца к козырьку:
— Итак, жду вас в Варшаве.
Все-таки он был бахвал.

Та зима была самой голодной.

Мы были голодны все время.

И ведь нельзя сказать, чтобы мы ничего не ели. Мы ежедневно аккуратно съедали положенный нам по карточкам хлеб. В школе еще давали на переменке крохотную булочку. И матери исхитрились добавить к этому кое-какой приварок: суп-рытатуй, круто посоленную затируху. Пили кипяток с сахарином. Так что умереть с голоду мы не могли.

Но нас измучило это постоянное, это вечное недоедание. Каждую минуту, каждое мгновение мы думали только о еде. О чем бы мы ни думали, мы в то же время думали о еде. Мы сидели на уроках, читали книги, кололи дрова, а перед глазами маячило одно и то же — кусок хлеба. И, съев этот заветный кусок, мы продолжали мечтать о куске. Даже во сне.

А за этим куском, за хлебом, надо было еще ежедневно выстаивать после школы долгую очередь.

Мы с Татьяной стоим в очереди за хлебом. Хлеб только что привезли.

Бесконечная извилистая череда тянется вдоль забора к двери магазина. В эту дверь — чтобы там, в тесной лавке, не задушились — пускают партиями по десять человек. И когда дверь открывается, очередь начинает шевелиться, нажимать, балабонить. А в перерывах замирает покорно, делается совсем неподвижной. И легкий снег ложится на спины, плечи, головы.

В очереди женщины. Только женщины. Женщины, женщины, женщины...

Мне даже как-то неловко стоять среди них, единственному мужчине. Мне очень стыдно околачиваться здесь. Но что поделаешь: нужно получить хлеб. Ведь мама Галя и Ганс допоздна задержатся на заводе, они работают по две смены. И вот я стою в этой очереди — единственный мужчина...

Ан нет, не единственный.

Впереди, там, где очередь упирается в закрытую дверь магазина, появляется еще один.

На его русых, вздрбос, волосах лихо заломлена серая ушанка. На нем обшарпанная, выдавшая виды шинель без ремня и без хлястика. Кирзовый сапог. Один. Другого не надо, нога-то одна.

Мужчина выносит вперед костыли. Потом, опершись на них, бойко выбрасывает вперед свою ногу. Жжик, жжик... — поскрипывают на утоптанном снегу костыли. Жжи... — скрипит по снегу сапог.

Он малость пьян. И, прыгая вдоль очереди, нежно поглядывает на женщин — на всех подряд.

А они все до одной чуть поворотились и смотрят на диво — на мужчину, вдруг появившегося днем на улице сибирского города. Смотрят во все глаза. Кто смущенно и застенчиво. Кто ласково и жалостно. Кто с простодушным любопытством.

Безногий солдат браво скачет на костылях вдоль очереди. Долго, очередь длинна.

И женщины, когда он приближается, охорашиваются наспех: оттягивают платки у лба и подбородка, трогают волосы, оправляют телогрейки. Смотрят, смотрят, провожают взглядами...

Потом уже начинаются пересуды.

— Такой еще молоденький, а калека...

- Зато живой. Теперь до самой смерти — живой.
- ...грех говорить, да кабы мой хоть таким, а вернулся!
- Обещали побывку.
- Третий год уж...
- ...с нашей улицы паскуда одна. Можете представить? С немцем живет...

Я вздрагиваю. Мне знаком этот голос. Не впервые я слышу его здесь, в очереди за хлебом. И, каюсь, я ни разу не посмел оглянуться, чтобы увидеть — кто. А она всегда об одном, все о том же.

— Ей-богу, не вру — с немцем. Гансом его звать. Хоть у соседей спросите... И не скрывается даже, шкура.

Танька тянет меня за рукав. Она стоит рядом — маленькая, тощая, похожая на головастика: грубый суконный платок сорок раз обмотан вокруг головы. Огромные глаза на худом и бескровном, посиневшем от стужи лице. Они смотрят на меня строго, предупреждая: «Молчи. Будто ты не слышишь. Молчи...»

Но я и так молчу.

Эти минувшие годы научили молчать. Научили сносить обиды, понимать, что всем тяжело, что всех ожесточила, замордовала война. Научили не думать о том, чего невозможно понять, что все равно не укладывается в голове, сколько ни думай.

— Санька, пускают!

Заняла обросшая инеем пружина магазинной двери. Вырвался наружу теплый, теперь уже совсем близкий хлебный дух. Очередь ожила.

Тетка-доброхотка, вызвавшаяся следить за порядком в очереди, начинает отсчитывать десяток, тыча в спины:

— Один, два, три, четыре, пять, шесть...

Мы в десятке. Мы у прилавка. Струганые полки во всю стену плотно забиты ржаными буханками. Сколько их!.. Но вид этих полок, набитых хлебом, не производит никакого впечатления. Это недоступное, не наше, не мое. Будто и не хлеб.

А вот и наше.

— Одна служащая, одна иждивенческая... — говорит продавщица, выкраивая ножницами талоны из Танькиных карточек.

Выхватив с полки из ряда буханку, быстро отсекает широким ножом горбушку, швыряет ее на весы. Хлеб сырой, вязкий, как глина, и горбушка эта удручающе мала.

— Две итэровских, одна иждивенческая... — говорит продавщица, беря у меня карточки.

Иждивенческая — моя. А в Бекетовке я получал хлеб по рабочей карточке, целых восемьсот граммов. Тогда я был рабочим, это теперь никто.

Мы съели весь хлеб.

Не знаю даже, как это случилось. Но мы его съели — и свои пайки, и Гансову пайку, и пайку мамы Гали, и пайку Софьи Никитичны. Не сразу, конечно, а постепенно, но съели все без остатка.

Сначала, когда мы вышли из магазина, Танька первой полезла в сумку, достала оттуда черную горбушку и жадно надкусила ее.

— Еще горячий, — сказала она, жуя полным ртом.

Я пощупал хлеб, который болтался в моей авоське, привязанной к портфелю. Он был еще горячий изнутри, а сверху уже остывал, лёдёнел, потому что на улице лютвала стужа.

— Горячий — он тяжелее, — ответил я Таньке хмуро. — Горячего получается меньше...

Но, не утёрпев, я тоже вытащил хлеб из авоськи и вгрызся в его теплую мякоть.

На Девятой Алтайской на крыльце дома прямо у перил стояли железные листы с шаньгами — их зачем-то выставили на мороз, напоказ, у хозяйна водилась мучица, — но мы прошли мимо, будто и не видя зарумянившихся в печи корочек: недоступное, не наше, чужое.

Сели готовить уроки.

Мы опять учились с Татьяной в одном классе.

К исходу седьмого класса она сделалась очень замкнутой.

Вообще эта замкнутость отличала всех нас, особенно тех, кто приехал в Барнаул из Ленинграда, из Сталинграда. Мы все, наверно, приехали оттуда чокнутыми, пришибленными. По глазам видно. Что-то застыло в наших глазах, в наших зрачках. У ленинградских — жуткий блокадный голод, у сталинградских — клубящийся кошмар августовских бомбежек. Встретятся невзначай такие глаза — и скорее в сторону...

Еще я понимал, что Татьяна никак не может оправиться после двух недавних смертей: гибели отца, гибели Игоря Пиотровского. Она замкнулась, спряталась, укрылась в самой себе как в убежище.

Я сказал ей однажды, что вот, мол, хочу поступить в спецшколу, уехать из дому. Она ничуть не взволновалась, ответила: «Но ты ведь давно решил поступать, еще до войны, я помню...»

Мы расставались.

Между прочим, нам все равно не пришлось бы и дальше, после седьмого, учиться вместе.

Уже знали повсюду, что со следующего учебного года вводится раздельное обучение. Мальчики отдельно, девочки отдельно, в разных школах, как в старину.

Тем более.

А пока мы еще вместе готовили уроки.

Решали задачи по алгебре в самодельных тетрадях, сшитых из старых газет, писали чернилами прямо по напечатанному, а напечатанное само лезло в глаза, отвлекало, не давало сосредоточиться, не давало избавиться от голодных дум. В ушах от голода стоял тихий и легкий звон, а в голову приходили какие-то нелепые и странные мысли.

Вот и Татьяна отложила ручку, подперла кулаком подбородок, задумалась, потом сказала:

— Санька... Я давно хотела тебя спросить: что там, дальше неба?

— Как что? — удивился я. — Дальше тоже небо.

— А еще дальше? Ну, понимаешь, в самом конце?..

— Там нет никакого конца, — решительно заявил я. Вот ведь интересный разговорчик, а у меня тут, как назло, не решается задача, не сходится с ответом. — Никакого конца нет.

Посредине стола рядом с чернильницей лежали две жалкие горбушки, изгрызенные со всех сторон.

Татьяна вздохнула и отломилась еще корочку.

Она принялась жевать эту корочку. Щеки ее до того исхудали, истончились, что сквозь них выпирала вся эта корочка.

Я тоже отщипнул кусочек хлеба. Сердце мое при этом заныло от тоски, потому что я уже видел, сознавал, что отщипываю не от своей, а от чужой доли, что моей доли уже нету и в помине, а эта доля чужая.

— Я знаю, я все это знаю... — продолжала между тем Танька. — Но ты представь себе: дальше солнца, дальше звезд, дальше самой последней звезды — там что?

— Ну... пустота, — пожав плечами, ответил я.

И снова склонился над задачей. Значит, так: корень квадратный из ix минус $игрек$ в квадрате... Нет, я ни в коем случае не прикос-

нусь больше к этому хлебу. Может, и не заметят, что я уже съел лишку... Корень квадратный...

— А дальше? — донесся голос Татьяны.

— Что дальше? — Тут уж я изрядно рассердился. — Что дальше?

— Ну вот ты пойми... Я знаю, что конца нет. Что это совсем, совсем бесконечно. Так?

— Так, — кивнул я.

Танька замолкает на мгновенье. Морщит лоб, что-то соображая. Сообразила:

— А что после?.. Понимаешь, после этой бесконечности?

— Просто ты дура, — ругаюсь я. — Невозможная дура. Отстань.

Корень квадратный из x минус y игрек в квадрате... «...японские сухопутные силы в ходе упорных сражений на Новой Гвинее были вынуждены оставить порты Гона и Буна...» Это печатные буквы, газетные строки назойливо проступают: сквозь чернильное кружево алгебраических знаков... А на самом деле — что же после? Что же там, после самой бесконечной бесконечности?..

— Санька... — Голос Тани уже совсем тих и далек, он оттуда — из бесконечных пространств.

Я поднимаю взгляд.

— Санька, давай доедим этот хлеб...

Я стоял у изгороди, отделявшей двор, где мы жили, от соседнего двора, — задняя изгородь, еловые жерди.

Отсюда был виден завод. Море огней. Подсвеченные этими огнями, над цехами, над трубами поднимались клубы густого дыма и, уйдя со света, примыкали к облакам, сливались с ними. Завод дышал мощно и надсадно.

Я сбежал сюда, в этот угол двора, от стыда и отчаяния. Мне бы подальше куда-нибудь сбежать. Но некуда было.

Представил себе, как они вернутся с завода. Очень поздно, после двух рабочих смен. Измученные и голодные. Ганс понуро сядет за стол. Мама Галя придвинет ему кружку кипятку, сядет рядом. Все их движения странно замедленны, усталы... Она откинет тряпицу с тарелки посредине стола — с той тарелки, где обычно лежит хлеб. Тарелка пуста.

Они посмотрят друг на друга. Что в их взглядах? Ничего особенного. Только разочарование. Они ждали чего-то, ждали целый день, ждали, зная, что б у д е т, а его и нет...

Только разочарование. На иные чувства эти двое голодных людей уже неспособны.

Однажды мне довелось побывать на заводе, где работали мама Галя и Ганс. Я приходил туда за лампочками для нашей школы, все лампы в классах перегорели, занимались при свечках, и завод дал из своих. Там я увидел, как у заводской столовки, у помойки за кухней, люди, свои же, заводские, рабочие и инженеры, подбирали обрывки капустных листьев, мороженных, прозрачных, и жевали их жадно, стараясь не глядеть друг на друга.

Потом они опять шли работать.

Мы с Танькой съели весь хлеб.

Да за такое не то что избить, за такое — убить...

Позади меня заскрипел снег. Шаги приближались.

Я ссутулился, сжался.

Большая тяжелая рука легла на мое плечо.

— Спокойно, Санька... Это ничего. Ведь ты сейчас растешь. Очень сильно растешь. Что делать, если вам приходится расти в такое время, когда мы не можем вам дать столько хлеба, сколько нужно. Чтобы вы

могли расти как следует... Такое время, война. А вы растете голодные...

Я не смел повернуть головы.

— Я только одного хочу, Санька... Чтобы вы все это вынесли. Чтобы вы не сломались. Чтобы вы были крепкими, когда вырастаете, когда вы будете хозяева... Пойдем, Санька.

Его рука по-прежнему лежала на моем плече.

— Знаешь...— По дороге у него вдруг возникла идея.— Завтра у меня отгул. Мы поедем с тобой куда-нибудь в деревню и сменяем на картошку мой костюм. Будет целый мешок картошки...

Эта блестящая идея настолько захватила его, что, едва переступив порог, он тотчас же воодушевленно стал излагать ее маме Гале.

— Да-да! Это будет целый мешок картошки... Галечка, достань, пожалуйста, мой парижский костюм.

— Какой? — переспросила мама Галя, внимательно поглядев на него.

— Парижский. Тот, который я привез из Парижа, когда возвращался из Испании.

— Парижский?

— Ну да.

— А разве у тебя есть еще и другой костюм? — заинтересовалась она.

— А...

Тут Ганс грохнулся на стул, захохотал весело, вздохнул.

Он так весело хохотал, что мама Галя, не выдержав, тоже начала смеяться.

И я не выдержал, рассмеялся.

Нам здорово повезло.

В Повалихе, куда мы отправились вместе с Гансом, за этот его много раз надеванный костюм нам дали полный мешок отборной картошки да еще в придачу два кругляша замороженного молока: его там выставляют на мороз в железных мисках, потом стук по доньшкуну — и выскакивает белый твердый кругляш.

Засветло возвращались домой. Ганс волок санки, на которых лежал мешок, а я нес под мышкой замотанные кругляши.

Нам предстояло пересечь станционные пути. На путях стояли составы.

Согнувшись в три погибели, мы нырнули меж колесами вагона, потянули за собой санки. Потом перелезли через тормозную площадку другого вагона, пульмановского, перенесли мешок и санки.

Но дальше нам отрезал путь движущийся состав. Бесконечная вереница платформ медленно проплывала мимо нас, подрагивая на стыках. Все платформы были одинаковые и на каждой из них по огромной машине, укрытой брезентом. Но под складками брезента угадывались округлые башни, пушечные стволы невероятной длины, широкие гусеницы.

Платформы плыли мимо одна за другой, одна за другой... десять... двадцать... ни конца им, ни края.

Я посмотрел на Ганса.

Он внимательно и очень по-хозяйски провожал взглядом каждую из этих платформ, каждую из накрытых брезентом глыб.

— Танки? — спросил я.

— Нет, — покачал головой Ганс. — Самоходки.

— Это ваши? С вашего завода?

Он покосился на меня укоризненно.

Но я был настойчив:

— Твои?

Поколебавшись, он все-таки решил, что мне можно довериться.

— Наши.

Платформы с зачехленными машинами бесконечной чередой двигались мимо нас.

Неожиданно перестук колес замедлился, залязгали, натываясь друг на дружку, железные тарелки буферов. Поезд остановился. Должно быть, семафор дал красный свет.

Мы снова прорынули меж колес ближайшей платформы.

Но и с той стороны путь нам был отрезан.

Закопченный паровоз, окутанный паром, пышущий зноем раскаленной топкой, втаскивал на станцию еще один состав. Он следовал в противоположном направлении — на восток. И этому составу тоже не было видно ни конца, ни края.

Двухосные теплушки. Двери закрыты наглухо, перечеркнуты наискосок накладными засовами, замки снаружи. Маленькие оконца под самой крышей зарешечены.

За прутьями этих решеток — лица.

Густо заросшие щетиной, бледные, как у выходцев с того света, лица. Мышиной масти пилотки с опущенными отворотами, а у некоторых поверх этих пилоток повязаны грязные полотенца и платки.

Головы теснятся у решеток. Глаза — испуганные, тоскливые и вместе с тем любопытные — разглядывают все окрест. Смотрят на заснеженную землю, присыпанную угольной пылью. На станционные строения. На соседний состав с зачехленными, замершими в недобром и внушительном молчании машинами.

Смотрят и на нас.

Мы тоже отчужденно, но не без любопытства провожаем взглядами эти лица в зарешеченных окошках.

— Как ты думаешь, откуда они — из-под Сталинграда? — спросил я.

— Да, наверное, из котла... Видишь, почти у всех обморожения.

Так вот как они нынче выглядят, завоеватели мира. Прямо скажем, неважно выглядят. Ну что ж, так вам и надо. Гитлеру своему скажите спасибо. Самим себе скажите спасибо. Поделом вам...

Я вздрогнул.

За одной из решеток я увидел знакомое лицо. Как?.. С чего мне может быть знакомо лицо человека в мышиной пилотке, лицо фашистского солдата, врага?..

Но сомнений не оставалось. Пускай это лицо тоже обросло щетиной до самых ушей. И нос обморожен, в струпьях. Пускай оно потемнело, состарилось. Но это был он.

Карл Рауш.

Я потянул за рукав Ганса.

Но и Ганс уже увидел его.

И Карл Рауш заметил нас, узнал. Голова его отпрянула от решетки вглубь, но сзади, по-видимому, напирала и ему не удалось уйти...

Это длилось всего лишь несколько секунд, покуда запертая на висячий замок теплушка медленно двигалась мимо нас.

Но за эти секунды было увидено все и высказано все.

Ганс смотрел на него с нескрываемым презрением, гадливостью. Губы его были плотно сжаты, уголки их опущены. Вот она, цена предательства!..

Карл Рауш, не выдержав, отвел взгляд. И тогда глаза его скользнули по нашим истертым, подшитым валенкам. По нашим самодельным санкам. По заплатанному мешку с картошкой. Заросшие щеки его

дрогнули в странной усмешке. И это могло означать: вот она, цена верности...

Два паровозных гудка скрестились в студеном воздухе. Семафоры дали зеленый.

Состав с длинноствольными глыбами тронулся с места — на запад. Состав с военнопленными набирал скорость, ему на восток.

К этому времени стало окончательно ясно, что Ганса не возьмут в армию, не пошлют на фронт, сколько он ни хлопочи об этом. Да, коммунист, да, командир танкового батальона, обстрелянный боец интербригады — а все равно не возьмут. Только еще раз вежливо и уклончиво объяснят, что в тылу он нужнее.

А в этом тылу, в Барнауле, на всех тринадцати Алтайских улицах уже, наверное, не было ни одной семьи, в которой оставались бы сразу два мужика. Сын дома — отец на войне. Отец в тылу — сын на фронте. Равным образом это касалось отчимов и пасынков. Однако еще верней сказать, что в этих семьях не было на месте ни одного мужика — все там, на фронте: и отцы, и сыновья, и братья, и дядья, и племянники, и отчимы, и пасынки.

Так что если Ганса Мюллера не брали в армию, то идти надлежало мне.

2

Меня разбудил горн. Звуки его поначалу были хрипатыми, будто и сам он, этот горн, не откашлялся спросонья, но тотчас прояснились и стали звонки, чисты.

Я открыл глаза. Надо мною был брезентовый свод палатки, и в каждую дырочку этого брезента воткнулся тонкой спицей лучик утреннего солнца.

Из-за полога доносились команды:

— Вторая батарея, подъем!.. Первый взвод, подъем!.. Подъем!

Вспомнил, как глубокой ночью медлительный, запинающийся у каждого полустанка поезд наконец привез нас из города Барнаула в город Бийск. Конечная станция, маленький вокзал. Кто-то нас встретил, пересчитал, тыча в каждого пальцем, приказал: «Следуйте за мной» — и мы потопали со своими баулами, чемоданами по немощеной темной улице, над которой шелестели сосны. Спать хотелось дико. А нас привели не к ночлегу, а в баню, в санпропускник. Пришлось, конечно, мыться. Намыливать вонючим жидким мылом из какой-то жестянки, окатываться горячей водой из деревянных шаек. Потом еще долго ждать, пока из прожарки вынесут на раскаленных проволочных кольцах наши одежки... Словом, никто из нас уже, наверное, и не помнил, как мы оказались в расположении спецшколы, как нам указали крайнюю палатку, как мы занырнули туда и повалились на топчаны.

— Дивизио-он, выходи строиться на зарядку!.. Дневальный по передней линейке, к старшине! На зарядку-у! — перекликались голоса за брезентом.

Сон пропал, хотя я ничуть и не выспался. На соседнем топчане уже торопливо натягивал штаны Юрка Садков. Ваня Подобных, приподняв голову, озирался с любопытством. Конечно, кому не интересно? Ведь мы прибыли туда, куда хотели, добрались до заветной цели.

— Айда поглядим,— сказал Юрка и, откинув брезентовый полог, выскользнул наружу.

Мы вылезли следом, сожмурились от яркого света.

На всех линейках, которые строго по ниточке рассекали палаточный городок, мельтешили сотни рук — это было упражнение «мельница», шла физзарядка.

Подле соседней палатки, сбившись несмелой кучкой, стояли ребята нашего возраста, и на них тоже были измятые пиджачишки, потертые брюки, задубевшие нелепыми складками после прожарки. Вполне вероятно, что они вместе с нами мылись ночью в бане, но мы не могли как следует приглядеться друг к другу в крутом пару и полусне.

— ...произвести утренний туалет!

Мимо нас забегали, утираясь на ходу полотенцами, голые по пояс, мускулистые, загорелые и довольно самоуверенные парни — эти уж, безусловно, были тут старожилами и хозяевами. Ветеранами.

Завидев нас, они вдруг останавливались и начинали хохотать безо всякой причины, обмениваясь при этом изумленными восклицаниями:

— О, новеньких привезли!.. Шпаки прилетели.. Привет шпакам!

Я тогда еще не знал слова «шпак», хотя и сразу догадался, что слово это обидное. Шпаками, как выяснилось позже, по стародавнему армейскому обычаю называли штатских.

Но Юрка Садков, наверное, знал это слово. Потому что очень обиделся на эти насмешливые оклики, и когда один из пробежавших парней с кончиками усов над верхней губой (усов у него еще не было, выросли только кончики) упомянул насчет шпаков, Юрка заносчиво вздернул подбородок и спросил:

— А ты кто? Шибко военный?

— Что-о? — Парень с кончиками просто опешил от подобного нахальства, да еще со стороны какого-то жалкого шпака. Кинув полотенце на шею, он грозно двинулся к Юрке: — Ну-ка повтори!..

— Шибко военный? — бесстрашно повторил Юрка Садков.

— Та-ак... — Тот сделал вид, что засучивает рукава, хотя руки его были обнажены.

Расправа казалась неминуемой, и мы с Иваном на всякий случай придвинулись поближе к Юрке. Погибать, так уж вместе.

Но тут с передней линейки донеслось распевно и требовательно:

— ...станови-и-ись!

Парень обернулся в досаде, подкрутил кончики своих еще не выросших усов, тихо сказал:

— Ну ладно, шпак... Я тебя запомнил.

Еще он посмотрел внимательно на меня с Иваном: наверное, тоже запоминал.

Зарысил к своей палатке.

А к нам тем временем приближался, заметно приволакивая ногу, дядя в выгоревшей гимнастерке с лейтенантскими погонами. Причем один погон, болтаясь в свободной петельке, свешивался на грудь, а другой, наоборот, за спину. Фуражка с черным околышем была сбита на затылок и немного набекрень, давая выпростаться роскошному чубу.

— Новый набор?

— Да.

— Да... — поморщился дядя. — Как надо отвечать? Надо отвечать: «Так точно!»

— Так точно!

— Ну вот. Здравствуйте, новый набор.

— Здравствуйте...

Дядя опять поморщился.

— Как надо отвечать? Надо отвечать: «Здравия желаем!»

— Здравия желаем!

Нет, дело вовсе не в том, что мы и впрямь оказались такими уж беспросветными жалкими шпаками. Просто в сорок третьем году эти молодеватые ответы «так точно» и «здравия желаем» только входили в всинский обиход. Тогда очень многое только-только входило в обиход.

ход. И не мы одни с трудом привыкали к этому. Вон у самого дяди один погон свесился на грудь, а другой на спину.

— Командир нового набора лейтенант Жежеря,— представился дядя.— Собирайте свои хурды-мурды и марш за мной.

Через минуту мы маршировали вслед за дядей.

Двое парикмахеров сноровисто оболванили нас. Жесткая Юркина шевелюра даже на полу продолжала упрямо дыбиться рядом с моими покорными патлами.

Потом на складе нам всем выдали, примерясь на глазок, серые гимнастерки хэбэ, серые брюки хэбэ, такие же пилотки. Не защитного цвета, а почему-то серые. Выдали ремни с латунными бляхами. Но надевать все это нам не разрешили, велели взять под мышку, построили и опять: «Шагом марш!» Оказалось, опять в баню.

В баню так в баню.

Зато по дороге при свете дня можно было разглядеть то, чего мы не разглядели впотьмах минувшей ночью: куда нас привели и что за город Бийск.

Город Бийск, как выяснилось,— его центр, его улицы, его старинные дома и церкви,— находился далеко отсюда.

Артиллерийская спецшкола была на окраине города, у вокзала, у привокзального рынка. Вокзал маленький, конечная станция ветки, тянущейся от Барнаула. Дальше железной дороги не было. Дальше был Чуйский тракт, убегавший через Бию и Катунь в дремучие горы Алтая, в Монголию, а на пути — Ойрот-Тура, где находилась авиационная спецшкола, в которую я так и не попал.

А та, в которую я попал,— она располагалась двумя огороженными островками. На одном островке стоял учебный корпус, большое бревенчатое здание, за ним сейчас, летом, выстроились ряды палаток. На другом островке были зимние жилые корпуса, тоже бревенчатые, рубленые, а также столовая, лазарет, всякие конюшни и сараи. Над обоими островками шумели черной хвоей вековые сибирские сосны.

Но бани здесь не было.

И нас опять погнали в пристанционную баню, в санпропускник. Опять вонючее жидкое мыло, деревянные шайки, белесый пар, опять пришлось сдавать в прожарку старое свое шмотье. Обратном нам его уже не выдали, сказали, что сдадут на хранение в каптерку,— и слава богу, наконец избавились. Мы с радостью и удовольствием облачились в новенькие гимнастерки, подпоясались ремнями, нахлобучили пилотки, а некоторые предусмотрительные ребята прихватили с собой из дому армейские красные звездочки и тотчас нацепили их на пилотки. Остальным обещали выдать после карантина.

В столовой нас прежде всего научили делить на четверых пайку хлеба. Один отворачивается, другой тычет ножом в куски: «Кому?» «Тебе». — «Кому?» — «Справа». — «Кому?» — «Слева»... Мы ведь еще не знали друг друга по именам, по фамилиям.

Из окошка раздачи повариха плюхала здоровым половником щи в жестяные миски, потом кашу, наливала в кружки суфле — сладковатую мутную жижицу, не знаю из чего, называлось суфле. За поварихой присматривал малый в белом халате, дежурный по кухне.

Пицца была вполне нормальная и не слишком нас отяжелела.

Так что сразу после обеда лейтенант Жежеря повел нас на плац заниматься строевой подготовкой.

Я не буду долго распространяться насчет строевой подготовки, потому что это словами не объяснишь. Кто служил — знает, кто не служил — узнает. В общем, мы учились строиться, равняться, сдавать ряды, поворачиваться, маршировать «левое плечо вперед!», «правое плечо вперед!» и «кругом!». Еще индивидуальные навыки:

подходить к командиру, отдавать честь, обращаться. Но все же некоторые моменты я отмечу.

С чего начинается построение? Оно начинается с того, что новички должны разобраться по росту. Самые рослые, длинные — на правый фланг, правофланговые. Самые невысокие, коротышки — левый фланг. Однако и среди рослых и среди коротышек есть чуть длиннее, чуть короче. Вот и приходится самим мериться друг с другом и, хочешь не хочешь, кому-то уступать, кого-то оттеснять согласно рфсту. И запоминать, кто справа от тебя, кто слева. Чтобы потом, услышав команду, мгновенно находить свое место в строю.

Правофланговым оказался Ваня Подобных, ему не было равных в новом наборе — здоровенный детина. Мы с Юркой Садковым оказались где-то посередке. А последним, замыкающим, стал Миша Войтин.

Миша Войтин был самым маленьким и самым щуплым среди нас. Некоторые даже удивлялись, как это его пропустила медкомиссия, отбравшая молодых в спецшколу, но, может быть, комиссия его просто не заметила, такой он был маленький.

К сожалению, на первой же строевой подготовке у Миши Войтина появился еще один, куда более серьезный недостаток. Он не умел правильно маршировать. То есть когда он ходил обыкновенно, вне строя, то все казалось нормальным. Однако в строю, как только раздавалась команда «шагом марш!», с ним начинало твориться неладное: он выкидывал вперед одновременно правую ногу и правую руку, а затем левую ногу и левую руку. Хотя требовалось наоборот, чтобы правая нога маршировала с левой рукой, а левая нога с правой.

Лейтенант Жежеря заметил это прежде других. Он приказал Мише выйти из строя и лично показал, как нужно делать:

— Гляди... Вот эту с этой, а эту с этой... Ать-два, ать-два. Ну-ка...

Миша Войтин кивнул понимающе, весь напрягся, сосредоточился.

— Шаго-ом марш!..

Правая нога вскинулась вместе с правой рукой, левая с левой. Мы не вытерпели, заржали.

— Отставить! — Лейтенант Жежеря озадаченно сдвинул фуражку на лоб и поскреб затылок. — Может, как-нибудь привязать? Руки привязать, а ноги оставить. Потом обвыкнет... — пробормотал он. — Ну ладно, Войтин, становись пока в строй.

Но и с другими, признаться, в тот первый день случались разные смешные казусы. Со мной тоже.

Командир нового набора прививал нам индивидуальные навыки, учил обращаться.

Я четкой поступью приблизился к нему, замер, вскинул ладонь к пилотке:

— Товарищ Жежеря, разрешите обратиться?

— Какой я тебе Жежеря? — рассердился он. — Что я с тобою — свиной пас?

— Я не пас.

— Отставить! Нужно обращаться: «Товарищ лейтенант...»

Снова подход, ладонь к пилотке:

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?

— Постой, постой!..

Он наклонился ко мне, оглядел мою шею, дотронулся до нее рукой, переложил в другую руку, рассмотрел подробней, сказал:

— Держи.

Я взял в ладонь. Приоткрыл.

В ладони сидела вошь. Небольшая такая вошь, коричневая, с живыми лапками.

Я приуныл, мне стало стыдно. Вот не сумел с первого раза обратиться как подобает к своему командиру. И при этом на шее как ни в чем не бывало сидит вошь. Такое неприятное совпадение... У меня и раньше случались вши, как и у большинства других. Бывало, мама Галя находила их в швах моей исподней рубахи, бывало — вычесывала железной гребенкой из головы. Ничего удивительного. Вши — это от войны. Когда войны нет, они довольно редко встречаются. А как война — тут и они. Сами собой заводятся на людях в военное время. Так что никакого особого позора в этом не было: лови, дави... Но подойти к командиру строевым шагом, отдать честь, а на тебе вошь! Поневоле затоскуешь.

Лейтенант Жежеря, сдвинув фуражку на затылок, тоже смотрел на меня и на весь новый набор с унынием и тоской.

— Ну и пополнение, — сказал он. — Ну и вшивота. Это после двух прожарок... — Надел фуражку прямо, скомандовал: — Р-разойдись! Взять полотенца. Строиться в баню.

В баню так в баню.

Однако приезд нового пополнения оказался не самым главным событием этого дня.

Главное событие произошло вечером после ужина.

Был выпущенный акт. Нам разрешили посмотреть издали.

Перед учебным корпусом выстроилась двумя шеренгами первая батарея — человек сто или полтораста. Бравые ребята, как на подбор, хотя и среди них, конечно, одни были повыше, другие пониже, но все они выглядели молодежато и мужественно — еще бы, десятый класс, семнадцать лет, восемнадцать лет.

Я даже подсчитал в уме, что эти ребята поступили в спецшколу в сороковом году — еще до войны, еще в Москве. Потом началась война, их увезли в Сибирь, сюда, в Бийск. Две военные зимы они учились здесь. Теперь им предстояло разъехаться по артиллерийским училищам — кому в Рязань, кому в Уфу, кому в Кострому, кому в секретное, где учат стрелять из «катюш», — и через несколько месяцев их произведут в младшие лейтенанты, отправят на фронт. А на фронте вот уже сколько времени — грозное затишье...

Эти ребята были еще из до войны. Даже форма на них была довоенная. Темно-зеленые кителя с черными петлицами, на петлицах скрещенные пушки. Синие брюки навывпуск. Фуражки с распяленными тульями, на черных околышах красные звезды. Латунные бляхи ремней надраены так, что слепнешь, пуговицы тоже надраены. Хорошая форма, но старая, довоенная. Уже всю Красную Армию после Сталинграда перевели на новую форму, а вот про спецшколы, наверное, забыли, потому что рассовали их в такие далекие, в такие забытые богом места, что и не сыщешь: Бийск, Тогул, Ойрот-Тура...

Было еще потому особенно заметно, что первая батарея одета в старую, довоенную форму, что перед строем, слегка волнуясь, прохаживался в ожидании начальства ее командир. Молодой, но с коротко подстриженной аккуратной бородкой, похожий на Щорса. На нем был мундир с золотыми катушками на обшлагах и высоким стоячим воротником, с четверкой пуговиц на фалдах, с погонами, гладко и ровно прилипшими к плечам (не то что у нашего Жежери — один свисает на грудь, другой на спину). Жалко, что у этого командира не было ни орденов, ни медалей — только гвардейский знак. Может, еще не воевал? Воевал: прохаживаясь, он мерно помахивает одной рукой и с минуты на минуту подносит ее к глазам — часы, — а другая рука плотно прижата к бедру, будто по вечной команде «смирно»: кожаная рука, протез. Да, вот это командир!

Легкий шорох пронесся вдоль строя.

Старый капельдудкин быстро повернулся к духовому оркестру. Оркестр грянул марш. Смолк, только визгнула запоздало какая-то труба.

— Товарищ начальник спецшколы, первая батарея построена для выпускного акта... Командир батареи гвардии старший лейтенант Васильев.

Это он, который с бородкой и без руки, отдал рапорт.

А принял рапорт человек в очках, очень невзрачного и, безусловно, штатского вида. То есть на нем были гимнастерка, галифе, сапоги, фуражка, но без знаков различия — типичный шпак.

Мы переглянулись удивленно и разочарованно.

Началась церемония.

Командир батареи выкликал по списку фамилии. Строй размыкался, выпуская то одного, то другого. Каждому начальник спецшколы вручал бумагу, выпускное свидетельство, жал руку, тот отдавал честь, поворачивался кругом, становился на свое место. Строй смыкался.

Они выходили один за другим — были среди них сероглазые, черноголазые, веснушчатые, курносые, скуластые, лопоухие, толстогубые, румяные, обыкновенные...

Мы с Юркой Садковым и Ваней Подобных внимательно вглядывались во все эти появляющиеся лица. Мы с нетерпением ожидали, когда же из строя выйдет тот парень, у которого еще не было усов, а кончики уже были, который утром на передней линейке поцапался с нами и обещал расправиться после... Мы очень надеялись, что сейчас и ему вручат выпускную бумагу и он отбудет в Рязань или Кострому, так и не осуществив своих обещаний.

Но этот парень, к сожалению, не появился. Значит, он был не из выпускной батареи. Значит, он оставался тут, в Бийске.

Ведь в этом торжественном акте, который сейчас происходил, был еще один очень важный смысл.

Первая батарея, десятый класс, покидала школу. И тотчас вторая батарея, девятиклассники, заступала на ее место, становилась первой батареей. А третья батарея, восьмой класс, делалась второй батареей. Мы же, новый набор, после карантина, кого не выгонят и кто сам не сбежит, получали право называться третьей батареей. Вот в чем был смысл происходящего.

Те, кто оставался, стояли и смотрели на тех, кто уезжал.

И еще на заборе, огородившем плац, висела босоногая и замурзанная местная ребятня, мальчишки, они проявляли живой интерес и, может быть, даже мечтали, что со временем поступят в артиллерийскую спецшколу и будут вот так же провожать, вот так же уезжать.

А за решеткой забора и у ворот стояли бийские девушки, принарядившиеся к случаю в довоенные мамкины обноски. Я не знаю, зачем они пришли, какой интерес был у них, какие мечты.

Дело шло к концу. Первую батарею распустили собрать вещи и построили снова: теперь у каждого на плече висел нетугой мешок-сидор.

Капельдудкин перевел оркестр в голову колонны, махнул рукой, опять зазвучал марш. Сейчас я объясню, почему в этот памятный вечер оркестр играл так нескладно и фальшиво. Ведь самые лучшие трубачи этого оркестра были тоже из первой батареи, их три года натаскивал старый капельдудкин, учил играть на разных духовых инструментах. Но этих самых лучших трубачей уже не было в оркестре — они перешли в строй, они уезжали. А в оркестре остались неумехи и сачки из младших батарей, которых еще учить и учить, пока

они выучатся играть как следует и тоже уедут. Вот почему во время марша раздавались отчаянные хрипы и визги, от которых капальдудкин морщился и вздрагивал. Только барабан ухал исправно.

Первая батарея миновала ворота и двинулась к вокзалу по Дёповской улице, благо вокзал этот был совсем рядом — что приезжать, что уезжать.

Они уезжали.

Они уехали.

А через несколько дней на фронте кончилось затишье, разразилась гроза.

Фашисты начали наступление — и не где-нибудь, а под Курском, напрямик нацелясь на Москву, опять на Москву. Семь дней они ломались всей силой, семь дней держала оборону Красная Армия. А потом, измотав, обескровив врага, наши перешли в контрнаступление. 5 августа впервые потряс Москву артиллерийский салют в честь победителей этого сражения, в честь освободителей Орла и Белгорода.

23 августа наши войска взяли Харьков. И теперь уже не было сомнений — навсегда, бесповоротно.

Почему-то в моем сознании эти события следовали в прямой связи одно с другим.

Вот, чеканя шаг, уходит за ворота спецшколы первая батарея.

И вот — Харьков наш.

Я, конечно, понимал, что не они, не эта батарея держала оборону под Курском, не эти ребята пошли в контратаку, не они вступили в Харьков.

Они-то, поди, лишь доехать успели до своих артиллерийских училищ, им еще в этих училищах предстояло попотеть — будь здоров.

То есть никакой прямой связи тут не было и быть не могло.

Но она была, ее не могло не быть.

По улицам освобожденного Харькова (я представлял себе) — по Пушкинской, по Сумской — двигались походным маршем артиллерийские колонны, их вели юные командиры, сменившие тех молодых командиров, которые стояли у орудий на Орловско-Курской дуге и падали мертвыми возле этих орудий; а где-нибудь в Рязани или Уфе из ворот артиллерийского училища выходил сомкнутый строй новопеченных младших лейтенантов и направлялся к вокзалу; а в другие ворота или в те же самые входило с песней пополнение — спецы из Бийска, из Тогула, и кто-то из ветеранов, из старожилов, из прибывших сюда месяцем раньше, орал: «Глядите, братцы, новеньких привезли — салаги, ну потеха!»; а в городе Бийске вторая батарея становилась первой батареей и сразу же начинала много о себе почитать; а третья батарея делалась второй, и хотя вторая батарея — это середнячки, ни то ни се, они уже имели право покрикивать на третью: «Эй вы, ушастики, подите-ка сюда!..»; но мы еще даже не были третьей батареей, мы были просто новым набором, мелюзгой, держались оробелой кучкой, как мальки на мелководье, только что проклюнувшиеся из икринок...

А в освобожденном Харькове — по Сумской, по Пушкинской (я представлял себе) — шли походным маршем артиллерийские колонны, их вели юные командиры, которые понюхали сине-пороха в сражении под Курском и не легли там в братские могилы, повезло им, ребятам, да ведь сколько еще воевать.

Так что тут, безусловно, была самая прямая связь — между тем, что нас привезли из Барнаула в Бийск, обозвали шпаками, остригли наголо, трижды сводили в баню, одели, обули, накормили, и тем, что на фронте кончилось затишье.

3

— Второе отделение, за-апрягайся!..— скомандовал лейтенант Жежеря.

Мы, второе отделение, запряглись. А первое отделение, утираясь взмокшими пилотками, надсадно дыша, отправилось в общий строй.

— Взвод, шаго-ом марш!

Ать-два.

Солнце палило, зависнув прямо над головой и вроде бы не имея никакого намерения уклониться в сторону. Ни хмарки не было в синем небе. Проселочная дорога, расчерченная закаменевшими от жары колеями, вся покрыта сухим глинистым порошком — от каждого шага порошок взмывается клубами, едко щиплет глаза, пробками забивает ноздри. Добро хоть наша упряжка двигалась впереди взвода и мы дышали той пылью, которую поднимали собственными подошвами. А остальным, тем, которые маршировали следом, им приходилось пережевывать и свою пыль и нашу. Зато они шагали налегке.

Ничего, вот дотянем километр — это, надо полагать, у той рошцы — и раздастся команда: «Третье отделение, запряга-айсь!»

Мы везли пушку.

Хотя мы и были еще в карантине, новым набором, вшивотой, однако начальство решило, что пора приобщать нас не только к шагистике, но и к главному — к артиллерийской профессии, ради которой нас и взяли в спецшколу.

И вот мы двинулись на учение.

Вообще, как нам было известно, в обычных условиях пушки на себе таскать не положено. Для этого существует механическая либо конная тяга. Но механической тяги в нашей спецшколе не было, даже какого-нибудь прохуdivшегося грузовичка не было. А всех лошадей, которые раньше имелись, недавно особым распоряжением мобилизовали на фронт. И никакой другой тяги не осталось, кроме своей собственной, — впрягайся и тяни да гляди не пикни от натуги.

И мы тянули, спереди задрав лафет, а сзади подталкивая щит.

То, что лошадей не было, нас, конечно, огорчало, хотя и не все из нас имели привычку обращаться с лошадьми.

Но гораздо больше огорчало нас то, что пушка, которую мы волокли на себе, была ненастоящей.

Точней, это была семидесятишестимиллиметровая дивизионная пушка образца девятьсот второго дробь тридцатого года. И когда-то она была настоящей. Вероятно, она даже участвовала в боях, и ее заряжали боевыми зарядами, и она стреляла по врагу.

Но потом эту пушку списали, предназначили для учебных целей, а чтоб кому-нибудь не пришло на ум снова выстрелить из нее, в казенной части и в стволе просверлили дыры. Да и снарядов к этой пушке все равно не было, так что стрелять было нечем.

Вот это нас и удручало и тяготило гораздо более, чем сама тяжесть орудия. Надоели детские игрушки.

На шестом километре от города лейтенант Жежеря выбрал огневую позицию.

Мы развернули пушку стволом вперед и уселись на траву слушать первоначальные объяснения.

Лейтенант Жежеря свое дело знал. Он лишь несколько месяцев как по ранению оказался в Бийске, где его подлатали в госпитале и направили взводным в спецшколу. Большинство командиров, как выяснилось вскоре, именно таким образом оказывались в нашей спецшколе и задерживались тут дольше либо короче, в зависимости от

состояния здоровья после ранения. Но артиллерийское дело лейтенант Жежеря знал хорошо, знал не понаслышке, а по боевому опыту.

И мы, хоть и новый набор, хоть и вшивота, оказались в учении не последними придурками — мы схватывали на лету его объяснения, редко переспрашивали и вот уже сами, когда он указывал пальцем, прытко вскакивали с места и бойко, без запинки отвечали на заданный вопрос.

Лейтенант был доволен. И на исходе второго часа, оправив портузю, зычно скомандовал:

— Расче-ет, к бою!

Юрка Садков приник глазом к окуляру панорамы, Ваня Подобных ухватился за правило лафета. Я стягивал чехол с замковой части.

Лейтенант Жежеря, вынув из кармана галифе большие «Кировские» часы, следил за секундной стрелкой.

Целью, которую он выбрал, был едва заметный овражек на пригорке, отороченный серой щеточкой полыни, сразу и не угадаешь, что овражек. Но лейтенант нам объяснил, что разведка доложила точно: овражек, а в том овражке — пулеметное гнездо противника. Нужно подавить гнездо. Но прямой наводкой его не подавишь. И командир указал точку наводки — одиноко стоящее сухое дерево в стороне от овражка. Его-то и следовало держать в перекрестье прицела, чтобы снаряд угодил прямо в овражек.

— Отражатель ноль... Угломер тридцать ноль-ноль... Прицел двадцать шесть...

Юрка Садков, не отрываясь от окуляра, самозабвенно вращал маховик, будто всю свою жизнь только этим и занимался.

Ствол орудия, чуткий как хобот, приподнялся немного, понюхал воздух, двинулся влево.

— Гранатой, взрыватель осколочный!.. — командовал лейтенант Жежеря.

Заряжающий, которого я еще не знал по имени, бросился ко мне от воображаемого зарядного ящика, неся на руках, как дитя, воображаемый снаряд.

Я нажал рукоять, потянул на себя затвор — сверкнула ребристая нарезка поршня, неуютным холодком повеяло из патронника. Там. Заперто. Готово.

— Готово!

— Ор-р-рудие...

Лейтенант Жежеря поднес к глазам бинокль, поднял руку.

Ну, вот сейчас. Сейчас мы дадим жару тем, которые в овражке, с пулеметом.

— Отставить! — приказывает лейтенант.

Он терпеливо объясняет нам, что так, а что не так, и еще приводит в доказательство свои «Кировские» на цепочке: медленно, хлопцы, медленно...

Расчет меняется. А те не лучше нас. К орудию спешит третий расчет. Потом снова мы.

— Левее ноль-ноль восемь... Гранатой... Отставить!

В душе моей понемногу закипает злость, хотя на командира сердиться и не положено. Ведь если бы не эти бесконечные «отставить», я уверен, там, на пригорке, где серая щеточка полыни хитро маскирует овражек, левее одиноко стоящего сухого дерева, — там, я уверен, сейчас, после команды «огонь», рвануло бы огнем и дымом, взметнулось бы пыльный столб, взлетел бы вверх тормашками фашистский пулемет, все, что от него осталось...

Я совершенно в этом уверен.

В пылу учения мы совсем позабыли, что наша пушка неспособ-

на стрелять, у нее дыры в стволе и в казенной части. У нас нет снарядов в зарядном ящике и самого зарядного ящика тоже нет. А там, в овражке, левее одиноко и печально стоящего сухого дерева, нет пулеметного гнезда. Ничего нет. Учение.

— Отставить! — командует лейтенант Жежеря и весьма озабоченно смотрит на свои «Кировские». Кажется, конец и сегодняшнему нашему учению.

Скрюченным пальцем — не шибко по-военному — наш командир поманил к себе Юрку Садкова и отошел с ним в сторонку. Вообще он с первых же дней после прибытия нового набора выделял Юрку: ставил его в пример другим на строевой подготовке, а сегодня поставил наводчиком в орудийном расчете, а сейчас вот подозвал к себе, отошел с ним в сторонку и затеял какой-то секретный разговор... Как бы наш Юрка Садков не зазнался от всех этих высоких отличий.

Впоследствии Юрка пересказал мне этот секретный разговор между ним и лейтенантом Жежерей. Не потому пересказал, что не умел держать секретов, а потому что пришлось ему кое в чем оправдываться передо мной, перед Иваном Подобных — перед старыми своими барнаульскими друзьями, которые вместе кидали жребий. Так вот лейтенант Жежеря сказал ему:

— Послушай, Садков. Я буду говорить с тобой как артиллерист с артиллеристом. Тут, понимаешь ли, неподалеку отсюда живет одна моя знакомая, ну, дамка одна. Я обещался к ней сегодня зайти. А на кой мне ляд с волокушей моей, — он похлопал себя по раненой ноге, — шесть километров топать до нашего расположения, а потом еще шесть обратно, до расположения этой, понимаешь ли, дамки... Вот какие дела, Садков. Даю тебе задание: сейчас я уйду, а ты построишь взвод и отведешь его до спецшколы. И пушку, конечно. А там объяснишь, если надо, что лейтенант Жежеря пошел делать укол. Я после госпиталя еще уколы делаю... Но чтоб, Садков, до самого расположения — походным строем. И чтобы с песней! Задача ясна, Садков?

— Так точно! — ответил Юрка, вытянувшись в струнку и вскинув ладонь к пилотке. — Есть, товарищ лейтенант!

— Выполняйте, — уже погромче, чтобы мы все слышали, приказал лейтенант Жежеря.

И заковылял, припадая на раненую ногу, в сторону одиноко и печально стоящего сухого дерева.

Юрка выждал, куда он удалится на почтительное расстояние, а потом, солидно откашлявшись, объявил:

— Мне приказано вести взвод в расположение... Ста-ановись!

Ребята не очень охотно и не слишком поспешая стали разбираться по своим местам. Все-таки многим не понравилось, что Юрку Садкова вдруг ни с того ни с сего назначили командовать. Кто он такой? Почему его? Ведь он, как и все остальные, без году неделя в спецшколе, новый набор, вшивота. А командует... Не иначе зазнался.

Юрка Садков понял, что ребятам не очень понравилось это его неожиданное возвышение, и, чтобы сгладить недовольство, чтобы никто не подумал, будто он зазнался, сказал, когда все построились:

— Можно идти не в ногу. Дорога трудная, далеко... А там, возле спецшколы, пойдем в ногу. Ладно?

— Ладно... — согласились мы. Простили Юрке его зазнайство.

Но тут местные ребята, бийчане, которым подвалило счастье, что именно в Бийск, а не в какой-нибудь другой укромный городишко эвакуировали московскую спецшколу и они прямо тут в нее поступили, — эти ребята сказали, что есть, оказывается, другая дорога отсюда до расположения, гораздо короче, не шесть километров, а три с половиной. Они знали об этом и на пути сюда, но не смели соваться

с непрошеными советами к лейтенанту Жежере — может, он нарочно, для походной закалки, выбрал дорогу подлиннее. А к Юрке Садкову они тут же, конечно, сунулись:

— Не туда, а вот туда. Под горку... Мимо совхоза «Витамин». Через час дома будем!

Юрка для важности сделал вид, что размышляет, но согласился:

— Ближе — это хорошо. Через час — это хорошо, раньше к обеду успеем... Первое отделение, за-апрягайся! — приказал он, исправно подражая лейтенанту Жежере.

Ишь ты какой. Шибко военный.

Первое отделение запряглось. Остальные построились. Шагом марш. Ать-два.

Орудие само катилось под горку, его уже не толкали натужно, а едва удерживали за лафет. И пеший ход под эту горку после серьезно-го учения, ближе к обеду был легок и отраден.

К тому же в небе появились пышные кучевые облака и солнце немного остудилось за ними.

По обе стороны дороги, которой мы двигались, стеной стояли подсолнухи, обратив свои забавные лики, как и положено, в одну сторону, к солнцу, будто солнце, их высокое начальство, скомандовало: «Смирно, равнение на меня!» — и они целый день стояли смирно, провожая глазами начальство. Но подсолнухи эти были еще незрелые, так, одни цветы, в них еще не вызрели семечки, и мы совершенно спокойно прошли мимо них.

За подсолнухами начались помидоры. Убегали вдаль аккуратные рядки остролистных пыльных кустиков. Огромное поле было сплошь до самого горизонта разлиновано этими рядками. Наверное, это были владения совхоза «Витамин», про который говорили бийские ребята. Однако даже отсюда, с дороги, было видно, что под острыми листочками висят совершенно крохотные помидоринки — не больше ореха, вроде виноградин, зеленые и, поди, такие кислые, что от одного их вида терпко сводило скулы. Мы протопали мимо.

Но дальше движение замедлилось. Точней, оно прекратилось. Все остановились — и второе отделение, которое волокло пушку, сменив первое, и третье, которому еще предстояла эта работа, короче говоря, все остановились, строй нарушился, сломался, перестал быть строем.

— Отставить! — скомандовал Юрка Садков, хотя не всем еще было понятно, что именно следует отставить.— Продолжать движение! Взво-од...

Однако эта команда возымела совершенно обратное действие.

Весь взвод (не исключая меня) ринулся, как саранча, на поле.

Это была огуречная плантация. Тут росли огурцы. И у самой обочины, и дальше, и еще дальше — повсюду были огурцы. Одни огурцы. Целое поле огурцов без конца и края. Ровное место, сплошь покрытое огурцами. Лишь в отдалении посреди огурцов стояла какая-то утлая сараюшка.

И это были настоящие огурцы, готовые к употреблению. То есть они были еще не очень большие, а так, с ладонь, но ведь всем известно, что именно вот такие молодые огурцы длиною с ладонь всего свежее и всего вкуснее. А я, например, не ел и даже не видел огурцов с довоенных времен.

Вот они: под широкими шершавыми листьями, подле ежастых стеблей, ладные, заостренные с концов, пупырчатые, с оранжевыми хвостиками,— затаились, спрятались, как прячутся у берега реки под листьями кувшинок хитрые и юркие окуньки...

Началась ловля. Началось поедание.

Мы на карачках расплозались по бахче. Хрумкали на зубах огурцы.

Тут, как я полагаю, было немало уважительных причин.

Во-первых, все мы за эти годы оголодали настолько, что невозможно было насытить нас за короткое время — вот тебе щи да каша, завтра опять, — для этого тоже понадобились бы целые годы нормальной жратвы, чтобы брюхо забыло чувство постоянного неутолимого голода и успокоилось. Во-вторых, был предобеденный час, завтрак уже позабыт, а между завтраком и обедом мы отмахали по жаре десяток километров и еще волокни на себе столудовую пушку — тут и лошади проголодались бы, не то что человеки. Но кроме всего прочего, нас обужал охотничий азарт, который даже в мирное время заставляет вполне накормленных и сытых пацанов лазать через заборы по чужим садам и огородам, объедаться гороховыми стручками, околачивать незрелые груши.

Мы жадно поедали огурцы. Срывали, отирали рукавами горькую пыльцу, вонзали зубы в прохладное нутро, хрустели и чавкали. Жалко, что соли не было. Без соли огурец теряет половину своего вкуса. Кабы знать заранее, можно было бы захватить из столовой в тряпице крупитчатой серой соли. А без соли много ли съешь?.. Вон уж некоторые из догадливых ребят прекратили еду и стали набивать огурцами карманы, а другие, расстегнув воротники, заполняли огурцами пазухи.

— Полундра!..

Мы вскинули головы.

От сараюшки, что на самом краю бахчи, стремительно приближалась опасность, которой мы заранее не предусмотрели и только сейчас заметили.

Опасность была серьезной.

Дедуля-сторож бежал на нас с вилами. Бежал он довольно прытко, а вилы его блестели на солнце отточенными зубьями.

— Сторож!.. Атас, хлопцы!

Хлопцы бросились врассыпную (не исключая меня). Сработала привычка, знакомая всем, кто лазал по чужим заборам, рвал стручки и околачивал груши. Врассыпную! Да побыстрей. Да не оглядывайся...

— Стой!

Меня ухватила за шиворот цепкая рука.

Это был Юрка Садков. Глаза его тоже были круглы от испуга, но испуг был другой, еще хуже.

— Стой, говорю! — выдохнул он мне в лицо.

— Что?

— Пушка...

На дороге, на краю бахчи сиротливо и обреченно стояла наша царь-пушка образца девятьсот второго дробь тридцатого года. Мы как-то позабыли о ней, увлеченные охотой за огурцами. Мы забыли о ней, спасаясь бегством.

— Стой! — Юрка хватал за что попало удирающих хлопцев. — Пушка...

Ему удалось задержать еще кое-кого. Мы побежали обратно к орудию. Рядом со мною пыхтел, работая локтями, Ваня Подобных.

Все это произошло в несколько мгновений. Но мгновения были проиграны. Это стало ясно, когда мы достигли пушки.

Дедуля уже находился в непосредственной близости, в сотне шагов. Он, прибодренный всеобщим бегством, продолжал стремительную атаку, и страшные зубья вил были нацелены на нас.

Теперь, с этой тяжелой пушкой, не оставалось надежды удрать.

Мы стояли, надрывно дыша.

— Ор-р-рудие, к бою! — закричал вдруг Юрка Садков.

Мы кинулись к лафету, еще не сообразив что к чему, а просто повинуюсь решительной и отчаянной команде.

Орудие развернулось хоботом на огуречное поле.

— Зар-ряжай! Прицел восемнадцать, буссоль тридцать! — орал не своим голосом Юрка.

Дед запнулся на бегу, остановился, замер.

— Угломер шестьдесят два, отражатель ноль — пр-рямой наводкой!..

Мы старательно и вразнобой выполняли эти бессмысленные команды, вертели все колеса и барабаны, какие были на замке, и пушечный ствол ошалело нюхал воздух.

Я выглянул из-за щита.

Сторож бросил вилы, повернулся и побежал вспять с той же прытью, с какой только что вел преследование.

— По движущейся цели! — войдя в раж, убедившись, что обстановка изменилась, выкрикивал дурацкие команды Юрка Садков. — Упреждение ноль!.. Бронебойным!.. Кар-ртечью!..

Дедуля шмякнулся наземь, накрыл голову подолом фуфайки, пополз по-пластунски, хоронясь в приземистой огуречной ботве.

Ведь он не знал, что пушка у нас ненастоящая, дырчатая, из которой стрелять невозможно. Что никаких снарядов у нас нету. И что стрелять мы все равно покуда не умеем. Ничего этого он, конечно, не знал и потому напугался до смерти. Вот он опять вскочил, попетлял, как заяц, миновал свою сараюшку и скрылся из виду.

Кто-то пронзительно свистнул вослед, кто-то хохотнул, кто-то подхватил этот смех, и вот уже все мы, сколько было нас возле пушки, залились дружным хохотом. Теперь возвращались и те ребята, которые успели дать деру подальше, они незаметно втирались в нашу кучу и тоже как ни в чем не бывало хохотали взахлеб. Ну и ну. Вот так мы. Дали жару. Нас соплей не перешибешь. А Юрка-то, Юрка — молодец, а?..

Юрка Садков хохотал вместе со всеми.

Но постепенно этот смех умолк, сменившись неловким и тягостным молчанием. Избегали смотреть друг другу в глаза. Некоторые стали выворачивать карманы да пазухи, кидать огурцы обратно в ботву. Старательно отряхали от земли колени и задницы.

Страх улетучился, веселье иссякло, остался стыд. Ведь мы понимали, что дедуля неспроста кинулся на нас со своими вилами. Он бдительно сторожил эти совхозные огурцы, он отвечал за них головой по законам военного времени, может быть, они были считанными, эти огурцы, все до единого, а теперь наведут пересчет... Да и в огурцах ли дело? Дело совсем не в огурцах.

— Ста-но-вись! — глухо скомандовал Юрка, тоже пряча глаза.

Но никто не спешил становиться, никто не трогался с места.

Только Ваня Подобных тронулся с места.

Он подошел к Юрке и, не сказав ни слова, выбросил вперед свой увесистый кулак.

Юрка упал. Ваня так же молча повернулся и отошел. Юрка поднялся. Сплюнул, кровь из разбитых десен вмиг загустела темным кругляшом в пыли.

— Шта-но-вишь! — повторил команду Юрка Садков.

Мы построились.

— Третье отделение, жа-апрягайшь!

Третье отделение запряглось.

— Шагом марш!..

Ать-два.

Солнце исчезло совсем. Кучевые облака, сомкнувшись, образовали тяжелые сивые тучи, и можно было предположить, что в конце пути нас обольет дождь.

Я размышляла по пути о случившемся, и мои размышления были горьки, как вкус огуречной кожуры, оставшийся на языке.

За все случившееся, по моим прикидкам, если об этом узнают, нам полагался бы штрафной батальон. Не отчисление из спецшколы, не гауптвахта, не наряд вне очереди, а именно штрафной батальон. Обворовали государственный совхоз — ать. Позорно бежали, бросив оружие, — два. Запугали до полусмерти дедулю — три. Подрались с командиром, хоть и липовым, хоть и своим же дружкой Юркой Садковым, — четыре. И если никто об этом не доложит, не наступит, скроет случившееся от начальства — вот это и будет самое пять.

Штрафной батальон, никак не меньше.

Однако до штрафного батальона мы еще тоже, наверное, не доросли.

А вон и ворота спецшколы.

— Пешню! — скомандовал Юрка. — Жа-апевай!..

4

«Поймите одно: что бы ни случилось, а первого сентября — за парты. Иначе не бывает...»

Кажется, так говорил мой несчастный погибший друг, ленинградец, круглый отличник Игорь Пиотровский.

Он оказался прав.

1 сентября мы сели за парты. Как в обыкновенной школе. Правда, тут в учебных помещениях были не парты, а столы, но и они были поверху крашены в черный цвет, а с боков в рыжий, с дырками для чернильниц — те же парты. На стене висела обычная классная доска. Через каждые сорок пять минут звенели обычные школьные звонки.

Все обычное. Разница лишь в том, что на занятия нас водили строем, через Дёповскую улицу, с одного соснового островка на другой. Палаточный лагерь к этому времени свернули, мы поселились в бревенчатых казарменных корпусах. Там стояли двухэтажные железные кровати, кому повезло — оказались на втором этаже, остальные на первом, в жизни не бывает одинакового для всех везенья.

Нас водили строем на занятия и обратно дважды в день. С утра были уроки, пять или шесть, и после обеда — в учебный корпус, самоподготовка, сиди сиднем, можешь ковырять в носу, можешь рисовать чертиков, можешь просто мечтать об ужине, главное, сиди смиренно.

Конечно, здесь многое отличалось от обычной школы: побудка, зарядка, военные занятия, уборка помещений без помощи уборщиц, учебная тревога, дневальство, вечерняя поверка, отбой — ничего такого в обыкновенной школе не бывает, потому и сама школа называется специальной. Но все же здесь еще во многом сквозил и ощущался душок обыкновенной школы, прямо скажем — невоенный душок.

Взять хотя бы учебную программу: алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, химия — это имеет самое непосредственное отношение к артиллерийской профессии, без этого не постреляешь. Даже география, даже история — тут еще можно найти применение и смысл. Но — литература! «Благословенна будь царица киргиз-кайсацкия орды...» Притом наизусть. А зачем?

Или еще одна нелепость — иностранные языки. Я и в обычной

школе и в специальной учил немецкий. Программа тут была составлена, в общем, правильно: «Хенде-хох!.. Зинд зи оберст-лётнант?.. Во штеет йетцт ир фортрупп?.. Вифиль гешютце хабен зи?» Самый что ни на есть подходящий разговорчик. Но те ребята, которые в обычной школе учили английский язык или французский,— они и здесь занимались этими бесполезными для военного времени языками. Как будет по-английски «хенде-хох»? Наверняка иначе. И всякий ли немецкий пленный подполковник настолько свободно владеет французским языком, что сможет на допросе толково ответить, где в данный момент находится его часть и сколько при ней орудий?

Этот занудный школьный душок, я думаю, никак не выветривался по той причине, что спецшколы — и артиллерийские и авиационные — продолжали оставаться в ведении Наркомпроса. Их причислили к Наркомпросу еще до войны, а потом, когда началась война, забыли передать Наркомату обороны, Ставке Верховного Главнокомандования. Просто забыли, как забыли ввести для нас новую форму с погонами. Забыли, потому что мы оказались в такой жуткой глухомани: Бийск, Тогул, Ойрот-Тура...

По этой же причине начальником нашей артиллерийской спецшколы был совсем не военный человек, типичный шпак в огромных очках — Николай Маркелович Псарев. Ни для кого не было секретом (он и сам не делал из этого секрета), что, прежде чем стать начальником артиллерийской спецшколы, он до войны работал в колонии малолетних преступников, может быть той самой знаменитой харьковской коммуны, где перевоспитывали уркаганов, учили их делать фотоаппараты,— я не решался его спросить, где именно он работал. Так что мои детские страхи попасть в эту колонию частично оправдались.

Николай Маркелович Псарев был опытным воспитателем — ни одного старшину у нас не боялись так, как боялись Псарева. Но кроме того, он был очень умелым хозяйственником. Поскольку мы обрелись в тылу и о нас все забыли, даже те скудные продовольственные фонды, которые нам полагались, было трудно добыть в натуре. А Николай Маркелович добывал. Еще он наладил связи с бийскими заводами, где не хватало рабочей силы, и мы по ночам всей спецшколой вкалывали на этих заводах. Мы работали на мясокомбинате — и в столовых котлах появлялись жирные говяжьи кости. Мы разгружали платформы со свеклой на подъездных путях сахарозавода — и потом целый месяц ели духмяную свекольную парёнку. Катали бочки на нефтебазе, а они, эти скользкие черные бочки, вдруг непостижимым способом оборачивались сытной перловкой... Правда, после таких ночей дневальные на побудке срывали голоса и чуть ли не за ноги стаскивали нас с кроватей, а на уроках мы клевали носами, нечаянно всхрапывали, но снабжение школы продовольствием благодаря Николаю Маркеловичу было надежным.

Впоследствии, когда о нас наконец-то вспомнили — когда мы перестали быть потешным войском Наркомпроса, а сделались настоящими военными людьми,— Николая Маркеловича Псарева отозвали на прежнюю работу, к уркаганам. Вместо него начальником училища стал заслуженный боевой командир. Но это случилось позднее.

А пока были и другие острые затруднения с командным составом. На всю спецшколу — неполный десяток кадровых военных, неполный еще и потому, что все они без исключения были покалечены, изранены на фронте, у одного не было руки, как у гвардии старшего лейтенанта Васильева, у другого нога-волокуша, у третьего черная повязка на глазу, а у четвертого перебит позвоночник и он ходит в гипсовом корсете, не сгибаясь, не поворачивая шеи. Поэтому на

Должности командиров иногда назначали обыкновенных преподавателей, учителей. Людей невоенных или полувоенных.

И когда мы сделали третью батарею — а это произошло тоже 1 сентября, — нашим командиром батареи оказался преподаватель истории капитан Евграфов. Прозвище — Граф.

Александр Павлович Евграфов. Довольно-таки пожилой, но хорошо сохранившийся мужчина. Будь он менее пожилым, его бы отправили на фронт, не держали тут. Просто он хорошо сохранился. Он называл себя капитаном, носил капитанские погоны. Однако ходили слухи, что у него на это не было законного права, нет у него такого звания. Что в армии он никогда не служил.

Лично я в эти слухи не верил. Как это не служил в армии, если все здоровые мужчины раньше или позже, но обязаны служить в армии? И если бы он не служил в армии, откуда бы взялась у него такая молодцеватая выправка — подбородок вздернут, грудь колесом, кисть руки привычно, с изысканной небрежностью касается козырька фуражки?.. А команды? Разве мог бы обыкновенный учитель истории, никогда прежде не служивший в армии, подавать команды таким уверенным, зычным, пронзительным тенорком: «Бат-гарея, смирно! Равнение на середину! Товарищи оф-фицеры!..»

«Офицеры». Это слово он произносил с особенным вкусом и удовольствием. А ведь само это слово появилось в обиходе совсем недавно. Я даже не знаю, был ли в газетах напечатан какой-нибудь указ, чтобы впредь командиров Красной Армии называть офицерами. Сам я такого указа не читал, хотя и внимательно просматривал газеты в нашей читалке. Может быть, я все-таки пропустил один номер, а там и было. Но теперь везде и повсюду командиров величали офицерами. И на вечерней поверке, когда взводам отдавалась команда «смирно», следовало еще особое обращение к командирам взводов: «Товарищи офицеры!»

Слово это было непривычно слуху. Оно удивляло, даже пугало. Но, чего там скрывать, нравилось. Ведь и нам в недалеком будущем предстояло стать командирами, значит, и к нам будут обращаться с этими лестными и звучными словами: «Товарищи офицеры!»

Тем не менее некоторым офицерам это не сразу пришлось по душе.

Однажды наш командир взвода лейтенант Жежеря явился в расположение чуть навеселе. То есть от него пахло водкой и он прихлопывал не только раненую ногу, но и другую тоже. Капитан Евграфов сдержанно и тихо посоветовал ему пойти отоспаться как следует — очень тихо и сдержанно посоветовал, но некоторые из нас при этом были рядом, — еще добавил, что офицеру негоже являться в таком виде и что он говорит это как офицер офицеру.

Лейтенант Жежеря ушел, но к вечеру явился снова. Кажется, он пренебрег советом Графа, не отоспался как следует, а, наоборот, еще добавил с обиды. Правда, в расположение он не торкнулся, а лишь встал за решетчатым забором и с улицы сквозь решетку произнес речь:

— Ах-вицеры... видали мы таких ахвицеров! Видали мы таких капитанов... штабс-капитанов! Видали мы вас, голубчиков...

Уж не знаю, каких голубчиков и штабс-капитанов видал наш командир взвода, может, ему причудилось, но, слава богу, сам капитан Евграфов этой речи не слышал, а мы никому не сказали. Молчок. Обошлось.

Александр Павлович преподавал историю. Излагал ее он очень интересно, гораздо занятней, чем в учебнике. Особенно увлекался он, говоря о Наполеоне, о Бонапарте. Мы уже прошли Наполеона, покон-

чили с этим, двинулись дальше, вступили в Священный союз, но Александр Павлович то и дело возвращался к Наполеону, рассказывал о нем все новые чудеса, и было нетрудно догадаться, что Бонапарт для него — самая любимая и самая великая личность в истории. Единственное, за что Граф бранил Наполеона, так это за его поход на Россию. Тут Александр Павлович признавал его роковую ошибку. Но потом, в течение Ста дней, он опять был целиком и полностью на стороне Наполеона, а вычерчивая на доске диспозицию при Ватерлоо, сердито и ожесточенно стучал мелом по тому флангу, куда в решающий момент должен был вонзиться со своей конницей маршал Груши, да припоздал, черт его дерит...

И тут вдруг поднял руку Ваня Подобных. Мы все удивились, оторопели. Наш Ваня Подобных никогда не лез с протянутой рукой. Он был настолько молчалив, что даже когда его вызывали отвечать урок, то каждое слово из него приходилось вытягивать клещами. А тут вдруг сам поднял руку, сам поднялся с места:

— Я так понимаю... Бонапарт был предатель. Революция его человеком сделала, генералом сделала. А он ее предал. Объявился императором... Надо было ему за это башку отрубить, как Людовику. Тогда бы он и не совершал роковых ошибок. Я так понимаю.— И сел.

— Встать! — взвизгнул Граф. Лицо его пылало гневом.— Два наряда вне очереди! На кухню!.. А теперь садитесь, Подобных.

Ну, два наряда вне очереди — это еще не самая страшная кара. Тем более на кухне, где можно кой-чем и поживиться, скребя котлы. Это не без башки остаться. Не двойку заполучить в журнал, где у Ивана и так уже красовалась двойка.

Вот ведь какая история. Вот ведь как все усложняется, если учитель истории — он же и командир батареи.

Но нам еще повезло. У нас хоть и командир батареи и командир взвода были мужчинами. А в некоторых взводах из-за нехватки кадровых военных взводными числились женщины. Например, командиром соседнего взвода назначили француженку Лурье, которая преподавала французский язык. Она и команды не умела подать толком, приказывала: «Повернитесь направо, пожалуйста... Идите вперед шагом марш». Ребята из этого взвода подыхали со смеху.

Между прочим, француженка Лурье (она тоже была не первой молодости) иногда навевывалась в гости к Графу. Сама она жила где-то в городе, снимала там комнату, а капитан Евграфов жил вместе с нами в казарме — у него была конурка на верхнем этаже, так что при нас он находился безотлучно. И мы находились безотлучно при нем.

Так вот, когда француженка Лурье навевывалась в гости к нашему капитану, дневальные от скуки подслушивали под дверь, а некоторые умудрялись заглянуть в каморку через замочную скважину, — так вот, они божились, эти дневальные, что капитан Евграфов вел беседы с француженкой Лурье на французском языке: «Марына лён жнэ, пан теля пасэ. Сэмэн джжу прэ, аж уприв».

Начал я, как и положено, с начальства. Теперь о рядовых, которые стояли в одном ряду со мной.

В младшей батарее было сто двадцать человек. Самыми заметными среди них были москвичи — они приехали сюда, в Бийск, прямо из Москвы, с московскими документами, где подтверждалось, что они там, в Москве, прошли все необходимые комиссии, миновали все препоны, получили на руки приказ о зачислении — и вот явились сюда полноправными хозяевами, что, в общем, было справедливо: ведь даже в Бийске наша спецшкола продолжала называться Московской.

Однако среди москвичей были свои особые различия. Они, моск-

вичи, даже именовали себя по-разному: мы таганские, а вы бутырские, эти даниловские, а те лефортовские, эти вот марьинские, ну а про тех вон даже сказать нельзя, что москвичи, — они ведь раменские...

Я издавна представлял себе, как огромна Москва, но только тут осознал ее непостижимые масштабы: приехали люди из одного города, а дружат по землячествам, по уделам и дерутся меж собой удел на удел, стена на стену. Одних лишь раменских, если такое случалось, лупили сообща. А марьинских избегали трогать.

Но вкупе москвичи держали себя чуть высокомерно — мы не обижались, понимали, что у них есть на то полное право: они москвичи и спецшкола Московская, а большинство из нас сроду не видало Москвы.

Самыми незаметными и тихими в батарее были караси — так окрестили местных ребят, бийчан. Хотя спецшкола и обосновалась в родном их Бийске, но именно им оказалось трудней всего сюда поступить. Едва ли не все мальчишки Бийска, окончившие седьмые классы, подали заявления, чтобы их приняли в Московскую артиллерийскую спецшколу. Поэтому их просеивали-провеивали с таким тщанием, отбирали с такой придирчивостью, что лишь немногим из них выпал счастливый жребий. Зато и результаты вскоре обнаружались со всей наглядностью. Караси учились прилежней и лучше всех. Они первыми решали самые сложные задачи по математике, писали самые безошибочные сочинения, слово в слово затверживали целые страницы учебников. Преподаватели только руками разводили — и выставляли в журнал пятерки. Мало того. На стрельбах бийчане укладывали пули прямо в яблочко, они раньше всех прибегали к финишу на пятикилометровке, они безропотней, чем другие, порожнили выгребные ямы, но при этом они умудрялись оставаться самыми тихими и незаметными в батарее. И по-прежнему их называли карасями — из тутошнего, дескать, омутка.

Еще были разные. Это те, которые не из Москвы и не из Бийска, а отовсюду. Из Рязани, из Казани, из Омска, из Томска, из Барнаула, из Янаула, из Ташкента, из Чимкента, из Беломорска, Белорецка и Белозерска.

Среди «разных» надо особо отметить ивановских ребят. Они приехали сюда из города Иванова, а там, в Иванове, они учились в одной школе. Школа была тоже специальная — интернациональная. В ней воспитывались иностранные ребята, дети революционеров-коминтерновцев. Правда, Коминтерн недавно был распущен, но революционеры остались — и дети у них остались. Их отцы и матери сидели в фашистских тюрьмах — не только в Германии, но везде, где хозяйничали фашисты, — скрывались в глубоком подполье, дожидаясь сигнала и часа, храбро партизанили, выполняли особые задания на линии фронта, за линией фронта. Обо всем этом ивановские ребята, конечно, не шибко распространялись. Но когда с такими ребятами трижды в день делишь начетверо одну пайку сырого хлеба, когда еженощно храпишь в два голоса на кровати-биplane, когда вместе выволакиваешь из непролазной грязи застрявшую пушку — тут поневоле и постепенно кое-что выясняется. А мне ведь, честно говоря, такие вещи были гораздо понятней, чем иным, у меня был на этот счет свой собственный сокровенный и горький опыт.

Одного из ивановских ребят звали Ким Форкаш. У него были жесткие, вороньего отлива волосы, глаза узкими щелками. Он был корейцем. Отца его казнили японцы еще в тридцать седьмом году, мать замучили, а самого Кима хорошие люди переправили через Маньчжурию в Советский Союз, и здесь его усыновил венгр по фамилии Форкаш, человек одинокий, ему хотелось иметь сына, воспитывать его.

Только начал воспитывать — грянула война, Форкаш получил партийное задание, а Кима устроил в Ивановскую интернациональную школу, там Ким Форкаш окончил седьмой класс и самостоятельно решил: артиллерия. Отчим изредка присылал ему письма в Бийск — они были не на венгерском, не на корейском, а на русском языке. Ким их показывал мне.

— Он где сейчас, на фронте? — спросил я.

— Нет.

— Неужели — там... в Венгрии?

— Нет. Пока нет, — уточнил Ким. — Я думаю, он где-нибудь поблизости, в Сибири. Наверное, он вправляет мозги своим братьям-мадьярам, которых занесло на Дон. Прививает им классовое сознание... Форкаш умеет вправлять мозги.

Среди ивановских ребят были также испанские ребята. В том числе Педро Ларра, чернявый, смуглый, бойкий такой парнишечка. Родом из Мадрида. Я вспомнил, что знал уже испанского мальчишку по имени Педро, чернявого и бойкого, из Мадрида родом, с которым мы когда-то сидели у жаркого костра в Лозовеньках и пели песню «Бандьера россас». Правда, он сильно изменился с тех пор — вымахал, отоцал, — но ведь сколько времени прошло, все мы вымахали, все отоцали.

— Ты был в Лозовеньках? — спросил я его.

— А что такое Лозовеньки? — удивился он. — Это где?

— Это под Харьковом. Там был пионерский лагерь, там жили испанские ребята. А мы приезжали к вам в гости.

— Нет, — покачал он головой. — После Испании нас привезли в Евпаторию, в детский санаторий, потом мы поехали в Москву, а оттуда в Иваново... Я никогда не был в Харькове.

Значит, не тот Педро, другой. Жалко.

Но Педро Ларра уже вцепился в мой рукав:

— Как ты смотришь на футбол? Ты играл?

— Играл немножко. Во дворе.

— Понимаешь, я хочу набрать команду. В Иваново я был центрфорвардом и мы всем сморкали нос... Ты пойдешь?

— Скоро зима.

— Ничего, будет лето. Сначала — тренировка.

Я подумал, сказал:

— От футбола еще сильнее жрать хочется. Поэтому сейчас никто и не играет.

— Может быть, начальник спецколы даст нам дополнительное питание? — Педро Ларра лукаво подмигнул мне.

— Ну, если даст — все запишутся. Так что у тебя будет полный выбор, — обнадежил я его.

— Правильно! — рассмеялся чернявый Педро.

1 сентября лейтенант Жежеря построил взвод и сказал:

— Представляю вам помощника командира взвода, моего самого главного помощника. Фамилия ему Ногтев Валентин, из первой батареи. Покажись им, Ногтев.

Из-за спины командира взвода вышагнул его самый главный помощник.

Я обомлел. Все. Конец.

Это был тот самый парень, с которым мы сцепились на передней линейке в первое же утро по прибытии в Бийск. Который обозвал нас ради смеха шпаками, который подкручивал кончики еще не выросших усов, шибко военный. Он был не из выпускной батареи, а только перешел из второй в первую.

Такой порядок существовал в спецшколе, помощников командиров взводов в младшую батарею назначали из первой, старшей. Чтобы они отрабатывали на нас командирские навыки. Только в часы общеобразовательной подготовки они сидели в своих старших классах и добывали там школьную премудрость. А все остальное время, день и ночь — сутки прочь, они безотлучно находились при нас, повелевали нами. Водили строй, отдавали приказы, вместе с нами ели, среди нас спали, поучали, наказывали, миловали. Можно было укрыться от любого командирского ока, кроме недреманных очей помкомвзвода. Страшная сила, необъятная власть!

И вот угодно же было судьбе подшутить столь жестоко, что не над кем-нибудь, а именно над нами обрел эту власть Валентин Ногтев.

Я незаметно ткнул в бок Юрку Садкова, стоявшего со мной рядом, и Юрка испустил тяжкий вздох, будто последний... Я покосился направо: губы Вани Подобных кривила обреченная слабая улыбка.

Нас было трое. Помните о нас, друзья.

— А теперь, Ногтев,— сказал лейтенант Жежеря,— когда познакомишься с личным составом, наметь из них командиров отделений. Это я отдаю на твое усмотрение... Присмотрись, значит.

— Разрешите, товарищ лейтенант? — поднес ладонь к козырьку помкомвзвода.

— Что? — не сразу понял лейтенант Жежеря.

— Разрешите присмотреться?

— Ну давай.

Валентин Ногтев подкрутил кончики своих невыросших усов и важной поступью двинулся вдоль строя.

Оставалось надеяться на чудо — что он нас не опознает среди других. Ведь тогда, на передней линейке, мы были еще в штатской одежонке, а теперь на нас такая же форма, как на остальных, — все одинаковые; тогда мы были при зачесах, нас еще не остригли наголо, а когда остригают наголо, очень трудно различить, кто какой человек; и тогда, на передней линейке, прозвучала спасительная команда «...станови-ись!», а он был еще даже без майки, одно полотенце на шее, пришлось ему бежать стремглав, может, впопыхах и не запомнил...

Помкомвзвод Ногтев медленно шел вдоль строя. Глаза его скользили по лицам, в них читалось предвкушение торжества.

Раз! Глаза остро вонзились в Юрку Садкова. Все-таки опознал. Ну да, он ведь тогда пообещал: «Ладно, шпак... Я тебя запомнил». Этот готов. Наповал.

И тотчас глаза переметнулись на меня — ведь мы с Юркой стояли рядом. Два! Я вздрогнул, покачнулся, но устоял.

Он дошел до правого фланга и, покручивая кончики усов, остановился в раздумчивости перед Иваном — тот был выше него на целую голову. Наверное, по росту и узнал. Три!

Помкомвзвод Валентин Ногтев не спеша возвратился к командиру взвода.

— Разрешите, товарищ лейтенант?

— Ну давай,— кивнул лейтенант Жежеря.

— Вот этого, этого и этого,— он указал пальцем,— предлагаю командирами отделений.

Спать мне не хотелось.

То есть, наоборот, мне так хотелось спать, что я боялся: вот повадусь на этот дощатый топчан, растянувшийся во всю длину караульного помещения, на котором дружно храпели только что сменив-

пшиеся часовые, — повалюсь и сразу же засну, будто кану в бездонный омут, и уже меня не добудешься, хоть стреляй над ухом, хоть из пушки пали, ничего не услышу — хр-р... хр-р... фью-у... — и просплю урочный час, самый главный час, час развода.

Нет уж, лучше сидеть, чем лежать. Даже лучше стоять, чем сидеть. А еще лучше идти, пройтись по холодку. Скажем, проверить посты. Разводящий должен время от времени проверять посты. Убедись лично, что никто из часовых не нарушает устав караульной службы, согласно которому строго запрещается: спать, сидеть, читать, писать, петь... что еще? ага... разговаривать, есть, пить, курить, отправлять эти самые надобности, принимать от кого бы то ни было и передавать какие-либо предметы... Кажется, все? Все.

С вечера наш взвод заступил в караул, и теперь на целые сутки спецшкола была под нашим неусыпным бдением и охраной. Начальник караула — лейтенант Жежеря, помощник начальника караула — Валентин Ногтев, а я разводящий.

Третий час ночи.

Только что я сменил часовых, привел в караулку ребят, отстоявших на своих постах положенные два часа, — они тотчас повалились на жесткий топчан и заснули, даже не сняв шинелей, лишь составив в пирамиду винтовки; а там, в холодной и темной осенней ночи, новая смена топчет на месте башмаками, считает в уме до миллиона, мечтает об этом жестком топчане, не забывая, конечно, зорко и внимательно следить за окружающей местностью.

Это дело нешуточное — караульная служба. Даже в мирное время ее несут по-боевому. Однажды стоял часовой на посту, а в казарме начался пожар, впопыхах его забыли снять с поста, а сам он не имел права покинуть пост ни при каких обстоятельствах, — и он заживо сгорел на своем посту, этот стойкий и верный долгу часовой, а было мирное время. О нем уже много лет рассказывают всем новобранцам Красной Армии, ставят его в пример, объясняя устав караульной службы, нам тоже рассказывали.

А сейчас военное время.

В окрестностях города Бийска пошаливают бандиты. Говорят — дезертиры, сбежавшие с фронта и укрывшиеся в горах. По ночам они выбираются из своих нор, нападают на грузовые машины, которые едут в Ойрот-Туру и в Монголию, убивают шоферов, уходят с добычей обратно в горы. А самые отчаянные даже проникают в город, залезают в спящие дома, грабят все, что под руку попадет, убивают всех, кто попался под руку.

Этой осенью наша спецшкола уже не раз получала приказ: походным маршем, с оружием и полной выкладкой идти за речку Бию вдоль Чуйского тракта, километров за двадцать—тридцать. А по дороге — таков был приказ — петь песни как можно громче и веселей. Чтоб дезертиры слышали и знали: Красная Армия здесь, вот она идет походным маршем по Чуйскому тракту рота за ротой, батальон за батальоном. Чтобы они не смели вылезать из своих бандитских нор.

А нас всего и было три батареи.

Мы маршировали и пели, неся на плечах незаряженные винтовки. Прошлой ночью в бийском Заречье вырезали целую семью.

Я пошел проверять посты.

— Стой! Кто идет?

— Разводящий Рымарев.

— Разводящий ко мне, остальные — на месте!

Хотя и было темно, непроглядно да еще сырой туман, Олег Афонин, наверное, мог различить, что я один, что никаких остальных со

мною нет, однако часовому запрещено подпускать к себе кого-либо, кроме начальника караула, помощника и разводящего. И Олег Афонин сказал правильно, по уставу: «Разводящий ко мне, остальные — на месте!»

А я тоже согласно уставу осветил карманным фонариком свое обличье — пусть убедится, что это я и есть, разводящий.

— Порядок? — осведомился я.

— Порядок.

Олег Афонин (он был москвичом, но не с Таганки и не с Бутырки, а, как утверждал, прямо с улицы Горького) охранял пост номер пять, склад вещевого довольствия. Пудовый замок висел на двери склада, а сверх замка — сургучная печать. Контрольный слепок печати лежал у меня в кармане, но я не стал проверять: видно и так, что порядок.

— Сколько еще стоять? — спросил часовой.

Все часовые, даже если они только что заступили, не упустят случая спросить: сколько еще стоять?

Но и я не мог упустить такого случая. Я вынул из кармана большие наручные часы и осветил циферблат карманным фонариком.

— Еще час двадцать.

Это были не мои часы — казенные, специально для разводящих, — однако это были первые в моей жизни часы, которые хоть на некий час я имел право вынимать из своего кармана и прятать в собственный карман. Отличные часы, «Кировские», как у лейтенанта Жежери.

Пост номер четыре — у пустой конюшни — охранял Педро Ларра. Он тоже поинтересовался, сколько еще стоять.

Я пересек безлюдную спящую Дёповскую улицу.

У ворот учебного корпуса скукожилась на холоду маленькая фигурка в длиннополой, до пят, шинели. Острый винтовочный штык маячил над нею. Пост номер три. Миша Войтин.

— Стой! Кто идет? — пискнул он.

Мы объяснились.

Миша Войтин теперь был в моем отделении. Наградила меня судьба. Уж не знаю, сколько дней подряд мучился я с ним на плацу, стараясь научить его маршировать как положено, как все спокон веков маршируют: чтобы правая нога вскидывалась вместе с левой рукой, левая нога с правой. Терпеливо объяснял на словах, показывал на личном примере, становился с ним рядом нога к ноге, рука к руке, ну, вместе — шаго-ом марш! И все равно он выкидывал одновременно правую ногу и правую руку. А ведь только что, когда я ему объяснял на словах и показывал лично, Миша Войтин понимающе кивал, соглашался, да и чего тут было не понимать?..

Однажды за этим невеселым занятием на плацу нас застал капитан Евграфов. Он со стороны наблюдал, как маюсь я, как мается Миша Войтин, а потом подозвал меня к себе и сказал негромко, спокойно:

— Зря стараетесь, Рымарев. Ничего не выйдет, ничего-с... Это у него врожденное. Иноходь. Видите ли, есть такие лошади, иноходцы. Одновременный вынос правых ног, левых ног. Это даже ценится. Но бывает и у людей. Неисправимый случай... Вот что, послезавтра у нас инспекторский смотр. Приезжает инспектор из Москвы. Так чтоб этого... кажется, Войтин?.. чтобы в строю его не было. Пусть дневалит, пусть кочегарит — что угодно, но только в строю его быть не должно. Вам ясно? Ступайте.

Смотр прошел блестяще. Нашей третьей батарее, самой младшей, объявили благодарность.

Но с тех пор Мишу Войтина держали вне строя. Только на занятиях и в столовую, когда не соблюдалось особого парада, он шагал вместе с нами замыкающим, старательно выкидывая правую ногу с правой рукой, со стороны смеялись. А как парад — Миши Войтина нет. Дневалит, кочегарит.

Жалко. Ведь по всем школьным предметам у него были хорошие отметки. И наши ночные каторги — на мясокомбинате, на сахарозаводе — он отрабатывал, не щадя своих слабых сил. И вот он стоит в карауле у ворот, нос его, будто птичий клюв, дергается рывками из стороны в сторону — наблюдает за окружающей местностью. Он даже не спросил меня, как другие, сколько еще стоять.

Пост номер два — у пушки, на часах Ким Форкаш.

Вот и учебный корпус. Я поднялся по деревянной лестнице с точеными балясинами в актовыв зал. Здесь было натоплено до одури: две печи-голландки, круглые и толстые, как пароходные трубы, выкрашенные серебром, источали жар и вроде бы даже раскаленный свет. Меня сразу прошибло горячим потом, ведь я был в шинели.

А часовой у знамени, рослый бийчанин Федя Комаров, стоял на посту без шинели — не потому что жарко, а потому что у знамени полагалось стоять без шинели, пост номер один.

Красное знамя, заправленное в чехол. По бокам от него висели портреты Суворова и Кутузова. Их повесили недавно. Их нарисовал масляными красками самый лучший художник нашей спецшколы Володя Секерин, замечательный художник (у нас тут были свои таланты), — он их срисовал с учебника. Однако в учебнике Суворов и Кутузов были напечатаны черным по белому, а начальник спецшколы распорядился, чтобы непременно в красках. Володя Секерин впадал в затруднение: он знал, какими красками изображать лица — он изобразил их в точности как живые, — но не знал, какими красками расписывать мундиры, отвороты, кушаки, а главное, не знал, каким цветом расписывать широкие ленты, которыми оба фельдмаршала были повиты через плечо. Его выручил наш комбат Александр Павлович Евграфов:

— Это орден святого апостола Андрея Первозванного — голубая лента, а это красная — святого Александра Невского, тоже муаровая, с переливчиком... Георгий Победоносец — оранжевое с черным...

Вот что значит историк! Он смотрел сквозь десятилетия, сквозь столетия назад.

Федя Комаров стоял навтыжку у знамени, плотно прижав к ноге винтовку. На голове у него была буденовка с острым шишаком и красной звездой, а на плечах у него были черные погоны, обшитые по краю золотым галуном, красный кант.

И на моей голове была такая же буденовка, и на моих плечах были такие же погоны, только с двумя поперечными лычками.

Теперь и у нас были погоны. Вскоре после того как в Бийск приехал инспектор из Москвы, нам зачитали перед строем приказ о введении для спецшкол новых знаков различия — погон, а также новой формы одежды. Приказ был подписан самим Сталиным. Мы восторженно закричали «ура».

Но вот какая вышла закавыка. Погоны нам выдали. А цигейковых шапок-ушанок, которые были предусмотрены новой формой одежды, — шапок не было. Николай Маркелович Псарев, начальник нашей спецшколы, ходил куда надо и ездил куда надо, показывал приказ, показывал подпись под этим приказом — шапок не было. Тогда он запустил на полный ход, на все обороты свои хозяйственные связи; ведь они уже не раз и не два нас выручали, но и это не помогло, шапок не

было. Просто не было шапок — и все. Где их возьмешь, если нету?

Мы надели погоны, а тут задышало холодом сибирское предзимье — и нам выдали со склада суконные шлемы с остроконечными шишаками и матерчатыми звездами, с длинными ушами сверни-разверни, то есть выдали нам буденовки, в которых с самой революции и гражданской войны ходила походами Красная Армия. Старые, обтертанные, порыжелые буденовки, ношенные-переносные, но еще носить можно.

И получилась такая картина: на голове буденовка, а на плечах погоны.

Между тем с малолетства, с тех пор, как я себя помнил, дело обстояло следующим образом: те, которые в буденовках, — они рубили пашками тех, которые в погонах; а те, что в погонах, — они посекали не жалеючи тех, кто в буденовках. В первом же фильме, увиденном мною в жизни, буденовки и погоны рубили друг друга. И в последнем фильме, увиденном перед войной, то же самое. Вопрос был предельно ясен. Если человек в погонах — значит, руби его. Так нас воспитывали. Мы, наверное, даже рождались на свет в лютой предубежденности против погон. И ругательство «золотопогонник» было хуже матерщины.

Но прошлой зимой в Барнауле, возвращаясь из школы, я впервые увидел не в книжке, не на экране, а вживе человека в золотых погонах — он степенно шагал по проспекту Ленина. Это был майор кавалерии, подошвы его сапог впечатывались в скрипучий снег, а шпоры позванивали сосулечным звоном. Он придерживал рукою темляк изогнутой шашки в черных ножнах. Все пуговицы его шинели ловили искры зимнего солнца, а поле погон было залито сверкающим солнцем, а синие просветы на этом поле повторяли синеву небес. Он был молод, светлоус, неотразимо красив. Можно было догадаться, что он лишь сегодня впервые надел эти новые погоны, эту новую форму и вышел эдак во всем новом прогуляться по морозцу.

Сперва не изжитый еще детский инстинкт прижал меня к стенке дома, едва не заставил спрятаться за ближайший угол. Потом я, ступая осторожно и вкрадчиво, начал его преследовать на расстоянии: он направо — и я направо, он остановился, закурил — и я остановился, высморкался, утерся варежкой. Немного осмелел, приблизился, пошел за ним по пятам. Догнал, пристроился сбоку, забегал вперед и оглянулся. Мною владела странная смесь чувств — испуга и восхищения, враждебности и покаяния.

Он все-таки заметил, что я преследую его неотступно, посмотрел на меня в упор, пригладил ус, подмигнул, рассмеялся. Будто бы догадался о всех моих всполошенных чувствах. Будто и ему они были знакомы. И этот смех прогнал с моей души всякие дурацкие сомнения.

Вот стоит на часах у красного знамени мой ровесник Федя Комаров. С винтовкой. На нем буденовский шлем и погоны.

На мне тоже.

Третьего дня я смотался на привокзальный рынок и там сфотографировался у моментального фотографа. За пайку хлеба. Он мне выдал две крохотные фотокарточки, где я был заснят в буденовке со звездой и в новеньких погонах. Одну фотокарточку я послал в Барнаул маме Гале и Гансу, а другую оставил себе на память.

— Влез. В окно. — Миша Войтин докладывал шепотом, не отводя глаз от домишка, который был первым в череде одинаковых деревянных домишек, пристроившихся к ограде нашей спецшколы.

- Кто? — Я тоже понизил голос до шепота.
- Не знаю. Мужик.
- Когда?
- Минут двадцать. Когда ты ушел.
- Что?..
- Когда вы ушли. Появился, потом залез в окно.

Я, стараясь оставаться спокойным, прикинул в уме обстановку. С одной стороны, Мише Войтину могло померещиться с недосыпу, с озноба, от одиночества, от чрезмерной бдительности, со страху. Запросто могло померещиться в такой непроглядной тьме. Тем более Мише Войтину, горе ты мое, беда моя... Но, с другой стороны, могло и не померещиться, вправду заметил кого-то. Ведь часовой обязан согласно уставу караульной службы внимательно следить за окружающей местностью. Кто-то посреди ночи влез в окно. А вдруг... Не приведи бог узнать поутру, что под самым боком артиллерийской спецшколы, на виду часовых и разводящих бандюги вырезали спящую семью, ограбили дом и ушли безнаказанно.

- Ты точно заметил?
- Так точно.
- А обратно... обратно он не вылезал?
- Никак нет.

Медлить было нельзя. И в подобной ситуации я согласно уставу имел право снять часового с его поста.

- За мной! — шепотом скомандовал я.

Миша Войтин перехватил винтовку на руку штыком вперед. Согнувшись, крадучись вдоль забора, мы приблизились к дому. Здесь — глазами показал Миша, когда мы очутились под окном.

Я прислушался. В доме было тихо, совсем тихо. Ни шагов, ни голосов, ни шороха, ни звука. И само окно было темным, снулым, беспросветным, беспробудным.

Чуть привстав, я ощупал наружную створку окна, мне показалось, что она прикрыта неплотно. А ведь на улице холод, не распахнешься, не оставишь нарочно щель — все тепло выдует разом. Да, очень странно, подозрительно даже.

Створка закрипела, двинулась — я едва успел отдернуть пальцы и присесть на карачки.

Окно отворилось. Из него свесились сапожища, остро пахнущие мазутом, засучили по стене, ища опоры, выступ, нашли. Поползла вниз стеганая спина телогрейки, от нее тоже пованивало мазутом. Серая кепка...

Мы вцепились в него с двух сторон, оторвали от оконницы, повергли наземь, тяжело навалились — не дали охнуть.

Лучом карманного фонаря я осветил лицо. Мужик. Нет, не мужик, а парнишка лет шестнадцати или семнадцати, немногим постарше нас. Рот от испуга раззявлен, глаза сожмурены от света. Надо же, еще совсем юнец, еще и в возраст не вошел, сявка, а лазает по ночам в чужие дома, домушник.

- Встать! — приказал я.

Миша Войтин острием штыка сопровождал каждое его движение, когда он поднимался, когда потирал зашибленное плечо.

- Давай нож.

— Нету... нет у меня никакого ножа. Хоть общите.— Парень обиженно отвернулся.

- Общем,— посулил я.— Выкладывай, что украл.
- Да ничего я...

Лицо парня искривилось, будто плакать собрался — решил на слезу взять, поганец.

— Выкладывай. Все равно найдем.

— Нате вам!..

Парень злыми рывками вывернул карманы телогрейки, расстегнулся, вывернул еще и карманы пиджака, штанов, все наружу — пусто, ничего в них не было. Куда же, интересно, подевал? Или не споровился, помешали? Значит, вовремя мы сюда подоспели.

— Не брал я ничего... Отпустите, ребята.

— Значит, не брал? А в дом зачем лазил? Вот мы сейчас проверим.

Я прыгнул, ухватился за резной наличник, подтянулся с трудом, еще, еще (ох и скудна же наша кормежка), наконец перевалился грудью туда, внутрь.

— Эй, кто тут есть?

Справа шевельнулось. Я повел фонарик вправо.

В мутном круглом пятне возникла кровать с железной решетчатой спинкой, простыни, грубое одеяло шинельного сукна, под одеялом кто-то сжался в комок.

— Э-эй...

Комок опять шелохнулся, приподнялся, вскинулся. Растерянно и зябко кутаясь в шинельное одеяло, села в кровати девушка, волосы ее были растрепаны во сне, а глаза она загораживала от света голым белым локтем.

— Здравствуйте, — сказал я. — Извините за беспокойство.

— Тише. Чего вы кричите?.. — Она покосилась на дверь, которая вела из этой крохотной комнаты в глубь дома. — Что вам надо? Зачем в окно лезете?

— Я не лезу. Это не я.. Тут к вам залез в окно посторонний гражданин. Только что вылез. Нужно выяснить.

— Какой еще гражданин? — Она удивленно повела плечами под одеялом. — Я спала, ничего не слышала. Да выключите же свой фонарь!..

Я выключил. Теперь, в темноте, я ее почти не различал, одни простыни.

— Значит, вы очень крепко спите. А к вам в окно залез гражданин, мы его задержали. Надо выяснить, что он украл.

Тут она призадумалась, потом вымолвила глухо:

— А что у нас украдешь? У нас нечего красть.

— Как это нечего? Вы поглядите лучше..

Я опять включил карманный фонарик и повел его луч вдоль стен. Стены были голые, белые. Столик, на котором щербатое зеркальце-растопырка, оно ответило мне острым зайчиком. Стул, на стуле брошенное платье, стоптанные туфли подле ножки. Опять железная кровать. На кровати сидит она, плотно укутавшись от холода шинельным одеялом, удерживая его у шеи голой белой рукой.

— А может быть, там? — Я осветил дверь, которая вела в глубь дома. — Туда он не заходил?

— Да не кричите вы... — снова рассердилась она. — Дверь заперта. Я не знаю... Там тоже красть нечего.

Теперь мне все стало ясно. Он залез в дом, а в доме и красть-то нечего — вот и пришлось вылезать обратно с пустыми руками.

— Ясно, — сказал я, чуть помедлив. — Извините за беспокойство. До свиданья.

Ждал, что она хоть улыбнется мне или спасибо скажет. Но она не улыбнулась и ничего мне не сказала. Видно, спросонья перепугалась насмерть.

Я спрыгнул. Окно надо мной затворилось с яростным скрипом, клацнул шпингалет.

Миша Войтин по-прежнему держал его на штыке. Но он был без оружия и драпать вроде бы не собирался. Так что отпадала нужда в конвое.

— Возвращайтесь на пост,— приказал я Мише. И этому тоже: — Пошли.

— Куда? — спросил он. Но перечить не стал, поплелся рядом.

— Куда надо. Разберемся.

— А чего разбираться? — залопотал он жалобно.— Ну чего ты развел шухер? Я здешний, бийский. На Деповской улице живу, тут рядом. Хочешь, зайдём — покажу документы... Брось ты этот шухер. Я из-за тебя на работу могу опоздать, а сейчас за опоздание знаешь что бывает?

— А ты где работаешь?

— Тут рядом, в депо. Кого хочешь спроси — слесарем работаю. Мне еще год до призыва.

Я остановился, посмотрел на него грозно:

— Значит, днем в депо работаешь, а ночью — по чужим окнам? Зачем в окно залез?

Он тоже остановился.

— А ты что, не знаешь еще, зачем к девкам по ночам в окна лазают?

Мне показалось, хотя и было темно, что в глазах его мелькнули насмешливые искорки.

— Неужели не знаешь?..

Только сейчас я вдруг обнаружил, что рукав моей шинели разодран — угластая дырка выше обшлага, лоскут болтается. Видно, зацепился ненароком за какой-нибудь гвоздь или сучок, когда влезал на подоконник или же когда спрыгивал обратно. Ну и лоскут... Придется зашивать, штопать. Однако шинель эта была не первого срока, она мне уже и досталась порядком заштопанная.

— А ты шухер развел, шум поднял,— продолжал корить меня парень в серой кепке.— Вдруг бы мать разбудил? Мать у ней знаешь какая... вытерга!

Нет, все-таки из Миши Войтина никогда не получится настоящий военный человек. И в ногу ходить он не умеет и на посту ему мерещится. Но если по справедливости, то не мог же он знать, для чего этот парень лезет в чужое окошко. На нем, на парне, ведь не написано и на окошке не написано. Да и темень вокруг кромешная. Часовой обязан следить за окружающей местностью. И это вовсе не выдумка, что прошлой ночью в бийском Заречье бандиты вырезали целую семью.

— Ладно,— сказал я, небрежно сплюнув.— Вали отсюда. И больше не попадайся.

Он, конечно, сразу отвалил: потопал прочь, растворился в темноте. Но секунд через пять оттуда, из темноты, донесся его голос:

— А ты телок. Хоть и в погонах, а телок!

Я уж рванулся догнать, догнать и выдать ему на прощанье в поученье, в отместку добрый подзатыльник — за все, вот за этот разодранный понапрасну рукав шинели, который теперь придется самому штопать. Но спохватился. Вынул из кармана большие карманные часы «Кировские», осветил циферблат карманным фонариком. Без десяти четыре. Надо спешить в караульное помещение: скоро нам с Валентином Ногтевым разводиться смену.

Нет, вовсе не случайно определили нашей спецшколе место у самого вокзала. Приехали — уехали. Прощай, город Бийск!

Поступило распоряжение о эвакуации Московской специальной артиллерийской школы в Москву. Я, признаться, никогда прежде и не слышал такого слова — эвакуация. Прежде я слышал другое слово: эвакуация, эвакуация, эвакуация...

В ближайшие дни должны были подать эшелон. Занятия продолжались, но ко всем трудам и заботам прибавились еще и сборы в дальний путь. Это ведь не чемоданишко собрать. «Все до последнего гвоздя», — приказал Николай Маркелович Псарев, начальник спецшколы, он был хозяйственный мужик. Заколачивали ящики, оплетали тюки. Постепенно это добро перетаскивали на станцию, чтобы потом было сподручней и быстрее грузить в вагоны.

И еще одна забота.

Прошел слух о том, что в Москву возьмут не всех. У кого двойки, кто слаб в боевой и политической подготовке, кто бегал в самоволку — тех не возьмут. Что Москва — это Москва, столица и там не нужно разной шантрапы. Мы, конечно, здорово испугались. И хотя у меня двоек не было, в самоволку я не бегал, как-никак командир отделения, а все же душу холодила оторопь: вдруг не возьмут?.. Другие ребята тоже сильно переживали, особенно те, за кем водились грешки. Но Юрка Садков сказал, что все это чепуха на постном масле, что слух распустило само начальство нарочно, чтоб те, у кого двойки, исправили, чтобы подтянуть дисциплину, чтобы ребята осознали: Москва — это Москва; а возьмут всех.

Он оказался прав. Взяли всех, никого не оставили в Бийске. Кроме Сереги Шилова из нашей батареи, который умер. Но он был сам виноват в том, что умер.

Он сачковал, отлынивал и от занятий и от работы. Особенно он засачковал, когда нас стали гонять на валку леса, заготовливать дрова. Дело это, конечно, очень тяжелое — валить деревья, обрубить сучья, распиливать и отвозить в расположение на дровнях, в которые мы запрягались вместо мобилизованных лошадей. Тем более ночью: все эти работы мы выполняли в ночное время, чтобы не нарушать учебного плана. И вот когда началась заготовка дров, Серега Шиллов засачковал. Он, как мы после узнали, курил махру, в которую подсыпал какое-то лекарство, сульфидин, что ли, у него сразу подскакивала температура, и его клали в лазарет — неделю полежит, выпустят, а он снова накаурится махры с лекарством, опять на градуснике сорок, опять лазарет. Кормежка там нормальная, а вкалывать не надо. Но от этого способа у него началось воспаление мозга, его увезли в городской госпиталь, и там он умер. Мы похоронили его на кладбище за станцией чин чинарем, с музыкой и ружейным салютом. Но, в общем, ребята осуждали Серегу Шилова за то, что он умер, потому что сам был в этом виноват.

И когда наш эшелон тронулся в путь, когда за станцией на пригорке открылось кладбище с крестами и звездами, некоторые стали махать руками, кричать: «Привет, Серега!.. Мы в Москву едем. Счастливо оставаться!»

Все-таки мы ожесточились за эти военные годы. Мы даже перестали считать смерть за смерть, если человека не убило, а он сам умер.

Ехали мы быстро. Я сразу понял, чем отличается эвакуация от эвакуации. Когда эвакуация, то эшелон тащится долгими неделями,

окольными путями, стоит на разъездах с ночи до утра и с утра до ночи.

А тут — мелькают полустанки.

Но главное, самое главное отличие в том, что впервые за столько лет я ехал не на восток, а на запад. Сколько помню, все время поезда, эшелоны увозили меня на восток и всегда этот путь был тягостен, горек, уныл. А теперь я впервые в своей жизни ехал на запад, и не куда-нибудь, а в Москву. В Москву, которой я никогда не видел, только в кино и во сне.

На второй день к вечеру мы прибыли в Новосибирск.

Капитан Евграфов зазвал меня в уголок теплушки, где байковым одеялом был отгорожен его личный закуток. Он ехал в одном вагоне с нами, в каждом вагоне вместе с ребятами ехало по командиру, чтобы в пути соблюдался отменный порядок.

Комбат вынул из кармана блокнотик и стал в нем что-то быстро писать.

— «...сухой паек... на три дня», — пробормотал он себе под нос и поставил точку. Затем подумал, перечеркнул, исправил: — «На четыре дня».

Роспись.

— Вот, Рымарев. — Он вырвал листок из блокнота, сложил, протянул мне. — Отправляйтесь в продвагон, получите. Возьмите с собой вещмешок. И бегом обратно. Никому ни слова.

— Есть!

Я не очень удивился этому поручению. Трижды в день на станциях командиры отделений бегали в продвагон нашего эшелона и получали там жратву на весь личный состав, на всю теплушку — хлеб, копчености, сахар. Ну а кипяток на этих станциях подавался из крана в любом количестве, подставляя котелок либо чайник. Меня лишь то озадачило, что капитан велел получить продукты сразу на четыре дня, — неужели впереди до самой Москвы больше не будет ни одной остановки? И как я один все это доволоку? Может, кликнуть ребят? Но капитан предупредил: никому ни слова. Что за секретность?

Однако приказы начальства обсуждать не положено.

Я отправился в продвагон.

Старшина-начпрод пробежал глазами записку, ничего не сказал, лишь велел растопырить вещевого мешок и начал туда кидать. Две буханки черного хлеба, шмот копченого мяса, куски колотого сахара. Все.

Теперь, на обратном пути, я понял, что сухой паек выдан для одного человека. Для кого? И зачем?

Еще издали увидел: подле нашего вагона прогуливаются капитан Евграфов и Миша Войтин. Капитан ему что-то рассказывает увлеченно (должно быть, про Бонапарта), дружески возложив руку на плечо маленького собеседника. Вот новость. Я никогда раньше не замечал, чтобы наш комбат с такой нежностью относился к нему.

— Товарищ капитан... — начал я докладывать.

Комбат сделал знак перчаткой, остановив мой доклад. Отвел меня в сторону. Достал из кармана плоский пакет, обернутый газетой.

— Вот, Рымарев. Это его документы. Метрика и тому подобное... Отведите его на вокзал. Вручите документы, продукты. И бегом обратно. Никому ни слова. Понятно? Выполняйте.

Мне ничего не было понятно. Ровным счетом ничего. Какие документы? Какой вокзал?

Видимо, капитан Евграфов догадался, что мне непонятно, по моим глазам, по тому, каким истуканом я стою перед ним. Он возложил руку на мое плечо, как только что держал ее на плече Миши Войтина.

— Вам все понятно, Рымарев. Он должен остаться на вокзале. Здесь... Он отстал от эшелона. Пошел погулять — и заблудился, отстал от поезда. Это бывает... Ступайте.

Но я продолжал стоять дурак дураком, только моргал.

Как же это Миша Войтин мог пойти погулять на вокзал, не испросив на то разрешения, и тем более заблудиться? Как он мог туда пойти, если он никуда и не пошел — вот он стоит в сторонке? Если бы он отстал от эшелона, ему бы за это потом влетело на всю катушку — суток десять гауптвахты. Но он, слава богу, не рисковал отстать от поезда, поскольку никуда не отлучался от своего вагона. Вот он стоит.

Капитан Евграфов убрал руку с моего плеча, вздохнул, оглянувшись, объяснил терпеливо:

— Он должен остаться здесь. Понимаете? Мы с ним обо всем договорились... Никаких претензий к нему не предъявят. В этом пакете все его документы. Держите, Рымарев. И не теряйте времени.

Я моргал.

— Товарищ командир отделения, выполняйте приказание! — тихо взвизгнул капитан Евграфов и, сунув мне в руки пакет, пошел вдоль состава.

Еще никогда в жизни мне не было так стыдно.

Даже когда в Барнауле, озверев от голодухи, я съел хлебные пайки мамы Гали и Ганса и мне было стыдно до слез, до рвоты — даже тогда мне не было так стыдно, как сейчас.

Я вел Мишу Войтина на вокзал как на расстрел. Вел на расстрел не врага, а друга. Ни в чем не виноватого, кроме того, что у него правая нога вскидывалась вместе с правой рукой, а левая с левой. И пусть я был обязан беспрекословно выполнить приказ командира, не смел перечить приказу, на душе у меня от этого не становилось ни легче, ни чище.

Так глубоко, как заноза, воткнулось в душу это жуткое ощущение, что я веду его, Мишу Войтина, на расстрел, что вдруг я подумал: а может, отпустить? Сказать: «Ну беги...» Но в том-то и была вся очевидная нелепость происходящего, что Миша никуда не хотел бежать, не хотел, чтобы его отпускали, предпочел бы остаться там, где был, в нашей теплушке, но его заставляли силком.

Почему же капитан сам не повел Мишу Войтина на вокзал, раз они обо всем договорились? А о чем они договорились?

Я уж хотел спросить об этом Мишу, но взглянул на него — он покорно и молча шел рядом со мной — и у меня язык не повернулся спросить.

Так мы и шли — рядом, молча.

Мы шли по мосту, переброшенному через станционные пути.

Уже стемнело. Резкий ветер хлестал по щекам льдистой крупой. Это был еще не снег, не зима, но дуновение близкой зимы.

Сквозь эту секучую заметь я увидел приближающуюся фигуру, которую тотчас опознал. Одна рука плотно прижата к телу по вечной команде «смирно», кожаная рука, а другая, живая, четким отмахом считает шаги. Навстречу нам по путепроводу шел гвардии старший лейтенант Васильев, командир первой батареи. Шел он со стороны вокзала.

Мы оба — и я и Миша — отдали ему честь как положено. Он коротко зыркнул на нас, дернул вбок своей бородкой, прошел еще несколько шагов, остановился. Окликнул:

— Стой! Вы куда?

Мы тоже остановились.

Гвардии старший лейтенант ощупывал подозрительным взглядом наши понурые буденовки и особенно туго набитый вещмешок, который я нес в руке. Может быть, он предположил, что мы сэкономили свои сухие пайки или стырили чужие (это случалось) и теперь топаем на базар, чтобы там продать или, скажем, обменять на латунные пуговицы (это тоже случалось).

— Куда путь держите?

Сердце мое вдруг встрепенулось, застучало, исполнилось надежды. Мы ведь знали — вся спецшкола об этом знала, — что гвардии старший лейтенант Васильев хотя и самый строгий командир в дивизионе, но и самый справедливый командир. Он спрашивал с ребят больше всех, но никогда и никого зря не обижал — сам не обижал и другим не давал в обиду.

«Никому ни слова. Понятно?» — вспомнил я.

Понятно. Мне все понятно. Но вот нас встречает другой командир, хотя и младший на звездочку по званию, и задает мне прямой вопрос: «Куда?» Я просто не имею права ему не отвечать — я обязан ответить. Врать я тоже не имею права, да и всем известно, что комбату Васильеву не наврешь. В конце концов, он последний командир, которого я встретил на этом скорбном и стыдном пути, и если он отдаст приказание, то я согласно уставу должен выполнять последнее приказание. Последний командир, последнее приказание, последняя надежда.

Я подошел ближе к гвардии старшему лейтенанту и рассказал ему все как есть. Показал пакет, обернутый в газетную бумагу.

Он выслушал, хмуро теребя бородку, искоса поглядывая на Мишу Войтина.

Теперь я стоял спиной к ветру, оголтело несущемуся через путепровод, а он стоял лицом к ветру, и пригоршни секущей ледяной крупы били его прямо в лицо. Он заслонил глаза от этой пронзительной крупы своей единственной подвижной рукой.

Он долго молчал. Я тоже молчал, рассказав все как есть. Чуть в сторонке молчал Миша Войтин.

— Выполняйте, — глухо сказал командир первой батареи.

И быстро зашагал к эшелону.

Мы двинулись дальше. Никаких надежд не оставалось.

Бесконечный путепровод кончился. Мы спустились по крутым ступенькам на перрон. Перед нами был огромный вокзал с огромным окном, изогнутым вверху аркой, — окно было такое огромное, что в него, если распахнуть, без труда мог бы въехать поезд.

И внутри этот вокзал оказался огромным до неправдоподобия. Я никогда еще не видел такого большого вокзала, даже в Харькове. А народу-то, народу — как людей. Сплошь военные. Полковники в папахах раструбом, за которыми гуськом тянулись адъютанты и ординарцы. Матросы в бескозырках с надписями на ленточках: «Северный флот», «Черноморский флот», «Тихоокеанский флот» — будто именно здесь, в Новосибирске, сливались все моря и океаны. Пограничники с ярко-зелеными тульями фуражек — будто здесь, на этом сибирском вокзале, пересекались все границы.

Поразившись тому, как огромен этот вокзал, я представил себе, как же огромен должен быть сам город Новосибирск, если при нем такой вокзал.

И вот на этом огромном вокзале, в этой гудящей, клокочущей людской круговерти, в этом незнакомом городе я должен оставить

маленького Мишу Войтина — одного, с вещмешком и завернутой в газету метрикой.

Я не смел взглянуть на него.

— Саня... — Он робко тронул меня за обшлаг шинели. — Ты не переживай. Я ведь вижу, что ты переживаешь. Не надо.

— А? Я не переживаю, больно надо, — ответил я, стараясь казаться безразличным.

— Ну и правильно. Понимаешь, я сам виноват... Я ведь знал, что из меня не получится. Медкомиссия там, в Семипалатинске, — они тоже были против. Из-за роста, из-за силы. Но я их упросил, они и разрешили. Мне очень хотелось стать военным... — Черные глаза Миши смотрели на меня серьезно и печально. — Я хотел отомстить.

Из-за полукруглого вокзального окна донесся зычный и требовательный паровозный гудок. А вдруг это наш? Вдруг это мой?.. Еще не хватало самому отстать от эшелона. В лучшем случае десять суток ареста. Но ведь я выполнял приказ.. Нет, наверное, это не наш, другой. Мало ли воинских эшелонов сейчас стоит в Новосибирске. Какому-нибудь пришел черед отправляться — вот он и гудит, сзывает своих.

— Ты за меня не переживай. Я не пропаду, устроюсь. Жалко, что меня в Бийске не оставили: отсюда ведь ближе до Семипалатинска. А там детдом, там бы сразу устроили — вместе с ребятами, на завод... — Он подумал, покачал головой. — Нет, в Семипалатинск я не вернусь. Ребята засмеют. Они и раньше смеялись, что я мечтал стать военным...

За арочным окном опять нетерпеливо прокричал паровоз. Но, кажется, другой — голос другой, потоньше, как у капитана Евграфова.

— А я и не мечтал. Я просто хотел отомстить.

Он прежде не говорил мне, что хотел отомстить. А сейчас у меня совсем не оставалось времени подробнее его расспросить — за что? Да и незачем расспрашивать, мало ли за что.

Все мы хотели отомстить.

— Будь здоров, — сказал я, всучив ему вещмешок и завернутый в газету пакет. — Ты нам черкни, когда устроишься. Адрес знаешь?

— Знаю.

Все мы еще до отъезда знали назубок московский адрес спецшколы, хотя большинство из нас впервые ехало в Москву.

— Будь здоров.

Мы пожали друг другу руки.

Я пошел к выходу на перрон, а Миша Войтин пошел к другому выходу, в город.

У сквозящей двери я оглянулся, но его уже не было видно. Он ведь был очень маленький, сразу же затерялся в толчее. Ох, сколько здесь было народу, на этом новосибирском вокзале, — как людей.

Я взлетел по ступенькам путепровода и бросился бегом, припоминая на ходу, где спуск.

Подо мной разноголосо перекликались паровозы, тянулись крыши вагонов, змеились рельсы.

Вот здесь мы повстречали гвардии старшего лейтенанта. Еще немного. Кажется, сюда. Вниз.

Передо мной был эшелон, однако я сразу понял, что это не наш, — тоже воинский, но не наш: вдоль него бегали солдаты в хороших цигейковых ушанках, каких нам не выдавали. И погоны на них полевые — небось сразу на фронт.

Значит, пока я ходил на вокзал, вплотную к нашему составу подо-

гнали другой состав, который преградил мне путь. Мать честная, сколько составов, сколько эшелонов стояло бок о бок на этих бесчисленных колеях станции Новосибирск. Неужто все на запад?..

Я влез на тормозную площадку вагона, который был передо мной, уже собиравшись сигануть с другой стороны, как вдруг услышал знакомый голос.

— ...право же, не следует так волноваться, Тихон Андреевич. Я всегда видел в вас образец офицерской выдержки. Я глубоко уважаю и чту...

— Благодарю. Но сейчас вы просто пытаетесь уйти от существа нашего разговора!

Я затаился, прижавшись к дощатой стенке тамбура. Я узнал оба голоса.

Первый принадлежал нашему комбату капитану Евграфову. Голос его был спокоен и рассудителен. Второй же, необычно взволнованный, был голосом гвардии старшего лейтенанта Васильева, это его звали Тихоном Андреевичем.

— От существа? Нет, зачем же... Если угодно, давайте говорить по существу. Мальчик в порядке — у него на руках справка об отчислении... Значит, вы привезете в Москву своих молодцов, своих орлов — да? — и будете блистать перед инспекцией бесподобной первой батареей. А я привезу этого... иноходца, эту мокрую курицу... — Голос набухал праведным гневом. — И все будут потешаться, все будут — вы думаете, я об этом не знаю? — снова толковать о том, что Евграфов штафирка, самозванец, отставной козы барабанщик! Так если вам угодно...

— Вы можете поставить вопрос о его отчислении в Москве. Вас поддержат. Но бросить мальчика на вокзале, в незнакомом городе — это бесчеловечно, черт возьми!

— Тихон Андреевич, я попрошу вас...

— Нет, это я попрошу вас! Я прошу вас немедленно послать людей на вокзал, найти, вернуть...

Я приготовился спрыгнуть наземь и предстать перед ними. Ладно, пусть заругаются, что подслушивал. Лишь бы послали найти, вернуть.

— Я этого не сделаю, — очень спокойно ответил комбат. — Искать иголку в стоге сена? К тому же мы скоро тронемся. И главное, я не хочу этого.

— Товарищ капитан...

— Тихон Андреевич, почему бы вам не называть меня по имени-отчеству? В среде русского офицерства вне строя это всегда было принято.

— Хорошо. Александр Павлович, я прошу вас не как командира батареи, а как преподавателя, как педагога...

Я опять изготовился прыгать.

Но в ответ раздалось хитроватое покашливание.

— Тихон Андреевич, кстати... я давно хотел вам задать один деликатный вопрос. Можно? Мне известно, что вы тоже учитель. Не кадровый военный, а учитель. Почему же вы не ведете предмета? Вы словесник или математик?

Молчание.

Я замер от изумления. Гвардии старший лейтенант Васильев — не кадровый военный? Да он, поди, и родился военным. Кадровым. В гимнастерке родился. Самый военный из всех военных, которых я видел в своей жизни.

Резко скрипнув, повернулись сапоги и зашагали вдоль рельсов направо.

А влево проследовали неторопкие, полные достоинства шаги капитана Евграфова.

Потом мы опять ехали. Больше ничего существенного на этом пути не произошло. Ничего особенного я не видел. Потому что я все время спал. И остальные ребята, улегшись на нарах вплотную, рядками, как шпроты в банке, крепко спали под перестук колес. Отсыпались за рубку леса на глухих делянках, за долгие марши по Чуйскому тракту, за пот на сахарозаводе, за кровь на мясокомбинате, за синусы и косинусы, за муссоны и пассаты, за Бойля и Мариотта, за прошлое и будущее.

Солдат спит, а служба идет.

7

— Вот она. Белокаменная!

Дверь вагона была широко раздвинута, в квадратный проем сочилась холодный рассветный сумрак. Тенью на этом сумраке вырисовывалась фигура капитана Евграфова. Он стоял, прислонившись к косяку, скрестив на груди руки.

— Белокаменная...

Капитан Евграфов любил выражаться торжественно.

Но тут, как я сразу догадался, был достаточный повод для выпендренных слов. Значит, Москва. Мы в Москве. Потому что именно Москва в числе других почтительных и величальных званий от века звалась белокаменной. Вон там, за открытой дверью, — Москва, никогда не виданная мною наяву столица, красноезвездная, златоглавая, белокаменная...

Меня как ветром сдуло с нар.

Ощупью застегивая пуговицы, я выглянул наружу.

Эшелон стоял на пустынной и тихой станции.

Прямо против нашего вагона — двухэтажное зданьеце багрового кирпича с беленым карнизом. Вдоль карниза тянулась надпись из витиеватых старинных букв: «Б ъ л о к а м е н н а я». Справа виднелись еще две крыши каких-то станционных служб.

А дальше — темный лес, угрюмый и сырой.

Наверное, Москва с другой стороны.

Я спрыгнул на хрустящую насыпь, заглянул под вагон меж колес, в просвет между тамбурами соседних теплушек. Но и там ничего не было, кроме заиндеветших рельсовых нитей, за ними — глухая стена деревьев, темный лес.

— А где же?.. — удивился я. — Еще не доехали, товарищ капитан?

— Доехали, Рымарев, доехали, — в ответ рассмеялся он. — Отсюда пешком двадцать минут до спецшколы. А это окружная железная дорога, принято считать — граница Москвы... — Александр Павлович очертил в воздухе кольцо.

Из всех вагонов уже сыпались, как горох, наши ребята.

— Москва! Москва...

Они тоже озирались в недоумении, тоже совались под колеса вагонов, пожимали плечами, разводили руками — мол, что же это такое, обещали привезти в Москву, в столицу, а привезли в темный лес. При чем удивлялись не только бийские карасы, но и самые завзятые москвичи — таганские, бутырские, марьинские, даже раменские. Хоть они и москвичи, но даже им, как видно, не случалось бывать на этой станции, на Белокаменной.

Но ребята из первой батареи — ветераны — подтвердили, что спецшкола близко, рядом. Они ведь поступали в июне сорок первого, еще до эвакуации.

А Валька Ногтев, привстал на цыпочки, будто стараясь заглянуть за вершины деревьев, сказал:

— Там Ланинский переулочек. Там мой дом... Мама. Ждет.

Но ему не суждено было в этот первый день свидеться с матерью.

Появился, как всегда энергичный и деятельный, Николай Маркелович Псарев. Он созвал офицеров, распорядился, кому и чем надлежит заняться.

Прежде всего надлежало разгрузить эшелон, опростать все вагоны и платформы. Потому что эшелон этот дожидались в другом месте с таким же нетерпением, как мы ждали его в Бийске. Выгрузить койки, столы, библиотечные книги, тюки с обмундированием, мешки с крупой, ящики с гвоздями, бочки с вонючим мылом, одеяла, матрацы и перво-наперво нашу не стреляющую царь-пушку. Выгрузить все это хозяйство прямо на насыпь, укрыть от дождя, выставить надежное охранение. Вслед за этим надлежало перетащить на горбу все это хозяйство в здание спецшколы — дня за два. А перед этим надлежало отрядить два взвода для уборки спецшколы, чтобы там блестело.

Вот это и были самые счастливики — два взвода. Они вмиг построились и с песней углубились в темный лес.

А нашему взводу не повезло, нас оставили для надежного охранения.

Мы бы, конечно, с гораздо большей охотой взяли таскать на горбу. Дотащишь мешок — и увидишь спецшколу, какая она из себя. Приволочишь ящик — и хоть краешком глаза увидишь Москву.

Велика ли радость сидеть тут, у насыпи, глядя на темный лес...

Но нас оставили в охранении.

Минул день, спустилась промозглая ночь, заморосил осенний дождь. Мы разожгли костры, сгрудились вокруг огня, опустив слюночки буденовок, задрав истертые вороты шинелей, зажав винтовки меж колен. Заварили в котелках кашу.

Эшелон давно ушел, пролязгав на прощанье буферами.

И еще одну ночь мы просидели на станции Белокаменная. Хотя ребята и не жалели горбов, груды мешков и ящиков, растянувшаяся вдоль насыпи, убывала нестерпимо медленно.

Мы сидели у костров под нудным дождем. Ели кашу. Мечтали о Москве.

Лишь на третье утро охранение сняли. Валентин Ногтев построил взвод.

Мы вошли в темный лес. Он ударил в ноздри запахом палой листвы, отсыревшей древесины и попрятавшихся грибов. Под ногами хлюпало. Сверху капало.

Лес, впрочем, тут же и кончился. Потянулось мокрое шоссе и обок него то ли деревенские, то ли дачные домишки с резными ставнями.

— Это уже Богородское, — объяснил помкомвзвод.

Вот те и на. Какое-то Богородское. А мы ведь ехали в Москву, не в Богородское.

Везло мне на эти зачуханные окраины. Жил в центре Харькова — переселились в заводской поселок. Занесла война в Сталинград — так хотя бы в сам Сталинград, славный город, а то в Бекетовку, откуда я так и не выбрался посмотреть живой Сталинград. В Барнауле — распоследняя Алтайская улица. В Бийске жил почти на вокзале: привели на вокзал, увезли с вокзала. И вот пожалуйста, вместо Москвы — Богородское...

— Сейчас будет Ланинский переулочек, — сказал Валька Ногтев, заметно волнуясь. — Там мой дом... Мама там.

Мама моя, мама. Шлю тебе из родной столицы пламенный богородский привет.

планшетку, которая имелась у Юрки Садкова,— добротная офицерская планшетка. Юрка дал. Я навесил.

Теперь все было в полном порядке, красивее не оденешься.

Еще раз ощутив в кармане увольнительную записку, я протопал через будку.

Улица дачного типа вывела меня на небольшую бульжную площадь, где трамвайные рельсы делали полный круг — трамвайный круг «четверки», на которой, как мне объяснили ребята, нужно ехать до Сокольников. Ничего больше на этой площади не было, если не считать приземистой бани и парикмахерской в крыле этой бани.

Тут меня и осенило. Я вспомнил, что предусмотрел все, кроме бритья. А комендантский патруль поймают небритым — и пожалуйста бриться, губа... Правда, я до сих пор никогда еще не брился. Нечего было брить. Однако, проведя ладонью по щекам и подбородку, я почувствовал, что там определенно пушится, ну не какая-нибудь колючая шетина, а всего лишь мягкий пух. Тем не менее было бы очень обидно из-за этого ничтожного пуха попасть на губу.

Я повернул к парикмахерской.

Старый парикмахер, когда я разделся, усадил меня в кресло и посмотрел на мое отражение в зеркале.

— Стричь? — спросил он.

— Брить, — сказал я.

— А что брить? — спросил он.

— Вот это, — показал я.

— Ах вот это... — Он с грустью посмотрел в зеркало. — Понимаете, молодой человек, если вот это оставить, то вы еще можете спокойно целый год не бриться даже два. А если вот это хотя бы раз побрить, то вам уже придется каждый день бриться, в крайности через день. Обязательно.

Во чудак. Да я об этом лишь и мечтал — чтобы каждый день бриться.

Старый чудак насыпал в чашку белого порошка, взбил пену и густо намылил мое лицо.

Потом еще одеколоном попрыскал.

Я сел в «четверку» окончательно взрослый, свежий и благоухающий.

Трамвай долго огибал красную богатырскую громаду завода с красными богатырскими трубами (позже выяснилось, что так завод и назывался — «Красный богатырь»), потом пересек мосточек, а потом углубился в темный лес. Этот дремучий лес был и справа и слева. Он стоял глухой стеной, лишь изредка прерываясь сквозными просеками, возле этих просек трамвай останавливалась и кондукторша объявляла: «Майский просек... Лучевой просек... Олений вал... Охотничья улица...» У меня опять возникло ощущение, будто я приехал не в Москву, а в тайгу, где лесорубы прокладывают просеки в чащобах, где бегают дикие олени, а за ними гоняются с ружьями охотники. Но я догадался, что названия эти сохранились от старых времен. Хотя и сейчас в трамвайных окнах по обе стороны был темный лес. Наверное, летом здесь красотища — зелень и цветы; вероятно, и зимой тут хорошо — снег, сугробы. Однако сейчас, глубокой осенью, лес выглядел довольно неуютно и сыро.

Но вот трамвай круто свернул. Кондукторша объявила: «Сокольники».

Я вышел на очень просторную площадь. Огляделся.

По правую руку была высоченная пожарная каланча, увенчанная флюгером. По левую руку возвышалась огромная церковь с крестами, густо оседланными черным вороньем.

Над дачными кровлями возник массивный и резкий уступ, сложенный из серого кирпича. Большие квадратные окна были расчерчены рамами тоже в квадраты, только поменьше, с математической строгостью.

И голос Валентина Ногтева сделался строже:

— Это спецшкола... Взвод, подтянись!

Все же мне удалось в субботу выклянчить у комбата увольнительную в город, посмотреть Москву. С десяти ноль-ноль до шестнадцати ноль-ноль.

Прежде всего нужно было решить вопрос экипировки. Мы еще в Бийске слышали страхов о придирчивости столичных комендантских патрулей: сапоги не начищены — пожалуйста бриться, не побрит служивый — губа. Очень строго.

Ну ладно, башмаки я надраил до зеркального блеска, пуговицы на шинели сияют, как солнца. Но сама шинелька истерта до основы, штопана-перштопана, можно смотреть на свет, как сквозь сито. А головной убор, буденовка? Да за одну эту отмененную буденовку сразу схлопочешь губу — ведь прямое нарушение формы одежды.

Я искал выход из создавшегося положения. И нашел. Кто ищет, тот всегда найдет.

У Олега Афонина из второго взвода я одолжил шинель — новенькую, зеленого английского сукна, загляденье. Дело в том, что Олег Афонин был москвичом и успел побывать дома, а мать Олега Афонина была майором интендантской службы, она ужаснулась, увидев, в какой задрипанной шинели приехал ее родной сын, и тут же отдала ему свою офицерскую шинель, наверное, у нее была еще и другая. Мы все, когда Олег Афонин явился из дому, с восхищением и завистью щупали ворсистое зеленое сукно его заграничной обновы. И вот эту самую шинель я выпросил у него поносить с десяти ноль-ноль до шестнадцати ноль-ноль. Он дал.

А роста мы с ним были одинакового, так что шинель оказалась мне как раз впору. Но я вдруг обнаружил, что она застегивается не на ту сторону, не с того бока — не справа, а слева. Пуговицы, правда, были с обеих сторон, однако петельки только с одной.

— Почему?— удивился я.— Разве у англичан с другой стороны?

— Нет,— досадливо поморщился Олег Афонин.— Это дамская шинель, женская. Материна шинель, на заказ шили. У женщин с другой стороны.

— А как же?..— расстроился я.

— Да никак. Застегивайся налево, никто не заметит, подумаешь — разница... — махнул рукой Олег.— Я в этой шинели через всю Москву — никто даже внимания не обратил.

Ну ладно.

Теперь надо было позаботиться о голове. Я знал, что у Димки Могутного припрятана кубанка — белый каракуль, синий верх, настоящая кубанка, он сам был родом с Кубани. Он не носил эту роскошную кубанку потому, что боялся — отнимут ребята из старших батарей, надежно хранил ее.

Димка помялся, но дал. Я за это ему пообещал свою хлебную пайку в ужин.

Я надел перед зеркалом английскую шинель, нахлобучил белую кубанку, подпоясался ремнем с латунной бляхой. Ребята, в общем, одобрили. Но сказали, что из-за этого ремня очень топырится зад шинели и на груди отвисает (ведь шинель была все-таки дамская), и предложили ремень не надевать, а вместо ремня навесить кожаную

А прямо перед собой я увидел каменный шалашик с буквой «М». Это было метро.

У входа в метро был табачный ларек. И поскольку сегодня я впервые побрился, то решил закрепить свою солидность: купил пачку папирос с артиллерийским названием «Пушки».

Войдя в шалашик, я зашагал по длинному светлому коридору, облицованному желтым кафелем. Мне сразу понравилось, что те, которым вниз, идут по одному коридору, а те, которым наружу, обтекают их двумя другими коридорами-полукружьями, тоже облицованными кафелем. Никакой толкотни, чистота и порядок. Повсюду война, а тут порядок.

Через минуту я уже мчался в голубом поезде метрополитена.

На перегонах в тоннелях, непроглядных как темный лес, стекла вагона делались зеркальными, и я мог любоваться самим собой: белая кубанка, зеленая шинель, погоны-крылышки, узкий ремешок планшетки наискосок. Строен, плечист, хорошо побрит.

Кончался перегон, стекла наполнялись светом, и я мог любоваться очередной подземной станцией. Это какая? «Красносельская». Граненые розовые колонны. Так, запомним, поехали дальше... Рыжеватые мраморные стены, балкон с затейливой решеткой, где полным-полно спящих людей. «Комсомольская»? Будем знать, «Комсомольская»... А вот эта станция даже без всяких надписей сама называет себя: «Красные ворота». Потому что вдоль всего перрона понаделаны из мрамора красные воротца с серыми нишами... Какая там следующая?

Вообще все они казались очень знакомыми, эти станции метрополитена, я узнавал их, как узнают по портретам знаменитых людей. До войны у меня была коллекция марок, пришлось, к сожалению, оставить ее в Харькове. Там были целые серии, на которых изображены эти великолепные подземные залы московского метро. Марка за маркой, станция за станцией... Кажется, сейчас должна быть «Кировская»?

Поезд с грохотом, не убавляя скорости, а вроде бы даже надав прыти, пронесся мимо мраморных сводов сурового стального отлива, и я успел лишь заметить, что проемы в этих сводах были наглухо заделаны серыми щитами. И опять тоннель, ребристые тубинги, густая сеть проводов, темный лес...

Куда же подевалась станция «Кировская»?

Я оглянулся на сидящих, на стоящих пассажиров.

Но они сидели, стояли как ни в чем не бывало, даже не заметив исчезновения станции. Будто так и надо.

Значит, так и надо. Надо, так надо.

А вот и «Дзержинская». Эта станция, слава богу, на месте, никуда не подевалась. Только мне сходить не здесь, а на следующей.

Белоснежным мрамором ослепил «Охотный ряд».

Эскалатор на этой станции короткий, не до самой наружи, скорей всего для любопытства, что вот ты вроде и покатался на эскалаторе. А дальше пешее восхождение. Ступени, коленчатые марши лестниц. Я всходил по ним, чувствуя, запоминая каждый свой шаг — на каждый шаг взволнованным стуком отзывалось сердце. Может быть, это специально так предусмотрели, чтобы человек, который впервые, как я, приехал в столицу и решил побывать на Красной площади, — чтобы он почувствовал и навсегда запомнил ногами и сердцем каждый шаг своего восхождения.

И за порогом метро, на улице, на дневном свету, восхождение продолжалось. Брусчатый подъем, ведущий к Красной площади, был

не крут и не долгов, но все же это был подъем — тоже для того, чтобы сердце считало шаги.

Я увидел Кремль.

Я сто раз его видел — в книжках, в кино, во сне. Я знал очертания этих стен и башен, дворцов и соборов, ленинского Мавзолея и трибун, окрыляющих его. Я все это знал и видел раньше, но все оказалось совсем иным.

Ведь раньше я думал, что Кремль — это праздник. А теперь, впервые увидев его наяву, я понял, что Кремль — это крепость.

Его стены были прежде всего крепостными стенами, неприступными для врага. Он весь ощетинился: граненые острия башен были похожи на штыки, зубья стен зияли грозными бойницами, даже елки у этих крепостных стен напоминали штыки. Часовые с примкнутыми штыками стояли в карауле у Мавзолея, на посту номер один.

Крыши дворцов, купола соборов были выкрашены защитной краской. На кремлевских звездах были защитные чехлы.

Он был хмур и суров. Кремль сорок третьего года.

Правда, этой глубокой осенью сорок третьего года фронт уже отдалился. Немцев выбили из Брянска. Только что освобожден Киев. Наши десантники высадились под Керчью.

На Красной площади уже не было противотанковых ежей. Над нею не висели аэростаты воздушного заграждения.

И все-таки Кремль был не праздником, а крепостью.

До праздника было еще далеко.

Я вспомнил вдруг, как на глухом разъезде за Арысью, в Казахстане, на пути в Барнаул, где томился наш эшелон, я впервые в жизни увидел настоящие горы. Они были зеленые снизу, а выше постепенно рыжели, а на вершинах лежал снег. Горы были совсем близко, рукой подать. А мы стояли на этом разъезде уже целый час, ждали паровоза, кто-то сказал, что паровоз дадут через два часа. И я сообразил, что вполне успею добежать до этих гор, которых никогда в жизни не видел, — ну, конечно, не до снежных вершин, не до рыжего, а хотя бы до зеленого успею добежать, посмотреть и вернуться обратно.

И я побежал. Бежать было легко, я бежал не оглядываясь. А когда впервые оглянулся, то уже не увидел ни нашего эшелона, ни разъезда. Я испугался — нет, не того, что эшелона не было, что он ушел раньше времени, не дождавшись меня, и я теперь пропал в этой глуши, нет, я прекрасно понимал, что если паровоз обещали через два часа, то дадут наверняка через пять. Я испугался совсем другого: вот я уже так далеко отбежал от нашего эшелона, что его даже не видно, а эти горы, к которым я бежал, не приблизились ни на шаг — до них по-прежнему было рукой подать, вот они, совсем рядом, но они не приблизились ни на шаг. Почему же?.. И я вдруг понял, что если бы даже мне бежать до них целый день и всю ночь, то к следующему утру они были бы так же далеки от меня, как сейчас... Они были очень далеки.

Как победа.

Я посмотрел на кремлевские часы и обнаружил, что стою здесь, на Красной площади, уже целый час.

А увольнение всего лишь до шестнадцати ноль-ноль.

Надо бы еще кое-что повидать в Москве. Ну хотя бы Большой театр.

Я зашагал обратно под уклон, свернул направо, потом налево — какой удивительный город эта Москва, в ней все находишь памятью, угадываешь чутьем, даже если ты впервые в жизни сюда приехал.

На пути оказался довольно обшарпанный и низенький кинотеатр «Восток-кино», в нем шла новая военная кинокомедия «Воздушный

извозчик». Я еще не видел этой картины. С фанерного щита улыбались мне Жаров и Целиковская, над ними летел самолет «дауглас» со скошенными крыльями — значит, про летчиков. Про несбывшиеся мои мечты.. Сеанс в тринадцать ноль-ноль. До сеанса тридцать минут. Я успею взглянуть на Большой театр и вернуться сюда к началу сеанса. Полтора часа в зале. На метро до Сокольников пятнадцать минут, тридцать на трамвае до Богородского. Ровно в шестнадцать ноль-ноль я буду в спецшколе. Как штык.

Я купил билет и направился к Большому театру.

Сперва я даже не заметил, что это Большой театр, — думал, стоит темный лес посреди Москвы. Потому что весь он, Большой театр, был размалеван зелеными, бурными, черными пятнами. Его толстые колонны были похожи на стволы вековых деревьев с облезлой корой, дуплами, ростками запоздалой зелени, купами пожелтевших осенних листьев и совсем уж голыми черными ветвями. Весь фасад театра и его боковые стены и даже пологие скаты крыши были искусно разрисованы под темный лес — это была хитроумная защитная маскировка, чтобы вражеские самолеты, оказавшись над Москвой, не могли найти Большого театра.

Правда, фронт отодвинулся на запад. За Смоленск, за Брянск. Теперь «юнкерсам» было далековато лететь на Москву — да и не смели они. Но защитную маскировку все же на Большом театре пока оставили. Темный лес...

Ко мне неторопливым шагом приближался офицер с красной повязкой на рукаве, а за ним вышагивали два солдата со штыками на поясе и тоже с красными повязками. Комендантский патруль.

— Увольнительную, — сказал офицер, тронув перчаткой висок.

Ну, это вам пожалуйте. Я протянул ему увольнительную записку. Нет, это билет в кино. А вот увольнительная. С десяти ноль-ноль до шестнадцати ноль-ноль.

Он прочел. Сложил. Но возвращать не торопился. Он был весь такой неторопливый, полный собственного достоинства.

— Почему, курсант, нарушаете форму одежды?

— Я не...

— Почему брюки навывпуск?

Ах вот в чем дело. Я ему объяснил, что нам положено навывпуск еще с до войны и теперь тоже, это, мол, у нас такая особая привилегия, у спецов, — брюки навывпуск.

— А кубанка тоже привилегия? — едко спросил он.

Я объяснил ему, что кубанка — это не привилегия, а просто нам еще не выдали форменных цигейковых шапок, в Бийске не было, а тут еще не успели, мы всего лишь третий день как в Москве. Я ему все это очень толково и подробно объяснил.

— Почему без ремня? Почему планшетка?

Тут лучше было отмолчаться. Не мог же я ему объяснить, что если бы я подпоясался тесным ремнем с бляхой, то у меня бы оттопырился зад, как у квочки, а на груди у меня вздулось бы пузырьком, как у кормилицы. Потому что это была женская шинель, дамская, Олега Афонина матери. Потому и застегнута она не направо, а налево. Но объяснять все это значило бы клепать на самого себя — он ведь, кажется, и не заметил, что шинель на мне дамская, не на ту сторону.

— М-да, — сказал офицер, оглядев меня еще раз с головы до ног. Улыбнулся приятельски: — Артист. Не из Большого театра?

— Никак нет, — ответил я ему, взаимно улыбаясь. — Из Малого.

— Егоров, — офицер оглянулся на солдата с красной повязкой, — отведите артиста к Малому театру.

Он тронул перчаткой висок и неторопливо зашагал дальше.

Возле Малого театра стоял грузовичок, в кузове сидели солдаты, сержанты и старшины. Артисты вроде меня. Кто из Малого, кто из Большого.

Надо отдать им должное, они встретили меня очень приветливо, охотно потеснились, давая местечко, и никто из них не стал расспрашивать: за что? Ведь каждому известно, что ни за что. Просто встретился на дороге комендантский патруль. А комендантский патруль — он как судьба, от судьбы не уйдешь.

— Закурить нету, курсант?

— Есть.

Я достал из кармана пачку артиллерийских папирос «Пушки», которую купил в Сокольниках. Вот ведь как они оказались кстати, папиросы, можно угостить хороших ребят. Ребята живо расхватили всю пачку — одну папиросину в зубы, другую за ухо.

Тут мы и поехали.

Грузовичок катился довольно, быстро, видно, шофер наездил эту дорогу. Я едва успевал следить за поворотами. Едва успевал восхищаться площадями и улицами, которые попадались на пути. Мы проезжали мимо величественных и гордых зданий, мимо уютных особнячков, мимо церквей и памятников.

Мне бы пешком все это и за неделю не обойти, не оглядеть, а тут — с ветерком.

Грузовичок еще раз свернул, мы оказались на очень красивой улице: сквер клинышком, изящный мосток, божий храм, старинные палаты, чугунная ограда, за которой сквозил темный лес, внушительный казенный дом.

— Это Новая Басманная, — сказал сидевший рядом со мною ефрейтор. — Городская комендатура.

Он, наверное, уже бывал в этих местах.

Нам всем дали два часа строевухи. Эко диво: в Бийске и по четыре гоняли. Кроме того, я вполне успевал со временем — что сидеть в кино, что маршировать по двору. И еще неизвестно, смешная ли это кинокомедия — «Воздушный извозчик». Я вынул из кармана шинели голубой билетик, пустил его по ветру...

В метро я садился на станции «Красные ворота», поближе, это мне подсказал ефрейтор, который уже бывал на Новой Басманной.

Потом Сокольники, «четверка», темный лес, просеки, богатырский завод, трамвайный круг, все уже родное и знакомое, будто век я тут прожил, в Москве.

Я доложил о прибытии из увольнения ровно в шестнадцать ноль-ноль. Как штык.

8

— Новенький у нас, в нашем взводе, — сказал Юрка Садков. — Между прочим, с фронта робеночек... В моем отделении.

Мы припаздывали к началу урока, а урок был история, а историком был капитан Евграфов, после него в класс не заявишься — попадешь в историю, так что мы едва успели ворваться по звонку и сесть за свои столы, а столы наши с Юркой были рядом.

— Где? — спросил я насчет этого новенького.

— Вон там, на камчатке, — повел ухом Юрка.

Я оглянулся.

На камчатке, бодливо наклонив стриженое темя, сидел новенький. Вид у него был настороженный и замкнутый, как у всех новеньких. На нем уже была новехонькая спецовская форма, новехонькие спецовские погоны, чин чинарем, как у всех, только в отличие от всех над

карманом кителя у него красовалась новехонькая медаль «За отвагу» на серой ленте с синей каймой. Ишь ты, значит, и вправду с фронта робенок... Что? Я просто обалдел, приглядевшись к наклоненному стриженому темени. Не может быть. Да неужели...

— Встать! — раздалась команда. — Смирно!

Дневальный докладывал комбату: мол, по списку столько-то, на занятиях присутствует столько-то, в медпункте один, дежурит по кухне другой, во взводе пополнение...

— Вольно, садитесь, — прервал капитан Евграфов, сел и сам, раскрыл журнал, обратил свой взгляд на пополнение: — Фамилия?

— Голованов.

— Имя?

— Леонид Игнатович.

Так и есть.

Бог ты мой, до чего тесен мир, даже когда война. Ленька Голованов из Бекетовки, из Сталинграда, из нашего класса, с нашего лесозавода, который удрал неизвестно куда, а оказалось — на фронт. Я его сразу узнал, только не поверил сначала. Подумал — не может быть.

— Вижу, Голованов, воевали? — спросил комбат, имея в виду медаль «За отвагу». — Где?

Теперь все ребята смотрели на новенького.

Ленька стоял безответно, молча. Наверное, сильно застенялся от всеобщего внимания.

— На каком фронте воевали? — повысил голос капитан Евграфов. — Род войск? Артиллерия?

— Так точно! — глухо ответил Ленька Голованов. — Зенитная. Сталинградский фронт, потом Степной, потом Четвертый Украинский.

— За что награждены?

Ленька опять медлил с ответом. Он смотрел прямо в лицо комбату, но не отвечал. Совсем онемел робенок от застенчивости и смущения.

— За что отмечены правительственной наградой? — строго переспросил капитан Евграфов. Он не любил, когда приходилось дважды задавать один и тот же вопрос.

— А... за сбитый «юнкерс».

— Садитесь, Голованов. Приступим к занятиям. Сегодня у нас революция в Германии восемьсот сорок восьмого года...

Весь час я то и дело украдкой оглядывался, пытаюсь перехватить взгляд Леньки, но его стриженое темя было по-прежнему наклонено бодливо. Лишь под самый конец урока, оглянувшись снова, я увидел, что Ленька Голованов смотрит на меня, и, когда наши глаза встретились, он улыбнулся мне легко и запросто, будто мы с ним вчера расстались.

Вчера вот мы с ним расстались в осажденном Сталинграде, а сегодня вот у нас... революция в Германии. Восемьсот сорок восьмого года.

Может быть, он меня только сейчас заметил и узнал, а может быть, узнал раньше, сразу, но тоже не поверил, что это я.

Что мир так тесен, когда война.

Побеседовать толком нам удалось, однако, лишь после ужина, перед вечерней поверкой, когда личное время. Для личного времени в просторном и основательном московском здании спецшколы был красный уголок: там и радио, и газеты, и шахматы. Но большинство предпочитало коротать свое личное время в спальнях помещениях, где, как и в Бийске, кровати высились в два этажа, — те же самые железные кровати, между ними тесные коридорчики, закутки один

за другим, чем дальше, тем укромней, от двери даже не видать, не слышать, кто чем занят, кто о чем разговаривает. Вообще-то проводить личное время в спальнях помещениях возбранялось, ведь на то есть красный уголок, но всегда можно было оправдаться, что пришиваешь, сидя на кровати, свежий подворотничок, драишь пуговицы, шаришь в своей тумбочке, а на самом деле можно было побеседовать толком.

— ...приказ такой вышел, чтобы всех сынов — ну тех, которые сыны полка, — чтобы всех сынов с фронта снять и направить в суворовские училища или в спецшколы, — рассказывал Ленька Голованов. — Меня хотели в Краснодар направить в суворовское, но я не захотел, потому что там совсем козявки, с третьего даже класса. А в спецшколе все-таки...

— Правильно! — горячо одобрил я Ленькино решение. — Спецшкола совсем другое дело. К тому же — артиллерия!

Честно говоря, мы очень заревновали, когда несколько месяцев назад было объявлено об открытии суворовских и нахимовских училищ. Про этих суворовцев и нахимовцев трубили во все трубы, печатали фотографии, показывали в кинохронике — не то что про нас. Но мы утешали себя тем, что туда принимают совсем козявок, с третьего, что ли, класса или с четвертого, с десяти лет. И еще нам не нравилась суворовская форма: она была какая-то невзаправдашняя, не военная, а будто с конфетной обертки. Кадет на палочку надет. Кроме того, спецшколы были артиллерийские и авиационные, а суворовские училища общевойсковые.

Вот только Ваня Подобных закручинился, когда узнал насчет нахимовских училищ, — ведь он хотел в морское, их тогда еще не было, но вот и открыли, он мог бы теперь туда, однако Ване, как и мне, выпал жребий.

Нет, чего уж греха таить, мы просто ревновали и завидовали.

— Правильно, — сказал я, — спецшкола лучше. Значит, всех вас, сынов, с фронта сняли?

— Всех. Приказ Верховного.

— А как ты на фронт убежал, расскажи. Ведь никому ни слова, даже мне...

Ленька Голованов молча, будто не расслышал моего вопроса, устался в дощатый пол, подпер кулаками щеки. Но, оказывается, расслышал.

— Убежа-ал. На фронт... Куда же там было бежать, если немцы нас в городе заперли. В самом Сталинграде — фронт. Я одного и боялся — что мать на улице встречу... А батарейцам я наврал, что сирота из Харькова. Помнишь, я тебя насчет Харькова выспрашивал?

Я кивнул, я помнил.

— Ну, для этого и выспрашивал. Вот... А потом, когда мы Харьков взяли, мужики и начали допытываться: покажи, сын, где тут что, ведь ты здешний... Я им опять вру: дескать, все кругом развалено, ничего не могу понять...

Ленька хмыкнул.

Сердце мое заныло.

— А по правде — сильно развалено?

— Сильно. — Он вытащил из кармана кисет с шуршащей махрой. — Курить тут у вас разрешается?

— Да ты что! Если комбат дым учует — всему взводу хана... В уборной можно.

— Ладно, потерплю, — хмуро сказал Ленька, затолкал кисет обратно, сплюнул, растер подошвой.

Видно, у них там, на фронте, были порядки не такие строгие.

— А мама, Екатерина Степановна, теперь знает, где ты?

— Знает. Я ведь ездил в Бекетовку, перед тем как сюда. Повидались. Она-то думала, что меня на свете нет.

— А как там теперь, в Бекетовке?

— Да ничего. Бекетовку не так задело. Вот Сталинград — сплошь, а Бекетовка почти целая. Даже лесозавод целый. И Сталгрэс опять работает... Говорят, немцы в Бекетовке зимовать собирались, когда Сталинград возьмут. Позимовали, гады... — Ленька вдруг оживился: — Слушай, а ты Якушин дом помнишь, на Каланчевской?

— Конечно, помню. Рядом с нами, рядом с домом бабушки Санджи.

— Дедушки, бабушки... В этот дом, когда немцев забрали в кольцо, переехал штаб генерала Шумилова. Шестьдесят четвертой армии штаб. Так вот в этом доме генерал Шумилов лично Паулюса допрашивал.

Я поразился. Даже сперва не поверил. В Якушином доме, в избе с резными ставенками, с узорчатым дымником, рядом с нашим неприметным домом — штаб знаменитой армии?..

Но Ленька утверждал.

И я попытался себе представить, как в горнице Якушина дома — ведь я бывал в этой соседской горнице, — как в ней сидит за столом прославленный генерал Шумилов и говорит Паулюсу: «Хенде хох! Зинд зи фельдмаршал?.. Во штеет йетцт ир фортрупп?.. Вифиль гешютце хабен зи?..» А тот лишь уныло пожимает плечами: да, мол, фельдмаршал, только ничего у меня не осталось — ни войска, ни пушек...

Интересно, видел ли это бабушка Санджи? «Дóлбить и дóлбить». Молодец бабушка Санджи.

В закутке, где мы беседовали, вдруг возник Юрка Садков — весь запыхавшийся, радостно-оживленный.

— Докладываю! — сообщил он. — В непосредственной близости — черный батальон.

— Какой черный батальон?

— Женский батальон связи. Дом напротив нас, через улицу. Там они квартируют — целый батальон.

— А почему черный?

— Связь — погоны черные, кант черный... Но девочки — экстра, люкс, шоколадный набор. Со станции «Кировской», — хитровато сощурился Юрка.

С «Кировской»?.. Я напряг память. Чередой пробежали в памяти граненые розовые колонны «Красносельской», балкон с затейливой решеткой на «Комсомольской», красные воротца с серыми нишами — «Красные ворота»... А потом? Потом пронеслись мимо окон поезда, как бы нарочно поддавшего прыти, мраморные своды сурового стального отлива, и я успел заметить, что проемы в этих сводах были наглухо заделаны серыми щитами. Это она и была, «Кировская», станция, исчезновения которой подчеркнуто не заметили пассажиры метро. Будто так и надо.

— А что там, на «Кировской»? — спросил я тихо.

— Ну, братец... — Юрка Садков загадочно приосанился.

Я не стал допытываться. Вдруг встало в один ряд только что услышанное от Леньки Голованова — про то, как в Бекетовке, в избе на Каланчевской, разместился штаб знаменитой 64-й армии генерала Шумилова, — и вот еще Юркины намеки насчет станции метро «Кировская». Там небось просторней, чем в Якушином доме. Но откуда бы Юрке знать об этом? Я не стал допытываться.

А Юрка продолжал доклад:

— Завтра входим в соприкосновение с батальоном связи. Только

что приходила делегация: три штуки включая комсорга. Приглашают на вечер самодеятельности, после — танцы.

— Не пустят,— покачал я головой.— Граф не разрешит.

— Их сиятельство отбыли на двухдневное совещание историков: вроде бы меняют программу. Так что вел переговоры гвардии старший лейтенант Васильев. Достигнуто соглашение. Сначала мы к ним, потом они к нам, а после — совместное представление, самодеятельный спектакль, потому что у них некому играть мужские роли, а у нас, извиняюсь, бабьи...

Тут я и вовсе махнул рукой. Ведь я в самодеятельности не участвовал, не было у меня никаких талантов.

— Уже составлен список, сорок человек из трех батарей. В том числе ты. И я в том числе.

Юрка с некоторым высокомерием глянул на стриженое темя Леньки Голованова. Потому что Леньки Голованова не было в том числе. И кроме того, Ленька Голованов, новенький, находился в прямом подчинении у Юрки Садкова, в его отделении.

— Курить пойду,— сказал Ленька, хлопнув себя по карману.— Невтерпеж.

— Я с тобой. Покажу где.

Мы ведь не кончили нашего разговора, Юрка помешал со своими несерьезными новостями. Какой-то «черный батальон», какая-то самодеятельность, чушь какая-то. А тут человек приехал с фронта, с самой что ни на есть войны.

Покуда Ленька раскуривал свою махру, козью ножку, я дотошно разглядел его медаль, даже на весу подержал — тяжелая она, «За отвагу».

— Мне еще за Сталинград причитается,— сказал Ленька.

— А как вы «юнкерса» сбили?

— Мы его на пике срезали. Он, понимаешь ли, пикировал на соседнюю батарею, а мы ему хвост зацепили — так и не вышел из пике, грохнулся рядом с нами при полном грузе...— Ленька вздрогнул, закашлялся.— Кто лечь не успел — насмерть, а кто успел — все контуженные. Меня тоже оглоушило.

Только сейчас я догадался, почему на уроке истории капитану Евграфову пришлось по два раза переспрашивать новенького, как его фамилия, и где он воевал, и за что получил правительственную награду. Он ведь не знал, что этот новенький — оглоушенный. Вообще артиллеристы — они почти все выходят с войны оглоушенные, а тут еще особый случай: рядом с батареей воткнулся в землю «юнкерс» со всеми бомбами, можно себе представить, как грохнуло... Да, хлебнул огня и дыма мой сталинградский дружок.

— Санька, послушай...— сказал он, швырнув в угол козью ножку.— Я насчет одного боюсь. Запустил ведь очень — целых полтора года. А у меня и тогда, если помнишь, туговато шло с диктантами. По географии тоже. И по всем остальным...

— Ну, диктанты — дело прошлое,— поспешил я его успокоить.— Какие диктанты? Восьмой класс. Теперь у нас сочинения. Если одного слова не знаешь, бери другое.

— А если я и другого не знаю? — Ленька потер ладонью жесткую щетину над лбом.— Отшибло у меня все слова... Надо было, конечно, записаться в седьмой, но тут нет седьмого. И что бы вышло? Воевал человек — и вроде как на второй год остался, будто второгодник...

— Да ты что! — возмутился я всей душой чудовищному этому предположению. И снова постарался успокоить Леньку: — Так ведь ты еще и не пробовал, не начинал. В первый день всегда страшно. Ты,

главное, начни — а там и пойдет, там видно будет. Если надо, ребята помогут. Неужели не поможем? Тебе, фронтовику?

— Ну ладно,— с видимым облегчением вздохнул Ленька и провел пальцем по краю тесноватого, должно быть, и непривычного ему стоячего воротника кителя.

На вечерней поверке я заметил (мы оказались с ним в строю почти рядом), что когда подавались обычные в таких случаях команды «смирно!», «равнение на середину!», «нале-во!», Ленька Голованов искаса следил за тем, что делают товарищи. Они вскидывают подбородки — и он вскидывает подбородок. Они едят глазами командира дивизиона — и он ест. Они круто поворачивают плечо — он тоже. Но все это с опозданием на полсекунды. Наверное, он плохо слышал команды. И отвык от строя.

Сильно оглоушило парня.

Сперва был концерт.

На сцену, поперек которой вывесили кумачовый транспарант «Слава советским артиллеристам!» (это, надо полагать, в нашу честь; догадались девчата, сообразили, как с ходу потрафить гостям),— на сцену вышел хор и запел.

Я не очень-то прислушивался к тому, что они пели, а больше разглядывал самих этих поющих девчат. Да, Юрка Садков, хотя он и любил иногда привирать от увлеченности, от запыханности, на сей раз приврал не слишком. Девчата были как на подбор. Начать хотя бы с формы. Все они были, конечно, в военной форме, в форме войск связи, но форма эта была особенная, я такой не видал прежде. На них были не какие-нибудь там гимнастерки да юбочки, а хорошо сшитые диагональные платья защитного цвета, с форменными пуговками, с черными погонами, но именно платья. Дальше. На ногах у них были не какие-нибудь там кирзовые сапоги или башмаки с обмотками — нет, на ногах у них были шелковые блестящие чулочки и коричневые туфли, даже на каблуках, не очень высоких, но все-таки. На головах у них были беретки, немного кокетливые, но со звездочками, чин чинарем.

Можно было предположить, что в такой замечательной и невиданной доселе форме девчат выпустили только на сцену, как это водится в самодеятельности,— спел и раздевайся. Но оглядевшись вокруг, я убедился, что и все остальные девчата из «черного батальона», которые сидели в зале и слушали вместе с нами, как поют,— все они тоже были одеты в ладные диагональные платья, все они, насколько я мог видеть, тоже были в шелковых чулочках и туфлях, а поскольку они сидели в зале без головных уборов, то я еще заметил, что у всех у них были красивые завитые прически, искусные укладки и лишь у некоторых были простые косы, закрученные калачиками.

Конечно, у всех у них были разные лица, но я поначалу не мог выделить и запомнить какое-либо из этих лиц, потому что я поначалу воспринял в полной мере, целиком, как воинское подразделение. Я уже привык за последнее время считать главным общее впечатление: хорошо ли смотрится в полном составе отделение, взвод, батарея... А тут — батальон.

В общем, батальон произвел на меня приятное впечатление.

Лишь одно обстоятельство показалось мне щекотливым. Мне щекотало ноздри. С первого момента, когда мы вошли в этот зал и расцелись по местам, я уловил в воздухе запах духов — то ли сирени, то ли фиалок, то ли гвоздик, не знаю, я за время войны совершенно перестал интересоваться, как и чем пахнут цветы, и ровно с 22 июня сорок первого года ни разу не слышал запаха женских духов, а тут,

хотя и не очень сильно, по всему залу начал витать этот неуместный и дурманящий запах, мне защекоталось ноздри, и я во время хорошего пения вдруг чихнул на весь зал...

Никто не обратил на это особого внимания. Люди военные, им чих не в диковину: может, человек простудился в ночном карауле, или в дальнем походе, или на учении. Чихнул — будь здоров. Постараюсь.

Только гвардии старший лейтенант Васильев, который сидел впереди и чуть правее, повернул ко мне свою аккуратно подстриженную бородку и выразительно посмотрел на меня. Из какой, мол, батареи? Ах, из третьей, из распоследней, недавно из шпаков, ну где уж тут ожидать приличного воспитания.

Виноват.

Я не обиделся на гвардии старшего лейтенанта. Ведь это именно он, Васильев, вел переговоры с делегацией «черного батальона», своею властью дал добро, чтобы мы к ним, а они к нам, и во избежание недоумений самолично привел нас в соседнее воинское подразделение и вот сидит вместе с нами, вежливо слушает пение, оглаживает бородку своей единственной рукой.

После хора была пляска.

Выскочили на сцену две дивчины в тех же форменных защитных платьях, только головы их были повязаны пестрыми косынками, а третья дивчина выскочила в спортивных сатиновых шароварах, в тупоносых, тяжело бухающих сапожищах, в косматой, как у басмача, папахе, а на лице ее были намалеваны сажей страшные, как у Бармадея, усы, — она пошла вприсядку, вскидывая сапожища, а две ее подружки, подоткнув пальцами ямочки на щеках, засеменили обок, и я догадался, что это украинский гопак, догадался и обрадовался.

Догадался и огорчился, что девочкам из «черного батальона» раньше не явилась идея завести дружбу с нашей артиллерийской спецшколой, расположенной по соседству, окна в окна, — тогда бы наверняка не пришлось этой средней дивчине в сапожищах и шароварах мазать себе лицо черт знает чем, тогда бы сейчас на сцене вместо нее выкидывал коленца Ваня Подобных, признанный к этому времени самым лихим плясуном спецшколы, а Димке Могутному и Олегу Афонину не надо было бы на потеху всему дивизиону повязывать девочками косынками свои зверские физиономии, когда у нас тоже случались вечера художественной самодеятельности.

Вот раньше бы... Но раньше мы еще не перекочевали из Сибири в Москву. А женский батальон связи, наверное, уже давно таборился здесь, в Богородском.

Так что все произошло в свой срок. Не раньше и не позже. Все только начиналось. Мы к ним, а потом они к нам, а после вам без нас, как нам без вас. Все правильно.

— Выступает старший сержант Тамара Терехова, — объявила девушка, которая была у них вместо конферансье. — Клавдия Шульженко, «Руки».

Девчата захопали восторженно, будто на сцене должна была появиться не какая-то Тамара Терехова, а сама знаменитая певица Клавдия Шульженко.

Я тоже захопал. Потому что Клавдия Шульженко была родом из города Харькова. Мама Галя рассказывала, что Клава Шульженко когда-то училась с нею в одной школе на Москалевке. Ведь мир и тогда был тесен.

Старший сержант Тамара Терехова была самая немолодая из всех этих молодых девчат-связисток, у нее даже губы немного были подкрашены. Высокая, стройная, выдающаяся такая — особенно где грудь. Две девушки подкатили ей рюэль (и тут, конечно, стодилось бы наше

содружество), востроносенькая девочка согнулась над клавишами, а Тамара Терехова, наоборот, откинулась, опершись ладонями о крышку рояля, запрокинула голову так, что темные волосы ее легли на плечи и спину, возвела очи, будто что-то вспоминала,— и вспомнила, и запела:

Нет, не глаза твои
Я вспомню в час разлуки,
Не голос твой услышу в тишине...

Да, пела она очень хорошо и очень похоже на Клавдию Шульженко. Если зажмуриться, то почти невозможно отличить, где Клавдия Шульженко, а где Тамара Терехова.

Я вспомню ласковые,
Трепетные руки,
И о тебе они напомнят мне...

И в этот момент она как бы с усилием оторвала свои руки от крышки рояля, протянула их навстречу залу — красивые, плавно переходящие от покатых плеч с черными погонами к манжетам с латунными пуговками, к тонким пальцам, на которых, как мне показалось, были мазки розового довоенного маникюра:

Ру-уки,
Вы словно две большие птицы,
Как вы летали, как оживляли все вокруг...

Зал сидел затаив дыхание, замерев, загрузив, закручинясь, затосковав, заскорбев.

Впереди меня и чуть правее скрипнула спинка стула. Я покосился туда, выражая свое неодобрение. Но тотчас присмирел. Потому что оказалось, что скрипнул спинкой стула не кто-нибудь, а гвардии старший лейтенант Васильев. Именно он. Он слушал, наклонясь, подавшись вперед, уткнувшись локтем своей единственной живой руки в колено, прибаюкав бородку в ладони, а другая, кожаная рука неподвижно и безразлично свисала,— он слушал, и на лице его, хотя я только сбоку мог видеть его лицо, было такое ошеломленное выражение, какого я даже не мог предполагать у командира первой батареи.

Руки,
Как вы могли легко обвиться
И все печали снимали вдруг...

Вот оно что. Руки. Наверное, эта песня Клавдии Шульженко, которую пела Тамара Терехова, особенно его тронула. Он, должно быть, вспомнил, что у него самого в недавнем прошлом тоже были руки — две настоящие руки. И они тоже летали, словно большие птицы. Оживляли все вокруг. Ласковые и трепетные руки: хочешь — вкальвай топором, гребь веслами, крути баранку, играй на гармошке, обнимай кого положено, щелкай затвором и держи врага на прицеле, чтоб не дрогнула мушка. Были руки... А потом в сражении под Смоленском ему оторвало напрочь одну из этих двух рук, но, как гласит легенда, он не оставил позиции, сам после боя зарыл в землю, схоронил свою руку, и лишь когда командуемый фронтом раскричался, приказал, чтобы его увели в санбат,— тут он и упал без сознания... И теперь не полетаешь. Не обовьешь. Не снимешь ничьих печалей, даже собственных.

Мне не забыть твоих горячих рук!
Ру-уки...

Я уже расстроился и подосадовал, что Тамара Терехова из всех замечательных песен Клавдии Шульженко выбрала именно эту, на-счет рук. Очень некстати. Лучше бы «Синий платочек». Но ведь она не знала. И никто не предупредил.

Однако же когда Тамара Терехова допела до конца эту невеселую песню и в последний раз вскинула руки и наложила их на себя, оборвав воспоминание, когда весь зал еще громче и яростней ей зааплодировал (некоторые девчонки даже повизгивали от восторга) — тут я с удивлением заметил, что гвардии старший лейтенант растроганно и благодарно улыбается и тоже аплодирует, положив на колено свою кожаную руку, а другой, которая живая, хлопает по ней.

И когда старший сержант Тамара Терехова несколько раз вышла раскланиваться на эти долго не смолкавшие аплодисменты, мне показалось, что в последний раз она отвесила низкий поклон не всему залу, а именно гвардии старшему лейтенанту Васильеву, который привел нас сюда, — ему лично.

После концерта убрали стулья и начались танцы.

Тут нам опять приготовили сюрприз. Радиола заиграла вальс, а та, которая была вместо конферансье, объявила:

— Белый танец.

Я насторожился. Я понятия не имел, что такое белый танец. Во мне все еще жила детская неприязнь к разным белым замашкам, во мне шевельнулось подозрение, что белый танец — это когда танцуют белые, всякие там ротмистры и штабс-капитаны.

Но оказалось, что белый танец — это когда дамы приглашают кавалеров. То есть девчата сами приглашают ребят.

Девушки-связистки, отважно пересекая зал, двинулись к гостям. Я успел заметить, как певунья и красавица Тамара Терехова подошла к гвардии старшему лейтенанту Васильеву и, тронув пальцами краешек платья, чуть присела перед ним.

А передо мной вдруг появилась маленькая росточком, но довольно пухленькая девчушка с вопрошающим личиком. Все в ней вопрошало: косы двумя кольцами вверх — ты кто? вздернутые белесые брови — откуда? верхняя губа дужкой, красными воротцами — зачем? и растопыренные изумленные ресницы — да на кой ты мне сдался?

Но ни одного из этих вопросов она мне не задала, а только слегка прищелкнула каблуками своих туфель и спросила:

— Разрешите вас пригласить?

Я разрешил.

Дело в том, что еще в самом начале нашего пребывания в спецшколе капитан Евграфов объявил: для будущих офицеров умение блестяще танцевать столь же необходимо, как строевая выправка, как мгновенный расчет цели, как свежий подворотничок. Раз в неделю по вечерам Граф приводил нас в зал и самолично (франуженка Лурье подыгрывала на пианино) учил нас танцевать, объяснял различные па и фигуры, даже снисходил до того, что с кем-нибудь из нас вертелся в вальсе либо скакал в мазурке. Мазурка, впрочем, у нас не получалась, вместо нее начинался атакующий лошадиный топот, и француженка Лурье затыкала уши, но вальс и еще фокстрот мы усвоили.

Так что я был достаточно подготовлен к этой неожиданности, к белому танцу с девушкой из «черного батальона», которая меня пригласила. Неизвестно даже, почему меня.

Правда, нас тут было всего лишь сорок человек, а их целый батальон, и, как мог я убедиться, глядя поверх головы этой маленькой девчушки, все ребята были уже разобраны — все какие есть. Наш помкомвзвод Валентин Ногтев носился по кругу с той, что была вместо конферансье, Олег Афонин и Димка Могутный с теми двумя, которые

толкали рояль, а Ваня Подобных с востроносенькой пианисткой. А те девушки-связистки, которым никого не досталось, они танцевали друг с дружкой, и было нетрудно догадаться, что это им привычнее. А мы кружились с этой крохой — я держал ее на известном расстоянии.

— Меня зовут Цыплакова Надя,— сказала она.

В глазах ее был немой вопрос.

Ну, я ей тоже открылся.

— Я из Великого Устюга,— сказала она.

Надо же, такая маленькая, совсем кроха, а из Великого Устюга.

Я ей вкратце объяснил насчет себя что и как.

— Вы позволите проводить вас? После вечера? — осмелела она.

Я пожал плечами и холодно заметил ей, что это не положено, чтобы девушка провожала молодого человека, что это вопреки.

— Ничего,— сказала она.— Я провожу вас, а потом вы меня проводите.

В глазах ее был немой вопрос.

— Ладно,— смилостивился я.

— Ты не умеешь целоваться,— сказала она. И, вздохнув, добавила: — Я сама не умею.

— А чего тут уметь? — слегка обиделся я.— Подумаешь, наука.

— Тебе сколько лет?

— Семнадцать.

Я накинул себе годочек. Для солидности. И по праву: ведь на войне год считается за два.

— А мне уже восемнадцать. Я старше тебя. Это плохо — значит, мы с тобой неровня.

Ничего, теперь все равны. Зато ростом я был гораздо выше нее.

Мы сидели на крылечке чужого дома, вроде дачи, таких домов полно в закоулках Богородского. В доме было темно и глухо: то ли хозяева крепко спали, то ли все работали в ночной смене, то ли их тут и не было вовсе, мытарившись где-нибудь в эвакуации. Во всяком случае, нас никто не гнал с этого крыльца.

Сначала Надя Цыплакова проводила меня до спецшколы, до забора, до будки, где часовой. Мы оглянулись — незрячие зашторенные окна «черного батальона» смотрели прямо в наши окна, тоже зашторенные и незрячие. Потом я ее проводил обратно через улицу — опять забор, опять окна в окна. Ничего себе провожанье: мечись, как в клетке, между заборами.

Тогда мы углубились в дремучий закоулок Богородского, нашли эту безмолвную дачу, это заиндевевое крыльцо. Ночь была холодной, промозглой. И мы, чтобы хоть немного согреться, поцеловались.

— Ты не умеешь целоваться,— сказала она.— Я сама не умею. Девчонки надо мной смеются, потому что я еще никогда не целовалась с парнем.

— А в Великом Устюге? — строго осведомился я.

— В Великом Устюге? С кем же там целоваться? Там и до войны парней почти не было. Больше церквей, чем парней. Он очень маленький, Великий Устюг. А теперь никого не осталось: все парни на войне. Видишь, даже устюжские девчата сгодились. Мы боевые.

Это я уже понял.

Сгрел ее потуже, поцеловал свирепей, чем в первый раз. Между прочим, это не от нее пахло в зале сиренью и фиалками, довоенными духами,— от нее, от Нади Цыплаковой, пахло яблоком с морозца, когда оно оттаивает в тепле.

Она обеими ладонями отстранила меня.

— Я добровольно пошла. Я была самой лучшей телеграфисткой в Устюге. Сто десять знаков в минуту.

От близких ее губ отлетал пар. Верхняя губа была изогнута дужкой, красными воротцами.

Красными воротцами? А что там дальше, за красными воротцами? За «Красными воротами»?

— Это правда, что ты на «Кировской»?

Она посмотрела на меня испуганно. Белесые брови заломились. Косы прижались, как заячьи уши.

— А зачем тебе?

— Просто так. На «Кировской» тоже нету парней?

Надя Цыплакова рассмеялась.

— Какие же там парни? Там одни генералы. Им по тридцать лет.

Да, пожалуй.

— Саня,— сказала она, положив мне руку на плечо,— ты умеешь хранить тайну?

Я кивнул вполне определенно. Мы все тогда умели хранить тайну и хранили ее. Как могли.

— Знаешь...

Надя отвела взгляд туда, за крыши, за деревья Богородского, в непроницаемую темень, где ничего не было видно.

— Знаешь, однажды мы сидели на «Кировской», все на своих местах,— и вдруг вошел Сталин.

— Сталин?

— Да.

— А вы... а вы что?

— Мы все встали. Встали и стоим.

— А он? Что он вам сказал?

— Он сказал: «Работайте».

— Ну это ясно. А что он еще сказал?

— Ничего.

— Он сказал «здравствуйте»?

— Нет. Он только сказал: «Работайте».

— Но он вам скомандовал «вольно»?

Надя еще сильнее задумалась и покачала головой.

— Нет. Я точно помню. Он сказал: «Работайте». И все.

— А потом?

— Потом он ушел.

Она все еще глядела туда, за крыши и деревья Богородского. И я тоже посмотрел туда.

Там, за черными крышами, прилизанными белым инеем, за черными голыми деревьями, тоже тронутыми инеем, была непроницаемая темень, непроницаемая тайна — ни огонька, ни звука — там была Москва.

— Саня,— позвала меня Надя.

9

Пришло письмо из Барнаула.

Мама Галя писала, что живы, здоровы, что соскучились — все, что пишут в подобных случаях. Но дальше были строки, озадачившие меня. Она-де послала недавно коротенькое письмо в Харьков, на Сомовку, Горбатенкам — так, почти без надежды на ответ. А ответ вдруг пришел. Его написала тетя Оксана, каракули такие, что едва разберешь, однако сказано там, что дядя Гриша умер, а ее и Петю пока бережет господь.

«Саня,— писала мама Галя,— нет ли у тебя возможности съездить в Харьков хотя бы на денек? Нас завод не пустит, ты же знаешь, что отпуска перенесены на после войны. Да и очень далеко отсюда. Я бы хотела, чтобы ты взглянул, на месте ли наш дом, цела ли квартира, осталось ли что-нибудь из мебели, из вещей? Ведь раньше или позже, а вернемся домой, я уверена. Остановишься на Соковке. Высылаю тебе деньги на проезд, на всякие расходы...»

Вместе с письмом пришел перевод на шестьсот рублей — совершенно плевые деньги по нынешним временам.

Мы все уже знали, что нам впервые разрешат недельный отпуск: москвичи смогут пожить у родителей дома, а иногородним будет позволено съездить в иные города, если они на таком расстоянии, что можно смотаться туда-сюда за неделю.

А тут еще выяснилось, что Лешка Медведев (прозвище Топтыгин), старшина второй батареи, собирается ехать в Ахтырку повидать отца и мать, пересадка в Харькове. Значит — компания.

Я заикнулся насчет билетов: дескать, трудно с ними.

— Какие еще билеты? — искренне удивился Топтыгин. — Ты кто — военный или шпак? Ихний нарком нашему должен...

Ну, эту премудрость я давно усвоил. Конечно, во время войны военным всюду предпочтение. В магазинах, в кассах кинотеатров длиннющие очереди безмолвно и безропотно, согласно неписаному правилу пропускали вперед военных. А в метро у турникета, когда мы ехали куда-либо впятером или вдесятером, первый, проходя, общал: «Команда». Второй, третий, четвертый указывали пальцами через плечо: «Сзади». А замыкающий важно изрекал: «Ваш нарком нашему должен». И ничего — ни шума, ни крика...

Однако я никак не верил, что можно проехать от Москвы до Харькова таким же способом — бесплатно, без билетов.

— Можно,— сказал Топтыгин.— Запросто.

На перроне Курского вокзала он вручил мне свой фанерный чемодан (и у меня был фанерный чемодан, в каждой руке теперь по чемодану), а сам, выпятив грудь с надраенными пуговицами, направился к ближайшему вагону.

Тамбур вагона осаждала густая толпа. Ругаясь с проводником и друг с другом, пассажиры протягивали билеты, ведь каждому хотелось не только попасть в поезд, но и добыть местечко, где можно хотя бы сидя переспать ночь, скоротать сутки, а никаких плацкартных мест в билетах не значилось и вообще в помине не было. Вот и лезли напролом, давились.

Но когда Топтыгин подошел к тамбуру, в толчее сам собой образовался почтительный коридорчик. Проводник неловко отдал честь и даже не спросил, где, мол, ваши билеты.

— Ординарец,— коротко пояснил Топтыгин, бросив небрежный взгляд на меня, волокущего следом фанерные чемоданы.

— Пожалуйста, пожалуйста...— закивал проводник.

Вагон был набит битком.

Топтыгин огляделся, скорчил недовольную мину: куда при-
ткнуться?

— Прошу вас, товарищ майор!

Пожилой и тщедушный старичок в мешковатом кителе с узкими военфельдшерскими погонями искательно улыбался Топтыгину и, потеснясь всей своей худобой, освободил для него полоску крашеной охрой скамейки меж другими сидящими.

— Спасибо, лейтенант,— благосклонно кивнул ему Топтыгин.

Вот когда я испугался не на шутку. Даже волосы взмокли под шапкой.

Я только теперь догадался, почему этот военфельдшер назвал Лешку майором, и почему так вежлив был с ним проводник, и почему с таким отчаянным нахальством вел себя мой попутчик. Из-под воротника шинели Топтыгина выглядывали лишь концы погон. На них, обшитых по краю курсантским золотым галуном, были еще старшинские лычки крест-накрест, но поперечная лычка спряталась под воротником, а продольная вместе с окантовкой оставляла на погонах два просвета старшего офицера, и сияющую артиллерийскую эмблему посредине можно было сослепу принять за майорскую звездочку.

А этот пожилой военфельдшер был, наверное, и впрямь подследоват или же, оставшись на войне неисправимо штатским человеком, все еще плохо разбирался в знаках различия, и Топтыгин со своим внушительным ростом, басовитым голосом и надраенными пуговицами с порога произвел на него впечатление большого начальства.

Но что будет, когда Лешка снимет шинель? Когда старикашка приглядится повнимательней? Когда он заметит, сообразит, что рядом с ним на скамейке впритирку сидит совершенный сопляк, которому до майорского чина — как до небесных звезд?..

Однако Топтыгин и не собирался снимать шинель. В вагоне — стылом, нетопленном, продутом сквозняком — было жуть до чего холодно. Инеем обросли не только окошки, но и стены. Густое дыхание людей, набившихся в вагон, не оттаивало этот иней, а ложилось на него новыми мохнатыми слоями.

— Рымарев, лезь вон туда! — приказал Топтыгин. — Чемоданы тоже.

Свободной была лишь боковая багажная полка, третий этаж.

Я закинул туда наши фанерные чемоданы, уцепился за скобу, подтянулся, задел кого-то сапогом («Виноват!») — и был там.

Поезд тронулся.

По закону, когда поезд трогается в путь, человек обязан тотчас же, не теряя минуты, заняться едой. Я отпер замки своего чемодана. Нам выдали всю неделю сполна сухим пайком: хлеб, копчености, жилистые и древние будто мощи, да кусковой сахар. Я вгрызся в копчености.

Поглядел: может, и Топтыгину хочется?.. Но там старичок военфельдшер уже подносил Топтыгину, стараясь не расплескать, крышку от алюминиевой фляги. Топтыгин опрокинул ее в пасть одним духом. А тот ему — крутое яичко. Они степенно беседовали, только не слышно о чем.

Я съел дня за три, больше не влезло.

Теперь согласно закону полагалось спать. Я лег удобно, вкосу пристроив один из чемоданов под голову. Однако эта багажная полка, третий этаж, была чертовски узка. Уснешь, а на повороте вдруг занесет вагон — и загремишь с третьего этажа на людей, на тщедушного военфельдшера, на какого-нибудь майора, а то и на пол... «Виноват!»

Расстегнул бляху, вытащил полный конец ремня, припоясался к заиндевелой отопительной трубе, которая тянулась вдоль полки, снова зашелкнул бляху на животе. Занесет, не занесет — надега. Можешь спать спокойно. И видеть сны...

Я увидел во сне Надю Цыплакову. Она, уцепившись за скобу, подтянулась, ойкнула, едва не сорвавшись, но все же сумела взлезть на эту узкую багажную полку, легла рядом. «Ты что? — испугался я. — Тут двоим...» «А ты держи меня. Просто держи крепче». На ней была шинель — глухая и шершавая. «Расстегни крючки, жар-

ко...» — попросила она. «Что ты, мороз!» «Расстегни». Мне было очень трудно одной рукой обнимать ее, удерживать почти на весу, а другой расстегивать эти крючки, которые никак не хотели расстегиваться. «Дальше», — сказала она. «Что дальше? Гимнастерка...» — «Погоди. Я сама...» — «Что сама?» — «Я сама не умею... Погоди. Только держи меня крепче. Непусти меня».

Мы расстались с Топтыгиным — ему пересадка — на вокзале в Харькове.

Вокзала в Харькове не было.

Груды развороченного кровотокащего щебня лежали там, где раньше был вокзал, — я помнил его, красивый, торжественный, гулкий. На крошево падал снег и сразу темнел, пропитываясь гарью и пеплом.

На привокзальной площади стояли многоэтажные стены с прорубями пустых окон, зализанных копотью по верхней кромке, свисали пролеты обрушенных лестниц.

Неезжено, ржаво змеились трамвайные рельсы. Может быть, трамваи и ходили, но сейчас ни одного не было в виду. От развалин вокзала отчаливали грузовики с солдатами, ничего не стоило напроситься в попутную. Но я уже обрек себя на пеший путь, хотя он был отчаянно далеким и — я уже понимал — так же отчаянно страшным, как эта привокзальная площадь.

Я двинулся по улице Свердлова, бывшей Екатеринославской.

Растрезанные дома открывали настежь свое нутро — когдатопшие жилые комнаты, коридоры, кухни, выкрашенные зеленым и розовым, оклеенные голубыми и серыми обоями, — будто исподнее. И оно было тоже изорвано в клочья, осыпано мелом, задымлено, опалено. Куда же подевались люди, которые жили тут? Вон и на улице — безлюдье...

Приближался центр. Развалин становилось все больше. Еще на вокзале я подумал, что ведь не может быть больше развалин, чем там, где развалено все дотла. А теперь понимал, что может...

Вот здесь, над речкой Лопанью, была гостиница «Спартак», в ней жил Ганс вместе с другими шуцбундовцами до того, как переехал к нам на Черноглазовскую. Где же гостиница? Нет гостиницы.

Дом Красной Армии, возле которого в День конституции я глазел, как поднимают на-гора портрет Сталина. Где же он, этот могучий дом? Нет никакого дома. Крошево, пепел.

Мне было очень далеко идти, однако ноги ненароком сами по себе то и дело сворачивали в сторону, удлиняя и без того длинный путь, вводили меня своей собственной натопанной памятью. Куда вы ведете меня? Ах да, к Дворцу пионеров, где шестеро горнистов трубят в пионерские горны над белоснежной колоннадой. Где я мастерил в детстве свою первую летающую модель и вдруг ко мне подошла Полина Осипенко...

Ноги споткнулись, дрогнули в коленках.

Не было дворца. Не было горнистов. Не было моего детства. Ничего не было.

Я шел. И покуда я шел, везде на моем пути лежали разрушенные дома, стояли обугленные дома, а те, что выстояли и не сторе-ли, — они были сплошь исколоты пулями, изрешечены автоматными очередями, изувечены осколками бомб.

А в конце моего пути, на заречной Сомовке, я увидел одноэтажную городскую хату с долгим рядом окон, валким забором, покосившейся калиткой. И это, почудилось мне, было единственным в городе строением, которое миновали бомбы, которого не коснулись пули.

— А Петя где?

— Он вернется скоро. Пошел на завод наниматься, на «Серп и молот». Чтоб к дому поближе,— пояснила тетя Оксана.

Сняла с плиты ведро, доплеснула горячей воды в корыто. Из железной банки зацепила с доньшка мазок похожего на деготь мыла, отряхнула палец — поди, самодельное мыло, жуть какая от него вонища.

— Я теперь на госпиталь стираю. Карточку дали и платят, конечно.

— А... при них? — осторожно спросил я.

— Да и при них то же самое — стирала. Тоже платили. Жить-то надо было, Санечка... — сказала она, не поднимая головы от корыта.

Я кашлянул — запершило в горле от едкого пара. Да и любой вопрос выговаривался с трудом.

— Дядя Гриша сильно болел?

Она локтем отерла с лица мыльные брызги.

— Не то чтоб сильно. На ногах болел... Голодуха доконала, вот и помер. Мы его на Журавлевке схоронили. А могилу растоптало танком. Надо будет навесни найти, поправить...

— А Лиза где?

— Ее, Санечка, в Германию угнали. Вместе с другими. Знаешь, сколько они, проклятые, туда народу угнали? Тех, какие помоложе, работать могут... А с бесполезными — знаешь, что они делали? — Дыхание тети Оксаны надломилось, она тяжело опустилась на табуретку. — В Сокольниках...

— Я, тетя Оксана, тоже в Сокольниках живу. Только это в Москве. Там наша казарма, — встрял я неизвестно зачем.

Она посмотрела на меня пустым, ослышавшимся взглядом — кажется, не поняла того, что я сказал.

— В Сокольниках... Там детская больница. Ребятишки там лежали, маленькие совсем, бесполезные. Немцам их кормить-лечить обуза... Так они знаешь что сделали? Пригнали туда эти... газвагены, машины такие закрытые, где на ходу газом травят...

— Душегубки?

Это страшное слово уже появилось в газетах.

— Да, газвагены... И давай туда детишек заталкивать всех подряд — и scarлатинных, и желудочных, и у которых косточки срстаются. Они, детишки, плачут, беду чувуют, упираются, а немец говорит: «Ехать к дядя-тетя в Сталинград! Шнель-шнель — в Сталинград!..»

— Почему... в Сталинград? — Опять у меня свело горло. — Когда это было?

— Ну когда им там навели капут... На тот свет, значит.

Визгнула дверь, в кухню вошел Петя. Пацанок Петя. Длинный, как жердь, драный ватник на нем — хоть запахнись вдвое. Щеки запали настолько, что зубы приоскалены. Глаза бродят... Мне стало вдруг не по себе от этих глаз.

— Ты? — спросил он, не сразу опознав меня.

— Я.

Он оцупал глазами мои погоны, пуговицы и канты кителя.

— Ты же летчиком хотел?

— Не получилось, — признался я. — Артиллерия.

— Тоже не получилось... — усмехнулся он чуть злорадно, как мне показалось.

И только теперь подошел, вяло тронул мою руку.

— Петенька, ну как там, на «Серпе и молоте»? — спросила тетя Оксана.

— Расчистка. Всех на расчистку направляют... Завтра пойду на Тракторный. Да и там, наверно, расчистка.

— На Тракторный? — заинтересовался я. — Можно, я завтра с тобой пойду?

— Пошли. — Он безразлично пожал плечами. — Тебе-то зачем?

Но тут бродячие его глаза замерли на моем фанерном чемодане.

Я нагнулся, расстегнул замки, вынул оттуда все, что осталось, — за четыре дня.

— Тетя Оксана, нам бы кипяточку, а? К сахару.

— Сейчас, ребятки. Я вам узвар сделаю. Осталось трохи...

Через полчаса мы сидели с Петей за столом в той же самой просторной горнице, за тем же столом, где нас щедро потчевали хозяева, когда мы впервые — мама Галя, я и Ганс — пришли на заречную Сомовку к Горбатенкам. Только сейчас эта горница была не то чтобы пуста, а скорей гола совсем — одни обшарпанные стены, поросшие у потолка в сырых углах тонконогими серыми грибами.

Дощатый стол был не покрыт, на нем лежал нарезанный ломтями вязкий хлеб. Петя рвал оскаленными зубами жилы копченостей. Я, обжигаясь, глотал из кружки узвар: сморщенные дольки сушеных яблок.

— А помнишь, как мы с тобой во Дворце пионеров?.. — спросил я.

— Взорвали его, — глухо ответил Петя.

— Я видел... А голубятня твоя?

— Голубей мы съели в первую зиму. Да и нельзя их было держать, за голубей расстрел, гы-гы, — объяснил он.

— Ну это понятно, — кивнул я, — почтарики ведь.

— А голубятня целая, — сказал Петя, неожиданно перестав жевать. Глаза его опять остекленели и чуждо побрели вдоль стен. — Голубятня целая. Идем — глянешь...

— Давай.

— Вы куда, ребятки? — забеспокоилась тетя Оксана, увидев, что мы встали из-за стола. — Петя, куда же ты его тащишь? Сидели бы... Нескрытая тревога слышалась в ее голосе.

По гнилым ступенькам вскарабкались мы на стреху. Петя распахнул незапертую дверцу, и мы оказались в тесноте голубятни как в клетке. Частая железная сетка, лохматящаяся ржой, на все четыре стороны открывала белые скаты крыш заречной Сомовки, прореженные черными горями.

— Что она тебе говорила? Мать? — подступил близко Петя.

— Насчет чего?

— Насчет нас...

— Да ничего такого. — Я слегка отстранился от его блуждающих страшных глаз и оскаленных зубов. На кой черт, в самом деле, мы полезли сюда, на крышу?

— Про отца что сказала? — опять насунулся он.

— Умер. Болел, потом умер.

— А про Лизку? Что в Германию угнали?

— Ну да.

— Врет она. Врет, понимаешь?..

Я оглянулся. Мне показалось, что близко, под нами, под крышей, хлипнула сырая ступенька. Но сразу стихло.

Петя стоял, привалившись спиной к ржавой сетке, запрокинув голову. Из-под его век медленно ползли слезы, а зубы были оцепенело закушены. Чуть разжались.

— Завтра, — сказал он шепотом. — По дороге.

Дядя Гриша повесился. Лизка уехала вместе со своим фашистом. Мы шли на Тракторный.

Немцы разместили в горсовете управу. Тем, кто не покинул город, кого не арестовали сразу по доносу — что большевик, депутат или жид, — кого не пристрелили на месте, тем было велено работать где и прежде. Из канцелярских некоторые так и остались при своих столах. Лизка по-прежнему стучала на машинке. Дядю Гришу разыскали на Сомовке, привезли под конвоем, загнали обратно в котельную — наступала зима. Приставили часового: на улице Дзержинского, в самом центре города, среди ночи взлетел на воздух особняк, где жил немецкий генерал, и бомба была в котельной, засыпанная углем.

Дядя Гриша заугрюмел, состарился в один месяц. Однако еще держался, ждал, ждал часа. А дождался, что Лизка, дочка, спуталась с гестаповским офицером, молодым и вальяжным («Его Гансом звали», — добавил Петя, коротко взглянув на меня). На ихнем заборе на Сомовке кто-то намазал дегтем: «Осторожно — немецкая овчарка!» Дядя Гриша, которого отпускали домой через сутки, избил Лизку до полусмерти. Она пожаловалась своему Гансу. Тот явился в котельную и собственноручно отхлестал дядю Гришу плеткой по морде. Но Лизка тем не удовлетворилась. Она потребовала, чтобы этот Ганс честь честью женился на ней. А тому вроде бы не разрешало начальство, потому что не арийской крови. Но он добился: этот гестаповский Ганс не на шутку втюрился в Лизку Сямскую Кобылу. Им разрешили, повенчали в немецкой кирхе, и Лизка съехала из дому.

Дядя Гриша повесился прямо в котельной на трубе, когда отлучился часовой. Его привезли на Сомовку, бросили во дворе. Тетя Оксана молила журавлевского попа, чтобы отпел в церкви как подобает, но батюшка — наотрез, сослался, что нет у него права, поскольку человек сам на себя наложил руки, да еще разгневался и проводил тетю Оксану матюгом, был выпивши. Похоронили за оградой кладбища. Лизка не пришла и после не являлась.

Потом, когда немцы сдавали город еще по первому разу, Лизка Сямская Кобыла уехала вместе со своим фашистом.

— А вы почему знаете, что уехала?

— Люди сказали.

Мы шли, окуная ноги в слякотное месиво глины и снега, — такая была дорога, уже не первый километр.

Позади слева остались развалины турбогенераторного завода, а сейчас насколько видно открылось черное пепелище — будто бы здесь был лес и этот лес выгорел дотла. Но память противилась: лес? не было тут никакого леса... А что тут было? Ведь я проезжал эти места много раз на трамвае, глазел в окно, а в самый первый раз я проезжал здесь, сидя в кузове грузовика, точнее над кузовом, на самой верхотуре, на узлах, когда мы перебирались с Черноглазвской на ХТЗ. Помню, как загоревал я, когда кончился город, потянулись пустыри, а тут... Что тут было?

— Тут что было? — не докопавшись в памяти, спросил я.

— Бараки были. Хатэзвские бараки, еще от тех, которые завод строили.

Теперь и я вспомнил — бараки. Скучные ряды порыжелых барачков.

— Сгорели?

Петя помолчал.

— Их немцы сожгли, — сказал чуть погодя. — Они их приспособили... сюда газвагены мертвяков свозили, конечный пункт. Пока до-

везут — уже все мертвяки. Сваливали в бараки, потом бензином, потом жгли...

Голос его был глухим, но спокойным, почти безразличным. Как и полчаса назад, когда он поведал мне всю эту историю про дядю Гришу, своего отца, про Лизку, свою сестру.

Голос его был настолько спокойным, что я наконец отважился задать вопрос, на который доселе не хватало отваги:

— Петь, а сам ты... ты сам что делал при них?

— Сапоги чистил.

— Кому? — Я обалдело взглянул на попутчика.

— А ты про кого спросил? Про немцев?

— Ну...

— Им и чистил. Немцам.

— Где? — Я выбирался из обалдения с таким же трудом, с каким вытаскивал облепленные глиной подошвы из дорожной слякоти.

— Где придется. На проспекте Сталина, на Карла Либкнехта, возле кино... Где их побольше шлялось.

Он остановился, переводя дыхание, оттянул на горле застежку драного ватника.

— На материну стирку мы бы не прокормились оба, подошли бы. А в ихние мастерские я не хотел, чтобы спрос меньше, когда наши придут... Слышь, Санька...

Я остановился тоже. Он зорко, искательно и вместе с тем отчужденно всматривался в мои глаза.

— Ты какой-никакой, а военный. Должен знать... Мне скоро призываться. Как думаешь — будет спрос? За то, что под немцем был, еще из-за Лизки...

Я неуверенно пожал плечами. Ей-богу, я не знал, какие насчет этого существуют порядки.

— Призвать-то призовут, — сам себя обнадежил Петя. — Войне еще сколько быть, а она людей молотит...

Мы похлопали дальше. Сговорились, где и когда встретимся, покончив дела, чтоб и домой вместе.

В отдаленье уже показались крутые горы обрушенного бетона, из которого, судорожно изогнувшись, торчали железные балки.

Это и был Тракторный.

Но дом в заводском поселке, где мы жили когда-то, оказался целым, почти невредимым, лишь несколько осколочных шрамов да пулевых царапин на его стене, пустяки.

Я вошел в знакомый подъезд, поднялся по знакомой лестнице, постучал в знакомую дверь. Тишина в ответ. Никого.

Никого? А почему, собственно говоря, там кто-то должен быть? Кто там может быть, в нашей квартире, если хозяева просто в долгом отсутствии, мама Галя и Ганс в Барнауле, а я вот поймел возможность наведаться в родные места, стою на лестнице перед дверью и мои пальцы по давней, вспомнившейся им привычке шарят в кармане — куда подевался ключ, хотя никакого ключа у меня с собой нету.

Ключ не понадобился.

По ту сторону двери, близясь, зашаркало, щелкнул замок, дверь приоткрылась на железной сворке.

— Вам кого?

Старуха в очках разглядывала меня сквозь щель. Одно из стекол ее очков было вроде бы треснуто и заклеено узкой полоской бумаги, как заклеивают окна от бомбежек.

— Мне... мне надо Рымаревых,— сказал я, не найдя лучшего повода для того, чтобы проникнуть в квартиру.

— Рымаревых?

Старуха обследовала меня своими очками с головы до ног и, убедившись, что я человек военный, из Красной Армии, а не какая-нибудь подозрительная шпана, отстегнула цепочку.

— Только тут нет никаких Рымаревых,— сказала она, когда я втерся в прихожую.— Рымаревы тут не живут.

— А кто тут живет?

— Я живу.— Смуглым от старости пальцем она указала на одну из дверей. Потом указала на другую: — А здесь полковник живет, советский...

«Это хорошо,— подумал я.— Это уже хорошо, что советский полковник, а не немецкий или там бандеровский. Приятней все же».

— Только его сейчас дома нет,— пояснила старуха. И обернулась к третьей двери, к той, что вела в мою комнату.— А здесь...

Но эта третья дверь вдруг сама отворилась, из-за нее высунулась младенческая головка в пестрой хустке, сосущая здоровенную титьку, а вслед за титькой показалась востроухая молодуха, помаргивающая спронежью:

— Чого им трэба? — спросила молодуха старуху. Ее спросила, а не меня.

— Вот, каких-то Рымаревых ищете...

— Нэмае тут нияких Рымаревых,— покачала титькой молодуха.— Можэ, воны помылылысь?

— Да, наверное, ошибся... товарищ,— перевела старуха, глядя на меня сквозь разбомбленные очки.

А мне, откровенно говоря, не очень польстило, что тут принимают меня за круглого дурака, который перепутал адрес и невзначай постучал в чужую дверь. Ведь это была наша дверь. И квартира была наша. Я имел достаточные права не отступаться, покуражиться хотя бы. Тем более что советского полковника не было в данный момент дома.

— Видите ли, дело в том, что я сам Рымарев,— оправив ремень на шинели, сказал я.

— А-а...— на всякий случай согласилась старуха.

« — Воны ридных шукають,— сочувственно кивнув, объяснила ей молодуха.— От горэ!

— Нет, мои родные... в порядке,— поспешил я заверить обеих.— Просто это наша квартира. Мы здесь жили до войны.

— До вийны? Так колы ж цэ було... Мы тэж до вийны на Полтавщыни жылы, хату малы. А дэ вона, хата? — Молодуха бесстрашно смотрела на старуху — на старуху, а не на меня.— А колы им трэба — мы можемо ордера показаты. И татко наш — вин тэж вийсковый, на фронти зараз... Так, рыбонько?

Она встряхнула свою рыбоньку. И я понял, что дело мое табак. Что ордер у них и впрямь есть. И что вообще эту крепость не возьмешь ни осадой, ни приступом: востроухую полтавскую молодуху и младенчика с его титькой.

— Я здесь недавно живу,— слегка виноватясь, сказала старуха.— Раньше я жила — спуск Пассионарии, знаете, возле зоопарка. Мы сгорели... У меня тоже есть ордер.

Не оставалось сомнений, что ордер есть и у полковника. К тому же его сейчас не было дома. Так что я не мог проверить.

— Что ж, извините,— сказал я.

Они терпеливо дожидались, пока я уйду.

Но я не торопился уходить. Вспомнил, что мама Галя в своем

письме поручила еще выяснить, осталось ли что из нашей мебели, из вещей. Мне уже было яснее ясного, что ничего, конечно, не осталось. Да и черт с ними, с вещами. Какие могут быть вещи, какая мебель, если война. Однако мною овладело вдруг необоримое желание заглянуть. Ведь даже когда ничего не остается — в доме, в жизни, — все-таки что-то остается, какой-нибудь след, какой-нибудь гвоздь. Чаще всего именно гвозди и остаются. А я перед самой эвакуацией набил в стену гвоздей: приколотил звезду с серпом и молотом, ниже полку, а на полке, вспоминаю, расставил труды Маркса и Энгельса, благо они были у нас на немецком языке, чтобы незваные гости, если они дойдут досюда, войдут сюда, — чтобы они прочли и, прочтя, повернули оружие...

Все это было в моей комнате. Но именно на пороге этой комнаты в дверях высилась неприступная молодуха.

— Вы разрешите заглянуть? — спросил я ее робко. — Только взглянуть разок...

— Будь ласка, — неожиданно подобрела молодуха. — Гляньтэ.

И посторонилась со всем, что при ней было.

Я заглянул.

В комнате на полу лежал полосатый ежастый (должно быть, набитый соломой) матрац. Стол да стул — не мои, не наши. От железной печки тянулась к фортке коленчатая труба. А на стене была красная звезда с серпом и молотом — на том самом месте, где я ее приколотил. На полке стояли как ни в чем не бывало книги с бордовыми корешками, присыпанными штукатуркой и пылью.

— А до вас... до того, как вас сюда вселили, здесь кто жил?

— Кто зна, — пожала плечом молодуха. — Мабуть, хтось и жив.

«Хтось». Я понял, что уже никогда в жизни ничего не узнаю про этого «хтось».

— Спасибо, — сказал я. — Большое спасибо.

— Нэ за що.

— До свиданья, — сказал я, отдал честь.

На всякий случай в субботу я наведался еще на Черноглазовскую.

Не то чтобы во мне теплились какие-то надежды на бывшую напу комнатенку в старинном доме на Черноглазовской — тут уж давно не было надежд, — но теперь мною владела и взбадривала меня другая надежда.

В этом горемычном городе, который дважды сдавали и брали дважды, где, казалось, ничего не могло уцелеть, остаться, все же, по счастью, кое-что осталось, уцелело нечаянно и непостижимо, вроде моей красной звезды.

Я взошел по крутизне Черноглазовской улицы и еще издали увидел — да, цел. Он стоял на прежнем месте, этот степенный и хмурый дом, построенный дореволюционным купчиной.

Более того, у ворот сидел на лавочке старый дворник Никифор, опершись на черенок лопаты, такой же широкой, как его борода. Тот самый дворник Никифор, которого мы, дворовые пацаны, порой доводили своими забавами «до белого колена».

— Здравствуйте, дедушка Никифор.

— Здравствуй... — Он скользнул глазами по моим плечам и уточнил: — Здравствуй, юнкер.

Я, конечно же, усмехнулся про себя. Вот что значит староремимный человек. Да еще пересидевший тут, на лавочке, всю оккупацию. Не может отличить курсантских погон от юнкерских, от царских. Хотя, по правде говоря, они были точь-в-точь.

— А что, юнкер, деду Никифору гостинца не принес? Четвертиночку?

— Нет...— смутился я.

Не было у меня четвертиночки. Я ведь не знал, что цел-невредим этот дом на Черноглазовской. Что жив-здоров старый дворник Никифор. И все равно денег на четвертиночку у меня не было.

— А закурить есть, махорочка?

— Папиросы.— Я поспешно задрал полу шинели, достал из брюк пачку.

— «Дели»,— прочел на пачке Никифор.— Стало быть, делй.

Ну, это я и сам знал. Это все знали.

— А в квартире вашей-то живут,— сощурясь от дыма, сказал дед.— Уже, считай, пятой сменой живут, как вы отсель съехали...

Я того пуще удивился. Не тому, что в нашей квартире живут,— иначе и быть не могло. А тому, что он меня, оказывается, узнал, догадался, кто я такой, хотя я уезжал отсюда от горшка два вершка, столько времени прошло и теперь меня никак невозможно было узнать — а вот он, дед Никифор, каким-то образом узнал, догадался.

— А где...— обнадежился я дедовой памятью,— Гошка Карпенко, он где?

— Эвакуировались они, Карпенки.

— А Яшка Овсюк?

— Овсюки в Москву переехали. До войны еще.

— В Москву? Я тоже теперь в Москве,— похвастался я не утерпев.

— Вот, может, и встренетесь.

— А Марик? Марик Уманский, четырехглазый?

— Марик?...— переспросил дед.— В яме твой Марик. В яме они все, Уманские... Душегубками отвезли.

Только сейчас я заметил, что на стене дома, у ворот, вместо таблички с фамилией доктора Уманского серый квадрат, светлее, чем сама эта закоптелая серая стена. Серый квадрат, будто памятная доска.

— Так, может, сбегашь за четвертиночкой, а, юнкер? — Дед Никифор подмигнул мне поощрительно.— Я еще тебе расскажу...

— Не могу. Спешу очень на поезд,— соврал я, снова чувствуя, как заливает щеки от стыда.

Мне было очень стыдно признаться, что у меня, у юнкера, ни шиша в кармане.

По улице Дарвина, по Совнаркомовской, по Сумской я вышел на площадь Дзержинского.

Сама площадь, эта самая обширная в мире площадь, сохранилась, то есть как она была ровным местом, так ровным местом и осталась. Но обступавшие площадь знаменитые харьковские небоскребы, когда я взглянул на них, заставили содрогнуться. Они были похожи на мертвецов, которых смерть не смогла повалить наземь, а оставила стоять, прислонив к небу. Расстрелянные в упор, обгоревшие снизу доверху, с зияющими глазницами окон, с раскинутыми дланями бетонных переходов, они умерли стоя и, мертвые, продолжали стоять...

А когда-то на этой площади был первомайский парад и мне выпало счастье видеть этот парад воочию. Сияла на солнце медь оркестра. Чеканя шаг, оцетываясь штыками, шли мимо трибун квадратные батальоны. Цокая тысячью копыт, на рысях проходила конница. Окутанные сизым дымом, лязгая гусеницами, двигались танки. Нарастая в калибрах, проезжала артиллерия. А в небе плыли огромные четырехмоторные самолеты...

Я и теперь не мог себе представить, что эту площадь, как ни страшен был ее мертвецкий облик, могла заполнить, затопить до края се-

ро-зеленая, будто плесень, масса чужеземного войска. И другие танки — низколобые, отвратительные на вид, даже если б не было на их броне угластных крестов,— проползали тут, оставляя за собой гусеничный мокрый след. И другие самолеты — с подогнутыми кривыми ногами, с длинными насекомыми фюзеляжами — суетливо рыскали в этом небе.

Петя рассказывал, когда мы возвращались с Тракторного, как летом сорок второго года через Харьков шли немецкие войска и вид их был необычен: танки были не зеленые, а желтые и солдаты на них была в желтых, песочного цвета рубахах с закатанными до локтей рукавами, с распахнутыми воротниками — они прошли город не задерживаясь, насквозь, и догадливые люди говорили, что это войско переброшено из африканских пустынь и что спешит оно в Закавказье, в заволжские степи, в Азию, в Индию...

Он рассказывал, что, когда Красная Армия в первый раз брала Харьков, немцы потихоньку улизнули, утекли отсюда, не сильно сопротивляясь. Они просто обалдели, не могли очухаться после Сталинграда. Но и наши части, вступившие в город, выглядели измученными, измотанными поспешным преследованием врага. Лошади, едва переставляя ноги, волокли подводы, в которых сидели понурые от бессонницы и усталости люди. Среди них было много пожилых, годящихся в деды солдат и много новобранцев из киргизских, казахских глухо-маней, едва понимавших по-русски, удивленно разглядывавших своими раскосыми глазами этот огромный город, какого им еще не случалось видеть и вот — довелось его взять...

Тогда хоть и радовались, но чуяли новую беду.

Несколько дней и ночей фашистские самолеты без передышку долбили город с воздуха такими тяжелыми бомбами, что, когда они отделялись от пикировщиков, казалось, будто половина самолета продолжает лететь к земле, а другая половина взмывает ввысь.

В Харьков ворвались эсэсовские дивизии — отборные, свежие и такие злые, словно они хотели начать войну сызнова. Даже ходили слухи, что немцы нарочно сдали Харьков, чтобы выяснить: кто еще тут остался за советскую власть?..

Но сызнова они уже не могли.

Их вышибли, как вышибают зубы,— одним ударом напроць, до коренных. Их вымели отсюда, из этого города, с этих улиц, с этой площади, где я сейчас стою и где стоят, опершись друг о друга, поддерживая друг друга, мертвые и слепые бетонные великаны...

На Сумской, когда шел обратно, я увидел возле драмтеатра автобус с зарешеченными окошками. У автобуса, у театральной двери стояли часовые в овчинных полушубках, цигейковых шапках, с автоматами попереk груди.

— Кого караулите? Какое кино? — шутливо спросил я у одного, краснощекого.

— Топай дальше, курсант,— посоветовал он мне и, цыкнув сквозь зубы, добавил: — Завтра узнаешь.

— Пошли,— сказал Петя назавтра.

— Куда?

Меня не очень тянуло снова куда-то идти. Я и так за эти минувшие дни намаялся ходьбой до полного изнеможения. Пешком да пешком. А концы-то, концы... Все исхожено, все выяснено. Некуда мне идти, лучше отоспаться впрок.

— Пошли,— настаивал Петя.

— А куда?

— Увидишь.— Он осклабился торжественно и злорадно.

Ну пошли.

Было декабрьское сырое утро. Воскресное утро.

Прежде всего непривычно поразило многолюдье. Если в день моего приезда в Харьков больно сдавил сердце не только вид искалеченных улиц, но и сиротская их пустынность, то сейчас я не мог оправиться от изумления: сколько людей! Сколько людей, оказывается, жило в этом разрушенном, бездомном городе. Где же они были накануне? Работали? Работали, наверное. Тут ведь работы — начать и во веки не кончить. Но сегодня воскресенье, самый раз отдохнуть, что и мне не помешало б. А они идут. Куда они все идут?

Было еще загадочней, что все они шли в одну сторону. К центру. Сотни людей торопливо и молча шагали с окраин к центру. И нам не повстречался ни один человек, который шел бы против этого течения, скажем из центра к себе на окраину. Ни одного.

— Куда они все идут? — спросил я Петю.

— На Благбаз, — ответил Петя и снова ослабился.

Ах вот оно что. На Благбаз, на Благовещенский базар, на главный городской базар, который расположен в центре города. Ну конечно. Ведь сегодня воскресенье — базарный день. В магазинах хоть шаром покати, да и шары по карточкам. А на базаре — там без карточек; деньги есть — покупай что хочешь, денег нет — продавай что хочешь, хоть с себя, выручай деньги, а потом на них покупай. Нормальное дело. Я ли в эту войну не шлялся по толкучим базарам, не продавал, не покупал...

Только мне показалось странным, что ни у кого из этих торопливых, их этих молчаливых людей — а их становилось все больше, — ни у кого из них не было в руках ни кошелки, ни чемодана, ни плетеной корзины на плече, ни холстинного мешка за спиной. Все они шли с пустыми руками. Но все торопились. И все молчали.

Теперь их были не сотни, а, поди, тысячи.

На Бурсацком спуске, который клонится к базару, я уже не видел под своими ногами булыжной мостовой, а лишь ощущал подошвами скользкие от растоптанного снега булыжины, но поскользнуться на них и упасть не было никакого риска, потому что спереди, сзади, с боков вплотную и тесно двигались люди и меня не могли оттереть от Пети, наоборот — его втирали в меня так, что ломило ребра.

Вся базарная площадь сколько видно окрест была запружена народом. Головы, головы. Уже не тысячи голов, а десятки тысяч. Люди продолжали молчать либо переговаривались вполголоса, но людей было так много, что по площади плыло мерное и напряженное жужжанье, как от высоковольтных проводов.

Из щербатых руин по краю площади тянулась в пасмурную хмарь высоченная, тоже каким-то чудом уцелевшая колокольня Благовещенского собора.

А на склоне этого хмурого неба четко и черно вырисовывались четыре виселицы, издали похожие на кегельные воротца.

Но пацанку Пете, моему троюродному дяде Пете, не хотелось — издали. Он, жестоко работая локтями, продирался сквозь литую толпу туда, поближе, и мне удавалось втиснуться за ним следом.

Мы успели вовремя.

Там уже стоял автобус с зарешеченными окошками, тот самый, который я видел вчера на Сумской возле драмтеатра.

А к виселицам задним ходом медленно подкатились четыре грузовика с опущенными бортами.

Из автобуса вывели четверых: трое были в немецких мундирах, без шинелей и без фуражек, а четвертый был в пиджаке.

Прокашлялся мегафон.

— «...именем Союза Советских Социалистических Республик... военный трибунал Четвертого Украинского фронта...»

Пожилой офицер в папаше читал листок хриловатым голосом, мегафон, шебарша и дзенькая, еще усиливал этот хрип, было трудно разобрать слова, и несметная толпа притихла, затаила дыхание.

— «...Лангхельд Вильгельм... член национал-социалистической партии с тысяча девятьсот тридцать третьего года, офицер военной контрразведки германской армии, капитан...»

Который из них? Вот этот, наверное, постарше, седой.

— «Риц Ганс... член национал-социалистической партии с тысяча девятьсот тридцать седьмого года, заместитель командира харьковской зондеркоманды СА, унтер-штурмфюрер СС...»

Ганс? Моложавый, вальяжный. Может быть... Я осторожно покопился на Петю. Лицо его было окаменелым и бледным, сквозь запавшие щеки проступали сцепленные челюсти. Он перехватил мой взгляд и покачал головой: не тот, мол, к сожалению, не тот.

— «...Рецлав Рейнгард, чиновник германской тайной полиции города Харькова... Буланов Михаил Петрович, тысяча девятьсот семнадцатого года рождения, русский, беспартийный...»

Ага, вот этот, в пиджаке. Сколько же ему?.. Двадцать шесть лет, в самую революцию родился.

— «...добровольно перешел на сторону врага, поступил шофером в харьковское отделение гестапо, принимал личное участие в истреблении советских граждан посредством душегубки... участвовал в расстреле шестидесяти детей...»

Площадь взорвалась воплем. Лютым, бешеным, страшным.

И этот многотысячный вопль уже ни на миг не прерывался, куда офицер в папаше читал белые листки,— я больше не услышал ни слова, да и никто, наверное, больше ничего не слышал; он дочитал до конца.

Четверых потащили к виселицам. Трое, немцы, шли, спотыкаясь, припадая, обвисая в руках конвоиров, но шли. А четвертый упирался отчаянно, взбрыкивал задом, сучил пятками, пытался вырваться, рвал рот...

Мне вдруг почудилось, что я все это уже видел однажды. Очень странно, я впервые в своей жизни смотрел на то, как вешают, как казнят, а было ощущение того, что — видел. Во сне, что ли?..

Нет, не во сне. Это аукнулось из далекого детства, когда Ганс вернулся из Испании. Он рассказывал мне про то, как в Барселоне перед началом корриды, перед боем быков, на арене расстреливали фашистских диверсантов. «А они... боялись?» — спросил я тогда. «Кто?» — «Ну те, которых расстреливали?» — «Боялись? Наверное, боялись». — «Они просили пощады?» — «Нет». Помню, Ганс прикрыл глаза, вспоминая, чтобы честно, и повторил: «Нет». «А дети на стадионе были? Женщины там были?» — «Конечно, были. На корриде все бывает». — «А они их жалели?» — «Кого?..» — «Тех, которых расстреливали?» — «Нет, их никто не жалел. Ведь это были фашисты». «Ну правильно», — согласился я.

Я очнулся.

Площадь замерла.

Им накинули на шею петли.

Кто-то махнул рукой, и четыре грузовика отъехали разом, выдернув кузова из-под ног.

Они задержались, норовя дотянуться ногами до земли, но земли у них под ногами не было. Подергались и застыли, свесив головы набок.

Площадь гудела — мстительно, гневно. Некоторые хлопали в ладоши. Другие тянули к висельникам грозные кулаки.

Рядом послышался сдавленный вскрик. Я оглянулся. Старушка, закутанная ветхим суконным одеялом — оно, подпоясанное, заменяло ей и пальто и платок, — эта старушка, выпростав сухонькую ручку, мелко крестилась, тихо всхлипывала, морщинистые щеки ее были мокры.

— Ты... ты что? — насунулся на нее Петя. Глаза его страшно блуждали, а зубы скалились, как тогда, на голубятне. — Ты что, с-старая, а?...

— Так ведь люди, — ответила она, утершись краем одеяла.

— Лю-уди?.. Кто — люди?

— Идем, Петро, — потянул я его за рукав.

Уже чувствовалось по возникшему напору, что толпа сейчас повернет обратно, отхлынет, устремится в окрестные улицы и по этим улицам начнет растекаться к окраинам.

— Кто — люди? — наступал на старушку Петя.

— Так ведь все люди, — сморкалась старушка.

— Все?..

— Не надо, Петя. Пошли.

Ей-богу, не стоило связываться с этой закутанной в одеяло старушкой. Может, она сумасшедшая. Долго ли тут, в Харькове, было сойти с ума?

Толпа понесла нас обратно.

10

Она возлежала на плетеном лежаке, подставляя солнцу то крутые свои бока, то гладкую свою спину. На ней были плавки, узкий лифчик, а на глазах черные очки — от солнца. Она загорала. Кругом зима, снегу навалом, еловые ветки согнулись от хлопьев, речка скована льдом — а она, извольте ли видеть, загорает, нежится. Потому что над нею стеклянный потолок, сквозь который льются потоком солнечные лучи, а в самом помещении натоплено, как в бане, поневоле скинешь с себя все что можно и даже чего нельзя.

— Красивая она, правда? — тихо спросила Надя.

Я скривил губы пренебрежительно:

— Нет... Та лучше.

— Почему?

— Та на тебя похожа.

— Не ври.

— Честное слово.

Надя быстро поцеловала меня в щеку. За мою честность.

Я наклонился к ее губам и подтвердил свое слово.

Мы могли целоваться сколько угодно, не опасаясь, что кто-нибудь сзади запищит, заругается, дескать, мы ему застим экран, потому что сзади нас никого и не было — стена, последний ряд. Я нарочно купил билеты в последний ряд, чтобы никто не шипел, не мешал нам целоваться. И когда перед началом сеанса все рассаживались в этом тесном зале кинотеатра «Луч», я заметил, что Валентину Ногтеву, нашему помкомвзводу, тоже досталось в последнем ряду с Лидой Батищевой, которая на вечере в «черном батальоне» выступала вместо конферансье, она у них была комсоргом.

Ответный вечер только еще предстоял, подготовка к нему шла полным ходом. Но нам было невтерпеж дожидаться. Между нашей артиллерийской спецшколой и батальоном связи крепла соседская дружба. Большинство, как мы с Надей Цыплаковой, нашли друг друга с первого взгляда, с той самой минуты, когда Лида Батищева объявила белый танец и девушки отважно направились к своим избранникам. Ну, конечно, некоторые вскоре разочаровались, пытались пере-

метнуться, пробовали отбить-перебить. Однако насчет этого у нас были суровые законы: не мечись, не суетись. Кой-кому пришлось в поученье начистить морду. И Надя Цыплакова рассказала мне по секрету, что в «черном батальоне» эти возникшие противоречия уладили тем же способом.

Связь работала как часы. Если Юрка Саджов шел в увольнение и встречался у метро со своей Ларисой (которая толкала рояль), то можно было не сомневаться, что, возвратившись, он точно доложит Димке Могутному, когда идет в увольнение Зина (которая ей помогала), и Димка испросит увольнительную на тот же самый час. Через надежные руки передавались записки. А еще мы использовали такой обычный способ связи, как почта: писали друг дружке письма, треугольники без марок, и они совершали свой путь через улицу, от ворот до ворот, обретая где-то на полпути привычный штемпель: «Промотрено военной цензурой».

Я ездил в Харьков, была разлука.

И после этой разлуки я, сгорая от нетерпения, ждал встречи с Надей Цыплаковой на пяточке у кинотеатра «Луч», самого ближнего к Богородскому, против Сокольнического парка. Мы договорились посмотреть «Серенаду солнечной долины», этот хваленый всеми американский фильм.

Крутобойкой красавице в черных очках надоело загорать среди зимы, она протянула руку к телефону, который был тут же, возле ее лежака, и позвонила своему хахалю. Ей сказали, что номер не отвечает, она сердито фыркнула.

А ведь она еще и не знала, что ее хахаль (звали его Тэд, довольно симпатичный малый, музыкант и спортсмен с белозубой улыбкой) в это время катается на лыжах вперегонки с норвежской девушкой Карин, которую он недавно удочерил. Дело в том, что немцы оккупировали Норвегию и многих детей оттуда, спасая от фашистов, вывезли на пароходах в Америку — нашлись добрые люди, которые согласились их приютить, — но Тэду досталась девушка уже старшего школьного возраста, моих примерно лет, белокурая, со вздернутым носиком, довольно решительного характера и впрямь похожая на Цыплакову Надю, только гораздо костявей, наголодалась, поди, бедняга. Мне сразу понравилась эта эвакуированная девушка. И я уже смекнул, что белозубому парню Тэду она в конце концов окажется милей, чем эта капризная, скандальная, избалованная, изнеженная певица Вивиян.

Так оно и вышло. Тем более что норвежская девушка Карин была отличной лыжницей, а уж что она творила на льду — уму непостижимо. Она вычерчивала коньками круги, восьмерки, скользила на одном коньке, ласточкой разведя руки, разгонялась, подпрыгивала и успевала при этом обернуться в прыжке, вдруг закручивалась юлой, волчком, приседая, поднимаясь, заломив над головой руки, она вращалась так быстро, что было почти невозможно уследить, она как бы исчезала, растворялась в воздухе — и резко останавливалась, в споров коньками зеркальный лед...

Мы с Надей даже забывали целоваться, следя за этим чудом.

Еще бы я отметил, что там, в Америке, невзирая на военное время, людям жилось не так уж плохо, даже эвакуированным. Они ходили по ресторанам, слушали джаз, загорали под стеклянной крышей, пять раз на дню меняли костюмы, дымили сигарами. В общем, они продолжали жить как ни в чем не бывало, красиво и зажиточно.

Посмотришь — и вздохнешь.

Мы вздохнули, когда экран погас, а в зале рассвело.

Валентин Ногтев подмигнул мне издали, направляясь к выходу с Лидой Батищевой.

Ехали обратно в одном вагоне «четверки». Вечерний трамвай был пуст, мы расселись порознь, Валентин и Лида впереди, а мы с Надей позади.

Мимо окон поплыл темный лес.

— Знаю секрет. Не выдашь? — спросила Надя.

Я посмотрел на нее выразительно: а ты еще не убедились? Она кивнула убежденно.

— Так вот послушай. Лида и Валентин решили пожениться. Он уже приглашал ее домой, в Ланинский переулок, где живет его мама. Она маме понравилась. Весной они распишутся.

— Но ведь он скоро заканчивает!.. Уедет в артучилище, потом на фронт.

— Конечно, — подтвердила Надя. — Он уедет, а она будет ждать. Теперь все так живут — ждут.

Мысль эта меня заинтересовала, а новость произвела сильное впечатление. Я вдруг подумал: а Надя Цыплакова понравилась бы маме Гале, если б я привел ее и сказал — вот, познакомьтесь, мы скоро распишемся, когда я закончу, когда мне исполнится. Наверное, понравилась бы. Ведь мне самому она очень нравилась.

— Странно, — сказал я.

— Что?

— Все это очень странно. Я никак не могу понять. Ты жила в Великом Устюге, а я жил в Харькове. А Валька Ногтев в Москве, а Лида..

— Она из Каширы.

— Из Каширы. Но это их дело. Я насчет нас с тобой... Ведь ты могла не пойти добровольно, осталась бы в Устюге. А я мог поступить не в Бийск, а в Ойрот-Туру, я хотел в авиационное, ты знаешь. Мне просто выпал жребий. Я мог вообще никуда не поступать — сидел бы и ждал призыва...

— Нет, ты не мог. И я не могла — я все равно пошла бы добровольно. Мы оба не могли бы.

— Правильно. Но я не об этом... Если бы не жребий, я поступил бы в Ойрот-Туру. Авиационная спецшкола тоже вернулась в Москву, она теперь на Соколе. А Сокол — на краю света, Сокол на одном краю, Сокольники на другом. Мы бы жили в одном городе, но никогда не встретились... Я хочу понять, как люди находят друг друга, если по всем законам они вообще не должны были встретиться. Вот, например, Карин и Тэд, она в Норвегии, а он в Америке... Нет, это кино, чепуха. Но я рассказывал тебе: один человек приехал к нам совсем из другой страны, из Австрии, он там сражался на баррикадах...

— Санька, — остановила меня Надя. — Я уже догадалась, о чем ты. Не вздумай сказать. И даже не вздумай подумать... Война — разлучница. Она разлучает людей. Навсегда.

— Но ведь мы с тобой встретились!

Надя пожала плечами, отвела взгляд.

— Встретились... Но это не самое главное — как люди находят друг друга.

— А что же?

— Самое главное — зачем они расстаются? Зачем они теряют друг друга, если нашли?

Я вспомнил, что она уже говорила мне это однажды: «Только ты держи меня крепче. Не упусти меня. Не потеряй меня». Когда говорила? Ведь она не говорила мне этого... Нет, говорила. Во сне. Когда я спал, пристегнутый ремнем к заиндевелой трубе, а поезд мчался в ночи.

— Война — разлучница, Санька. — Но ее грустно опущенные ресницы вдруг вскинулись весело: — Знаю секрет. Не выдашь?

Я посмотрел на нее выразительно.

— Ваш гвардии старший лейтенант Васильев влюбился в Тамару Терехову. Помнишь, которая пела, старший сержант?..

Ну вот и еще одно доказательство того, что нельзя ни высказать вслух, ни подумать.

— Они встречаются у памятника Пушкину.

Мы распрощались в Богородском у трамвайного круга, Наде с Лидой направо, а нам с Валентином налево.

— До свиданья!

— До послезавтра...

Послезавтра был День Красной Армии.

Духовой оркестр играл «Амурские волны». Там, наверху, в зале.

Закружившись в своих нелегких и ответственных заботах, в последних приготовлениях, я все же краем уха прислушивался к тому, как играет оркестр — как звонко поют трубы, как вторят им баритоны, как басовито и солидно, поддакивая, рывкает труба. Там тоже шла последняя репетиция. Оркестр играл хорошо. Старый капельдудкин сумел-таки в эту зиму восполнить потери, обучить вновь пришедших в оркестр неумех и сачков, натаскать их как следует в искусстве — и оркестр опять заиграл справно, ладно, дружно, ни визга, ни хрипа, ни прочей нескладницы, а через несколько месяцев эти замечательные музыканты, первобатарейцы, последний раз продудев в свои трубы, станут в строй, закинут на плечи вещмешки и зашагают к воротам — выпуск, а старому капельдудкину придется все опять начинать сначала.

Но сейчас оркестр играл безупречно, и я радовался, что на нашем вечере будет играть настоящий живой духовой оркестр, а не какая-то радиоло, то и дело спотыкающаяся на истертых бороздках пластинок... Только вот удастся ли мне выкроить пару свободных минут, чтобы подняться в зал и, расшаркавшись по всем правилам, пригласить Надю Цыплакову станцевать со мной вальс «Амурские волны»?

На меня свалились нелегкие заботы. Опять капитан Евграфов возложил на меня очень ответственное поручение. Я отвечал за гардероб, за раздевалку.

Вообще раздевалкой у нас никто и никогда не пользовался. Шинели наши и шапки висели, как и положено, прямо в казарменных помещениях рядком, каждая на своем месте. Всклакиваешь по тревоге, хватаешь свою шинель, шапку на голову — и в строй. Было бы даже странно, если б по тревоге или в ином подобном случае солдаты бежали гуртом в гардероб и толклись там между вешалок, где чья шинель, и хлопали себя по карманам: ах, куда подевался номерок?..

Но гардероб в спецшколе был внизу, в вестибюле, у парадного входа. И вешалки там были и дубовый барьер. Номерков не было, однако капитан Евграфов велел настричь картонок, продырявить в них дырки и намалевать цифры. Чтобы все чин чинарем, как у людей. Чтобы соблюдался полный порядок. Чтобы в суматохе никто невзначай не надел чужое.

Вот за это я и отвечал — за гардероб, за раздевалку. Мне дали в подмогу Олега Афонина.

А сам капитан Евграфов отвечал за весь сегодняшний вечер, за всю его организацию. Он был непревзойденным специалистом по этой части.

Я чувствовал приятное волнение.

И все вокруг были в приятном волнении, в некоторой возбужденности: ведь это впервые после нашего приезда в столицу — праздничный вечер в спецшколе.

— Ну как, Рымарев, порядок? — спросил, подойдя, Граф.

— Так точно! — ответил я.

— Ну и прекрасно, Рымарев.— Он подмигнул мне загадочно и свойски.— Среди шумного бала, случайно... А?

Хлестко распахнулась парадная дверь. Вбежал запыхавшийся Юрка Садков, он тоже был сегодня в числе распорядителей.

— Товарищ капитан... Не пускают!

— Кого не пускают?

— Девушек.

— Каких девушек?

— наших, которых мы пригласили. Из батальона связи.

— А-а, этих..

— Часовой не пропускает.

Что за чертовщина? Я бросился к окну в глубине раздевалки. Отсюда была видна проходная будка. В ее проеме высилась фигура часового Феде Комарова, бийчанина, из нашего взвода. Он держал к ноге винтовку со штыком. А дальше — у будки, у ворот, у решетки забора — стояли девушки в знакомых шинелях с черными погонами, в знакомых беретах со звездочками. И лица их были мне почти все уже знакомы: вот Лида Батищева, комсорг батальона, вот старший сержант Тамара Терехова, Лариса, которая толкала роуль, востроносенькая Шура, которая на нем играла... А вот и Надя Цыплакова, хотя она и мала ростом, совсем кроха, за другими не видно, но я ее сразу углядел.

Как же так и почему их не пускают? Ах вот оно что... Как я сразу не догадался?

Оказывается, кроме девушек из батальона связи, наших девушек, приглашенных нами, там, у проходной будки, появились еще какие-то совершенно незнакомые девушки, чужие, не из батальона связи, штатские, школьницы вроде, промокашки из ближайшей, наверное, женской школы, — узнали, прослышали, что у спецов, у артиллеристов, сегодня праздничный вечер, играет духовой оркестр, и тоже явились в надежде, а Федя Комаров, часовой, не пропускает их, потому что без приглашения, вы уж извините, но не велено, во всем должен быть порядок.

Вот оно что. Вот какое вышло недоразумение.

Я метнулся от окна обратно к барьеру, чтобы доложить обстановку капитану Евграфову. Чтобы это недоразумение тотчас устранить.

Капитан Евграфов стоял перед растерянным Юркой Садковым, покачиваясь с каблуков на носки. Вид его был совершенно спокоен, однако суров.

— Часовой выполняет мое приказание. Не пускает — и правильно делает. Никаких батальонов связи, ясно? Никаких... как это у вас называется, черных батальонов... я не пущу на порог! Нашли себе подружек... будущие офицеры! — Голос Графа постепенно истончался от негодования.— Ступайте к воротам, Садков. Распорядитесь, чтобы пропускали только учениц женской средней школы. Это мое приглашение, я лично разговаривал с их директором. Старшеклассницы, все на хорошем счету...

Юрка не трогался с места, будто окаменел.

— Что же вы стоите, Садков? Вы не знаете, как их различить? Очень просто: они без шинелей, без погон. Немедленно выполняйте приказание!

— Слушаюсь...

Неловко повернувшись, Юрка направился к двери.

Любые вести — хорошие и плохие — в нашей спецшколе распространялись со скоростью электрического тока. Не успела еще захлопнуться дверь за понурой спиной Юрки Садкова, а наверху вдруг на

полузвук оборвался вальс «Амурские волны». По лестнице застукотели башмаки. Ребята из всех трех батарей сбегались вниз, запруживая вестибюль, переговариваясь вполголоса:

- Не пускают...
- Кого не пускают?
- Никого не пускают.
- Нет. Просто одних не пускают, а других пускают.
- Каких других?
- Нам не нужно других...
- Это кому как.
- Братцы, вот они...

Они просачивались в дверь, озираясь с робостью либо напускной важностью, становились в очередь к гардеробу затылочек в затылочек.

— Рымарев, Афонин! Принимайте...—скомандовал капитан Евграфов.

Мы с Олегом начали принимать их одежонки — всякие немудрящие пальтишки, разные потертые шубейки, шапочки, платки, — уносили, вешали на крючки, возвращались, выдавали им картонные номерки. Пожалуйста, кто следующий?

Они отходили от барьера к тусклому вестибюльному зеркалу, охорашивались перед ним, приводили себя в порядок. Все они были в одинаковых коричневых платьях и одинаковых белых передниках, у всех были одинаковые кружевные подворотнички, лишь туфли разные, а все остальное одинаковое. Ни дать ни взять гимназистки из прежних старорежимных времен. Кошмар да и только. Ну еще глаза и волосы у них были разные, разных цветов, а так все одинаковое.

- Получите номерок. Следующий.
- Извините, я забыла сдать боты...
- Ваш номер? Давайте, сейчас нарисуем.

Мы столкнулись с Олегом Афониним лбами в глубине гардероба — он нес, и я нес, — с трудом перевели дыхание.

- Слушай, а ведь они совсем одинаковые, — сказал Олег.
- Конечно, одинаковые. Все на них одинаковое, — подтвердил я.
- Нет, я не про то. Понимаешь, они совсем одинаковые — вот эти, из школы, и те, из батальона связи. Совсем одинаковые, обыкновенные девчата. Так почему же?..

- А я почему знаю? — обозлился я и побежал к барьеру. Олег за мной.

Оркестр наверху опять заиграл «Амурские волны».

Народу в вестибюле прибывало. И гостей и наших. Я увидел Валентина Ногтева, который о чем-то пылко беседовал с капитаном Евграфовым. Комбат дружески обнял его за плечо, повел в сторонку, сюда, в укрытие.

Мы опять столкнулись лбами с Олегом Афониним — он нес, и я нес.

— Я говорю: разве те виноватые, что они в шинелях и в погонах? — спросил Олег. — Ведь война... Какая разница: в шинелях или в фартуках?

- Отстань! — прикрикнул я на него.

У меня и так в глазах было темно от стыда и злости.

Я посмотрел в окно.

В будке высилась фигура Феди Комарова, ружье к ноге.

А у будки, у ворот, у решетчатого забора стояли девушки из «черного батальона» не расходясь, еще не веря, что их так и не пустят. Я увидел: Лариса и Шура плачут. Лида Батищева не плачет. Старший сержант Тамара Терехова улыбается надменно... А Надя Цыплако-

ва — все в ней будто вопрошает: косы двумя кольцами вверх — почему? широко раскрытые изумленные глаза — зачем? белесые брови, надломившиеся шалашиком, — за что?..

— Послушайте, Ногтев... да образумьтесь же, не пылите...

Это был голос капитана Евграфова там, за ворохами навешанных пальто.

— Вы достойный юноша, из хорошей семьи. Я знаю вашу маму... Зачем вам эти деревенские девахи? Эти маркитантки...

— Не смейте! Вы... вы...

Я услышал почти неслышимый задыхающийся голос Валентина Ногтева.

— Не смейте! О маме не смейте... И о них не смейте... Там... там — моя невеста!

Больше он ничего не сказал. Будто не смог сказать. Я услышал бегущие шаги, а вслед им грозный оклик:

— Куда? Назад! Вернитесь! Я арестую вас, Ногтев!

Резко хлопнула парадная дверь.

Валька Ногтев — без шинели, без шапки, в чем был — проскочил будку, оттеснив часового, схватил за руку Лиду Батищеву и побежал вместе с нею мимо решетки забора туда, к Ланинскому переулку.

Десять суток губы ему было обеспечено.

Но я вдруг остро позавидовал ему. Мне тоже отчаянно захотелось вот так, без шинели и без шапки, оттолкнув Федю Комарова, выскочить на улицу, схватить за руку Надю Цыплакову — и побежать вместе с нею...

Но куда мне было с ней бежать? Ведь у меня не было родного дома в Ланинском переулке, у меня теперь вообще не было родного дома — ни в Харькове, ни в Сталинграде, ни в Барнауле, нигде, у меня теперь только и было что вот эта артиллерийская спецшкола, дом родной.

И я тем более никак не мог убежать на улицу: ведь на моей сугубой и личной ответственности был весь этот гардероб, увешанный одежками, а в ладони моей был зажат и скомкан картонный номерок.

Я вернулся к барьеру.

— Как вы долго! — Девушка в белом фартуке капризно надула губы. — Сколько можно ждать?

— Виноват, — сказал я. — Виноват, сероват, недавно из деревни.

— Заметно, — сказала она, кокетливо поведя карими глазами.

Больно надо. Давай, подавай следующий.

Я побежал с очередной шубейкой.

— Постойте... как вас, мальчик!

«Мальчик!» С ума сойти. Лопнуть от злости.

— Подождите... я оставила в кармане носовой платок.

Бери. А то придется дуть через одну ноздрю.

Я вешал на крюк кошачью шубейку, когда опять услышал голоса:

— Товарищ капитан, то, что вы сделали, это... это по меньшей мере неблагородно!

— Товарищ гвардии старший лейтенант, я попрошу вас, я па-апрашу вас... Во всяком случае, не вам обучать меня благородству!

— Не кажется ли вам, что мы по-разному понимаем это слово? Вкладываем в него разный смысл?

— Тихон Андреевич...

Голос Графа был спокоен и чуть лукав. Я мог бы забожиться, что он сейчас ухмыляется, глядя прямо в лицо гвардии старшему лейтенанту Васильеву.

— Тихон Андреевич, а нет ли у вас в этом... извините, черном батальоне... некой личной заинтересованности?

Всё.

Я побежал к барьеру.

— Куда же вы запропастились, мальчик?.. А номерок?

— Айн момент,— сказал я вежливо.— Сей секунд.

11

6 июня 1944 года союзники высадились в Нормандии. Больше, как видно, они не могли тянуть да отнекиваться, пришлось открыть второй фронт.

Хотя бы потому, что днем раньше на плацу в Богородском состоялось торжественное построение дивизиона. Выпуск первой батареи.

Новый начальник спецшколы Герой Советского Союза подполковник Мигай принял рапорт гвардии старшего лейтенанта Васильева. Потом они двинулись вдоль строя. Капельдудкин взмахнул рукой — оркестр грянул марш.

Потом выкликали по списку фамилии. Строй размыкался, выпускная то одного, то другого. Подполковник вручал выпускное свидетельство, жал руку. А тот отдавал честь, поворачивался кругом, становился на свое место. Строй смыкался.

Чеканя шаг, Ногтев подошел к начальству.

— Поздравляю... благодарю... желаю...— Подполковник Мигай крепко пожал ему руку.

— Служу Советскому Союзу!

Наш помкомвзвод Валентин Ногтев, наш лучший друг из старшей батареи, строгий и справедливый, с которым мы за минувший год протопали сотни верст, проехали тысячи километров, вместе мокли под дождем, стучали зубами на холоду, грелись у костров, съели пуд соли,— Валька Ногтев покидал нас. Интересно, в какое артучилище его направят — в Рязань, или в Уфу, или в Кострому, или в секретное, где учат на командиров «катюш»? Но и там и там недолго, сокращенная программа, получай младшего лейтенанта и предписание на фронт.

— Секерин Владимир Михайлович.

Володя Секерин, самый замечательный художник в нашей спецшколе, который умел изображать лица полководцев как живые,— он подошел к подполковнику, выслушал, ответил:

— Служу Советскому Союзу!

Они выходили один за другим и возвращались обратно в строй. Строй смыкался.

Этот торжественный акт имел и еще одно важное значение. С сегодняшнего дня вторая батарея становилась первой, заступала ее место. Мы — третья, младшая — делались второй батареей, девятиклассниками. А у ворот спецшколы уже ошивались желторотые шпаки в кургузых пиджачишках, в полосатых рубашечках, в кепочках — им, представьте себе, тоже захотелось быть военными людьми, артиллеристами. Что ж, посмотрим, кто из вас годится, а кому от ворот поворот.

— Первая бат-тарей,— скомандовал гвардии старший лейтенант Васильев,— шаг-ом марш!

Счастливо, ребята. Ни пуха ни пера.

А на следующий день союзники высадились в Нормандии.

Я не берусь утверждать, что между этими двумя событиями была прямая связь. Может, в штабе генерала Эйзенхауэра и слыхом не слышали о том, что в Богородском в нашей спецшколе состоялся очередной выпуск. Что первая батарея с песней ушла по Богородскому шоссе к Сокольникам, а вторая батарея стала первой, а третья — второй, да еще вот эти желторотые у проходной будки...

Но, во всяком случае, им было известно, что Ленинград сломил блокаду, что фашистов выбили из Севастополя, что Красная Армия вышла к госгранице у реки Прут и вступила на румынскую территорию. Наверное, они догадались, что теперь и без второго фронта русские дойдут до любой черты, что Советский Союз победит.

Честно говоря, я питал достаточное уважение к союзникам, я даже спорил с ребятами, когда они чертыхались насчет союзников, ут-верждали, что от них, дескать, мало проку, одни разговоры да обещания, а вот помощи никакой нет. Тут они были не правы, помощь была, я сам видел.

Еще в Сталинграде весной сорок второго, когда никто и подумать не мог, что немцы прорвутся к Волге, я сам видел, как мимо Бекетовки откуда-то с юга, из степей, тянулись непрерывной чередой днем и ночью колонны горбоносых мощных грузовиков. Порой случалась заминка, шоферы-солдаты выскакивали из кабин поразмять ноги, полежать на травке у кювета, мы приставали к ним, выспрашивали, что за диковинные такие грузовики, солдаты объясняли, что американские «доджи», машины хорошие, тянут будь здоров, хаять грех, ага, вот и тронулись, значит, по коням, а ну кыш, воробьи...

И теми же весенними вечерами сорок второго я видел, как над Бекетовкой откуда-то из-за степей, из-за горизонта высоко-высоко с ровным гулом проплывали на закат эскадры тяжелых бомбардировщиков ненашенского облика — это были «бостоны», сказал Ганс, тоже американские... Все это я видел своими глазами.

А кое-что и на зуб пробовал. Не только яичный порошок, который выдавали по карточкам вместо мяса, не только окаменелый шоколад, который по карточкам выдавали вместо сахара, не только лярд, жир неизвестно из чего, которым насквозь провоняла наша кухня в спецшколе (за все это спасибо, и не то слопаешь, когда жрать охота), но пробовал я и кое-что другое.

Когда Топтыгин, старшина второй батареи, вернулся из своей Ахтырки, он привез оттуда гостинцы, родители снабдили: две коробки из провощенного, непромокаемого картона с четкими надписями на английском языке. Топтыгин как раз изучал английский и перевел нам, что это американские завтраки, то есть походные военные завтраки для американцев (уж не знаю, откуда завелись американцы в Ахтырке).

Он пригласил меня, Ивана Подобных и Юрку Садкова на угощение. Мы раскурочили обе коробки и стали угощаться. Там были галеты — вроде печенья, но не сладкие, а солоноватые, как хлеб. Свиная тушенка в жестяных банках, которые очень удобно открывались: потянешь за язычок — и снимается крышка. Сахар, завернутый в пакетики, три кусочка в каждом. И еще нарядные пакетики: из одного Топтыгин высыпал в стакан с водой какой-то порошок, вода зашипела, запузырилась, вмиг окрасилась в золотистый цвет — получился лимонад. А из другого надо было сыпать в кипяток, чтобы получился кофе, но бежать в подвал за кипятком не хотелось — высыпали в сырую воду.

Все это мы быстро наворачнули: выскребли галетами тушенку — божественный у нее был вкус, — схрумкали сахар, запили это дело лимонадом, кофейком, а напоследок закурили душистые сигареты «кемел»: в каждой из коробок оказалось по пачке сигарет с верблюдом.

Да, ничего не скажешь, неплохо там у них с походной жизнью: раскурочишь непромокаемую коробку, пожуешь, запьешь, погладишь пузо — и закуривай...

— А это что? — спросил Юрка Садков, углядев на доньшке коробки розовые листочки мягкой бумаги. — Зачем это?

В другой коробке тоже оказалась пачечка розовой бумаги.

— На раскурку не годится,— определил, пощупав бумагу, Ваня Подобных.— Нет, не годится...

— Зачем же на раскурку, если вот? — показал я ему дымящуюся свою сигарету.

Мы взглянули на Топтыгина, ведь это он привез из Ахтырки американские завтраки, ему и знать что к чему.

Топтыгин озадаченно почесал затылок, взял пустую коробку и, неслышно шевели губами, стал снова перечитывать слова, которые на ней напечатаны.

— Братцы, догадался! — вскочил с кровати (мы пировали на кровати хозяина) Юрка Садков.— Все ясно: значит, сперва ешь, потом пьешь, дальше куришь — и в кусты, в укромное местечко, чтобы легче потом воевать.. Ну?

Юрка взял розовые бумажки, отбежал в сторонку, присел.

Мы умолкли потрясенно: неужели даже это предусмотрено? Даже об этом не забыли. Во дают! Да, ничего не скажешь, очень удобно у них устроена походная жизнь.

А Топтыгин, достав из своей тумбочки потрепанный словарь, быстро листал страницы.

— Есть. Нэпкин, нэпкинс... Это салфетки.

— Что?

— Салфетки. По-английски будет нэпкинс,— объяснил Топтыгин.— По нашему салфетки.

— Салфетки?..

Мы переглянулись — и тут на нас накатило: мы попадали на кровать Топтыгина, еще на соседнюю кровать, повалились и стали умирать от смеха. Это с ребятами случается, бывает: ни с того ни с сего вдруг накатит — и ложись помирай.

— Салфетки!.. — корчился от смеха Юрка.— Салфеточки! Ха-ха-ха!..

— Подать сюда салфет! — гоготал Ваня.— Салфет моей милости!..

— Мистер Нэпкинс, утрите варежку! — орал старшинским голосом Топтыгин.— Нате вам салфетку... Хо-хо-хо-хо!..

— Салфетки! — Я боялся, что лопну со смеху.

Ну и посмеялись мы тогда.

Повезли нас в военкомат на Семеновскую площадь. Не всю батарею разом, а повзводно и даже не всех подряд, а только тех, кто по возрасту подлежал приписке — через год призываться, а некоторые из нас были моложе, их еще и не вызывали.

Вот странное дело: мы уже сколько времени ходили в погонах Красной Армии, были военными людьми и, честно говоря, не следовало с нами долго чикаться, взяли бы да и отправили на фронт всем дивизионом, ведь здоровенные парни — так нет, у военкомата свои законы, свои правила. Год приписки, год призыва. Жди своего срока. А идет война.

Там, на Семеновской, нас раздели догола и стали предъявлять врачам: один измерял рост, двигал вверх-вниз плашку на доске, испещренной сантиметрами, и рассматривал пятки, чтобы не было плоско-стопа; другой выслушивал грудь холодной трубкой: «Дышите, дышите... Теперь не дышите»; третий заставлял изо всей силы сжимать ладонью железный силомер; четвертый.. Они садились за стол, покрытый белыми простынями, и записывали в карточки, что им удалось вызнать. Между прочим, все эти доктора были женщины, и мы немного стеснялись, разгуливая нагишом, переходя из рук в руки, но сами доктора ничуть.

Потом разрешили одеться, однако еще предстояло побывать у глазника, горловика, сдать кровь из пальца — это в отдельных кабинетах, и там образовалась порядочная очередь, сиди дождайся.

Ленька Голованов, который сидел со мною рядом, вдруг сказал: — Слушай, давай заглянем, раз уж пришли в военкомат. Я давно собирался.

— Куда?

— Насчет медали. Мне еще за Сталинград причитается, «За оборону Сталинграда».

Он достал из внутреннего кармана своего кителя какие-то бумажки, исписанные от руки, отстуканные на машинке, пропитанные синими печатями.

— Вот все документы — имею полное право.

— А я-то зачем?

— Вдвоем веселее, — усмехнулся Ленька. — Одному боязно.

Надо же, какой забавный парень. Воевать ему было не боязно, а медаль получать боязно.

— Идем, — попросил он, — будь другом.

Я был его старым другом. Мы пошли вместе. Все равно очередь у глазного кабинета, где мы сидели, была томительно долга, сто раз успеем.

Дежурный подсказал, что за медалями на второй этаж, комната шестнадцать.

Мы постучали в дверь, заглянули.

Там за письменным столом над кипами бумаг сидел пожилой седовласый капитан, а подле его стола сидела женщина в черном платке, двое маленьких ребятишек толклись у ее колен.

— Извиняемся, — сказали мы, притворяя дверь обратно; мы ведь не знали, что там кто-то есть, тоже, видать, насчет медали вот эта тетенька; мы подождем, нам не к спеху.

— Эй, курсанты! — окликнул капитан. — Товарищи курсанты!..

Мы разинули щелку.

— Заходите, заходите. — Капитан приглашающе греб ладошкой, зазывал нас в кабинет. — Присаживайтесь вон туда. — Он показал на стулья в уголке. — Мы уже кончаем разговор, сейчас закончим... Посидите.

Мы сели.

Женщина в черном платке не обратила на нас никакого внимания, а вот эти двое маленьких ребятишек, что толклись у ее колен, оба мальчонки годочка по три-четыре, — они тотчас уставились на нас любопытными широкими глазами, какими от века все маленькие мальчишки смотрят на военных людей, хотя в нынешнюю пору военных людей было гораздо больше, чем невоенных.

— К сожалению, ничем не могу помочь, — сказал седовласый капитан, разводя руками. — Просто не положено, исключено...

— А почему Марье Денисовой платят? У ней тоже двое маленьких, на обоих платят.

— Какой Марье Денисовой? — вскинул брови капитан.

— Из нашей квартиры, Денисова Марья, на «Красном богатыре» она работает. Ей, как пришла похоронка, сразу на детей оформили...

— Вы эту похоронку видели, читали? — быстро наклонился к посетительнице капитан.

— Как же нет? Мы с ней в одной квартире живем. Слышу — голосит не своим голосом, я к ней, а там — похоронка на столе. Муж.

— А что в похоронке сказано?

— Что убитый.

— Нет, не так, наверняка не так. Там должно быть сказано: «Пал

смертью храбрых... погиб в бою за советскую Родину...» Так или не так?

— Ну так, — кивнула, соглашаясь, женщина в черном платке.

— Вот. А ваш муж... — седовласый капитан опять развел руками, — он проявил малодушие, трусость. Он нарушил приказ, присягу...

Ленька Голованов незаметно подтолкнул меня коленом. Да я и так все понял.

Только она не понимала.

— Но он убитый? Нету его?

— Нету.

— На войне убитый, на фронте? Так почему же на них?.. — Женщина положила руки на головы мальчишек. — Почему на них пособие не выплачивают?

Капитан откинулся к спинке стула, тяжело вздохнул, отер испарину со лба.

Было видно, как нелегко, как мучителен для него весь этот разговор. Я подумал даже, что он нарочно звал нас к себе в кабинет, чтобы скорее покончить с этим затянувшимся разговором и начать другой, повеселее, допустим насчет медалей, и еще, быть может, он предположил, что если в кабинет войдут двое новых посетителей, двое курсантов, двое артиллеристов, то женщина застесняется, сойдет и уйдет. Все равно он не мог втолковать ей сути: вот уже целый час он ей втолковывает, а она не понимает и понять не хочет... Ведь похоже, что и не впервой она пришла сюда за этим.

Но женщина в черном платке отнюдь не смутилась нашим присутствием — кто-то еще вошел, разные тут ходят, у всех свои дела, — она просто не обратила на нас никакого внимания.

А эти двое мальчишек мал мала меньше, они, как только мы вошли и уселись, воткнули в нас свои любопытные глазенки и по-прежнему не сводили их, потому что для таких вот маленьких мальчишек нет на свете ничего интереснее и важнее, чем военные люди, на которых военная форма. Я это по себе знал.

— ...Катке Смирновой, она со мной на дробилке работает, в Черкизове живет, ей на одну дочку выплачивают, большая уже дочка, в школе учится. А у меня их двое — и нет?

— Ее муж пал смертью храбрых, — устало сказал седовласый капитан. — А ваш муж...

— Я знаю, — согласно кивнула женщина, — в нем и раньше храбрости не было. Робкий очень. Жениться даже робел. Все ходил круг дома, все издали, издали. Кабы я не настояла, то и...

Одинокая слеза медленно сползла по ее щеке.

Ленька опять толкнул меня коленом о колено сильнее, чем в первый раз. Но я ведь и так слушал. Я и так понимал, о чем речь. Это она не понимает, а я-то сразу понял. И нечего толкаться.

— Робкий был, тихий... Но ведь теперь нету его? Убитый?

— Он был виноват. И понес за свою вину...

— Виноват? — переспросила женщина.

— Да, — твердо сказал капитан.

— А они?.. — Женщина положила обе свои ладони на круглые головы маленьких мальчишек, которые с любопытством смотрели на нас, и повернула их головы к письменному столу. — Чем они виноватые?

Ленька Голованов встал и зашагал к двери.

Я и опомниться не успел, но тоже вскочил — и за ним.

— Курсанты! Вы куда?.. — оторопело, негромко окликнул седоголовый капитан. — Товарищи курсанты!

Но этот последний оклик я услышал уже за дверью.

— Ты что? — спросил я, догнав Леньку.

— А ты что? Я тебе сколько раз делал знак... чтоб на выход?

— Но почему? Я думал, что ты...

— Думал-передумал. Не тем концом думал.

Ленька шагал по ступенькам лестницы, мрачно и бодливо наклонив темя.

— А как же медаль? Ведь тебе причитается?

— Причитается, никуда не денется. В другой раз зайду.

Он остановился на последней ступеньке.

— Ты еще мало понимаешь насчет войны. Разве война — это медали? Ну, медали, конечно, тоже. А вообще война — это...

— Гляди, — перебил я его, — наша очередь.

Как раз из глазного кабинета выбрался, моргая, Иван Подобных. А наша очередь была за ним.

— В общем, война — это... — договорил свое несколько дней спустя Ленька Голованов. — Лучше б ее, проклятой, не было. Так ведь кто ее звал? Сама пришла.

Он укладывал свой сидор.

Медкомиссия признала Леньку негодным к строевой службе. И к нестроевой тоже. Из-за глухоты, из-за контузии, которая у него, оказывается, не исцелилась, а пошла в разгон. Доктора хотели даже сразу определить ему инвалидность, но Ленька Голованов заорал на них так, что те чуть под стол не залезли, — он просто вышел из себя от ярости, еле успокоили.

Из спецшколы теперь тоже пришлось отчисляться, потому что в артучилище все равно не возьмут.

Ленька Голованов уезжал в Сталинград, в Бекетовку, домой.

— Учиться будешь или работать? — спросил я.

— Что?

Я повторил.

— Нет, ученье побоку. Все науки превзошел... Пойду работать.

— А куда?

— Туда же, на лесозавод. Все-таки батя там до войны работал и сам я вроде не чужой. Опять к Савелию Максимовичу.

— Ты ему от меня передай привет. И тете Кате.

Ленька затянул покрепче узел сидора. Усмехнулся невесело:

— Передам... А ведь мать, поди, еще и обрадуется: сын домой пришел почти калекой, а она еще и обрадуется.

Он присел на койку, вынул из кармана кисет с махрой, помедлил, оглянулся на дверь, но все-таки задымил прямо здесь — что ему было терять.

— Интересно, на лесозаводе по-прежнему мины выпускают? Как ты думаешь?

Он не отвечая глотал едкий дым.

Я предположил, что он снова не расслышал, повторил:

— Интересно...

— Да чего ж тут интересного? — хмуро сказал Ленька. — На этих минах, кроме немецких, и наши ребята подрывались. Весной, когда все кончилось, вышли пахать за Ергеня — мальчишки совсем, вроде нас, больше ведь некому, одни мальчишки да бабы, — а там на каждом шагу наткано этих мин. Прямо этажами зарыты: немецкие, под ними советские, опять немецкие... А вся земля, поверишь ли, не земля, а сплошное железо — осколок на осколке... Вот ты и попаши. — Он задавил окурок подошвой. — И еще одно дело там досталось ребяташкам вроде нас, больше некому... Мертвецов ховать. Они там

тоже один поверх другого, только снегом пересыпаны: немцы, наши, опять немцы, опять наши — тысяча на тысяче. Похоронные команды армейские вперед ушли. А тут весной опять наружу... И всех надо схватить, схоронить. Кого с честью, кого без чести, но тоже надо. Вот и дали ребятишкам лопаты в руки...

Ленька смотрел мимо меня. Далеко и оцепенело. Мне почудилось вдруг, что я уже видел однажды этот оцепенелый взгляд, — да, вот такой же был взгляд у моего троюродного дяди пацанка Пети Горбатенки, когда он смотрел сквозь ржавую сетку своей голубятни на испятнанный черными горями снег заречной Сомовки.

— Я знаю, что ты меня жалеешь, — сказал Ленька Голованов. — Знаю, не спорь. Только ты меня не жалеяй, не надо. Понимаешь, Сталинград — он навечно Сталинград. Значит, и я — навечно... — Он вскинул на плечо зеленый сидор. — Ну, я свое отвоевал.

12

Меня вызвали с занятий по топографии.

Лейтенант Жежеря с красной повязкой на рукаве — он был дежурным офицером — вошел, хромя, в класс, перемолвился шепотком с преподавателем, отыскал меня глазами и согнутым пальцем, не шибко уставным знаком, поманил в коридор.

— Там к тебе приехали из Сибири. Мать ваша звонила... — сообщил он, загнанно переводя дыхание.

Он был сегодня дежурным по дивизиону, а у дежурных офицеров всегда невпроворот всяких докучных забот. Они целый день как угорелые носятся с этажа на этаж, от двери к двери, от телефона к телефону. Из оружейной на кухню, из караулки в каптерку, от замполита к начхозу и обратно. Это суцья каторга — быть дежурным офицером. Особенно если нога-волокуша.

— Они остановились в гостинице «Люкс». — Лейтенант Жежеря достал из кармана белый листок. — Даю вам увольнение на сорок восемь часов. Ночевать будешь в расположении. Вот так, Рымарев, давай.

Я еле удержался, чтобы не обнять дежурного по дивизиону, не броситься на шею лейтенанту Жежерю. Но это было бы совсем не по уставу.

— Слушаюсь!

Еще в трамвае прикинул маршрут: от «Сокольников» до «Охотного ряда», вбок на «Площадь Свердлова» и до «Маяковской», от туда пешком.

Я знал, где находится гостиница «Люкс». Не потому, что уже бывал там, а понаслышке. По одной весьма странной наслышке.

Месяца три назад, в самом начале сорок пятого, вот так же внезапно вызвали с занятий Кима Форкаша. Я успел спросить его: «Куда?» «В гостиницу «Люкс», — ответил Ким и подмигнул мне своим корейским глазом. «А где это?» — «На улице Горького, возле бывшего Елисеевского». — «А что там?» — «Общежитие коминтерновцев». — «Но ведь Коминтерна уже нет?» — «Коминтерна нет, а коминтерновцы есть... Наверное, папа приехал!» Он заулыбался от скулы до скулы, говоря о своем венгерском отчине. Пожал мне руку — и с концами. Больше Ким Форкаш не появлялся в спецшколе. Его просто сняли с довольствия.

Так что я не мог не испытывать некоторой тревоги на пути в гостиницу «Люкс», откуда люди исчезают с концами. Я вовсе не хотел, чтобы меня снимали с довольствия.

Но кроме этой смутной тревоги, меня переполняла радость: ведь уже почти два года как я не виделся с мамой Галей, с Гансом, целых два года — и вот мы сейчас свидимся... Интересно, как же это им разрешили съездить в Москву повидаться со мной? Время не то — разъезжать да проводить. Отпусков не дают. Война.

Еще идет война.

Я поднимался по эскалатору «Маяковской», зорко высматривая всех едущих навстречу соседним эскалатором вниз. И, как только показывался офицер либо генерал, я козырял им, отдавал честь. Наверное, в таких местах, как эскалатор, козырять и необязательно, но я отдавал им честь. И дело было вовсе не в том, что мне доставлял удовольствие сам этот воинский ритуал. Дело не в том. Я отдавал им честь.

Я с глубоким почтением и острой завистью смотрел на этих людей, опаленных огнем. Завидовал их корявым полевым погонам, мятым фуражкам и пилоткам, пыльным сапогам, окислившимся медалям на выгоревших лентах, приколотым густо вкось и вкривь к гимнастеркам.

Я уже понимал, что мне не суждено быть на фронте. Таков оказался жребий.

«Ребята, ведь мы все равно не успеем. Война закончится раньше, чем мы... чем вы...» — всплыл в памяти образумливающий занудный голос Ионьки Дуды. Тогда, весной сорок третьего, на крутом берегу Оби. Значит, он оказался прав? Нет, конечно, не прав. Кабы все так рассуждали, да прикидывали, да угадывали — бог знает сколько бы еще длилась этой войне. Интересно, где сейчас Дудка, что с ним? Надо обязательно расспросить маму Галю.

Я шагал по улице Горького к Пушкинской площади.

Обе стороны улицы были запружены военными — торопливыми, озабоченными. Военные. Одни лишь военные. Даже женщины. Вот эта, пожилая, в седицах, с майорскими погонами, — я козырнул ей. И вот эта, совсем еще девчушка, в беретике со звездой, стреляющая в меня вместо приветствия неуставным взглядом, — я вспомнил, я закрутил...

Все военные. Как и я.

Среди этих военных во встречном потоке людей попадались и военные в не нашей форме: френчи с накладными карманами, рубашки цвета хаки при галстуках, витые аксельбанты, фуражки седлом, фуражки кастрюлькой, руки поигрывают стеками... Привет союзникам.

Вереница черных лоснящихся автомобилей промчалась по стрелной улице туда, вниз, к Кремлю. На радиаторе головной машины трепетал пестрый посольский флажок, но я не успел разглядеть чей.

Как-то раз поутру капитан Евграфов построил батарею.

— Вам должно быть известно, — начал он с обычной торжественностью, — что в Москву прибывает с визитом глава временного правительства Французской Республики генерал Шарль де Голль.

Нам это было известно.

— Генерал де Голль намерен посетить в Москве некоторые военные училища, а также академии, — продолжал Александр Павлович. — Завтра он прибудет к нам.

Капитан сделал значительную паузу. Мы тоже молчали в благоговении.

— Так вот. В спецшколе должен быть наведен образцовый порядок. То есть идеальный порядок. Первый взвод будет натирать паркет, чтоб сияло. Второй взвод будет протирать койки в спальнях помещениях. Ибо что делает французский генерал, когда он посещает

казарму? — Капитан Евграфов поднял палец. — Прежде всего он вынимает из кармана белый батистовый платочек и проводит этим платочком под низом койки. И если на платочке окажется пыль... — Брови капитана в ужасе взметнулись. — Третий взвод... Помкомвзвод Рымарев, вы получите от меня особое задание.

Я расправил плечи, вздернул подбородок.

Капитан Евграфов продолжал выделять меня среди остальных. — Вам, Рымарев, особое задание, — повторил он, распустив строй. — Вы и ваш взвод наведете порядок в отхожем месте. Понятно?

Так точно.

Мы поработали на совесть. Мы превзошли самих себя. Мы понимали: родная спецшкола, генерал де Голль.

К исходу дня я доложил, что особое задание выполнено.

— Посмотрим, — сказал капитан Евграфов.

Он смотрел придирчиво и строго, вникая в детали. Но под конец строгость на его лице сменилась восхищением и даже растроганностью.

— Молодцы! Bravo... — молвил Александр Павлович. — Гранд-Опера. Пале-Рояль. А?

Я скромно промолчал.

— Только вот что, помкомвзвод... — На лице капитана Евграфова вновь появилась озабоченность. — Ведь к утру вы все это опять... того. А?

Я молчал.

— Вот что, Рымарев, возьмите-ка пару гвоздочков и заколотите дверь до завтра. Понятно?

Понятно. Я так и сделал.

Всю ночь по коридорам и лестницам спецшколы носились белые призраки куда-то в подвал, куда-то в котельную, черт знает куда.

Генерал де Голль не приехал.

Ни завтра, ни послезавтра, ни вообще. Наверное, у него не хватило времени.

Пропуск мне был заказан.

Войдя в гостиницу «Люкс», я тотчас убедился, что правила здесь жесткие. Что «Люкс» не та гостиница, где приезжий человек спрашивает: «Места есть?» — а ему вежливо отвечают: «Местов нет». Этого приезжего человека сюда бы и на порог не пустили.

Мне же велели предъявить удостоверение личности, внимательно его изучили, выписали разовый пропуск, указали, какой этаж и какая комната.

Я поднялся по лестнице и зашагал вдоль длинного коридора, вертя головой, следя за цифрами на дверях.

Остановился. Постучал.

— Саня! — метнулась навстречу мама Гая.

Такая маленькая, она стиснула в объятиях меня, большого. Прижала головой к плечу. Я увидел в ее волосах седые нитки.

Потом она отстранилась, посмотрела на меня, явно любясь. Когда на человеке военная форма, им всегда любят, тем более если сын.

Подошел Ганс, и мы с ним тоже обнялись, облобызались троекратно — по-мужски, по-русски.

Сели.

Номер гостиницы был обставлен с осанистой старинной роскошью. Тяжелые портбелы на окнах. На полу ковер с бахромой. Грузный шкаф. Трюмо вполстены. Величавая кровать. Однако вся

эта роскошь была довоенная, а может быть, еще и до той войны: ковер испаркан до дыр, портьеры облезли, зеркало осповатое, в щербинах. Не оттого ли, когда я вошел в этот номер, на меня повеяло стародавней домовитостью? А я уж отвык.

— Ну как ты... живешь? — спросила мама, пересаживаясь поближе и не сводя с меня глаз.

(«Как же ты живешь — один, без меня?» — договорили глаза.)

— Нормально, — улыбнулся я в ответ.

(«Уж, конечно, лучше, чем дома», — беспечно договорила моя улыбка.)

— Ты нюхал немножко порох? — поинтересовался Ганс. — Или пока теория?

— Нюхал. На полигоне.

— На полигоне — это уже настоящий порох, — ободряюще кивнул Ганс.

— А вы надолго? — спросил я.

Мне все же не терпелось узнать, каким ветром занесло их в Москву из далекой Сибири. Ведь и впрямь не для того же они приехали, чтобы расспросить меня о житье-бытье. И нюхал ли я порох.

— На сколько дней?

Но вместо ответа на мой вопрос мама и Ганс лишь переглянулись. И эта переключка взглядов насторожила меня. Будто они и сами не знали, что ответить. Будто бы они и самим себе еще не ответили на этот вопрос.

Ганс поднялся, промерил истертый ковер раздумчивыми шагами — туда, обратно. Подошел к телефону, снял трубку.

— Один четырнадцать.

Значит, здесь, в гостинице «Люкс», свой коммутатор.

И когда его соединили, продолжил по-немецки:

— Геноссе Коплениг? Хир Мюллер... Вир зинд алле байзаммен. Зи вольтен херкоммен... Битшён.

Да, мы все в сборе. В сборе вся семья. И велика ли семья — раз, два, три. Так зачем же нам кто-то четвертый, посторонний?

Теперь, после этого краткого телефонного разговора, мы все трое замолкли и сидели каждый на своем месте, прислушиваясь к коридорной тишине.

Мягкие шаги за дверью. Четкий стук.

— Херайн!

В комнату вошел очень высокий человек с гривой седых волос, зачесанных гладко к затылку, с резко очерченным подбородком и младенчески ясными глазами. Он был похож на музыканта, на скрипача. Представительный такой, в темном костюме. И эта артистическая грива. И этот подбородок, который, поди, приходится так долго устраивать на скрипке, прежде чем взмахнуть рукой.

— Познакомьтесь, пожалуйста, моя семья, — сказал Ганс. А потом представил гостя: — Товарищ Коплениг.

Товарищ Коплениг пожал руку маме Гале. Потом протянул руку мне. Рука у него, однако, была широкая, грубая, мозолистая, вовсе не музыкантская рука. И этой же рукой он сделал хозяйский жест, приглашая всех сесть к столу. Будто не он был гостем у нас, а мы были его гостями. Пришлось садиться.

— Вот какой дела, товарищи... — начал Коплениг.

По-русски он говорил уверенно и внятно. Но куда хуже, чем наш Ганс.

— Вот какой дела... Центральны Комитет Австрийски компартия считает необходим, чтобы товариш Мюллер поступаль распоряжение партии. Да... Значительны территория наша страна уже осво-

божден Красной Армией. Там сейчас происходит сплочение всех демократических сил... А наша партия понес тяжелы потери в борьбе с гитлеризмом...

На секунду голова его наклонилась — длинные седые пряди упали на лоб. Одну-единственную секунду он просидел так, окаменев, склонив голову. И, выпрямив ее, закончил:

— Ганс Мюллер должен ехать на родина.

За окном густела вечерняя мгла. И хотя затемнение в Москве недавно отменили, ее улицы — даже главная улица, даже улица Горького, которая сейчас гомонила под окном, — освещены были скудно, без всякого досужего сверкания.

— Надолго? — тихо спросила мама Галя.

Спросила и очень смутилась, как будто ей самой этот вопрос показался нелепым и ей вдруг стало стыдно, что она задает такой вопрос. Но она не покраснела от стыда, от смущения — наоборот, лицо сделалось бледным как мел.

— Ауф иммер... Навсегда.

Широкая ладонь припечатала край стола.

И тотчас на потолке комнаты вспыхнули зоревые отсветы. Ухнуло невдали. Дрогнули стены.

Мама Галя испуганно оглянулась, сжалась в комок.

Я притянул ее к себе, успокоил:

— Это салют. Теперь каждый день салюты.

Она ведь еще не видала московских салютов. Хотя, наверное, и знала, что теперь в Москве, что ни вечер, громяют салюты — по два, по три, а то и по пять салютов. Из двухсот двадцати четырех орудий. Из трехсот двадцати четырех орудий. Двенадцать артиллерийских залпов. Двадцать артиллерийских залпов. Фейерверк во все небо.

Залп. Залп.

Ганс и Коплениг переглянулись многозначительно. Гость встал из-за стола, направился к телефону.

— Один четырнадцать... Магда? Хаст ду гехэрт?.. Вас загст ду?.. Данк.

Когда, положив трубку, Коплениг вернулся к столу, на лице его угадывалось некоторое разочарование.

— Взят Годонин в Чехословакия... — сообщил он. — Это на правый берег Моравы.

Похоже, что они с Гансом ждали чего-то иного.

Но к делу.

— Мы можем просить Советский правительство, — сказал Коплениг, — разрешить вам ехать в Австрию. Вместе с глава семьи...

Что?

Я вскочил, одернул полы кителя. Глянул на старинные часы, висевшие на стене. Будто я сейчас же, немедленно должен уйти отсюда. Будто бы у меня истекло увольнение и нужно срочно вернуться в казарму.

Маятник часов медленно ходил из стороны в сторону. Внутри часов захрипело, и они выдали звон. Наверное, эти старинные часы немного отставали — ведь звон должен был раздаться в то же мгновение, когда за окном гроыхнул первый залп салюта.

Но это был в моей жизни самый последний момент, когда еще аукнулось детство и я испугался, что меня могут даже не спросить, а лишь прикажут: давай, мол, собирайся, укладывай манатки, поехали в Австрию вместе с главой семьи.

А может быть, это был в моей жизни самый первый момент, когда я напроць разорвал все путы, еще связывавшие меня с этим посты-

лым, тошным, покорным детством, когда я ощутил себя окончательно взрослым и свободным человеком — совершенно свободным. Мне семнадцать лет. На мне звездная форма Красной Армии. И уже никто не вправе отдавать мне приказы, кроме этой армии. Никто.

Во всяком случае, меня не то что огорошило, а просто возмутило само это предложение: покинуть свою родину и ехать куда-то на чужбину, хотя бы и с разрешения.

Да, я знал, что людям иногда приходится покидать свою родину, как покинули ее когда-то Ганс Мюллер и товарищ Коплениг. Как испанские ребята. Как венгр Форкаш и кореец Форкаш. Им пришлось... Но ведь у них и у всех хороших людей на земле была еще одна родина — вот эта страна, Советский Союз. А я сам из Советского Союза. Значит, для меня это родина вдвойне. И никакая другая родина для меня, извините, невозможна.

Не берусь гадать, что подумал товарищ Коплениг, когда я вскочил со стула. Однако хмуриться он не стал, а посмотрел на меня понимающе и даже сочувственно, как будто ничего иного и не ждал. Лишь усмехнулся краешком губ. Перевел взгляд на маму Галю.

Она сидела, опустив голову, прилежно теребя бахромку плюшевой скатерти.

— Да, я понимаю... — кивнул гость. — Вам нужно еще размыслить. Такие вопросы нельзя решать.. как это?.. с кон-дачка...

Но никто не откликнулся на эту шутку, не оценил старательно выговоренного словца.

Коплениг шумно вздохнул, развел руками. Это означало: вот, дорогие товарищи, какие сложные функции мне приходится брать на себя. И поверьте, что эти функции еще не самые трудные.

Но он не сказал этого.

Он встал, подошел к маме Гале и, низко склонившись — так, что осыпалась седая грива, — поцеловал ей руку.

— Вы знаете, когда весной разливаются Дунай, это... вундербар... это невозможно сказать, как бывает красиво!

«Вундербар», — отметил я.

— Когда я был такой мальчик, как Санька...

Он показал, каков он был тогда, но рука его при этом коснулась моей поясницы, и он смутился, поняв, что несколько ошибся в сравнении, что он упустил из виду минувшее с тех пор время. Что он имел в виду прежнего Саньку, того Саньку, а не нынешнего, который с ним вровень ростом.

— Ах, умгекерт! Наоборот, — поправился Ганс. — Когда Санька был такой, как я... Нет...

Он окончательно запутался.

«Умгекерт», — отметил я.

Почему-то сегодня в его речи особенно часто проскальзывали слова, от которых он сам уже отвык, хотя это и были его родные слова, и теперь, вероятно, он снова старался привыкнуть к ним.

Или же он слишком волновался.

Ведь предстоял отъезд. А они еще ничего не решили, во всяком случае так мне казалось, и, похоже, избегали этого решающего разговора.

На следующий день мы с утра бродили по Москве, бесцельно кружили по улицам и вот очутились на Каменном мосту.

Было солнечно и ветрено.

Река под мостом пучилась от талых вод, клочкотала, крутила воронки. По ней плавали мелкие льдышки — запоздалые и сиротливые, отставшие от большого льда.

— Мы поедем по Дунаю на пароходе, — с воодушевлением продолжал Ганс. — Когда уберут мины, а сейчас там много мин...

Вот так они и разговаривали — о том о сем. Верней, разговаривал Ганс — он сегодня очень много разговаривал. А мама Галя помалкивала. Она была настороженной, замкнутой, спрятавшейся. Она будто бы спряталась в себя, но глаза ее зорко посматривали вокруг.

Ведь она впервые в жизни оказалась в Москве.

Из-за речной излучины, из-за громоздкого темно-серого здания, вздыбившегося над рекой, показался ветхий катерок. Он пыхтел от натуги, исходил сизым дымом, волоча за собой огромную тяжелую баржу. Они двигались трудно, медленно и не скоро достигли моста.

Мы склонились над чугунными перилами.

На корме баржи стояла дощатая хибара с двускатной крышей, похожая на деревенскую избу. Подле этой хибары женщина в черной косынке стирала в корыте. От хибары к рулю протянулась веревка, и на ней просыхали под ветром, спустя рукава, полотняные рубашонки, колыхались простыни.

У ног женщины копошился ползунок, закутанный в овчинку. А чуть поодаль сидел на чурбаке русоголовый мальчишка лет двенадцати. На коленях у него была старая гармошка, поди отцовская, еще не по плечу. И он, склоня щеку, насупясь от старания, трогал лады — искал нужную ему песню...

Катерок нырнул под мост. Миновала мост и баржа.

Мы тоже перешли на другую сторону.

Теперь перед нами был Кремль. Зубчатая, рыжая, в известковых потеках стена четкими уступами тянулась вдаль. Статные башни в островерхих шлемах зияли бойницами. На холме, по-над завесью голых еще деревьев сгрудились лебединой стаей, распластали крылья, вытянули белые шеи кремлевские храмы. Тускло золотились кресты. И на горнем ветру полыхал, бился мятежно красный флаг над куполом дворца.

А совсем близко — так удивительно рядом — по весенней воде плыла чумазая баржа, и на ней стояла деревенская дощатая хибара, сохли на веревке исподники, ветер урывками доносил робкий перебор гармошки — островок России проплывал мимо крутизны России.

Мама Галя отстранилась от перил, обернулась.

— Ты поезжай, — сказала она Гансу. — Езжай по своим делам.

У него ведь сегодня была еще пропасть всяких дел.

А ей было нужно на Центральный телеграф. Но это совсем близко, на улице Горького.

Она заказала междугородный переговор с Рубцовском. Три минуты.

Почему с Рубцовском?

Но ведь там теперь живут Якимовы, Софья Никитична и Таня.

Вот новость. Я и не знал, что они переехали из Барнаула в Рубцовск.

Разве Таня тебе не писала? Я ей дала адрес.

Нет, не писала. Зачем ей писать мне?

Странно. Она хочет сдавать экстерном за десятый класс, решила поступать в Институт иностранных языков в Москве.

Молодец. Но почему они переехали в Рубцовск?

Видишь ли, Санька, там, в Рубцовске, очень много знакомых харьковчан, — есть даже из нашего дома. Там друзья Алексея Петровича Якимова. Все они работают на тракторном заводе. Алтайский тракторный, выпускают тракторы.

Ну, положим...

Да что ты, в самом деле. С сорок третьего года выпускают тракторы, обычные гусеничные, для колхозов. Ведь хлеб нужен, Санька, разве можно без хлеба? Полстраны разрушено, разграблено... Сейчас очень нужны тракторы.

Мы сидели в переговорном зале Центрального телеграфа. Хриплый репродуктор объявлял: квитанция такая-то, Одесса, кто вызывал Одессу, пройдите в четвертую кабину. В кабине зажигался свет. Тот, кто вызывал Одессу, бросался со всех ног к этому свету... Гражданин Семенов, вас вызывает Псков, восьмая кабина, Псков на линии... Кто заказывал Ташкент? Номер не отвечает, подойдите к дежурному, повторяю...

— У меня всего три минуты,— сказала мама Галя, задумчиво тебя квитанцию.— Больше не дали. Очень загружена линия. Я вызвала Софью Никитичну на переговорный пункт, дома у них нет телефона... Сейчас в Москве четырнадцать, значит, там — плюс четыре часа — восемнадцать... Танечка выросла, стала красавицей, в мать. Она будет сдавать экстерном, но я уже говорила тебе, да?..

— Квитанция двести сорок два, Рубцовск, пройдите в первую кабину! — возвестил репродуктор.

В первой кабине вспыхнул свет.

Я видел, как мама Галя, отстранив темную прядь волос, приложила трубку к уху. Как ждала озабоченно и молча. Как лицо ее просияло, губы заговорили торопливо и сбивчиво. Как слушала. Как заговорила опять. И как вдруг из глаз ее хлынули слезы, она поднесла руку к горлу, испуганно сквозь стекло покосилась на меня, отвернулась, плечи ее затряслись в рыдании. Но она совладала с собой, достала из сумочки платок, отерла им щеки, повернулась снова вполоборота ко мне, так, что я видел ее лицо. Еще раз спросила, в ожидании вскинув брови, кивнула, соглашаясь, ответила, ~~просила~~ опять благодарно и радостно.

Тут в кабине погас свет.

Ведь у нее было всего три минуты.

— Тебе привет от Софьи Никитичны,— сказала мама Галя, когда мы спускались по гранитным ступенькам Центрального телеграфа.

Я молчал, выжидая. Она тоже молчала.

Мы пересекли улицу Горького, направляясь к гостинице «Люкс».

— Знаешь, Санька, я еду в Рубцовск. Софья Никитична ждет, она сказала, что мы будем жить вместе — пока, ведь неизвестно, что дальше... Но пока — вместе. Я буду работать на заводе чертежницей или что предложат. В Рубцовске очень много харьковчан с ХТЗ, почти все знакомые...

Было нетрудно догадаться, что на это ее решение ушла минувшая ночь. Я представил себе эту ночь.

— Тебе, наверное, надо будет заехать в Барнаул? Там что-нибудь осталось?

— Нет, там ничего не осталось.

Поезд уходил вечером в двадцать ноль пять.

Гансу дали машину — черный, горбатый, как черепаха, «ЗИС». Он довез нас до Киевского вокзала.

Шофер извлек из багажника чемодан, поставил его наземь, снова сел за руль и быстро укатил: наверное, мы у него были сегодня не последними пассажирами.

Я пригляделся к чемодану и вдруг понял, что этот чемодан мне знаком ровно столько же, сколько знаю я Ганса Мюллера, его владельца. С этим чемоданчиком явился он когда-то в нашу квартиру на

Черноглазовской улице. С ним отправился он на испанскую войну и вернулся оттуда. Он сопутствовал нам во всех эвакуационных кочевьях. И вот спустя много лет уезжает человек восвояси, а в руке у него все тот же неказистый чемоданишко на два замка, с ремешком.

На перроне вокзала под застекленным сводом уже стоял поезд.

Мы отыскивали вагон Ганса — обшарпанный, с узкими оконцами, очень пригородный на вид. На нем не было таблички, извещавшей о том, куда следует этот вагон, но проводник, изучив билет, сказал, что тот самый: где нужно отцепят и прицепят куда нужно.

До отправления оставалось минут пятнадцать. Народ валил валом. Кого тут только не было! Военные — те, кому еще предстояло некий срок воевать, и те, что уже отвоевались, в госпитальных бинтах. Штатский люд, отощавший, пестрый от заплат, но настырный, бойкий: кто возвращается к родным пепелищам, кто переселяется на жирные южные земли, кто просто так — мешочничает.

— Пиши, — сказала мама Галя.

— Да, я буду писать. — Ганс сжал ее локоть. — Знаете, ведь это совсем близко — Австрия... Это очень близко.

Как они протяжны и тягостны, последние минуты перед разлукой, когда то, что надо бы сказать, не выскажешь, а то, что можно высказать, все уже пересказано.

Я чувствовал себя скованно. Ведь я был мужчиной, и это обязывало к сдержанности. Тем более что я оставался единственным мужчиной в семье.

Но ведь и мне было отчаянно жалко расставаться с ним. Не то чтобы я просто привык к нему, привязался за долгие годы, нет, ведь в самые последние годы мы и жили вдалеке друг от друга, порознь, можно бы и отвыкнуть.

Было нечто большее. Как вошел он когда-то, давным-давно, в мою жизнь — и оказалось, что это будет очень многое для меня значить, — так и уходил он теперь из моей жизни, и я не понимал, что и это, и это тоже будет значить для меня очень многое.

У меня был хороший товарищ. Он всерьез понимал товарищество и меня научил этому.

Товарищ уезжал. Ауф иммер. Навсегда.

— Да, я сразу напишу... — повторил Ганс.

Ослепительно разверзлось небо над стеклянной крышей. Дрогнула земля под ногами. Кольнул перепонки могучий залп.

Снова салют.

Будто подстегнутая этим громом, еще круче закишела толчея на перроне.

Мимо пробежал солдат, навьюченный рюкзаком-сидором.

— Что там? — ухватил я его за обшлаг шинели.

— Дэ?..

Я показал на стеклянную крышу, дребезжавшую от канонады.

— Нэ чув... — Он досадливо вырвал рукав из моих пальцев.

— Скажите, пожалуйста, какой город взяли? — Мама Галя остановила раскрасневшуюся, в сбитом набок платке женщину.

— А это какой вагон? — едва переводя дыхание, осведомилась та.

— Что взяли? — допытывался у бегущих людей Ганс.

Пожилый железнодорожник, спешивший к головному вагону с жезлом и путевкой, обронил на ходу:

— Вену.

Снопы ракет взмывали над стеклянной крышей и тяжким грохотом обрушивались на нее.

Ганс Мюллер улыбался потрясенно и счастливо.

Вот уже месяц как началось наступление на венском направлении. Уже несколько дней оперативные сводки сообщали об уличных боях в Вене. И все же трудно поверить — Вена...

— Ну,— сказал я,— на этот раз мы их побили, фашистов?

— Побили,— кивнул Ганс.

Но тотчас на его лицо набежала тень.

Я удивился этой набежавшей тени. Может быть, ему не понравилось мое напоминание о том, как их в той же Вене побили фашисты в тридцать четвертом году? Или как не удалось побить фашистов в Испании?.. Или же совсем другое: опять у него защемило сердце оттого, что в этой войне, которая еще длится, он так и не добился чести получить в руки оружие, бить им фашистов?

Что поделаешь, вот и мне выпал иной жребий.

Главное, на сей раз фашистов побили — насмерть.

— Знаешь...— сказал он тихо и задумчиво.— Знаешь, Санька, они еще могут подняться.

— Кто? — не понял я.

Слишком уж сильно громыхало над нами. Чересчур уж гомонили вокруг. А он говорил очень тихо. И я то ли недослышал, то ли не понял.

— Кто?

— О н и,— повторил Ганс, пристально глядя мне в глаза.— Может быть, не сразу, но они могут подняться. Я их знаю. Даже от мертвый труп иногда бывает... анштекунг... зараза.— Скулы его напряглись. Четче обозначились морщины.— Понимаешь?

Видно, для него было очень важно, чтобы я это понял. И понял сейчас, пока мы еще стоим рядом, друг с другом.

— И если они поднимутся, все будет сначала...— глухо продолжал Ганс.— Другой Гитлер, другой рейхстаг, другой аншлюсс... А это нельзя, понимаешь?

— Ну уж нет! — разозлившись, почти заорал я.— Еще раз? Нет! Никогда...

Полыхало над крышей. Размеренно гремели залпы.

— Никогда,— сказал Ганс.— Если вы будете здесь. А мы будем там. Если каждый будет на своем месте...— Он отвел взгляд, поморщился, закончил:— И если будет меньше дураков.

Заливистый свисток кондуктора донесся от головы поезда. Зашипели тормоза.

Ганс шагнул — неуверенно, шатко — к ней, к маме Гале.

Я отвернулся. Как тогда, много лет назад. Но теперь не от ревности и не от смущения, а потому что сейчас я не мог смотреть на мать.

Я смотрел на стеклянный свод вокзала, над которым взлетали, расцветали пышно, увядали и гасли огни.

— Как же ты...— начала мама Галя, но договорить не сумела, осеклась.

— Галечка, это очень близко — Вена,— повторил Ганс.

Поезд медленно двинулся.

Он обнял меня — щека к щеке. Повернулся, вскочил на подножку.

Мы не пошли за вагоном, остались на месте. Все равно мама Галя не смогла бы идти; она оперлась на мою руку, повисла на ней, и я даже не поверил, что такая гнетущая тяжесть может быть в этой маленькой женщине.

Мы только махали вслед.

Ганс тоже махал нам рукой, удаляясь.

И в какой-то последний момент, когда мы были уже так далеки друг от друга, я заметил — или, может быть, мне показалось,— как эта машущая рука сжалась в упругий кулак.

— Поедем на Казанский вокзал, нужно купить билет,— сказала мама Галя.

Ну вот, с вокзала на вокзал.

А куда торопиться, зачем спешить? Ведь она впервые в Москве. Лучше бы ей задержаться тут на пару деньков, как следует осмотреть столицу, чуть-чуть отвлечься, развлечься немного. Мы могли бы пойти в театр. Хоть и война, а все театры дают представления. Вон сколько афиш понаклеено на заборе. В Большом театре — «Иван Сусанин», в Малом — «Волки и овцы». В Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко — «Прекрасная Елена», а в вахтанговском — «Мадмуазель Нитуш». Камерный театр, «Раскинулось море широко...» — значит, он тоже вернулся из эвакуации, из Барнаула, Камерный театр.

Мы могли бы пойти и в цирк. Вот, к примеру, афиша...

Я остановился, удержал за локоть маму Галю.

Они в розовых трико, искрящихся блестками, на сверкающих никелем велосипедах, передние колеса которых вздернуты на дыбки. Посредине женчина в годах, но еще очень красивая, на ее голове убор из страусовых перьев. А справа и слева две совсем молоденькие, очень похожие на мать и друг на дружку сестрицы — неродные двойняшки, потому что (это я точно знаю) одна из них приемщица, из детского дома. Они улыбаются публике, руки торжественно воздеты.

Внизу написано: «З — Леонелли — З».

13

— Поедете со мной, Рымарев,— сказал гвардии старший лейтенант Васильев.

— Слушаюсь!

Я даже не спросил куда. Куда прикажут. Куда покажут. Мое дело подчиняться, не вдаваясь в расспросы. Слушаюсь.

— Вольно, вольно, Рымарев...— усмехнулся гвардии старший лейтенант и простецки эдак похлопал меня по плечу.

Мы проследовали с ним до трамвайного круга, сели в «четверку».

По дороге молчали. Он смотрел в окошко на бегущие мимо деревья, на свежую листву, на гроздь сирени, то и дело вспыхивающие в этой листве. Он оглаживал бородку и думал о чем-то своем.

Я тоже думал о своем. Отчего вдруг гвардии старший лейтенант Васильев стал со мною в последнее время так дружески внимателен? Неужели только из-за того, что в самый волнующий час нашей жизни — жизни всех ныне живущих — я совершенно случайно оказался рядом, оказался под рукой, ближе других?

Был ночной беспробудный час. Накануне мы крепко умаялись, разгружая уголь для котельной. Отмылись, поужинали — и на боковую, вечерней поверки не было. Я заснул мгновенно, будто провалился в омут. И так же внезапно проснулся — словно горн протрубил над ухом. Но было тихо. Совсем темно и совсем тихо. Ребята всхрапывали, ворочались во сне. Я на это сразу обратил внимание — что все беспокойно ворочались, перекатывались с боку на бок, постанывали, бормотали невнятицу, а кто-то внизу, на первом этаже, вдруг жалобным детским голоском позвал: «Мама...»

Да, вот так покидаешь совковой лопатой уголек до ломоты в костях, до черноты в глазах — поневоле заворочаешься среди ночи, забормочешь, закричишь маму.

Спать надо. Ведь скоро, поди, и впрямь загорланит горн — побудка. Я взбил тещую подушку, повернул ее прохладной стороной, приник щекой, зевнул нарочно, чтобы скорей заснуть.

— Санька, ты не спишь? — прошептал в темноте Юрка Садков, мой сосед по верхнему этажу.

— Нет, не сплю, — отозвался я.

Вот и ему, видите ли, не спится.

— Дай рупь взаймы, — сказал Юрка.

— Сплю, сплю... — ответил я как положено, как в том известном анекдоте.

Посчитать слонов, что ли? Обычно в таких вот редких случаях, когда не спалось, я начинал считать в уме слонов и преспокойно засыпал. Прошел один слон, прошел второй слон, прошел третий слон... ...четыре, пять, шесть, семь... Шаги. По коридору приближались шаги.

Я удивленно поднял голову: с чего бы это разбежался ночной дневальный? Дневальному бегать не положено. Ему положено тихо сидеть на своем месте и делать вид, что он не спит, а просто мечтает.

Дверь отворилась. Кто-то вошел.

Стоит у двери и молчит. Вроде привидения.

Ну вот я тебе сейчас задам, покажу, как шастать по ночам, изображать привидение. У нас ведь в спецшколе были охотники пугать ночами спящих людей. Шутки шутить: одному чернилами нос вымазали, другому волосья привязали к кровати...

Я соскочил со второго этажа в чем был, в рубаше и кальсонах, рванулся к привидению.

И тут меня крепко обняла рука — такая сильная, что не осталось сомнений: такой сильной бывает рука у человека, лишь когда она у него одна-единственная.

Он обнял меня и сказал:

— Победа... Победа, ребята.

А вечером того самого счастливого дня в нашей жизни — в жизни всех ныне живущих — мы с Юркой Садковым и Ваней Подобных стояли в толпе на Москворецком мосту и смотрели, как лучи прожекторов сбегаются в купол над Кремлем.

Не помню даже, кто нам выдал увольнительные в город, — может быть, никто и не выдавал. Вообще в тот долгожданный и такой неожиданный день все пребывало в стихии. Рабочий день объявили нерабочим. Люди хлынули на улицы — в радости и в слезах, — но никто даже не пытался этот хлынувший людской поток направить в надлежащее русло. Милиционеров почти не было видно, а тех, которых видели, качали на руках и подбрасывали в воздух наравне с другими военными. Никто не следил за порядком — порядок возник сам по себе. Он заключался в том, что к девяти часам вечера вся Москва оказалась на Красной площади, на мостах, наводнила набережные, заполнила Охотный ряд, улицу Горького, улицу Разина.

Стоял неумолчный гомон. Он смолк, когда куранты пробили девять.

Лучи прожекторов образовали купол над Кремлем. В их ослепительном скрещении появился портрет Сталина, поднятый на аэростате. Сталин был в маршальском мундире, при всех орденах, седоусый и строгий. Подоблачный ветер парусом выгибал полотно.

И казалось, что именно оттуда прозвучал негромкий хриловатый голос:

— Товарищи! Соотечественники и соотечественницы...

Приехали мы на Ярославский вокзал. Что-нибудь отнести-поднести, подумал я, затем и понадобился. Солдату такое не в диковину. Ведь таскал же я за Топтыгиным два фанерных чемодана на Курском

вокзале. И еще я подумал о том, что в последнее время всякие непредвиденные обстоятельства заставили меня побегать по московским вокзалам, а всего их было девять.

Но на Ярославском вокзале я очутился впервые, и впервые представился случай разглядеть его поближе и поподробней, этот диковинный северный вокзал. Кровля его была увенчана высоким узорчатым гребнем. Парадный вход с затейливым изогнутым сводом напоминал крыльцо Якушина дома в Бекетовке. Фасад был выложен цветными изразцами и на нем чего только не было: белокрылые чайки неслись над синими волнами, головы оленей украшали ветвистые рога, спели большие ягоды, похожие на землянику, но почему-то белые, с желтыми коготками... Очень красивый вокзал, прямо сказка.

— Рымарев! — окликнул меня гвардии старший лейтенант Васильев. — Поторапливайся, опоздаем.

У бесконечного перрона стоял поезд, на вагонах висели таблички «Москва — Котлас». Я никогда не слышал про такой город Котлас и предположил, что это где-нибудь в Прибалтике, но почему туда поезда уходят с Ярославского вокзала?.. И далеко ли до багажного вагона, ведь я был уверен, что нам к багажному.

Однако я столкнулся с полной неожиданностью.

У среднего вагона стояли две девушки — одна повыше и постарше, другая поменьше (совсем кроха) и помоложе (совсем девчонка), — они стояли и смотрели, как мы приближаемся, и было совершенно ясно, что они ждут именно нас.

Еще издали я узнал Надю Цыплакову и старшего сержанта Тамару Терехову. Хотя узнать их было мудрено, они изменились до неузнаваемости. Они были в штатском. Надя Цыплакова была в цветастом платье с пышными рукавами-фонариками, и такие же банты-фонарики были вплетены в ее косы двумя кольцами вверх, а на ногах у нее были белые носочки и белые туфли. Тамара Терехова была тоже в цветастом платье, другие цветы, но поверх этого платья еще был надет шелковый синий казакин, а на голове у нее была синяя шелковая чалма, складочки которой на лбу держала алмазная брошь. А на ногах у нее были синие туфли на очень тонких, вроде шпилек, каблуках.

Надо сказать, что и в военной форме, как я запомнил, обе они были очень хороши — им очень шла военная форма. Но следует честно признаться — я сразу в этом убедился, едва взглянув, — что штатское шло им еще больше, они просто преобразились в этих цветах, фонариках, белых носочках и сверкающих алмазах.

И еще я заметил, что никаких чемоданов или других тяжестей подле них не было, так что, по всей видимости, меня пригласили сюда не за этим.

— Здравствуй, Саня, — сказала Надя Цыплакова, подавая мне руку, — вот я и уезжаю. Уезжаю домой. Спасибо тебе за то, что ты пришел меня проводить.

— Конечно, — сказал я, — как же иначе?

Я сообразил в уме, что уезжает, вероятно, одна лишь Надя Цыплакова, а Тамара Терехова остается в Москве — она ведь москвичка, — что старший сержант Тамара Терехова пришла проводить Надю Цыплакову, свою бывшую подчиненную, рядовую, что она пригласила на эти проводы гвардии старшего лейтенанта Васильева, а уж он пригласил меня, хотя и не сказал зачем. Все это я быстро сообразил в уме.

Я давно не видел Надю Цыплакову.

После того злополучного вечера в нашей спецшколе я несколько раз встречал ее в Богородском — я шел в парикмахерскую бриться, а навстречу от трамвайного круга шла она. Но она, к сожалению, никогда не шла одна. Всегда она шла вместе с другими девушками из

«черного батальона», и, завидев меня, все эти девушки как по команде умолкали, лица их делались строгими и неприступными (включая лицо Нади Цыплаковой), они проходили мимо, даже не взглянув на меня, но ровно через секунду за моей спиной раздавался дружный смех (включая смех Нади Цыплаковой), очень веселый и беззаботный, очень обидный смех.

Но я старался не обижаться. Что я мог поделать?

И сейчас на лице Нади Цыплаковой тоже не было следа былой обиды. Ведь она сама, наверное, понимала, что я ничего не мог поделать. И она была мне очень благодарна за то, что я пришел сегодня на вокзал проводить ее.

— Вот я и уезжаю...

Как-то так само собой получилось, что мы с Надей отделились от вагона — недалеко, поезд должен был отправляться с минуты на минуту, — а гвардии старший лейтенант Васильев и старший сержант Тамара Терехова отделились в другую сторону, тоже недалеко, и вели там свой разговор.

— Вот я и уезжаю, — сказала Надя Цыплакова. — Мне даже не верится. Приеду в Котлас...

— А где это — Котлас?

— Ты не знаешь, где Котлас?

— Нет.

Белесые брови ее надломилась шалашиком: ну как объяснить?

— Понимаешь, сливаются реки. Юг впадает в Сухону, а Сухона и Вычегда в Двину, в Северную Двину. У города Котласа... Я доеду поездом до Котласа, а оттуда еще паромом по Сухоне до Великого Устюга.

До Великого Устюга, где больше церквей, чем царней.

— А Сухона сейчас, наверное, разлилась, половодье. И Вычегда разлилась, и Двина разлилась — как море. Глянешь с берега — голова закружится, вздохнешь — и в обморок...

Ресницы ее смежились, ноздри шевельнулись, будто уже почували этот головокружительный обморочный свежий воздух.

Странное дело, я исколесил за войну полстраны. Я видел пустыни, среди которых стояли гордые двугорбые верблюды. Видел далекие снежные вершины Алатау. Озеро Баскунчак, по которому ходили розовые тяжелые соляные волны. Я видел горящий Сталинград, испепеленный Харьков. И могучую Обь у Барнаула. Куда только не заносила меня судьба. Чего я только не навидался.

Но я еще никогда в жизни не бывал выше, то есть севернее этой московской черты, севернее Сокольников и Богородского, севернее северного вокзала.

Я едва мог представить себе край, где белокрылые чайки носятся над синими холодными волнами, где бродят олени, воздев ветвистые рога, где спеют не пробованные мною белые ягоды с желтыми коготками. Где реки подобны морям и море впадает в море, а воздух так упоительно чист, что девчонки с русыми косами запросто падают в обморок... Хороший, наверное, край.

— Я напишу тебе письмо, — сказал я. — Давай адрес.

— Какой адрес? — удивилась Надя. — Ты ведь знаешь, что я живу в Великом Устюге.

— А дальше? Какая улица, дом какой?..

— Зачем тебе улица? Я буду опять работать на почте телеграфисткой. А почта в Великом Устюге одна. Вот и весь адрес.

Надя Цыплакова оглянулась, я тоже.

Гвардии старший лейтенант Васильев и старший сержант Тамара Терехова в отдалении беседовали меж собой. Она горячо доказывала

ему что-то, терзая ремешок дамской сумочки, а он стоял, понурился головой, теребя бородку.

— Ты можешь мне написать. Я буду рада вспомнить... ведь есть что вспомнить.

— А вдруг я приеду в Великий Устюг? На пароходе. И заявлюсь прямо на почту?

Надя улыбнулась, покачала головой.

— Ты не приедешь, не заявишься... Помнишь, я говорила тебе, что война — разлучница?

— Но война уже кончилась.

— Война — разлучница. Даже после войны.—Уголки ее губ, изогнутых воротниками, чуть дрогнули.— Мы с тобой никогда больше не встретимся. Я знаю. Поэтому я и попросила Тамару...

Она оглянулась, я тоже.

Тамара Терехова в смятении и нерешительности теребила ремешок сумочки, а гвардии старший лейтенант настойчиво рубил воздух своей единственной рукой — сплеча.

— Поцелуй меня, чтоб никто не увидел.

Загудел паровоз.

Мы еще долго шли за вагоном, медленно плывущим вдоль платформы. И Надя Цыплакова еще долго что-то говорила в окошко, но окошко было наглухо задраено стеклом — не разберешь что.

Мы простились с Тамарой Тереховой на ступенях Ярославского вокзала, она спешила куда-то, уйма дел.

Гвардии старший лейтенант Васильев оглядел, теребя бородку, широкую и светлую вокзальную площадь.

— О, погляди, Рымарев! Ну и чудеса! Только война кончилась — начались чудеса...

Невадали от нас стоял извозчик. Коляска на дутых лысых шинах, гнедая лошадь, сам возница в зеленой шляпе с перышком, когда-то я уже видел такую шляпу.

— А что, Рымарев? Давай прокатимся, давай шиканем напоследок.

«Напоследок?» — удивился я. Но тотчас сообразил, что гвардии старший лейтенант имеет в виду извозчика. По Москве ходила песенка про последнего извозчика — может быть, про этого самого?

Мы взобрались в коляску, приятно и мягко осевшую на рессорах.

— В Богородское, — сказал гвардии старший лейтенант.

— Есть в Богородское... Н-но! — Извозчик натянул вожжи.

Покатили. Лошадь бежала танцующей веселой рысью, шелковая грива ее была заботливо расчесана, лоснились гнедые бока.

— Что, отец, демобилизованная лошадка? В тяге ходила?

— Не-ет, — охотно отозвался извозчик. — Немецкая это. С-под Тильзита, с конезавода, трофей. Ничего, русский овец жрать здорова. Н-но, доннер веттер!

— А сам воевал?

— В эту чет. В ту германскую.

Цокали копыта по булыжникам Краснопрудной улицы.

Мы сидели, удобно развалившись на стеганом сиденье.

— Товарищ гвардии старший лейтенант...

— Отставить, Рымарев. Я уже не гвардии старший лейтенант. Вчера демобилизован. Как говорится, по чистой... Вот это, — он тронул золотой погон, — уже без законных на то оснований. Рука не поднимается снять, еще денек поношу, напоследок.

«Напоследок» — значит, он сказал об этом.

— Зови меня Тихоном Андреевичем... Ты о чем-то хотел спросить?

Я забыл, о чем хотел спросить.

— В спецшколе я остаюсь до конца весенних экзаменов, недели две, а там... А там, Рымарев, уеду восвоися на Тамбовщину, в родную свою Ковылку. Ты когда-нибудь слышал про такую деревню — Ковылка?

— Нет.

— Вот, не слышал даже. А я в ней, в Ковылке, и родился и вырос. И работал до тридцать девятого. Потом армия.

— Товарищ гвардии старший лейтенант... Виноват, Тихон Андреевич...

— Вот и привык, это быстро,— рассмеялся он.— Что?

— Это правда, что вы учитель?

— Правда.

— А почему...

Я вспомнил слово в слово тот разговор в Новосибирске на станции, меж двух готовых к отправлению воинских эшелонов. «...я давно хотел вам задать один деликатный вопрос. Мне известно, что вы тоже учитель. Не кадровый военный, а учитель. Почему же вы не ведете предмета? Вы словесник или математик?»— голос Графа. А в ответ, резко скрипнув, повернулись сапоги и зашагали прочь.

— Тебя, наверное, интересует, почему я не вел предмета в спецшколе? — Он разгадал мои мысли.

— Да.

— Видишь ли, Рымарев...

Шины-дугтики мягко перекатились через трамвайные рельсы у Сокольнической заставы. Прямо над нашими головами — хоть согнись — зашелестели тенистые плоские ярусы кленовых ветвей.

— Видишь ли, профессия учителя тоже имеет свои ранги. Я был учителем начальной школы. Деревенской, четырехклассной — тут тебе и чтение, и письмо, и счет. Букварь небось помнишь? «Мы не рабы. Рабы не мы». Ну вот это и есть моя профессия, Ребятишек маленьких учил: «Мы не рабы. Рабы не мы». И еще ликбез по поручению комсомольской ячейки с мужиками да бабами неграмотными: «Мы не рабы...» — то же самое, и тоже по складам, по букварю.

Он задумался, помолчал.

— Знаешь, Рымарев, в этой войне учителям начальной школы принадлежит заслуга особая. Я не хвастаюсь, потому что не о себе, а об очень многих, представь, сколько нас, и, главное, повсюду. Ведь это целая философия: «Мы не рабы»... На этой философии народ воспитали.— Перевел сбившееся дыхание, перехватил живой рукой другую, неживую.— Вот так. Собирался поступать в пединститут, но передумал — поступил в артучилище. И вовремя. Остальное тебе известно.

Нет, мне не все еще было известно.

— Тихон Андреевич, это правда, что капитан Евграфов уходит из спецшколы?

— Да, он возвращается в Наркомпрос, на прежнюю свою должность. Он историк-методист... Мы с ним разного поля ягоды. Я имею в виду учительскую квалификацию.

За поворотом шоссе показалась деревянная, пестро раскрашенная богородская церковка. И хотя был день, в ней там, внутри, сквозь окна видно трепетали огоньки множества свечей. Пел хор: густой и могучий бас вел за собою старушечьи тонкие голоса. На паперти толпились.

— А что, сегодня какой праздник? — спросил Тихон Андреевич, обращаясь к вознице в зеленой шляпе.— Раньше, в деревне, все празд-

ники знал наперечет — приходилось знать как жожаку безбожников... Теперь забыл.

— Бог его знает, — ответил извозчик. — Один у всех нынче праздник. Победа.

— Тихон Андреевич, — решил я. — А старший сержант Терехова...

— Отставить, Рымарев. Нету больше старшего сержанта Тереховой — есть Тамара Тимофеевна. Впрочем, старшей она остается: старшая телефонистка Центральной междугородной... И я не совсем уверен, что ей захочется уехать из Москвы в деревню Ковылка. Стать женою сельского учителя. Ведь ты об этом хотел спросить, Рымарев?

Я кивнул.

Показалось здание спецшколы: красные кирпичные полосы по серому кирпичу.

— Здесь, — сказал Тихон Андреевич, доставая из кармана бумажник.

— Тпр-ру... Стой, доннер веттер! Ну никак не привыкнет к русскому языку.

14

Мы почему-то задерживались с выездом в летние лагеря. Уже перевалил июнь на вторую половину, а мы топтались в Богородском. Топтались в самом прямом смысле слова. Каждый день с утра и до ночи строевуха. Повзводно, побатарейно, всем дивизионом мы вздымали пыль на плацу, сокрушали мостовые окрестных улиц, впечатывали подошвы в размягченный палящим солнцем асфальт Сокольников.

Командовал строевой подготовкой сам подполковник Мигай, Герой Советского Союза.

И хотя мы, старички, бийский набор, продолжали считать его новым начальником спецшколы (ведь всего год как сменил он на этом посту Николая Маркеловича Псарева), по существу, он остался единственным из прежних наших офицеров. Теперь на всех командных должностях были новенькие: не увечные, не хромые, не изрешеченные, а почти целые и невредимые — разве что так, царапины, — но тоже вдосталь хлебнувшие войны. Молоденькие brave ребята, сберегла их судьба. Артиллерийскую науку они знали как свои пять пальцев. И что нам особо пришлось по душе — были они не шибко строги после фронта.

Но вот уже вторую неделю именно они с утра до ночи гоняли нас строем, надрывая голоса, а подполковник Мигай неотлучно и озабоченно следил за равнением, за дистанцией, за интервалом.

Там, в Сокольниках, помимо нас, в эти дни с таким же усердием маршировали и другие воинские части. Мы обратили внимание на то, что солдаты были одеты по-особому: их отлично сшитые мундиры были перепоясаны ремнями белой кожи, они были обуты в добротные сапоги, они мытарилась на жаре в стальных касках, пот ручьями стекал из-под этих касок, капал на их мундиры, погромоухивающие звездами кавалеров ордена Славы. А шагистика давалась им нелегко, сразу видно.

Все же время от времени им давали перекур, а нам давали роздых. И мы, укрывшись под деревца, самовольно выросшие снаружи парковой ограды, имели возможность перемолвиться накоротке. То да се.

Выяснилось: сводные полки фронтов. Отобрали лучших из лучших, самых геройских, самых заслуженных, самых рослых. И срочно отправили в Москву.

А Юрка Садков, умевший добывать важные новости раньше всех остальных, сказал мне:

— Двадцать четвертого июня — парад Победы. На Красной площади. Вот так, братец!

Узнали об этом, конечно, и все остальные.

Теперь мы с удвоенным старанием отбивали шаг, тянули носок, выбрасывали кулак на уровень поясной латунной бляхи, по ниточке держали подбородки, равнялись направо — и видели, что лицо подполковника час от часу становится добрее и спокойней.

Но еще через день стало известно, что спецшколы в параде Победы участвовать не будут. Даже суворовцы, наши счастливые соперники, всеобщие любимцы, не будут.

Нам разрешили принять участие в демонстрации трудящихся, как всем. И то хлеб.

Грянул оркестр.

Мы шагали сразу за оркестром — отныне первыми. Хотя приказ еще не был оглашен и официально мы еще не имели права называться первой батареей, но очередной выпуск уже состоялся — старшая батарея, та, в которой был Топтыгин, ушла за ворота, разъехалась по артучилищам (Топтыгину досталась Одесса, недалеко от Ахтырки), — отныне первыми в строю шагали мы, за нами шли вчерашние корешки, мальки, неразумные хозары, как именовали у нас третьябатарейцев, но и они теперь пыжились от важности, поскольку им предстояло вскоре сделаться второй батареей.

А у проходной будки спецшколы, когда мы шли мимо нее, разворачивая строй, опять ошивались совсем желторотые мальчишки, шпакки в кургузых пиджачках, в полосатых рубашечках, в потешных кепочках — они с восхищением, завистью и благоговейным смирением смотрели, как мы разворачиваем строй.

Ведь можно было предположить, что теперь, когда кончилась война, среди этих мальчишек в кургузых кепочках станет меньше охотников пробиваться в военные люди, — но куда там, они дневали и ночевали у проходной будки, десять заявлений на одно место.

Вдруг смолк оркестр.

Подполковник Мигай взошел на тротуар и зычно скомандовал: — Дивизио-он, смирно!

Во мне давно уже выработалась привычка — сначала выполнять команду, приказ, а потом уже соображать что к чему. Я припластал руки к швам, вздернул подбородок, вскинул ногу так же, как другие, — мгновенно. И лишь в следующее мгновение подумал, что, вероятно, подполковник еще раз решил проверить, как у нас получается торжественный марш по команде «смирно».

— Р-равнение направо!

Подбородок резко откинут вправо у всех, кроме правофланговых, глядящих прямо перед собой.

На углу Ланинского переулка стояли две женщины в черных платках. Одна из них была пожилая, черная ткань платка укрывала ее седину. Другая была совсем молодой, почти девочкой, и узел черного платка часто и судорожно вздрагивал на ее горле. Одна из них была мамой Валентина Ногтева, а другая была его женой, теперь вдовой, — Лида Батищева, Лида Ногтева.

Подполковник Мигай повернулся к ним и замер, поднеся ладонь к козырьку.

Мы в строгом и скорбном молчании прошагали мимо.

Похоронка на Валентина Ногтева пришла несколько дней назад. Мы знали, что в ней было сказано: младший лейтенант Валентин Ног-

тев пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками 11 мая 1945 года у города Ческе-Будеёвице, похоронен там же. Он погиб на третий день после победы.

Валька Ногтев... Я вспомнил, как он назначал нас командирами отделений: «Этого, этого и этого».

Этого... этого... этого... — назначал окаянный жребий.

За все минувшее время, что мы здесь учились, еще ни разу не приходило известий о том, что кто-то из наших ребят, которых мы знали в Бийске и в Москве, из тех, что под звуки оркестра ушли за ворота спецшколы в сорок третьем и сорок четвертом, — еще ни разу не узнавали мы, что кто-то из них погиб на фронте, пал в бою смертью храбрых. Может быть, только потому, что не все их седенькие мамы, не все невесты и жены наших ребят жили так близко от спецшколы — на Деповской улице или в Ланинском переулке.

— Вольно!..

Но мы еще долго шли в понуром и гробовом молчании.

Тому отчасти виной была еще и погода. С утра погода была скверной, хмурой. Сизые тучи курились низко, ветер гнал их, они летели, волоча за собой хвосты влажной пасмури, — и это в июне. Еще накануне пекло-припекало, сверкало солнце, доставая лучами даже в тени, а тут, как на грех, все небо затянуло тучами, и это в праздник. Да ничего, авось пока пойдём — и прояснится и заблещет, ветер разгонит тучи, вон как он гонит их, ведь нам далеко еще было идти.

— ...он удрал на подводной лодке, — рассказывал Юрка Садков. — В Ла-Паллисе его ждала подводная лодка, горючего и продовольствия — под завязку, на ней Гитлер и удрал.

— Сдох он, отравился, а не удрал! — возразил Олег Афонин. — В газете было.

— А я что — выдумал? Тоже из газеты, — огрызнулся Юрка. — По мне, конечно бы, лучше сдох.

— Ла-Паллис — это Бискайский залив, очень близко от Испании, — заметил Педро Ларра. — Неужели он удрал к Франко? Вот бы их, гадов, словаять вдвоих!..

— Может, к Франко, а может, еще куда подалее.. — мрачно изрек Юрка.

— Сдох, — убежденно повторил Олег.

— Разговорчики! Разговорчики в строю... — пресек шедший сбоку Иван Подобных.

Он был теперь старшиной нашей батареи, сильно вырос парень.

Мы опять замолкли. Шли, каждый думал о своем.

Лично я думал о том, что Гитлер, конечно же, сдох. Жалко, что его не удалось повесить, чтобы он сучил ногами, как те на Благбазе в Харькове. Он сам отравился и сдох... Но в памяти моей засели слова, которые сказал мне один человек на перроне Киевского вокзала: «Знаешь, они еще могут подняться. И если они поднимутся, все будет сначала — другой Гитлер, другой рейхстаг, другой аншлюсс. А это нельзя, понимаешь?»

Этого я понимал, что никак нельзя. Иначе я бы и не шел в строю, в головной батарее дивизиона. Это я прекрасно понимал.

Еще я думал об Иване, что хотя он и безусловно прав как старшина — пресек разговорчики в строю, — однако мы шли сейчас по команде «вольно», шли по шоссе меж густых сокольнических дубрав, мимо тихих просек. Даже подполковник не обратил внимания на то, что в строю разговорчики, а Иван Подобных обратил — что ж, на то и старшина.

Но если б мы шли на военный парад, а мы, к сожалению, шли не на парад — просто мирная демонстрация.

На стыке Русаковской и Стромынки уже было тесно от праздничных колонн. Заводы, заводы. Они несли свои имена на обтянутых кумачом щитах: «Красный богатырь», «Освобожденный труд», «Вулкан», СВАРЗ. Но были и такие заводы, которые шли, не называя своих имен, они оставались пока безымянными — только знамена впереди, трещающие на ветру. И транспаранты: «Наше дело правое. Мы победили». Гремели оркестры, стараясь переиграть друг друга. Песня перекрывала песню.

Люди стояли вдоль тротуаров, наблюдая это шествие, а некоторые, не утерпев, сходили на мостовую и присоединялись к идущим колоннам — старики, старушки, ребята, их никто не отгонял, принимали как своих, потому что это был всенародный и всеобщий праздник.

Но в десять часов утра оркестры и песни притихли. Звон кремлевских курантов пролился из громкоговорителей, свесившихся с фонарных столбов.

Я зажмурил глаза. Вот так же много лет назад, целую вечность назад, еще до войны, когда я был совсем маленьким, я тоже зажмурил глаза, слушая перезвон на Спасской башне, на Красной площади, — я был тогда на другой площади и в другом городе, но мне почудилось на миг, когда я зажмурил глаза, что я в Москве.

Я открыл глаза. Я был в Москве. Мне предстояло сегодня пройти наяву по Красной площади. 24 июня сорок пятого года. В день парада Победы.

Мне показалось — и так, наверное, показалось всем, — что мы уже там, у кремлевских стен, у ленинского Мавзолея.

— Товарищ Маршал Советского Союза!.. — прозвучал в репродукторах молодой и звонкий голос.

Командующий парадом маршал Рокоссовский отдавал рапорт принимающему парад маршалу Жукову.

— Войска Действующей армии, Военно-Морского флота и московского гарнизона построены для парада...

Зацокали по брусчатке, отдаваясь, копыта коней.

Теперь только и слышно было раскатывающееся по Красной площади «ура-а-а!..». Оно прокатывалось от полка к полку, набирая силу, нарастая, множась. Четырехгранные зевы громкоговорителей понесли его по улицам, по площадям, оно обрастало тысячным эхом.

— Ура-а-а! — кричали мы, хотя подполковник Мигай и не подавал команды.

— Ура-а-а! — витало над заводскими колоннами, идущими волна за волной по Краснопрудной.

Снова грянули оркестры. Взметнулись песни.

Холодная капля дождя ударила мне в лицо.

Я даже обрадовался ей, этой капле, когда она вдруг ударила в мое разгоряченное лицо, — еще одна капля и еще одна, холодные капли, остоуда.

Заморосил ровный дождик.

Вокруг смеялись и тоже радовались: дождик, дождик, припусти... Летний дождик, июньский дождик. Прохладней идти, пыль прильет. Посеет, посеет — и перестанет. И выглянет солнце. И многоцветная счастливая радуга перекинется отсюда, от Краснопрудной, от Красносельской, до Красных ворот, до Красной площади.

Что там, на Красной площади?..

Сквозь шелест дождя и шлепанье взмокших подошв мы вслушивались в голоса репродукторов.

— К це-ре-мониальному маршу!..

На Красной площади парад Победы.

Дождь усиливался. С козырька моей фуражки побежала вода, застыл свет, мокрые змейки скользнули за воротник и, гуся кожу, поползли меж лопаток. Я почувствовал, что пальцы в башмаках (хотя башмаки были совсем целые) уже купаются в воде.

Мы приближались к развилке трамвайных линий у «Красносельской», и некоторые люди из соседних колонн — наверное, те самые, которые случайно пристали по пути, — начали отбегать под широкий бетонный козырек станции метро, укрывались там.

А мы продолжали идти. И не смолкали марши оркестров. И голос диктора вещал в репродукторах:

— ...вот с Мавзолеем поравнялся сводный полк Третьего Белорусского фронта. Его возглавляет Маршал Советского Союза Василевский — герой боев в Восточной Пруссии, покоритель цитадели прусского милитаризма — Кенигсберга... По Красной площади проходят представители высшего командования Польской армии, части которой вместе с войсками Красной Армии участвовали в исторических боях за освобождение Польши...

Мокрая завесь проредилась, и слух угадал, что дождь понемногу слабеет, стихает. Ну, пронеси господь, а то уж очень некстати.

Впереди показался гребень Ярославского вокзала, прямоугольная башня Ленинградского, остроконечная Казанского. Комсомольская площадь. Три вокзала.

С одного из них я провожал в далекий Рубцовск маму Галю, провозжал в Сталинград моего ровесника, бывалого фронтовика Ленку Голованова, жаль, что его нет сегодня в строю нашей батареи, нету в Москве. А с другого вокзала я провожал Надю Цыплакову в диковинный северный край, где белокрылые чайки — вот они, на омытых дождем изразцах, — летят над холодными синими волнами. А с третьего вокзала этой вокзальной площади уже никогда не уедет в родной Ленинград мой несчастный погибший друг Игорь Пиотровский.

Кроме этих трех да еще Курского и Киевского, побывал я и на Павелецком вокзале, откуда уехал в деревню Ковылка Тамбовской области Тихон Андреевич Васильев, уехал один.

— Кончился дождь? — спросил Юрка Садков, выпятив перед собой ладонь.

— Как это по-русски... — весело отозвался Педро Ларра. — Маленький кончился, большой начинается.

Типун бы ему на язык.

Ледяные струи дождя хлестнули опять. Они обрушились сплошным потоком, загромыхав на крышах и карнизах домов, вбрызг дробясь на электрических проводах, вскипая пузырями на асфальте, растекаясь ручьями, стекаясь в лужи. Не было ни грома, ни молнии — грозы не было, просто отчаянным ливнем разверзлось небо.

Неужели и на Красной площади дождь?

— ...герой боев на Украине, освободитель Праги, прославленный полководец, чьи войска вместе с войсками маршала Жукова ворвались в Берлин, Маршал Советского Союза Конев идет впереди сводного полка Первого Украинского фронта... Полощется по ветру фронтовой стяг в руках самого знаменитого советского аса — трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина...

Плеск дождя усилился. Нет, это не дождь — это рукоплескали демонстранты, идущие в колоннах. И мы тоже захопали, хотя в строю военным людям не положено хлопать, это не предусмотрено ни в каких уставах. Но мы захопали.

— Во летчик! — восхитился Юрка Садков. — Пятьдесят девять сбитых...

Я обернулся и посмотрел на него выразительно. Я хотел ему напомнить, как давным-давно на берегу Оби я хотел в авиационную — очень хотел, — а Иван Подобных хотел в морскую, а сам Юрка хотел в артиллерийскую и заставил нас кидать жребий. Я хотел, чтобы он вспомнил сейчас об этом, чтобы он теперь понял. Но он ничего не понял и, заметив мой выразительный взгляд, поднял большой палец: во, мол, летчик!

— ...проходит сводный полк Четвертого Украинского фронта, — рассказывал диктор. — На трибунах узнают генерала, возглавляющего его марш. Это генерал армии, Герой Советского Союза Еременко, чьи славные войска победоносно прорвались через Карпаты...

Миновав эстакаду, которая лишь на несколько мгновений укрыла нас от дождя, Орликовым переулком мы вышли к Садовому кольцу.

Здесь случилась заминка, мы остановились неизвестно почему. Ясно почему: со всех сторон сюда, к горловине улицы Кирова, к самому преддверию центра, — со всех сторон сюда стремились колонны, они сливались здесь словно реки, а реки были подобны морям, и море впадало в море. Живое человеческое море, говорливое, бурливое, шумное, колышущееся взмокнувшими транспарантами и флагами, пенящееся охапками цветов, дышащее влагой.

Мы стояли, а дождь шел.

Рядом с нами впритирку остановилась колонна «Красного богатыря» — мы и тут были в соседях. Рядом со мною локоть к локтю оказался высокий, богатырского роста дядька в усах, слипшихся и сникших от воды. Воевавший дядька, на груди у него отличия: две желтые полоски, три красные. Два тяжелых ранения, три легких. Пять ранений, а ни одного не видно, держится молодцом, идет как все, стоит как все.

Богатырский дядька посмотрел на нас добрыми глазами, отряхнул капли с усов, спросил:

— Ну как, сынки, дойдем?

— Дойдем, — ответил я убежденно.

— Дойдем, конечно, — подтвердил Юрка.

— Не сахарные, не размокнем, — пошутил Педро Ларра.

— Вот это верно. Через что прошел народ — а тут всего лишь...

Глаза богатырского дядьки заволокло белесым.

— Я в сорок первом, седьмого ноября, прямо с Красной площади, с парада — в бой. Ох и лют был морозец...

Нарастающий рокот, глухая дробь прервали его речь. Я огляделся, вслушался — что это: рокочет ливень, ниспадая в водосточных трубах, или ударил вслед за дождем частый град?

Рокот барабанов. Рокот барабанов. Резкая дробь барабанов.

— ...к трибуне подходит колонна бойцов. У каждого в руке — немецкое знамя. Двести плененных вражеских знамен... — Голос диктора подрагивал от волнения. — Эти знамена добыты как трофеи в победных боях. Враги самонадеянно и нагло несли их на советскую землю, а сейчас они единственное, что напоминает о разгромленных полках и дивизиях Гитлера... Вот, поравнявшись с трибуной, бойцы презрительным жестом с силой бросают вражеские знамена к подножию Мавзолея. Поверженные к ногам победителей знамена — на камнях Красной площади...

Было слышно: со стуком и лязгом падают на камни древки знамен и штандартов, плюхаются в мокрядь, в лужи тяжелые полотнища.

Рокот и дробь барабанов.

Рокот и дробь июньского дождя сорок пятого года.

— Ура-а-а!.. — понеслось по Садовому кольцу.

Опять взыграли оркестры.

Наш капельдудкин тоже взмахнул рукой. По ярко надраенной меди труб сбегали извилистые струйки. Внутрь этих труб тоже натекло: из них вырывались охрипшие, захлебывающиеся звуки. Отсырела кожа большого барабана, и он ухал утробней обычного. Но музыка была.

— Сейчас пойдем,— сказал мне Юрка.— Кончается парад — слышишь, там уже марширует сводный оркестр?

Я слышал. Все слышали.

Ряды инстинктивно подались вперед ряд на ряд, мокрые груди торкнулись в мокрые спины, подталкивая: ну что же вы не идете? пошли...

Был напор нетерпеливый, напряженный, продрогший, но движения не было. Впереди и сбоку стояли плотно, тесно, неподвижно.

Прокашлялся громкоговоритель:

— Граждане! Ввиду ненастной погоды демонстрация трудящихся отменяется...

Все услышали. И я услышал.

Но никто не тронулся с места, не шевельнулся. Все стояли, замерев, будто ослышались. Хотя все сразу не могли ослышаться. Нет, не ослышались, просто ждали: может быть, сейчас скажут другое?

— Граждане! Ввиду ненастной погоды...

Постепенно слабела, обмякала сжимавшая со всех сторон людская теснота. Те, кто, забыв о дожде, прислонился к чужому мокрому, теперь старались отстраниться от чужого — сами ведь мокрые. Озирались, нет ли где поблизости сухого уголка, отходили, отбегали. Некоторые посмеивались смущенно, другие нет.

Подполковник Мигай появился перед нашей колонной, перед нашей батареей. Сморгивая капли, сдувая их с губ, приказал негромко:

— Следовать в расположение группами... Р-разойдитесь!

Возвращались знакомым путем: на метро от «Красных ворот» до «Сокольников», а дальше трамваем — мне этот путь особенно запомнился по первому выезду, по первому моему выходу в столицу. В метро была порядочная давка. В трамвае тоже. Все были вымокшие хоть выжми, витал сырой дух.

— Через что прошли, а тут всего лишь...

Я узнал голос богатырского дядьки с «Красного богатыря». Он ехал с нами одним трамваем, в одну нам сторону. Повторил сокрушенно:

— Через что прошли...

— Так ведь им, поди, тоже не сухо? — возразил собеседник, которого не было видно.— Простудиться можно. И народ зачем же простуживать? Народу завтра на работу — понедельник. Так что все правильно...

— Мальчик, передайте, пожалуйста.

Какая-то дурочка назвала меня мальчиком. Протянула деньги на билет — совсем дурочка.

Я передал дальше, оглянулся.

Была она в ситцевом рябеньком платье, но можно было догадаться, что школьница, промокашка. Вон как промокла, до нитки — вся насквозь. Стоит дрожит. Наверное, тоже с демонстрации. Где-то я ее видел однажды, а где — не вспомню.

— Держи,— сказал я, вручая ей билет, уже отсыревший на обратном пути.— Не теряй.

— Спасибо.— Она кокетливо повела карими глазами.

Ишь ты. Больно надо. Где же я ее видел?

— ...зато грибы пойдут. После такого дождя.

— А чего их ждать, грибов? — сказал, заметно повеселев, богатырский дядька. — Давай-ка, Петрович, завернем ко мне. Все уж на столе, жена пирогов нажарила картофельных.

Я слотнул слюнки. Картофельные пироги — мечта.

— Обед скоро, — вздохнул Олег Афонин. Он тоже, наверное, услышал про картофельные пироги.

— Вот что, братцы... — сказал Юрка Садков. — Есть у меня сведения, что теперь, если закончить спецшколу отлично, тем более с золотой медалью, можно сразу в артиллерийскую академию, без училища. А?

— Значит, так и сразу? — ворчливо переспросил Иван Подобных. — Сразу в генералы махнуть захотелось?

— При чем здесь?..

— Ничего, потерпи, — суровым тоном перебил Иван. — Еще поапашешь до генералов-то. Еще походишь до этого Ванькой-взводным.

— А ты?

— И я. И я поапашу. Тем более что я и есть тот самый Ванька.

Он очень сильно вырос, Иван Подобных, наш старшина.

Я не вмешивался в этот спор. Просто думал. Я думал о том, что за последнее время мне довелось перебивать почти на всех московских вокзалах. Но я не имел ни понятия, ни догадки, с какого же из них будущим летом доведется мне уезжать из Москвы. Какой мне выпадет жребий.

— ...ровно четыре года, — сказал богатырский дядька.

— Четыре года и два дня, — поправил собеседник.

— Да, — согласился богатырский дядька. В голосе его опять пробила печаль: — Вот Джамбул, старик, наведни помер...

— Извините, вы сходите на этой остановке? — Незнакомая промокашка тронула осторожно мое плечо.

— Схожу, — ответил я ей. — Здесь все сходят. Последняя остановка.

В Богородском дождь лил как из ведра. Окатило снова, пробрал до самых костей.

Опустевший трамвай, выплеснув из-под колес гребешки воды, двинулся опять по кругу.

Мы, нахохлившись, втянув головы, побежали, поскакали, хлюпая по бездонным пузырящимся лужам.

Я поскользнулся, едва не упал на ровном месте. Гляжу: развязался шнурок ботинка, волочится мокрый — наверное, я наступил на него. Согнулся, чтобы завязать, а он не вяжется, не дается озябшим пальцам. А дождь колотит по спине будто кулаками. Ну и ладно, добегу, доскачу так, успеется...

Оставался год до выпуска. И вся еще жизнь в придачу.



БОРИС СЛУЦКИЙ



НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Под ноги смотрел, когда пришлось,
по профессии посматривал по сторонам,
а теперь глядеть я буду ввысь.
Полночи хочу понять насквозь,
их поэзию я раньше отстранял.
Как терпеть я мог такую жизнь?

Голову на звезды задеру.
В космос загляну.
Все недобранное доберу,
всю голубизну, всю синеву.

Каждую звезду
я в ее созвездии найду.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАБВЕНЬЯ

Уменье памяти сопряжено
с уменьем забыванья,
и зерно
в амбарах памяти должно
не переполнить кубатуру сдуру.
Забвенье тоже создает культуру.

Запомнил, заучил и зазубрил,
потом забыл, как будто бы зарыл,
а то, что из забвенья вырастает,
то южным снегом вскоре не растает,
то — вечное, словно полярный снег,
то — навсегда
и то — для всех.

НЕ ЗА СЕБЯ ПРОШУ

За себя никогда никого не просил,
потому что хватило мне сил
за себя не просить никого никогда,
как бы ни угрожала беда.

Но просить за других, унижаться, терпеть,
 даже Лазаря петь,
 даже Лазаря петь и резину тянуть,
 спину гнуть,
 спину гнуть и руками слегка разводять,
 лишь бы как-нибудь убедить,
 убедить тех, кому все равно,—
 это я научился давно.
 И не стыд ощущаю теперь я, а гнев,
 если кто-нибудь, оледенев,
 не желает мне внять, не желает понять,
 начинает пенять.
 Но и гнев я надежно в душе удержу,
 потому что прошу
 за других — не себе и не в пользу свою.
 Потому-то и гнев утаю.

СТРОЧКА ТЕЛЕФОНА

Пляска телефонных номеров:
 цифры с буквами под ручку
 выкаблучивают штучку
 будь здоров!
 Много раз персты влагал
 в раны диска
 и, что надо было, излагал
 к истине довольно близко.
 Много раз, сбиваясь с ног,
 перепрыгивал через ступеньки,
 потому что предвещал звонок
 славу или только деньги,
 изменения судьбы,
 поворот закона — дышла
 мирового
 или только: вышло
 бы, кабы да если бы.
 От любви, исчерпанной до дна,
 остается, плача и судача,
 строчка телефонная одна,
 словно с мирозданья сдача.

СЛИШКОМ МНОГО ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА

Снова много жизненного опыта,
 может быть, не меньше, чем в войну,
 опыта, что тяжелее топота
 вдоль тебя,
 во всю твою длину.
 Многое усвою и запомню.
 Многое пересмотрю
 во всемирном нравственном законе,
 но — покорнейше благодарю!
 Возраст — не учебный, а лечебный,
 и, напоминая свет свечей,
 вечера, заката свет волшебный,
 смазывает контуры вещей.

СТАЛЬНЫЕ ЛИСТЬЯ

Выразительные слова
вроде «староста», «голова»,
или «первоприсутствующий»,
или «военачальник»
были вовремя отменены
и неловко заменены
сочетанием букв начальных.

Удивительно не то,
удивительнее то,
что за с небольшим полвека
словогром, скажем, МТС
всепонятно, как гром с небес,
словно существует от века.

Так, прививка стального дичка
к дереву нашего языка
удалась,
и листва стальная
как живая
растет весной,
жухнет в августовский зной,
лязгает в листопад,
стена.

СМЕНА БЕЛЬЯ И ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Имущество
давало преимущества
и создавало видимость могущества,
но эта подвижность,
как и недвижность,
была не более как видимость.
Она снижала быстроту движения
и ослабляла напряжение.

Тогда-то надвое
разбил я все мое:
«А» — на возимое,
«В» — на носимое.
Носимое — почти что невесомое,
возимое — почти невыносимое.

Что уместается в мешке заплечном,
укладывается в саквояж ручной —
не только в современном, но и в вечном
передвигается со мной.

Запас карман действительно не трет,
но душу до зиянья протирает.
Приобретатель более теряет,
чем тот, кто налегке спешит вперед.

И снова — небо, солнце и песок
объединяются в пейзаже четко.
Со мною современный туесок —
авоська.
В ней — белье, зубная щетка.

НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ



ХЭДА *

Роман

Глава 7. Афинские ночи

Ночью ветер налетал сильными порывами, шумели деревья за дверью в саду и над крышей храма на обрывах. Непрерывно стучала дверная рама.

Время от времени кто-нибудь из офицеров просыпался и зажигал свечу, чтобы посмотреть на часы. Были легкие толчки, сотрясавшие дом. Ночь казалась бесконечной. Из лагеря доносились крики часовых, а из деревни — стук дощечек сторожей. В каком-то храме невпопад несколько раз ударил колокол. Пошел сильный дождь и сразу стих, и опять завывали и забились двери и рамы окон, и опять затрясся дом.

Алексей проснулся от толчка. К землетрясениям все привыкли и днем не замечали их, однако сейчас, под шум бури, казалось, что опять может произойти несчастье.

Кто-то из офицеров вскочил, торопливо откатил дверцу своей каюты и впотьмах стал пробираться через большую комнату, то щупая руками бумажные перегородки, то задевая табуретки у стола.

— Кто это? — спросил Шиллинг.

— Это я, — раздался голос Елкина.

— Зажгите свечу, Петр Иванович, что же вы впотьмах бродите, это моя каюта, а не входная дверь.

— Что с вами? — подымаясь, спросил Сибирцев из своей каюты.

Елкин уронил стул и, ни слова не говоря, опрометью кинулся к двери, откатил ее, но не вышел наружу, а, постояв немного, тихо прикрыл и тем же путем стал опять пробираться обратно. Слышно было, как он вошел к себе в комнату и влез в постель. Но вскоре вскочил и опять побрел, ощупью трогая руками стены.

— Кто это? — опять спросил Шиллинг.

— Это я, — тихим голосом ответил Елкин.

— Опять вы? Что за мистификация!

— Вы мою картину уронили! — вскричал Можайский, заслышав, как что-то повалилось.

— Да вы в своем уме, господа? — сердито спросил Михайлов.

— Кажется, толчки, — ответил Елкин.

— Ну и дайте спать! Какое мне дело!

Опять стало слышно, как в потемках, двигая предметы, бредет Елкин.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

— Что с вами? Уйметесь вы наконец? — спросил Шиллинг, выходя со свечой.

Появился Можайский с фонарем.

— Вы куда собрались? — воскликнул он и покатился со смеху.

Елкин стоял с ранцем на спине и с двумя тюками в руках.

— Я упражняюсь на случай, если начнется сильное землетрясение, господа! Зажечь свечу будет невозможно, да и времени не хватит!

Елкин с вечера сидел за большим столом и вычерчивал начисто побережье Идзу и залив Суруга. Работа шла, и карта получалась хорошая. Петр Иванович вдруг подумал, что все это может погибнуть по воле злого случая. Ему стало жаль своих трудов. Он первый производил тут съемки, делал промеры, собирал коллекции и гербарии, вел гидрографические заметки. За время плаваний описал Сангарский пролив, нанес на карту южный берег Сахалина, залив Анива, Лаперуза и Татарский проливы и местами берега Японии. Все сделано тщательно, много заснято впервые. Исписана целая стопа дневников. Составился драгоценный багаж. А при землетрясении всего можно лишиться. Могут вспыхнуть пожары или нахлынет приливная волна. Елкин решил, что надобно попытаться все спасти или, во всяком случае, подготовиться к спасению карт и дневников, для начала все надежно упаковать. Да поупражняться ночью.

Шиллинг задул свечу и вернулся к себе. Елкин и Можайский установили свалившийся холст в раме. Вскоре все улеглись. Через некоторое время налетел сильный порыв ветра. Внутри дома похолодало и застучали внутренние стены.

— Вот и дождались — проворчал Елкин.

Где-то прорвало бумагу в окне. Поток воздуха мчался по дому, как по трубе.

— Господа, что делается?! — закричал Урусов.

— Так это у вас?

— Вы бы еще спали...

— Да я на ночь позабыл закрыть вторую раму. Я весь мокрый, господа... Как хлещет... Как в Афинах.

Юнкер пытался задвинуть вторую дощатую раму, но она разбухла и плохо поддавалась. Наконец послышался хлопок, и ветер в доме стих.

— Разве в Афинах бывают тайфуны? — спросил Сибирцев.

— Мы стояли в Пирее, когда вот так же задуло от зюйда и понесло.

— Мне тоже приходилось заходить в Пирей, — заговорил Михайлов, — всегда была отличная погода. Легкий пассат...

— Хороши же, юнкер, ваши афинские ночи! — произнес Мусин-Пушкин. Видимо, решив, что спать ему не дадут, он стал будить денщика. — Вставай, Федор, — тормозил он матроса, спавшего мертвецким сном на полу. — Грей чай да одеваться...

— Вы говорили, барон, что в Европе модно все греческое? — спросил юнкер.

— Знание мифологии — обязательный признак хорошего тона. В светском обществе, как и в литературе, модно упоминать обо всем античном. Парламентские ораторы и те цитируют изречения древних; в статьях и речах то и дело приводятся примеры из греческой истории. Модно коллекционировать античные предметы и произведения искусства, разбираться в деталях архитектурных сооружений древних. Англичане сравнивают себя и французов с римлянами и греками, защищающими в этой войне против нас цивилизацию. При этом

саму Грецию, образно выражаясь, обчищают до нитки. Ни дать ни взять — турки!

— Ы-ы!.. Афинские ночи, господа! — зарычал Зеленой и опять зевнул, как лев.

Сквозь щели в ставнях пробивался слабый свет зачинавшегося утра. Все вставали.

На дворе лило как из ведра. Тяжелые тучи на скалах, приближение чего-то грозного чувствовалось в природе. Часовой сказал, что после полуночи, когда он встал на пост в будку, были небольшие толчки, а разок здорово толкнуло.

— Я предсказывал, — напомнил Елкин.

Все поглядели на утесы в лесах, висевшие над храмом.

Пришел племянник адмирала лейтенант Пещуров, вытер ноги о циновку и откинул мокрый капюшон.

— Адмирал просит всех на стапель. Шхуне угрожает опасность. Вода идет по ущелью сплошным потоком. Канавы переполнены, площадку затопило...

В ущелье Усигахора (ущелье Быка) сотни матросов с офицерами и японские рабочие рыли и рубили новые канавы. Тут же Пуятин, Эгава и чиновники. Над стапелем с вечера на столбах натянули циновки, по которым вода стекает, не попадая на шхуну. Японцы укрыли и второй, только что заложенный стапель. Смоловарню затопило, ее деревянную трубу сорвало и унесло в море. Только кузницы дымят и работают на возвышении, где Ота-сан прежде хранил сухой пиленый лес.

Алексей стоял по колено в воде и в очередь с матросом, как и десятки других работающих пар, выбрасывал со дна потока камень и мокрую землю, которую с лязгом, быстрыми короткими ударами ломали и рубили пешнями и мотыгами рабочие-японцы и матросы. Вода казалась холодной, но не по-нашему, не ледяной, в которую приходилось проваливаться в детстве или плавая у северных берегов. Жар горел во всем теле под промокшей насквозь шинелью. Иногда лопата, кроме воды, ничего не захватывала, в таких случаях Алексей корил себя, что дозволил промах, как барчук.

По ущелью, сокрушая лес, шла целая река. С утесов вода не лилась, а взлетала рывками в воздух, словно кто-то сбрасывал ее оттуда огромными лопатами.

У пристани смыло и унесло в море каменные крепления. Матросы и японцы рыли канавы, отводя потоки воды от стапеля, на носилках таскали груды камней и наваливали вокруг фундамента. Повсюду на возвышениях, как согнутые ветром деревья, чернели фигуры бьющих камень японцев.

Ливень стих, но потоки шли сильно. Невидимые лопаты еще сбрасывали в воздух со всех обрывов желтые пласты воды, но понемногу вода стала слабеть и вдруг сразу так осела во всех ручьях, что множество людей приподнялись от земли, все разгибались, не выпускающая из рук инструментов, слышались веселые выкрики, начался общий разговор и закуривание.

Алексей отдал лопату японцу и выпрыгнул, держась за его руку, из канавы, когда подошел матрос Семен Шкаев.

— Алексей Николаевич, подите, вас Глухарев зовет влезть на крышу стапеля, там доски сорвало...

Сибирцев побежал к матросам. Честь гимнаста он готов поддержать. Неужели плазу угрожала опасность?

...Все в одинаково мокрой одежде. Масса одинаковых людей с лицами одного цвета. Заиграл горн. Японские чиновники прошли мимо со сложенными зонтиками.

...Утром ветер сушил почву. Погода стояла ясная, но жесткая, вроде нашей в пору цветения черемухи.

«Сакура выделается из всех деревьев, когда цветет», — написала по-японски Оюки. Татноске перевел и объяснил, что мисс Ота вспоминает японские пословицы по просьбе Ареса-сан.

— Спасибо, Оюки-сан! Очень благодарен!

«Благодарен, но сердце не задето. Ки ни иримасэн¹», — подумала Оюки.

— Вы знаете, что значит «юки»? — спросил Татноске у Сибирцева.

— Да. Снег.

— Девушка, носящая это имя, очень холодна, как снег. — Татноске постоянно язвил на эту тему, давая понять Сибирцеву, что его интерес к Оюки-сан не найдет никакого отклика.

На горах и в садах одновременно зацвело множество деревьев. Лес и горы становились белыми. Местные жители говорили, что так будет до самой осени, одни деревья станут цвести за другими, и по большей части — белым. Кто бы мог подумать, что Япония — страна коричневых скал и сплошной весенней белизны лесов! А в Европе знают: страна цветов, вроде этакой плоскости среди моря, сплошь заросшей хризантемами и уставленной фарфором.

Оюки сидела поодаль, не глядя на Ареса-сан, готовая уловить любое намерение работавших офицеров и юнкеров.

В прекрасном отцовском доме, который теперь лишен уюта и превращен в казарму, у нее не стало привычных занятий. Она отвыкала ухаживать за цветами в священных нишах, да и ниши заняты шинелями, фуражками и сапогами. Оюки не развешивает и не составляет украшения, не готовит к новому месяцу и к весеннему цветению смены картин на шелку для стен. Она теряет интерес ко всему этому.

Отец не пожалел средств, чтобы дать дочери хорошее воспитание.

Но чувства пересиливают воспитание. Если она не выдержит и упрекнет Ареса-сан, если у нее все сорвется с языка, это будет ужасно. Она опозорит себя. В таких случаях в княжеских семьях девицы кончают жизнь самоубийством.

Отец дал ей также основательное религиозное воспитание. Традиции крепки в семье Ота. Сам Ота-сан относился к своим предкам снисходительно, как к недоучкам, от которых не осталось никакого толка. Этот оттенок в отношении к душам усопших невольно передавался и детям при всем их почтении к религии.

Вся семья Ота единодушно смотрела вперед, а не назад и все свое благополучие создала сама.

Пришел Кокоро-сан, бросил шинель на пол.

Девушка дала знак слуге подать чай.

— Она уже больше не сидит рядом с вами? — спросил Колокольцов.

Алексей молчал.

— Не надоело вам?

— Мы занимаемся с ней, как и прежде.

— В самом деле! Но ведь тут японский Миргород! Что с ними будет, когда мы уйдем...

Пришел старый Ота и сказал, что вся Япония больна, простудилась, пришлось мчаться на быстрой лошади в город Симода за лекарствами и приглашать докторов.

¹ В сердце не входит.

В лагере после вчерашнего аврала тоже много больных, все спят и кашляют.

Колокольцов, уходя, дружески тронул локоть Алексея и покопился на японку. «Очень благородно и достойно держится Сибирцев! — подумал он. — Всем нам пример... Но мне уже поздно...»

Оюки проводила Колокольцова почтительным поклоном и восхищенным взглядом обратилась к Ареса-сан, как бы говоря, что Кокоро-сан нравится всем, но Оюки любит Ареса-сан, хотя никогда не покажет своего чувства.

Сибирцев не разгибаясь сидел за столом до сумерек. Уже все разошлись, когда он поднялся, и, увидев девушку, обрадовался, подошел, взял ее за руку и попытался привлечь к себе, кажется, впервые за все время. Наверное, присутствие Александра так подействовало.

Оюки высвободилась и отступила.

Сибирцев сложил бумаги и оделся, закутав горло шарфом.

Случалось, в знак благодарности и как бы в приливе чувств, особенно после уроков русского языка, которые ей очень нравились, Оюки сама целовала его в щеку. После долгой разлуки, когда он вернулся из Симоды с дипломатических переговоров, Оюки поцеловала его при всех офицерах. Но все это как бы детские шалости...

В прихожей, где японцы обычно оставляют обувь, чуть теплился фонарь, Алексей опять увидел Оюки. Она замерла словно в испуге. Чуть слышался аромат ее духов. Ее губы близки, словно вытянуты к нему, ее глаза блестящие. Она как во сне тронула его руку и отступила в почтительном поклоне. Посветила ему фонарем, чтобы не остушился на двух больших дощатых ступеньках.

Он вышел на улицу. Ветер, горы, слегка плещется волна в бухте.

«Если бы встретил ее в иной обстановке, — подумал Алексей, — такую красивую и добрую, увлекся бы не на шутку... Чистая, умная... Но «если бы» и «если бы». Вечное «если бы»...»

Священник отец Махов, надевавший шляпу в прихожей офицерского дома, спросил:

— Откуда вы, Алексей Николаевич? Что собираетесь делать? Ужинать?

— Я из чертежной... Ужинал там...

— Привыкаете к их блюдам?

— Да, я люблю их стол. Кроватки особенно. А вы куда?

— К японским коллегам.

Все знали, что отец Василий Махов дружит с японскими бонзами.

— Что же вы будете делать? Пойдемте со мной, Алексей Николаевич. Познакомитесь с новым для вас интересным обществом, чем здесь скучать и томиться, вечереще велик. Все равно читать нечего! — Видя кислое выражение на его лице, отец Василий добавил: — Вы скажете: что же интересного в японских попах? Да вы пойдите посмотрите сначала, а потом уж выносите приговор. Не понравится — в любое время можете уйти, дадут вам провожатого.

Отец Василий в начищенных сапогах, в новой соломенной шляпе, с огромным зонтом, как у рисосейателя. Борода выхолодена и надута японскими травяными духами. Вид свежий, недаром каждый день купается в реке, идущей с гор!

Зажгли фонари и вышли. Следом кто-то спешил с фонарем. Огромная фигура Можайского выросла в ночи на фоне бухты.

— Я с вами, господа. Возьмите меня...

— Пожалуйте, пожалуйста! — ответил отец Махов.

Можайский сказал, что слышал за перегородкой, как Алексея уговаривали, позавидовал и сам поддался.

— А если опять ползет, окаянный? — оглядывая небо в звездах и складывая зонт, сказал отец Василий. — Они все ждут землетрясения!

Храм стоял на отлете, за рисовыми полями. Войдя в ворота, путники поднялись по ступенькам, и отец Василий умело откатил широкую входную дверь. Главное помещение храма, где собираются молящиеся, темно и пусто, какой-то человек поднялся с пола и поклонился вошедшим. Сквозь дверь в боковой стене слышались голоса, и на бумажной перегородке виднелась тень женщины.

Махов провел офицеров в другую, соседнюю дверь. В большой узкой комнате стояли столики, за которыми в полутьме сидели и разговаривали люди. При тусклом свете фонаря один из них поднялся и сказал Сибирцеву:

— Здравия желаю, Алексей Николаевич, пожалуйста к нам. Милости просим, Александр Федорович.

— Александр Иванович? — удивился Сибирцев, узнавая артиллерийского кондуктора Григорьева.

— Так точно, Алексей Николаевич... Унтер-офицер Григорьев, честь имею!

«Поди же ты!»

За составленными столами, заваленными бумагами, сидели гости.

Алексей обратил внимание на красивую молодую японку. У нее было очень белое лицо формы дыни, что считается у японцев красивым, да и у нас, пожалуй, сочтется... Черный гребень чуть выбивался острым краешком из волос над высоким чистым лбом.

Из-за стола встал Осип Антонович Гошкевич и подвел друзей к японке, что-то сказал ей и добавил по-русски:

— Княжна Мидзуно-сама... Оки-сама.

Офицеры поклонились и щелкнули каблуками. Княжна протянула руку. Алексею показалось, что у нее чуть впалая грудь. Глаза ее задержались, словно она что-то знала про Алексея.

У Григорьева голос хороший, он поет в церковном хоре, знает ноты, играет в оркестре. На днях пришлось слышать разговор про Григорьева у адмирала. Евфимий Васильевич сказал: «Пусть ходит!» Адмирал запрещал офицерам и матросам посещать японские дома и заводить знакомства. Алексей тогда значения не придал и не вслушивался.

Григорьев уселся за продолговатым столиком рядом с княжной, над длинной бумагой, тянувшейся из свитка, который лежал тут же. Развернутая часть свитка с рисунками свешивалась со столика.

Григорьев, развернув свиток пошире, показал его офицерам. Изображены как бы следующие вереницей друг за другом фигуры: петербургский дворник с метлой и в переднике, баба, торгующая яблоками, продавец сбитня, извозчик, лавочник, купчиха, двое приказчиков, барынька, гусар, солдат-гвардеец в высоком кивере. Жанровые сцены из жизни петербургского простонародья и господ схвачены живо, чувствуется умелая рука. До сих пор Алексей знал, что Григорьев отличный чертежник. Японцы смотрели восхищенными взглядами, как обычно, когда видели что-то новое.

Подле княжны с другой стороны сидела пожилая японка лет семидесяти, с большим острым лицом, сильно накрашенным и покрытым слоем белил, одетая очень опрятно, с тщательно убранными красивыми волосами в седине, проткнутыми шпильками в виде кинжалов.

Подошел хозяин храма, мужественный бонза богатырского вида, с совершенно плоским, ничего не выражающим лицом.

— Нынче, как Давид, сражался он с сильнейшим против себя разбойником, напавшим и осквернившим храм, и поразил его, как Голиафа,— пояснил отец Василий,— нанес урон окаянному, связал и передал в руки правосудия...

Бонза стал показывать гостям разные сабли и мечи. Их набралась целая коллекция. Можайский отставил чашку с чаем, вскочил и взял в руки японский меч—катан.

— Сталь прелестная! — сказал он, держа крепко рукоятку катана.— Посмотрите, ножны в каких инкрустациях. Чувствуется древний мир, где ни одна мелочь зря не делается и все гармонично. Затрачена уйма терпения и труда.

Из дверей, ведущих внутрь дома, вышла с угощением на подносе толстая, грузная женщина. У нее также очень белое, оплывшее жиром лицо с маленьким ртом и полузакрытыми глазами, похожее на праздничную женскую маску, сохраняющую сладкое выражение. Она, полусогнувшись в поклоне, засеменила через комнату и проворно стала расставлять перед гостями чашечки со снедью. Каждый раз, когда хозяйка уходила и снова выносила еду, в дверях появлялась рослая фигура молодого монаха с лукавой физиономией, который, видимо, помогал ей.

Григорьев сказал, что Оки-сама просит представить также своего учителя — художника Вада, прибывшего в Хэду по приказанию ее отца. Интересуется европейской графикой и живописью... Семидесятилетняя дама также оказалась художницей из города, наставницей Оки. В разговоре принимал участие переводчик русского языка Сьюза, недавно приехавший в Хэду из столицы,— суховатый японец средних лет и среднего роста, с большим и важным лицом. В русскую речь он напряженно вслушивался. Иногда Оки-сама кратко и с достоинством говорила ему что-то и, выслушивая перевод, улыбалась в знак согласия.

«В Петербурге не поверят! — подумал Алексей.— Настоящая аристократка!»

Княжна встала. Она оказалась стройной, высокого роста. Ее тяжелый шелковый костюм не шелохнется, как из чистого золота. Он так шит, что ее грудь казалась впалой, пока она не поднялась. Это впечатление усиливалось еще и оттого, что на спине была подушечка, обвязанная большим бантом, похожим на крылья яркой бабочки.

Оки подошла, села рядом с Можайским и велела художнице и Григорьеву показать офицерам ее рисунки, выполненные в европейском стиле. Теперь переводил Гошкевич.

Сидя рядом, Алексей мог ближе рассмотреть княжну. «Какое прекрасное, но странное лицо! Слово она умней, но ей приходится притворяться, чтобы казаться перед нами проще и из вежливости скрывать что-то, может быть, это врожденное чувство превосходства».

Старая дама с сединой в причёске смотрела на офицеров смущенно, а обращалась к княжне с серьезной почтительностью.

...Ели моллюсков из круглых ракушек, похожих на черные чашечки со снимающимися круглыми крышечками, свежую рыбу и тертую редьку, пили сакэ. Присутствие княжны возвышало и объединяло это общество сильней, чем вкусное вино.

Старый бонза ел и молчал, а при случае, поймав на себе взгляд Алексея, кланялся. Махов вскоре завладел бонзами, и после ужина они рисовали друг другу на бумаге вопросы и ответы.

У Григорьева в руках оказалась гитара.

— Пожалуйста, Алексей Николаевич, сыграйте нам... — подходя, сказал он, — а мы станцуем.

«Что же! И то дело! — Алексей взял гитару и заиграл полечку.— Быть сегодня мне музыкантом у моего унтера!»

Григорьев вывел княжну. Она улыбнулась. Он притопнул, ударил каблуком о каблук, как в мазурке, обхватил ее бережно за талию, и они закружились. Тотчас унтер отпустил ее и, легко держа за руку, провел в танце вокруг стола. Видно, танцевали не впервой. Далеко же у них ушло! Кто же играл им на гитаре? Не иначе как отец Василий. Ему это среди буддийских бонз в грех не зачтется...

Григорьев танцевал лихо, однако, как казалось Алексею, слишком осанисто, словно скакал верхом в казачьем седле. И шея у него толстая и красная, как у бакалейщика.

Переводчик-японец объяснял Можайскому:

— Вам нравится имя Оки-сан? «О» — это не относится к имени. Это... знак восхищения. Имена: Юки... Ки... Кити... Но мы почтительно произносим Оки, Оюки, Окити! Если же на них будет составлен полицейский протокол, то там просто будет написано, что задержана Ки, дочь князя Мидзуно, или дочь банкира Юки, или невестка плотника — Кити.

— Разве на дочь князя может быть составлен такой протокол?

— Да... Или... Ну... это-о... если будет распоряжение по...

— Если будет рапорт?

— Нет...

— Донос?

— О-о! — обрадовался переводчик, услыша такое полезное слово.— Конечно, исключений не имеется... Аримасэн!

— А на полицию бывает, что составляется протокол? — спросил Сибирцев.

Важный гость смущенно захихикал. Видно, бывает и так, но воспоминания нежелательны.

Оки поблагодарила общим поклоном. Она подошла к Сибирцеву и, чуть коснувшись пальцем его суконного рукава, предложила отойти. Судя по всему, переводчик ей не был нужен.

— Оюки...— сказала она, внимательно глядя в его глаза. Любопытно и приятно видеть Ареса-сан так близко. Она много, очень много слышала о нем.

Уверенная, что он понимает, она заговорила. Алексей не знал ни слова, и в то же время ему казалось, что все вполне ясно, словно они говорят на одном языке.

«Оюки очень больно». «Она мой друг». «Я люблю ее как сестру... Будьте с ней ласковы ради всего на свете». Княжна открыла веер.

— Ареса-сан! — вскинув свои прекрасные брови формы узкого листика ивы, радостно и торжественно воскликнула она. И слегка вздрогнула, испуганно улыбнувшись, словно заглянула в его душу.

Она верила тому, что говорили в семье и в светском обществе, что ро-эбису хитры, превосходно подготовились, отправляясь в Японию, все выучили язык, но тщательно это скрывают. Еще говорили, что их дипломатия построена на христианском двуличии, лицемерии, лжи и коварстве. В свете шли слухи, что они нарочно разбили свой корабль во время бури и цунами, чтобы оказаться внутри Японии и беззастенчиво лгать о дружбе и шпионить в это время. Они все изучают в нашей стране. Их корабль был достаточно крепок, они могли бы прекрасно уйти в море и не поддаться силам стихии, а они нарочно тянули и ждали бури, предсказанной их приборами. Русские гораздо хитрей и опасней американцев. Не пожалели судна, таких у них много, инсценировали крушение и гибель, притворились несчастными, чтобы вызвать жалость в нашем народе и правительстве. Нарочно подвели судно к подножью Фудзи и утопили, как будто не могли

спасти. При этом ни один человек не погиб. Ложь, ложь, хитрость всюду. На каждом шагу. И обман. Так они проникли наконец в запретную страну. И они еще говорят, что подозревают японцев в хитростях, кознях и шпионстве, когда у самих ум очень подозрительный и лживый, больной от грехов и страхов! Вот что говорили в высшем свете: «Вы знаете, иностранцы так много лгут, что даже не смеют спать по ночам спокойно». Да, это открыл один прощенный беглый преступник, ставший преподавателем новых приемов в бросании людей через голову.

Поэтому Оки уверена, что Ареса-сан ее поймет? Нет. Как существует особый женский язык, которому обучают с детства и который составляет особую прелесть воспитанных светских девиц, так существует и женское понимание событий и еще более женское ощущение достоинства. Оки, как и Оюки, как и Сайю и десятки других юных японок, подчиняясь господству отцов и наставлениям бонз и ученых мудрецов, судила не по их обязывающим традиционным понятиям, а угадывала и то, что было скрыто.

Поэтому сегодняшний вечер забываем. Она видела самого Ареса-сан. Она говорила с ним сама, по-европейски глядя в его лицо, не сгибаясь, с распрямленной спиной. Неужели в такое время, когда так велик всеобщий подъем чувств, когда взаимное любопытство так обострено, когда бушует тайфун взаимных интересов, неужели что-то еще может остаться непонятным там, где друг друга понимают без слов?..

— Григорьев-то — светский кавалер! — сказал Можайский с оттенком восхищения, когда вышли из храма.

— При офицерах он невольно связан, а бывает и очень остроумен, — с похвалой отозвался отец Василий. — Так блеснет, что его не узнаете!

Священник сам мужик, взят в плавание из курской деревни — и его прельщает все мужицкое. А княжна не разбирается.

Офицеры и священник шли полями, освещая дорогу фонарем. Григорьев остался с японцами, сказал, что будет еще рисовать допоздна. Прощаясь и провожая, посмотрел с таким выражением, словно хотел сказать своим офицерам и духовному отцу: «Заходите к нам еще», — но постеснялся. Сжался под взглядом Алексея, у которого, однако, не то было на уме. А теперь, когда ушли, Алексею слышалась ирония в речах Григорьева. Что же это? Американский банкир Сайлес, наверно, похлопал бы Григорьева дружески по плечу, провел его за нос, но позвал бы при случае к себе на именины.

Может быть, Оки хотела спросить: «У тебя в сердце Оюки-сан? Или нет?» А может быть, и спросила. «Спасибо, Ареса-сан, спасибо».

— На чьи же средства такой пир? — спросил Можайский. — Ведь сегодня мы пили превосходное вино и саке этого сорта очень дорогое.

— При храме у князя все свои люди. Тут все за его счет. С его дочерью приехал целый штат слуг, — ответил Махов. — Храм содержится на средства князя. Он сам тут же останавливается. Художник от него же. И старая женщина его родственница... И вот, поди ж ты, понравился княжне наш унтер-офицер с его трубой и пачкотней! — вдруг удивленно и, видимо, не без умысла сказал Махов. Хитрый пол, видно, притворяется. А сам души в нем не чаёт! — А вы еще идти не хотели. Разве не прелюбопытно? Княжна научилась изображать фигуры людей, как ее Александр Иванович учит. Они подолгу заставляют кого-нибудь из слуг позировать. И рисуют и пишут красками. Однако у нее, как и у ее японского учителя, все мы получаемся похожими на японцев.

— Поначалу Григорьев ходил туда тайком, перелезая вечером через забор, как и все матросы. Григорьев хочет ее учить и на кларнете играть, — отозвался Гошкевич.

— Как можно! — удивился Можайский. — Она же не знает, надо объяснить ей, что кларнет — вульгарный инструмент.

— Да Григорьев и сам, может быть, уверен, что лучше кларнета музыки нет...

— Да ну, пусть учит! — ответил Гошкевич. — Не сбивайте их с толку. Рояля у нас нет, и не скоро еще в Японию привезут.

— А как он рисует, сам Григорьев?

— Может быть, вы, Можайский, дали бы ей уроки?

Александр ответил, что Григорьев явно способный, хотя и малограмотный. Характерные типы получаются хорошо...

— Конечно, не Федотов! — заключил он.

— Надо ли ей объяснить, что Григорьев не дворянин? А то получится с нашей стороны что-то вроде злой шутки. Ведь у них все воины — дворяне, даже низшие рядовые...

— Зачем?

— Да она, может быть, и знает! Он ей объясняет лучше и серьезней любого офицера, — сказал Гошкевич.

— Она, пожалуй, в самом деле думает, что и у нас все матросы — буси, как и у них. И что Григорьев — буси и живет по кодексу буси...

— А не по уставу!

Алексей шел, глубоко задумавшись. «Странно... Я не знал прежде этого за собой! Стоило княжне сказать мне про Оюки, как, мне кажется, я к ней сразу переменялся. Оюки в самом деле прелестна. Умная и серьезная, а я недооценивал ее, как и ее стремления к знаниям. Неужели я все это почувствовал только потому, что мне сказала об этом аристократка, юная дочь князя?»

Оки слышала, что после разлуки с иностранцами, наверно, за дело примутся палачи. Но это никого не останавливает, чувства побеждают. Там, где будущего надо ждать, заливаясь слезами, все лишь смеются!

Оки и не желала более близких знакомств с императорскими офицерами из посольства Путятина. Григорьев — тот, кто ей нужен. Он почтителен и угодлив. Но он вполне западный человек. Много знает, талантлив, ретив и очень старателен. Она решила, что, уезжая отсюда, она станет, может быть, близка с ним, если без этого знакомство не оказалось бы полным.

Она получала все, что ей было нужно, через него как через слугу, а с его морскими начальниками при ее положении было бы трудней и унижительней, и никто не занимался бы с ней, как Григорьев. И не с ними искала она знакомства. Ее, как и всех, кто соглашался, что перемены неизбежны, занимала не Россия, а Америка, и она тоже будет стремиться к Америке. Так говорят отец и братья. Не погружаться во все русское!

Что же Ареса-сан? Он очень гордый воин, все женщины видят его. А он не видит их. Это очень достойно. Почему другие мужчины не понимают? Они с масленными глазами и льстивой речью? Он — воин! Он рыцарски простился. Чуть слышно ударил в каблуки, трагически покорно и так сдержанно и красиво склонилась перед Оки его юная, но большая и умная голова. Он все понял и все знает, но помнит свой долг в войне.

...А старший брат Оки служит в Киото при дворе тенно. Второй брат в походе княжеских воинов во главе отряда подданных. В нем

дух буси, он — будущее Ниппона. «Тигры берегут шкуру, а буси берегут честь». Буси воспитывают в себе дух и железную волю, умение владеть мечом и шпагой и стойкость... Кодекс поведения буси — бусидо.

— Господа,— встретил поздних пришельцев Мусин-Пушкин,— в Симоду пришло американское торговое судно «Каролайн Фут». Посыет прислал адмиралу письмо, пишет, что намерен зафрахтовать корабль и несколькими партиями перевезти на нем всех нас в Россию. Таким образом, закончится вся наша эпопея. Он ждет распоряжений адмирала и просит срочно отправить к нему Шиаллинга, Сибирцева, Можайского и Гошкевича, десять лучших матросов и не позже чем еще через день выслать духовой оркестр.

«Зачем Константину Николаевичу духовой оркестр?» — рассеянно и устало подумал Алексей.

Мусин-Пушкин снимал нагар со свечи черными от копоти щипцами.

— Адмирал предполагает, что американский коммодор Адамс сдержал свое слово и шхуна прислана им.

— Американцы теперь хлынут сюда,— сказал из-за перегородки Елкин.— Получается, что мы для них открыли Японию. Они нам еще спасибо не скажут.

— Да, они теперь хлынут сюда,— согласился Пушкин.— Встречи с американцами будут частыми.

— Зачем же оркестр? — спросил Можайский.

— Не знаю. Вам, Александр Федорович, и вам, Алексей Николаевич, чуть свет отправляться с адмиралом в Симоду. Прощайтесь, мой дорогой, с вашими друзьями и поклонниками, вы их больше уж не увидите, вероятно. Готовьтесь... В четыре утра сбор в Хосенди.

— Вы полагаете, все это серьезно? — спросил Можайский.

— Вполне серьезно. Идет война.

«Ну что же...» — подумал Алексей...

Ч А С Т Ь II. ДОГОВОРЫ В ДЕЙСТВИИ

Г л а в а 8. Первая американка

— Напородись! — сказал мистер Доти, входя в каюту, где его жена сидела напротив зеркала у портика с опущенным стеклом. На ее лицо падал обильный и спокойный свет, такого не бывало на переходе через океан; там солнце злое, вечный ветер с солеными брызгами, сеющими день за днем.

— Говорят, что молоденькие японки проводят за туалетом по четыре часа, а без грима они как маленькие старушки и стараются не попадаться на глаза! — сказала Анна Мария, держа палец на толстом слое белил, которыми она закрашивала свежую кожу и румянец, как борт корабля после долгого плаванья.

— Явился капитан потерпевших кораблекрушение... Он у мистера Варда!

— О-о!

— Хотел бы купить товары, которые мы привезли. У них есть деньги! Они строят шхуну под городом. Им нужны канаты и парусина. И еще солонина, мука, коровье масло, которого в Японии нет. Одежда!..

— Прекрасно!

— Товары мы брали не для них! Сукно, фланель и парусина —

гнилые! Что же прекрасного? Шкиперам я бы всучил. Дипломаты и военные моряки высоких рангов не были в виду.

— Но ты не ударишь лицом в грязь?

— Да-а...

— Можешь не показывать им товары! Никто не знает, что у нас в трюме! Продай ящик масла, но не с цвелью, не с мохнатой зеленью, а из моего запаса.

— Хуже не придумаешь! Они голодные и раздетые, отказать бесчеловечно... Я ответил, что корабельные принадлежности предназначены для американских китоловных шхун, что идем в порт Хакодате, также открытый по договору, там поставим магазин и начнем распродажу корабельной чандлери² для китобоев в этой части океана. Сорок наших судов ожидают, что снабдятся в нашем магазине в Хакодате. Но вот пришли в Японию—и все оказывается не так, как предполагалось!

— Что же? — резко поворачиваясь на табуретке, спросила Анна Мария.— Ты боишься японцев?

Доти знал, когда надо быть храбрым, а когда можно заработать.

— Да! — крикнул он.

Дверь тихо приотворилась.

— Сиомара! — пылко воскликнула Анна Мария, видя в зеркале хорошенькое личико с коротким носиком.— Войди скорей! — добавила она по-испански.— А где же мои дети?

— Играют с детьми госпожи Вард.

— Сегодня надо перетрясти и выбить на солнце тюфяки...

Компания американских торговцев составила в Гонолулу и приехала на шхуне «Каролайн Фут» в Японию. Судно зафрахтовали и загрузили всем, что могли достать подешевле и на что, по расчетам, должен быть спрос. Аппетиты и надежды были очень большие: страна отщипывается. Кому же первые барыши? По договору, заключенному Перри и уже ратифицированному президентом Штатов, а значит, и императором Японии, никаких препятствий больше нет. «Вы слышали—Япония открыта!» «Это твердо, ясно, законно! Вперед, господа!» Предприимчивость прежде всего. Риск? «Три порта к нашим услугам! Мы оказались ближе всех к Японии». Дамы воодушевлены не меньше мужей. Взятые с собой дети. Шли в богатую страну, уступившую силе доводов и современного флота. А в бухте Симода, едва шхуна бросила якорь, явились на борт чиновники и заявили вчера, что на берег сходить не разрешается, конечно, не только потому, что срок действия договора не наступил и еще нет никаких распоряжений о приеме иностранцев. Никто ничего не знает. Японскому управлению в Симоде ничего не известно.

— Черт бы их побрал!

Анна Мария готовилась к встрече на берегу. Она произведет ошеломляющее впечатление. Вчера мулат-парикмахер подстриг ее модно, коротко. Это важно! Она шла через океан, из Калифорнии через Гонолулу, с дальнего запада на дальний восток! Напоролась? Зачем же ты вез меня?

Анна Мария, или Пегги, как теперь звал ее муж, сегодня отлично отдохнула. Дети играют на солнце, на палубе, под надзором, радуя японцев-лодочников. Ее нога ступит первая. Такого еще не бывало! Японцы не смеют помешать Америке! Они не осмелятся! Она будет первой американкой, которая выйдет на землю Японии. Еще есть жена капитана, госпожа Вард, но она почти старуха, ей тридцать пять. Жена рулевого? Хорошенькая шестнадцатилетняя девчонка, пухленькая и обращает на себя внимание: исполняет обязанности служанки и компаньонки. Никто из них не сумеет подействовать на японцев!

² Чандлери— мелкий товар (англ.).

— Пегги, это важные лица из империи. Дипломаты царя.
 — Их много?
 — Да. Довольно молодые офицеры.
 — Пригласи дипломатов и капитана. Уступи им несколько мешков сахара из нашего запаса. Покажи им шелка и сукна.
 — Им не шелка нужны.
 — Что же? — И, выбрасывая над головой ладонь, Пегги воскликнула: — Дай им ящик сигар! Вино!

Когда она перестает чувствовать себя красавицей и распускать волосы, то подает дельные советы. Даже не верится, что Анна Мария — бывшая звезда кабаре! Что по ней с ума сходила вся Калифорния. Кажется, бизнес для нее родная стихия. На счастье, муж ее честный католик! И знал, на что шел. Нельзя упускать первых барышей! Ах, первые барыши! Ждали, что их можно получить ни за что, с риском, но без особых затрат. Желая представить свою юную красавицу жену во всем блеске, Доти привез ее с детьми в Японию, зная, какое потрясающее впечатление она производит всюду. Ее не надо учить. Такая жена — все равно что собственный театр кабаре. Япония уступит!

— Они все еще не разрешают сойти с корабля? — вспыхнула Пегги. — Мы должны с миссис Вард вести детей на прогулку.

— Это я сказал. Они говорят, что не могут разрешить. Особенно женщинам. Это их очень пугает. Я заметил, им страшна сама мысль о том, что западные женщины ступят на их землю. Наш японец Джими уверяет, что ничего нельзя сделать.

— А что же капитан?

— А что он может?

Пегги быстро кинулась к своей постели, выхватила из-под подушки револьвер и подняла его дулом вверх.

— Вот что им надо! Покажите, что на судне имеются пушки! Перри нас обманул! Он обманул Америку! Как он смел! Объявил, что подписан трактат и американским торговцам открыт доступ! А все это ложь! Мы прибыли с детьми. Госпожа Рид беременна... Как нам быть, если они не позволяют ступить нам на берег? В таком случае мне самой придется открыть Японию!

Доти стоял насупившись, приподняв тяжелые плечи, чувствуя, что Анну Марию понесло, как дикого мустанга.

— Наши тьюфяи я хотела бы выветрить вон на том острове. — Широкое движение руки, в которой она держала теперь кисточку с краской для ресниц. — Там будет сушиться команда; погода отличная. Теперь я покрашусь как никогда и покажусь на палубе! Пусть смотрит весь их город. Я вломлюсь в эту закрытую страну, и мне не нужен никакой Перри.

Пегги — дочь испанских завоевателей Америки, но она истая американка! В Америке все равны перед законом. Каждый действует решительно, по собственному усмотрению и сам несет ответственность. Это истина. Но потом все надо доказать. Для этого, как знает господин Доти, надо подобрать хорошего адвоката. Иначе говоря, в Америке для всех без исключения опасны судейские крючки и сутяжники. Здесь нет американских портовых инспекторов. Поэтому можно громко и уверенно заявлять о свободной торговле и требовать соблюдения прав, не давая взяток, а только за подарки. Человеком из свободной страны, гражданином свободного государства свободней всего чувствуешь себя за границей. Доти желал бы, чтобы его дети со временем стали адвокатами. Он выкатил серые кельтские глаза и, немного смущенный решительностью двадцатилетней жены, отправился продолжать деловые разговоры.

...В салоне дым коромыслом. За столом с сигарой Вард, напротив — капитан российской императорской короны Посьет, вокруг — целый венок американского бизнеса: веснушчатый Рид, толстяк и силач Дотери, Эдертоун, Байдельсмэн, Пибоди. Главные пайщики авантюры и их подручные собраны для путешествия в новую страну, взяты хорошие мысли, товары, кулаки и револьверы, виски, опыт.

Константин Николаевич прекрасно понимал, как их огорошили японцы, отказываясь выпустить на берег и входить в какие-либо сношения. Японцы ведут себя так, словно не заключено никаких трактатов. Жаловаться на японские власти? Далековато. Японцы все объяснили капитану «Каролайн». Хоть уходи из порта. «Но, конечно, мы не уйдем! Ни в коем случае!» — кричат воодушевленные лица янки...

— Мы заберем у вас все товары! — говорит Посьет и опять видит, какая волна недовольства проходит во взорах его хозяев.

— Все не можем!

— Тогда хотя бы часть! Нам нужно продовольствие для Камчатки.

— Много мы не можем продать!..

— В таком случае, если согласится посол Путятин, сгружаем ваши товары на берег. Завтра прибудет часть нашей команды, и мы поможем вашим людям. Я помещу ваши товары в отведенном для меня помещении!

— Как это может быть?

Оказывается, капитан Посьет предлагает зафрахтовать шхуну «Каролайн» для отправки на ней на Камчатку тремя партиями всех моряков фрегата «Диана», погибшего во время катастрофы. Дело ушло далеко вперед, пока мистер Доти выслушивал команды своей красавицы.

Деньги предлагались хорошие. У торговцев русские готовы купить товары и на Камчатку! За три рейса! На Камчатку и, может быть, на Амур! Вард не прочь оказаться первым американским капитаном, побывавшим на Амуре! Его шхуна была бы первым американским кораблем в амурском устье. Благородный риск дает небывалый престиж моряку. Славно! Открытие может пригодиться и для коммерции. Доти, Дотери и Рид заинтересованы. Но пока еще ничего не решено. Капитан Посьет будет ждать ответа адмирала на свое письмо, которое пошлет немедленно.

Один из торговцев, прибывших на шхуне, веснушчатый Рид, сторяча отрекомендовался вчера симодским чиновникам первым американским консулом в Японии. Теперь сам не рад. Рано! Черт дернул за язык! Выболтал, не зная, что тут потерпевшие бедствие на море! Он, конечно, консул, но пока еще не назначен. Есть предположение, что будет утвержден. Хлопочут в Америке друзья, об этом пекутся в Вашингтоне, но еще не решено, хотя, как всех уверяет Рид, секретарь флота Марси знает его и обещает его друзьям содействие. Рид спешит в Японию еще до утверждения; занять место и приступить немедленно к исполнению обязанностей, одновременно торгуя своим товаром, помогать развитию коммерческой деятельности. Но тут иностранцы. Дело щекотливое, у них идет война. Надо держать язык за зубами, чтобы не вызвать подозрений. Зачем Вашингтону назначать другого консула, когда Рид уже здесь и добровольно взял на себя тяжелую обязанность? Во что бы то ни стало надо сговориться с японцами, снискать их согласие и войти в доверие к американцам, которые приходят на судах, при этом нужна осторожность с императорскими дипломатами; в Шанхае американский консул одновременно является

русским представителем; если узнает, то подложит Риду свинью как самозванцу.

Посьет уже сказал, что японцы ему все сообщили. Поэтому он почтительно поздравил прибывшего на шхуне «Каролайн Фут» первого американского консула. Трудно погасить Риду смущение на своем веснушчатом лице, он старается смотреть смелей, не щевеля рыжими бровями.

Да, не знал вчера Рид, что здесь русские! Японцы им все выложили! Но не будешь же еще врать. «А Посьет в дружбе с Адамсом и с капитанами наших кораблей! А наш консул в Шанхае одновременно их консул!»

Вошли дамы, привычно погружаясь в синее облако и усаживаясь к столу, окруженному деловыми мужчинами, перед которыми, как грог, закипал горячий бизнес. Жена капитана с узким лицом и серыми глазами, в кружевной блузке; она пожала руку Посьета сухой и энергичной рукой. Миссис Доти с черными как смоль волосами и с яркими синими глазами, вся в красном и желтом. Еще какая-то женщина-богатырь в чепце и шлепанцах, может быть, жена консула, ноги ее так длинны и толсты, что ничем не скроешь... Еще милая молодка с пухленькими плечиками, может быть, служанка; все тут как подружки, конечно вместе едят и пьют, как у них принято. Слуги обедают за господским столом, как мы это видели в Калифорнии...

Посьет посмотрел глазами слегка навывкате в лицо Анны Марии, словно сразу узнал, хотя видел впервые в жизни. Анну Марию не так легко смутить. Она принимала любой вызов. Она поняла его, взаимно угадывались с первого взгляда знакомые характеры.

Посьет повторил про золото, сказал о чеках на банк Ротшильда, как и чем будет уплачено за доставку тремя рейсами всей команды погибшей «Дианы» вместе с офицерами.

— Ах, тут такой воздух, как курорт! — сказала Пегги.

— Мы должны знать, что делать с грузом, куда его поместить, — сказал Рид.

Доти и Дотери подтвердили кивками.

— Это просто, — ответил Посьет. — Я жду ответа от адмирала. Он подымаю, не вдаваясь в подробности.

— Я приглашаю вас на прогулку на берег... Вас, леди и джентльмены, и, конечно, пить чай... Сегодня я видел губернатора...

К борту «Каролайн Фут» подошел вельбот. На веслах белокурые матросы в белых рубашках с голубыми каемками на воротниках.

— Едемте со мной, господа...

— Господин капитан Посьето... — крутился около Константина Николаевича японский переводчик, но на него не обращали внимания.

— Фудзи? — спросила Пегги, стоя на палубе и глядя вдаль.

Посьет ответил:

— Это видна другая гора, это Симода-Фудзи.

— О! — Пегги вскинула руки и раскрыла ладони, словно подняла и держала над головой корзинку с цветами. Сейчас видно, как она замечательно стройна и легка.

Посьету уже шепнули, что это знаменитая артистка кабаре из Калифорнии.

Анна Мария спустилась в баркас с девочкой на руках и с огромной собакой на поводке. «И все-таки я первая ступлю на землю Японии! Первая из женщин!» — повторила она мысленно.

«Какие же у русских рудевые?» — подумала Сиомара, пристраиваясь рядом и принимая девочку от Анны Марии.

Посьет помог госпоже Доти сойти с трапика на прибрежный песок. Госпожа Вард пошла за мужем. Вперед побежали ее мальчики с

белокурыми головками, оба в ярких нарядных курточках и белоснежных чулочках. С ними две рослые пятнистые собаки, белые с коричневым. Госпожа Доти, под вуалью и в огромной шляпе, ведет гигантского сенбернара. Сиомара держит за руки ее прелестных малышей. Дальше красные, синие, серые жакеты, кожаные брюки матросов, шляпы, смокинги, крахмальные воротнички деловых мужчин, их завязанные белые шарфы.

Высадились на безлюдном берегу между городом и храмом Гекусенди, у рыбацкой деревеньки, но вскоре множество японцев заполнили все открытое пространство, очень живописные группы расположились между деревьями. Японки с детьми. Веселые дети, девочки с бантами за спиной, с кружевными наколками тусклых благородных цветов над косичками.

...На следующий день Посьет не появлялся, но прислал на вельботе роскошные букеты для дам с вложенными записками. С его же запиской получено две корзины апельсинов, вкусом похожих на мандарины. Управление Западнства очень живописные группы расположились между деревьями. Японки с детьми. Веселые дети, девочки с бантами за спиной, с кружевными наколками тусклых благородных цветов над косичками. Рид немедленно захотел съехать на берег и объясниться с губернатором, но цепь полицейских выстроилась на песках, не позволяя пройти.

...Анна Мария выросла под пальмами, в домике под крышей из пальмовых листьев, и, уходя с песней о пальмах в поле на работу, несла на голове гуано де сомбреро — дешевую, но плотную шляпу из пальмовых листьев. Во время праздников и карнавалов она танцевала на улицах, жаром и быстротой превосходя негритянок. Ее стройные ноги и красивые движения рук с кастаньетами вызывали восхищение. Она умела петь на южноамериканском, на котором так горячо исполняют негры свои молитвы и песни, и на чистом испанском, а с приходом на мексиканские территории североамериканских волонтеров во время войны она выучилась по-английски. С переходом пуэбло и его окрестностей под управление Штатов приехал на быках самоучка-богослов с севера и открыл лавку, аптеку и таверну. Он послал за мачехой Анны Марии и уговорил ее, чтобы Анна Мария за еду и небольшую плату пела в таверне. Волонтеры всех чинов приходили в восторг от Черной Изабеллы, как звали теперь Анну Марию. Появились первые знаки внимания, горячие поклонники и первые скандалы. Потом города и прииски Калифорнии. Потом Сан-Франциско. Театры кабаре, большой успех, пресса. Букеты летели через рампу к стройным ногам Изабеллы...

— Я захватила этот остров, и все наши тьюфяки сушатся там! Там! — восклицала Анна Мария, и ладонь ее вытянутой руки открывалась в том направлении, где был завоеванный остров. — Я так жалею, что вчера после прогулки, — тут она показала себе на грудь обеими руками, — мне не удалось окатиться водой. Я так люблю в хорошую погоду, в темноте, перед сном!

Японцы всю ночь стояли на лодках вокруг «Каролайн», а сегодня при солнце они, как зрители в ложах, улыбаются, словно так и ждут начала спектакля и появления звезды, словно и тут хотят забросать ее цветами.

— Я вам ещё покажу! — говорит им Анна Мария по-испански, приветливо взмахивает рукой и уходит с палубы, чувствуя общий интерес.

Вчера на прощанье на берегу Анна Мария значительно взглянула на Посьета, словно желая сказать: сегодня вы хороши, я довольна вами! Она добавила вслух, протягивая руку и закатывая глаза:

— Благодарю вас, капитан!

...Госпожа Вард добра и делает много хорошего людям. Она мечтала, что ко дню ее рождения муж привезет с берега все что надо и

она оплетет дубовыми листьями все четыре края белоснежной скатерти праздничного стола.

А на следующее утро Вард сидел в своей каюте над книгой и сче- тами, но не глядел на них. Он казался глубоко погруженным в какие- то мысли. Госпожа Вард знала это глубокое деловое состояние мужа, эту таинственную подготовку к высшему проявлению бизнеса.

Вдруг при полном утреннем штиле и при безветрии отчетливо до- неслись великолепные звуки вальса. Играл духовой оркестр.

— Это в том саду! О-о! — раздался крик Сиомары.

— Какой сюрприз! У них с собой трубы! Значит, их так много! — выбегая на палубу, сказала госпожа Рид, женщина богатырского роста, с широкими скулами на смугло-красном лице и огромными ногами, в чепчике и капоте, из которого выпирал живот.

— Музыка в саду у храма! — сказала Анна Мария.— Там пре- красное помещение. Вчера мы были на самоваре у капитана диплома- та Посэто. Окна были открыты в сад с цветами. Я подумала, что жела- ла бы там жить! С вами, моя крошка...— сказала она госпоже Рид.

У той черные глаза в косых прорезях застыли. Она замерла как очарованная. Дочь скваттера и крещеной индианки, госпожа Рид силь- на телом и нежна душой. Вчера плохо почувствовала себя и не съеха- ла на берег. Сказала, что, конечно, желала бы жить с мужем в малень- ком домике консульства в саду, а не мучиться последние месяцы на шхуне...

— Они играют из Верди! — с удивлением объявила Анна Мария.

«Каролайн Фут» как маленькая Америка. Конечно, тут есть свои дельцы и законники, но трудно составить более дружное сообщество. Муж Сиомары — рулевой. Это почти помощник шкипера, его правая рука, таким только гордиться! Он же маляр, столяр, слесарь, а глав- ное — плотник. Умеет шить паруса, как и все матросы. Может орудо- вать шваброй.

Сиомара делает черную работу. Жена капитана госпожа Вард от- личная рукодельница. Она же прекрасно стирает, крахмалит не хуже, чем китайцы в Сан-Франциско. У нее мать прачка, у родителей пра- чечная на восточном побережье, в Новой Англии. Госпожа Вард держится с достоинством. Но она моет столы, лавки, а когда надо — палубы, кубрики, на камбузе готовит и для мужа и для людей одно и то же, кормит команду, заведует продуктами, рубит соленую свинину топором, как негр. Поэтому у нее руки суховатые и шершавые. Она же лечит больных. Она же гувернантка и учительница своих малень- ких детей и помогает Анне Марии с ее маленькими.

Анна Мария гордится, что любая черная работа и ей по плечу. Она тоже ничем не брезгует. Но посмотрите на этих чопорных дам в кружевах, когда приезжают гости!

Накануне Посьет с утра отправился к губернатору города Симо- да Накамуре Тамее и спросил, почему же американским коммер- сантам не дозволяется сходить на берег. Они ссылаются на трактат, заключенный Перри. Разве Япония отменяет договор? Господин Рид поражен: ему сказали, что американским женщинам никогда не будет разрешено жить в Японии. Как консул он, по нашим понятиям, посту- пил благородно, прибыв с семьей, как порядочный человек.

Накамура ответил, что он не видел никого из приехавших амери- канцев и не проверял их бумаги, но пошлет им свежей рыбы, редьки и апельсинов, а для детей несколько куриц.

Тут же второй губернатор, известный как представитель проаме- риканской партии, Исава-чин спросил, существуют ли в Америке пи- раты и как их опознать. Бывают ли женщины — капитаны пиратских

судов. Как отличить торговое судно от пиратского? Подделываются ли судовые документы в Америке?

После этой беседы, возвращаясь в ожидании ответа из Хэды к себе в храм Гекусенди, Константин Николаевич подумал, почему же коммерсанты и моряки «Каролайн Фут» так насторожили симодских чиновников. Такие обычные янки показались им похожими на шайку... Вчера, однако, японцы не мешали американцам, когда те съехали на берег в качестве гостей Посьета, что ему и было обещано намеками. Еще Накамура спросил, почему на этой шхуне прибыли такие невиданные нигде женщины — одна красавица, а остальные страшные.

— Как жилось, братцы? — выходя утром умыться, спросил Путятин матросов, остававшихся все это время с Посьетом в Гекусенди, а сейчас рассеявшихся по саду со своими прибывшими товарищами. При виде адмирала все быстро поднялись с травы.

— Всем довольны, Евфимий Васильевич, — отвечал Иванов.

— Американцы приехали, — добавил Синичкин.

— Да, потеха, стриженую девку привезли...

— Какая же она девка? Это, наверно, жена купца.

Матросы дружно рассмеялись. Путятин в душе покорило. Ведь пост, они бы должны рассказать, как молились, постятся ли.

— Знакомые у вас есть среди американцев? — продолжал разговор Путятин.

— Нет, эти незнакомые.

Адмирал пошел в баню. Вокруг Васьки Букреева столпились товарищи.

Васька потешал хэдскими новостями, но у самого еще замирала душа от последних событий в лачуге у японки. Ночью, когда он спал у нее, пришла полиция за ее отцом, чтобы его казнить. Они, видно, давно собирались прикончить Пьющего Воду. Увидели Васькин мундир и кивер с гербом. И ушли с поклонами. Но и он перепугался и признавался под хохот товарищей, что до сих пор дрожь берет.

— А откуда ты знаешь, что они хотели ее отца казнить?

— Шпион рассказал наутро. И объяснил, что до нашего отъезда его не тронут.

— Сердечный у тебя приятель!

— А как же! Шпион — так разве не человек? Шпионы даже очень хорошие бывают... — под общий смех заключил Васюха.

— Яся — ого-го-го! — хлопнул его по плечу Синичкин, называя прозвищем, данным японцами. — Так ты, наверно, уж и не уедешь?

Матросы еще громче расхохотались.

— А как Берзинь?

— Доит корову. Адмирал освободил Янку от работы. Хотя являться на шхуну обязан.

...Вместо нарочного из Хэды с ответом на письмо Посьета о приходе «Каролайн Фут» и с просьбой о присылке трубачей в ночь вторых суток на только что отремонтированном новеньком баркасе явился сам Путятин. С ним Шиллинг, Гошкевич, Можайский и Сибирцев. Все довольнешеньки, что близок наконец час отплытия в Россию.

Погода хорошая, не то что в декабре, когда море чернело и кипело под тучами, когда погибла «Диана» и по лееру все высаживались на черные пески под горой Фудзи. А сегодня все отдохнули, матросы — кровь с молоком, в Хэде посвежели и загорели. Пришли с попутным, грести не приходилось совсем.

Храм у бухты, за ивой и скалами, на изволок горы с тропическим лесом — как дом родной. Посьет, пять матросов и повар чуть с ума не сошли от радости. Симода — городок на славу, тут можно украдкой

пожить в свое удовольствие, тут никто зря не работает, все торгуют, молятся и гуляют, зазывают к себе в дома, каждый промышляет чем умеет. А Хэда — деревня.

— Выйди на улицу — и сейчас встретишь знакомых! — говорил Шкаев.

— Тут у Петрухи Сизова полюбовница живет в заведении. Он велел зайти, — сказал Васька Букреев.

— Никуда не пойдешь, — сказал унтер-офицер. — Строго запрещены отлучки.

— Ту — дипломато? Милитар-р-ро? — спросила Сиомара, приставляя палец к груди Алексея Сибирцева.

Алексей серьезно ответил:

— Си!

Она подняла плечики и расхохоталась:

— Посмотрите, посмотрите, госпожа Вард, он говорит по-испански!

— Си!

— Вы самый молодой?

— Он самый молодой, — вмешался в разговор на палубе Посьет.

— Ваш чин? Я не разбираюсь...

— Лейтенант.

Сиомара понимала, что разговаривает бесцеремонно. Что же делать? Она выросла в бедном городе с индейцами и неграми...

— Такой молодой — и лейтенант! Он мой ровесник! — Ей на севере давали девятнадцать, а он на вид не старше. — Лейтенант! Не может быть! — Приподнявшись на цыпочки, она глянула на его эполет, как в зеркальце. — Так юн! Еще дитя! И лейтенант. Невероятно! Конечно, он дворянской крови! Что вы скажете, Констант?

— Он прекрасно понимает по-английски. Да, он молод. А ваши лейтенанты стары, но бывалые и опытные с женщинами.

— Этого я не знаю. Муж говорит, что в военном флоте без протекции дослужиться до лейтенанта в молодые годы невозможно.

Сибирцев коротко поклонился и торжественно прошел, слегка стуча каблуками, по палубе.

Какие волосы! Локонь! Жаль, что коротки. Какая свежесть лица! Какая мужественная статность! Какая походка! Сиомара помнит, как ее бабушка, маленькая ростом и черная, как сажа, испанка, сказала однажды, когда одного из внуков, похожего на деда, подразнили девочкой: «Эти беленькие дети становятся самыми мужественными воинами. У них сохраняется нежность лица, но появляется бльшая сила!» Если бы сейчас видела бабушка! И какие эполеты!

— А кто этот старый господин гигант?

— Тоже лейтенант, — ответил Посьет.

— Бедняга. Какая несчастная жизнь! До старости в лейтенантах! Как американцы!

— У него большой рост и большое лицо, поэтому он кажется старше своих лет. Но и он молод.

— Неужели?!

Сейчас и Сиомара почувствовала, как она страдает от интересов бизнеса, от которых процветает Америка, но сохнут души. Анну Марию превратили в живой бизнес.

Вард лысоват, с большими усами, ходит вразвалку. Никогда не бывает ласков, мало говорит и никогда не обижает жену. Сейчас с Посьетом и лейтенантами он отправляется на вельботе на берег.

В адмиральском салоне, как называлось главное помещение храма Гекусенди, из которого вынесен алтарь, за большим столом начина-

ются новые переговоры. На этот раз торговые, с целой делегацией янки. Посьет с офицерами съездил на шхуну и привез их всех.

Лица американцев выражают вежливую любезность деловых людей, а сильные руки выложены на скатерть как бы в знак откровенности и самых лучших намерений. Лица русских очень обычны, довольно спокойны и добры.

Капитан Вард и консул Рид как главные лица с американской стороны говорили чередуясь. Вард немногословен. Рид довольно горяч, но сдерживается, стараясь не повредить делу, нужному вдвойне. Все американцы настороже, зная, что еще нельзя сказать ни единого лишнего слова, все должно излагаться точно.

Адмирал сам ведет переговоры. Его достойный вид, солидность речи, плавная последовательность доводов, которые он излагал спокойно, его благородное лицо и дружественная благожелательность и любовь к Америке — все изобличало в нем государственного деятеля высшего ранга, свободного от предрассудков. Это было контрастом с привычным обществом мелких людей. Судьба дарила редкий случай: урок светской жизни и выгоды. Знакомство и завязанные отношения могут пригодиться в будущем. Но сейчас не об этом речь. Сейчас необходимо извлечь из всей этой сложной и запутанной ситуации как можно больше. Для этого решительно и умело обмануть адмирала, тем более что торг шел на японской земле. Под первым видимым словом обещанных русским послом барышей скрывался другой, пока еще тщательно прикрываемый японцами, но таящий сущие золотоносные жилы.

Коммерсанты, прибыв в Японию, сразу все оценили, они обменялись мнением о своем положении в Симодэ и действовали заодно. Тут все заперто, но все, кажется, можно открыть, однако не на основании трактата Перри, который еще ничего не значит. Действуя заодно с адмиралом, въехать на нем в Японию как на троянском коне. Но не подать виду, в чем главная цель. «Мы прибыли только для торговли с американскими шкиперами в этих водах и лишь по возможности начнем сделки с японцами. Только бы Путятин оставил нас на берегу! А там — мы знаем, что делать! Только бы он, столь дружественный японцам, не помешал! Для этого надо взяться перевозить его моряков в Россию, получив, конечно, выгодную оплату. Вообще всех их как можно скорей надо убрать из Японии». Рид докажет, что он пригоден как консул. Не зря секретарю флота стало о нем известно.

Путятин держал себя в шорах, более чем когда-либо понимая, как он должен быть строг к себе, правдив, немногословен и по возможности откровенен с этими людьми. Их интересы ему очевидны, и он их прощаль — не время нам сейчас тягаться с ними на рынке! Не из-за прекрасных же японских глаз они сюда явились!

Путятину предстояло совершить почти невозможное: во время войны с помощью американцев вывезти из Японии и доставить в Россию своих людей.

«Американцев надо убедить: переход не опасен. Они тут новые люди и не знают, каково по нашим морям ходить весной! Во льдах и туманах судно сами поможем довести. Хотя бы пусть первую партию возьмут. Договариваться надо на все три, пообещать тройной барыш. Как знать, может быть, удастся все и нам и им! Дай бог! Не говорить ни слова и про другие опасности. Приходится уверять, что никаких вражеских эскадр и военных действий в наших водах раньше августа нельзя ожидать, да и в этом году вряд ли вообще англичане явятся, у них руки связаны грядущей войной в Китае».

Тут Посьет высказал свое предположение, что союзники не в си-

лах взять Севастополь и, теряя там много людей и судов, предлагают, по последним сведениям из Берлина, мир через посредников.

С горячностью вступил в разговор Пибоди, доводы выкриками вырывались из его хриплой глотки. Мистер Пибоди толст, сутуловат, у него совершенно плоский, как доска, упрямый лоб, маленький горбатый носик, крутой в изгибе, как крючок. Правый глаз его от природы навывкате, левый сохраняет живое выражение, но почти вываливается, свешивается с болезненного красного века. Видно, где-то мистеру Пибоди здорово заехали в физиономию. Красные руки его без движения лежали на столе. Но за спиной Пибоди стоял худощавый мистер Байдельсмэн с серыми волосами и выбритым узким лицом и, наклоняясь в такт речи своего компаньона, безмолвно разводил обеими руками в воздухе, как дирижер перед оркестром, словно рисовал дополнительные, веские подтверждения.

Алексею эти руки, мелькая, мешали, пока не пришло в голову, что Байдельсмэн похож на матроса, явившегося «выпимши», который боится раскрыть рот, но принимает горячее участие в общем объяснении с боцманом.

Вдруг все стали быстро договариваться, обе стороны шли на благородный риск, сознавая, конечно, возможность гибели, но и привлекательность целей.

Шиллинг между прочим заметил, что прочел про новое шведско-прусское благотворительное общество помощи спасению на водах, которое гарантирует баснословные премии за спасение экипажей судов, потерпевших катастрофы на море, и тут же бледноватый Доти подтвердил, что такое же общество есть в Штатах.

Сам Путятин при этом не ждал лично для себя на Камчатке ничего хорошего. Там губернатор Завойко. Теперь — победитель и в чине адмирала. Человек очень упрямый, кажется, малообразованный, хотя неглупый и храбрый.

Вард был в восторге от Путятина. Дело шло на лад.

Все оживились. Зажигались огоньки, задымились сигары. В храме Гекусенди стоял шум и громкие голоса, как в портовом агентстве по фрахту. Начерно составлялся контракт, а это очень трудная, кропотливая работа, так что с составителей сошли поты.

Посьет предложил гостям обедать и закончить дело после.

Вард повез адмирала на шхуну. Он познакомил Путятина со своей женой. Обедали втроем.

Тому, кто видел госпожу Вард в платке, простом платье и фартуке, с топором или у корыта, она казалась тусклой и бесцветной. У нее серые глаза и бледноватая кожа. Но в светло-голубом платье с большим крахмальным воротником из кружев и при ярком солнце Японии лицо ее ожило и посвежело, глаза стали голубыми, а кожа обрела нежность и белизну.

Если Сиомаре нравился Посьет, как родной дядюшка, за его испанский, то госпоже Вард понравился Путятин; он говорил спокойно, обстоятельно и так мягко и благожелательно, как никогда и нигде не услышишь. Может быть, так еще говорят аристократы на старой родине или при дворе королевы Виктории. Путятин, как уже известно, бывал и там.

Путятин спросил госпожу Вард:

— Вы устали от моря?

Ответ был правдивый: ей особенно жаль детей.

— Я предлагаю вам переехать на берег, в храм Гекусенди, это будет ваша резиденция в Симоде. Видите тот далекий сад? Живописная группа деревьев. В самом углу бухты. Мне отведен там храм. Вы бывали там? Прекрасно! Там много комнат, и все вы удобно разместитесь.

Я скажу японскому губернатору и возьму с него слово, что он разрешит съехать вам на берег и жить моими гостями в отведенном мне храме. Сейчас все начинает расцветать. Лучшее время года. Вы останетесь и отдохнете, пока господин Вард будет в плавании. Шхуна в три рейса отвезет моих людей на Камчатку. Ваши прекрасные дети будут наслаждаться здоровым климатом и окрепнут еще более. Я поставлю свою охрану и попрошу губернатора поставить японскую охрану снаружи храма... Как и теперь...

Сам Вард еще ничего не говорил жене о принятых обязательствах и о контракте. Он только выглядел подобреей.

К вечернему чаю с берега прибыл Посыет и офицеры. Явились супруги Доти и рулевой — юный гигант Джон со своей Сиомарой; тут же смущенный первый американский консул в Японии господин Рид с индианкой, на которой платье, казалось, трещало по швам. Рид словно помешанный — все время думает о консульстве.

Прием происходил в маленьком салоне, где в плаваниях была детская, поэтому немного пахло пеленками.

Анна Мария вскинула руки и мягко обронила ладони по направлению к храму и райскому саду, которые прекрасно видны через открытый порт. Там духовой оркестр играл что-то итальянское, страстное и немного печальное... «Мои дети будут жить среди цветов!» — подумала Анна Мария.

Пока судно ходит, коммерсанты поживут на берегу. Тогда японцы окажутся не в силах запретить их деятельность. Секрет экспедиции, как полагал мистер Доти, не в том, чтобы снабдить Японию европейскими товарами. Продажа чандлери для китобоев — лишь предлог, чтобы поставить свою факторию на этом берегу. Главная же цель — фарфор и лакированные изделия! Также шелка и зонтики. Если набить шхуну такими товарами, то в Калифорнии выручишь настоящие деньги! Тогда-то и состоится открытие Японии! Конец — делу венец. И можно будет начинать все сначала. Но Перри мы все возмущены. Мы подадим на Перри жалобу в конгресс и потребуем назначения расследования. Как смел Перри обмануть Америку!

Анна Мария, казалось, сидела, как тихий ангел. Но временами она чувствовала себя на грани бешенства, желая деятельности, внимания к себе, и не только ради успеха. Как она возвысила бы весь этот самодовольный разговор! Что-то мстительное являлось в ее душе оттого, что приходится молчать, так непривычно чувствуешь себя в роли жены бизнесмена — статисткой, уборщицей...

С берега доносилась приятная музыка, словно там, на побережье, скучали и томилась, выражая ласковым пением суровых труб свои чувства. Что-то грустное висело над красивой вечерней бухтой, куда-то зовя и напоминая о чем-то покинутом и на что-то жалуясь, побуждая тесно сидевших за столом почувствовать себя дружной и еще почтительней поднимать свои бокалы за благородного викинга, которому все они теперь обязывались служить.

— Один американец из Гонконга пытался в этом году открыть в Симодэ банковскую контору, — сказал Шиллинг.

— Кто? — встрепенулся Рид.

Многие отставили бокалы и отшатнулись от стола. Общее единение, казалось, было нарушено.

— Сайлес Берроуз. Владелец банкирской конторы. Он жил на «Поухатане» и начал в Симодэ дела.

— Ах, Берроуз! — воскликнул Рид. — Но в газете написано, что он был в Японии на своей шхуне, прибыл прямо от Золотых Ворот с грузом товаров.

— Ничего подобного! Он был с Адамсом и Мак-Клуни на воен-

ном пароходе и ни о какой собственной шхуне не было и помина. Я сам жил на «Поухатане» в соседней с Берроузом каюте и прекрасно знаю его...

...Рано утром в Гекусенди явился Вард, сел, положил шляпу на пол, вскочил, растопырил руки, как бы желая схватить адмирала за плечи, и воскликнул, что ни завтра, ни послезавтра он никак не может идти в Хэду за частью команды.

Контракт вчера составлен. Вард пока не поминал о контракте. Не отвечая шкиперу, Путятин пожелал знать, в чем дело.

Вард совсем потерял самообладание. Пальцы его теребили огромный красный носовой платок, который он достал из клетчатых штанов.

— У жены в воскресенье день рождения. Я не могу с ней расстаться. Она не отпускает меня. Мы никуда не уйдём до понедельника.

Сказав все это, Вард почувствовал облегчение и вытер платком лысину.

Пришли Дотери, Доти и Рид и тоже положили свои шляпы на пол.

— Всю жизнь мы проводили этот день вместе, — сказал Вард.

— В таком случае, — ответил Путятин, — отпразднуем семейный праздник госпожи Вард все вместе. Согласны ли вы, капитан? Мы задержимся. Время еще есть. Мы остаемся. Все равно льды у наших берегов еще не разошлись.

«За чем дело стало! — подумал Путятин. — Теперь это в нашу пользу». Он пригласил Посьета и офицеров и объяснил все.

— Так и отпразднуем этот день вместе, господи! — решительно объявил адмирал и так взглянул в лица своих молодых офицеров, словно отдавал им приказание броситься на бордаж.

— Мы охотно задержимся, ваше превосходительство! — отчеканил Шиллинг.

Вард краснел. Видно было по его лицу, как семейные чувства борются в нем с идеалами бизнеса, ради которого интимный праздник превращается в бал коммерческого собрания. Это, впрочем, не его выдумка. Дамы потребовали, вспомнили они, а Вард всю жизнь путал, когда у жены день рождения и когда именины...

— У нас и повар отличный. Японцы доставят мне все свежее. Ваши дети будут рады.

Приехали Анна Мария и Сиомара посмотреть помещение, в котором придется жить. Они вставали рано и к подъему флага успевали переделать много дел.

Адмирал пригласил всех к утреннему чаю. При открытых окнах, на солнце дружно сидели вокруг начищенного самовара.

— Мы рассмотрели ваши товары, господин Дотери, — сказал Посьет («Хлам, гнилье, голая спекуляция!») — докладывали унтер-офицеры, проверившие тюки. — И я рад буду представить вас, господин Рид, местным властям как первое гражданское должностное лицо.

— Нет... что вы!.. — вспыхнул Рид.

— Это можно отложить, — решительно сказал Доти.

— Все товары перенесем в помещение при храме, которое нами очищено и проветрено. Пожалуйста, просим осмотреть.

— Премного благодарен, капитан Посьет...

...А на следующий день Накамура Тамея, грузно сутулясь и тяжело ступая по ступеням, подымался в храм Гекусенди.

— Путятин-чин! Посол-сан! — отирая бумагой взмокшее лицо, говорил он.

Еще недавно Накамура был секретарем японской правительственной делегации на переговорах с Путятиним. Теперь он губернатор Сиомоды, одного из трех портов, которые предстоит открыть для торговли с Европой и Америкой.

Вчера, когда шла выгрузка, японцам показалось, что Путятин берет на берег купленные у американцев продукты и товары, как это было во время стоянки «Поухатана».

— Я поставил вас в известность... что мы зафрахтовали «Каролайн». Мы с вами старые друзья, Накамура-сама! И я вас никогда не подведу. Очень глубоко уважал вас всегда. И теперь особенно я в большом восторге, что вы назначены губернатором Симода, и согласен во всем помочь вам. Но иного выхода у меня нет. Судите сами. Идет война...

Казалось, Накамура ничего не слушал и верить ничему не желал.

— Я прошу вас, адмирал и генерал, помощник царя, возвратить американцев с женами на их шхуну.

— Чтобы вывезти наших людей, надо шхуну очистить, привести в порядок, отремонтировать. Когда я пошлю на ней часть людей в Россию, то семья капитана, консула и купцов останутся здесь. Американцы не боятся войны, идут с нами, но им нельзя брать с собой женщин. Я все написал вам. Неужели вы хотите, чтобы мои пятьсот людей жили в Японии без конца? Так, по-вашему? Да они тут озвереют от безделья и наделают и мне и вам хлопот, несмотря на все мои строгости. Они тут женятся и разбегутся! Шхуну в Хэде мы достроим и уже теперь закладываем для вас еще одну. Когда я уходи, то второй стапель был готов. На нем устанавливали киль. Князь Мито прислал еще рабочих. Сам князь Мито теперь наш друг! Эгава-сан уже закладывает третью шхуну! Я не мог менять решения. У вас у самих есть закон, что самурай мнения не меняет. Я подписал с американцами контракт и дал им часть денег. Да пойдете со мной,— сказал Путятин, открывая двери во внутренние комнаты. Их анфилада с лакированными косяками дверей блестела, отражая солнце.— Я познакомлю вас с американцами и с их консулом. Это прекрасные люди!

Накамура все знал и все слышал. Вся Симода говорила: на землю Японии ступила американская красавица, стриженная, под вуалью, но когда открывает лицо, то все бывают поражены. Кажется, душа отлетает, когда на нее смотришь. Она теперь поселилась в храме Гекусенди, ходит по двору. И еще три американки. И дети! И собаки большие, как телята, и длинноногие, как рыси!

— Я вам голову даю на отсечение, Накамура-сама, что вас не только никто не накажет, а еще и похвалят потом. Я посылаю письмо Кавадзи-сама. Прошу вас отправить. А вам рано или поздно придется открывать страну, принимать консулов и купцов.

— Но только... Только без женщин! Женщин ни в коем случае.

— Почему же?

— Правительство не разрешает.

— Идемте! Я вас познакомлю!

— Нет, я не могу.

— Ведь и Русь крестили насильно. И мы благодарны за это.

— Крестили? — спросил Накамура. Он подумал, что Путятин совершил ошибку, сказал, как не полагается дипломату.

В окне виден двор, заваленный клетчатыми шерстяными мешками в ремнях, горбатые сундуки, красиво обтянутые обручами из меди и обитые кожей. Тут же простые ящики, мешки, сумки. Еще матросы несут из шлюпки тюки, катят бухты канатов на катушках.

«Это совсем не похоже на Японию! Это не Япония! Больно видеть японскому глазу! Чемоданы и сумки западных дам! Это хуже, чем артиллерия Перри!»

Вдруг зашелестели шелка, послышался необычный аромат, и в комнату вошла высокая молодая женщина в темной длинной юбке,

которая раскачивалась, как колокол, в чем-то белом и красном, в туфлях узеньких и острых, как красные ножи. Очень молодая, сильная и быстрая.

«Это и есть американская красавица!» — с затаенным восторгом подумал Накамура.

— Мать божья! — сказала Анна Мария. Она взглянула на японца и, словно догадавшись о цели его прихода, избоченилась и, слетка выставив ногу, вскинула голову.

Накамура почувствовал, что действительно при виде ее лица душа отлетает. Он смело пожал протянутую руку в браслетах, с перстнями на пальцах.

— Он светский человек, мой адмирал! — сказала американка.

— Мистер Накамура — знатный вельможа... Здесь — губернатор и министр по приему иностранцев...

Накамура вернулся в Управление Западных приемов, которое временно, пока строился целый блок новых зданий для будущей торговли с иностранцами, размещалось в старом храме у горы.

Тайная полиция, как узнал Накамура, уже отписала в свое ведомство и, ссылаясь на письма граждан и на слухи, сообщала, что существует опасение — порт Симода может быть захвачен американскими женщинами при неясной позиции посла Путятина.

Пока губернатор думал, как быть, доложили, что в бухту вошла еще одна парусная шхуна. Сразу явились два американца с собственным переводчиком — японцем в цилиндре и смокинге. Пришли в Управление Западных приемов прямо к губернатору. Переводчик заявил, что корабль «Пилигрим» из Золотых Ворот бросил якорь в бухте Симода. Согласно условиям трактата, торжественно скрепленного подписями императора Японии и президента Соединенных Штатов, прибыли в открытый японский порт. С грузом виски для американских моряков, которые придут сюда на кораблях. Просим отвести место на берегу для постройки склада и питейного зала...

— Сколько женщин на корабле? — спросил через своего переводчика Накамура.

— Женщины на корабле приносят несчастья! Мы не из тех авантюристов, которым негде оставить своих жен и они берут их с собой на гибель... Для шогун и микадо мы привезли по два ящика виски и по бочке вина. А для губернаторов по ящику виски и по дюжине шампанского.

— Откуда судно? — осведомился переводчик Мориама Эйноске.

— От Золотых Ворот!

«Где эти золотые американские ворота?» — с ужасом подумал Накамура.

— За нами идет военная американская эскадра... чтобы пить! — предупредил американский японец в цилиндре.

— Нет распоряжения. Просим уйти с грузом виски из порта немедленно, как можно скорее. По трактату, заключенному с Америкой, ввоз опиума и виски не разрешается.

— Но как же быть? Скоро здесь будут американские моряки!

Накамура больше не стал разговаривать. Он удалился. Переводчик сказал, что моряки должны немедленно уходить.

Американцев отвели на берег, посадили в шлюпку и оттолкнули от берега. Лодки с полицейскими окружили шхуну «Пилигрим».

(Окончание следует)



ДЖОН СТЕЙНБЕК



ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС*

Роман

Глава 14

О кольная дорога вдоль излучины реки Сан-Исидро была очень старая дорога, никто и не знал ее возраста. Это правда, что по ней ездили в дилижансах и верхом. В сухое время года по ней гнали скот к реке, где он мог полежать в жару под ивами и напиться из ям, открытых в ложе реки. Старая дорога была просто полоской земли, только что не вспаханной, а убитой копытами да отмеченной колеями. Летом, когда проезжала телега, тяжелые тучи пыли поднимались над ней, а зимой из-под конских копыт прыскала полужидкая грязь. Постепенно дорога углубилась, стала ниже, чем поля вокруг, и зимой превращалась в длинное озеро со стоячей водой, местами очень глубокой.

Тогда-то люди со стругами и прорыли канавы по бокам, отсыпав грунт в сторону дороги. А потом землю стали возделывать, и скот стал такой ценностью, что владельцы придорожных участков поставили изгороди, чтобы своя скотина не уходила, а чужая не приходила.

Изгороди представляли собой обрезные столбы из секвойи, связанные на середине высоты досками 15×2,5 см. А поверху была пущена старинная колючая проволока — перекрученная полоска металла с заточенными зубцами. Изгороди жгло солнце и мочили дожди, красноватые доски и столбы сделались светло-серыми или серо-зелеными, дерево обросло лишайником, а на теневой стороне столбов лепился мох.

Прохожие люди, воспламененные истиной, писали свои послания на досках. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное»... «Грешник, приди к Богу». — «Поздно»... «Что пользы от этого человеку»... «Приди ко Христу». А другие люди писали другие послания по трафарету. «Медикаменты у Джея»... «Сайрус Нобл — врачебное виски»... «Веломагазин Сан-Исидро». Теперь все надписи выцвели и потускнели.

По мере того как все меньше земли оставалось под выпасом и все больше шло под пшеницу, ячмень и овес, фермеры начали истреблять на полях сорняки — сурепку, дикую горчицу, маки, чертополох, молочай, — и эти беженцы нашли приют в канавах у дороги. Поздней весной горчица стояла в два метра ростом, и краснокрылые желтушники вили гнезда под желтыми цветами. А в мокрых канавах рос водяной кресс.

Придорожные канавы под высокими зарослями бурьяна стали жилищем для ласок и ярких водяных змей, а по вечерам — водопоем для птиц. Весной луговые жаворонки все утро сидели на старых изгородах и сыпали свои тирольские песни. А осенними вечерами на колючей проволоке плечом к плечу километр за километром сидели дикие голуби, и переключка их катилась на километры непрерывной нотой. По вечерам вдоль канав летали козодои, высматривая снедь, и в темноте разыскивали кроликов сипухи. А когда заболела корова, на старой изгороди сидели, дожидаясь ее смерти, большие и уродливые черные грифы.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 3, 4 с. г.

Дорога была почти заброшенной. Пользовались ею всего несколько семей, к чьим фермам не было никакого иного доступа. Когда-то здесь было много мелких владений, человек жил подле своей пашни, сзади дома была его ферма, а спереди, под окнами запы — его грядки. Теперь же здесь расстиралась незаселенная земля, и домишки со старыми амбарами стояли без стекол, некрашенные, серые.

К полудню с юго-запада надвинулись тучи и встали грядой. Есть примета, что чем дольше собираются тучи, тем дольше будет идти дождь. Но он еще не собрался. Еще виднелись клочки голубого неба, и то и дело слепящий луч солнца упирался в землю. А раз башнеподобное облако раскрыло солнечный свет на длинные прямые ленты.

Хуану пришлось вернуться немного назад по шоссе, к повороту на старую дорогу. Прежде чем свернуть, он остановил автобус, вылез и прошел вперед. Он почувствовал под ногами жирную грязь. И ему стало радостно. Он чуть ли не силком тащил это поголовье к нужному месту, хотя ему-то дела нет до их нужд. Теперь он думал о них чуть ли не со злорадством. Они сами выбрали эту дорогу, и, может быть, им повезет. Он испытывал радость отпускника. Хотели — пусть получают. Интересно, что они станут делать, если застрянет автобус. Перед тем как повернуть назад, он ковырнул носком смесь гравия и грязи. Он подумал: а что сейчас делает Алиса? Да уж известно, что Алиса делает. А если он загробит автобус... ха, он может просто уйти от него, просто уйти и не вернуться. До чего же радостным было это чувство отпускника. Когда он влезал в автобус, его лицо сияло от удовольствия.

— Прямо не знаю, проберемся ли,— весело сказал он.

И пассажиров несколько встревожило его воодушевление. Пассажиры собрались вместе, заняв самые передние места. Для каждого из них Хуан был единственной связью с нормальным миром, и, если бы они узнали, что у него на уме, они бы очень испугались. Хуана разбирало веселье. Он закрыл дверь автобуса и дважды газанул, прежде чем включить первую скорость и вывести автобус на топкий проселок.

Из туч вот-вот должно было хлынуть. Он знал это. Он видел, как посекалась одна туча на западе. Там уже начиналось — и сейчас понесется по долине еще один весенний ливень. Свет опять стал металлическим, застиранным и блеклым, как в подзорной трубе, и это могло означать лишь проливной дождь.

Ван Брант радостно сказал:

— Дождь собирается.

— Похоже,— согласился Хуан и повернул автобус на проселок.

Рисунок на протекторах был глубокий, но, съехав с асфальта, Хуан почувствовал, как стала проскальзывать в жирной грязи резина и зад автобуса потащило в сторону. Все же под грязью было дно, и автобус полез по проселку. Хуан перевел на вторую скорость. Так на ней и придется ехать — чего доброго, всю дорогу.

Мистер Причард громко, чтобы перекрыть шум мотора, спросил:

— Этот объезд большой?

— Не знаю,— ответил Хуан.— Никогда здесь не ездил. Говорят, километров двадцать — двадцать пять, что-то около этого.— Он сгорбился над баранкой, и взгляд его перебежал с дороги на Деву Гвадалупскую под ветровым стеклом.

Хуан не был истово верующим человеком. Он верил в силу Девы, как ребенок верит в силу своего дяди. Она была и куклой, и богиней, и амулетом, и родственницей. Мать его, ирландка, вышла замуж в семью Девы и приняла ее так же, как мать и бабу мужа. Дева Гвадалупская стала ее семьей и ее богиней.

С этой Девой в широких юбках, стоящей на лунном серпе, прошло все детство Хуана. Она была при нем неотлучно: над его кроватью — наблюдала его сны, в кухне — присматривала за стряпней, в передней — впускала его в дом и выпускала, и на двери *zaguan*¹ — слушала, как он играет на улице. Была в церкви — внутри своей собственной красивой часоуенки, в классе; и, словно этого вездесущия было мало, он еще носил ее на груди — золотую медальку на золотой цепочке. Он мог спрятаться от матери, от отца и братьев, но смуглая Дева была с ним всегда. Других родственников

¹ СенеЙ (исп.).

можно было провести, обмануть, перехитрить, одурачить, а она знала все. Он признавался ей в разных поступках — но только для порядка, потому что она и так о них знала. Это скорее был рассказ о побуждениях, толкнувших тебя на какой-то поступок, чем доклад о том, какой поступок ты совершил. Хотя и это было глупо, потому что побуждения она тоже знала. И тут у нее бывало особенное выражение лица, полуулыбка, словно она вот-вот рассмеется. Она не только понимала, она и чуть-чуть забавлялась. И если эта полуулыбка вообще что-то означала, значит, ужасные детские преступления, как видно, не заслуживали ада.

Так что в детстве Хуан любил ее искренне, надеялся на нее, а отец говорил, что она особо выделена оберегать мексиканцев. Когда он видел на улице немецких или американских детей, он знал, что его Деве на них наплевать, потому что они не мексиканцы.

Если добавить к этому, что Хуан не верил в нее умом и верил каждым чувством, то вы уясните его отношение к Деве Марии Гвадалупской.

Автобус лез по грязной дороге очень медленно, оставляя за собой глубокие колеи. Хуан скосил глаза на Деву и сказал про себя: «Ты знаешь, что я не был счастливым и что из чувства долга, которое мне поперек натуры, я оставался в силках, раскинутых для меня. А сейчас я доверяю решать тебе. Сам я не могу взять на себя решение сбежать от жены и от маленького моего хозяйства. Когда я был моложе, я бы и сам смог, но теперь я размяк и слаб в решениях. Я передаю это в твои руки. Я на этом проселке не по своей воле. Меня затащила сюда воля этих людей, которым нет дела ни до меня, ни до моей целостности и счастья — а только до своих надобностей. Я думаю, они меня даже не видят. Я — машина, чтобы везти их, куда им надо. Я предлагал им вернуться. Ты слышала. Так что я передаю это тебе и я пойму твою волю. Если автобус застрянет так, что обычными стараниями я его вытащу и смогу ехать — я его вытащу. Если обычные предосторожности позволят удержать автобус на ходу — я от них не откажусь. Но если ты в своей мудрости захочешь дать мне знак и утопишь автобус в грязи по оси или стянешь его с дороги в кювет, где я ничего не смогу сделать, тогда я пойму, что ты одобряешь мое намерение. Тогда я уйду. Тогда эти люди пусть сами о себе заботятся. Я уйду и исчезну. Я никогда не вернусь к Алисе. Я скину с себя старую жизнь, как костюм или исподнее. Решай ты».

Он кивнул и улыбнулся Деве, и у нее на лице была слабая улыбка. Она знала, чем все кончится, но выяснить это пока не было возможности. Без разрешения сбежать он не мог. Надо было, чтобы одобрила Дева. Последнее слово за ней. Если она очень против того, чтобы Хуан ушел от Алисы, она выровняет дорогу и проведет автобус, и он поймет, что отпущенное ему отпущено пожизненно.

Он сильно дышал от возбуждения, и глаза его блестели. Милдред видела его лицо в зеркале. Она не могла понять, отчего он так сияет, чему радуется. Вот мужчина, подумала она, мужчина насквозь мужественный. Такой мужчина нужен был бы настоящей женщине, потому что он не допустит в себе ничего женственного. Ему довольно его собственного пола. Он никогда не попытается понять женщину — а это такое счастье. Он будет просто брать у нее то, что ему надо. Отвращение к себе у нее прошло, и на душе стало полегче.

Ее мать сочиняла в уме очередное письмо: «И вот мы очутились на грязной дороге, за много километров от населенных мест. И даже шофер не знал дороги. Тут что угодно могло случиться. Что угодно. Вокруг никаких признаков человеческого жилья, и начинался дождь».

Дождь начинался. Не порывами и потоками, как утром, а сильный, настойчивый, барабанный, деловитый дождь, который изливает столько-то литров в час на данную площадь. Ветер стих совсем. Это был отвесный ливень, дождь как таковой. Автобус с шипением и плеском давил ровную дорогу, и Хуан, чуть поворачивая руль, чувствовал, как заносит машину.

— Цепи у вас есть? — окликнул его Ван Брант.

— Нет, — весело ответил Хуан. — Не могу достать цепи с довоенных времен.

— Не думаю, что вы проедете, — сказал Ван Брант. — На ровной местности еще ничего, но довольно скоро вам придется ехать в гору. — Он показал на восток, на горы,

к которым полз автобус.— Река ударяется прямо в обрыв! — крикнул он пассажирам.— Дорога идет над обрывом. Не думаю, что мы въедем.

У Прыща это утро прошло во внутренней борьбе и напряжении. И без того в его жизни было мало спокойных минут, но нынче выдался день особенно бурный. Тело у него горело от возбуждения. В Прыще бушевали похотливые юношеские соки. И сон его и явь были заполнены одним предметом. Но столь разнообразно было действие этого единого раздражителя, что сейчас он готов был лезть ко всем, как щенок, а через минуту барахтался в густой и чувствительной романтике, а еще через минуту покаянно бичевал себя. Тогда он чувствовал что он одинок и что он, одинокий,— величайший грешник на свете. С раболепным обожанием смотрел он на владеющего собой Хуана и других знакомых мужчин.

С той минуты, когда он увидел Камиллу, он потянулся к ней душой и телом, и тяга эта порождала то сладострастные картины обладания, то грезы о женитьбе и совместной жизни. То он сближался с ней настолько, что готов был подойти и попросить напрямик, то от одного ее мельком брошенного взгляда его пробирала дрожь смущения.

Снова он попытался сесть там, откуда мог незаметно наблюдать за ней, и снова потерпел неудачу. Он видел только ее затылок, зато Норму — в профиль. Так что лишь сейчас, с опозданием, Прыщ заметил перемену в Норме — и, заметив, глубоко вздохнул. Она стала другая. Он понимал, что это всего-навсего косметика; он видел со своего места и подрисованную бровь и губную помаду, но не от этого быстро и горячо побежала по жилам кровь. Норма стала другой. У нее появилась осознанная женственность, которой не было раньше, и неукротимые соки опять зашептали ему. Если — о чем он знал в глубине души — Камиллы ему не видать, то можно добиться Нормы. Ее он не так боялся, как богино Камиллу. Бессознательно он начал строить планы, как подстеречь Норму и одолеть ее. Новый нарывчик образовывался у него прямо перед левым ухом. Не удержавшись, он ковырнул его, и зацветшая плоть возмущенно побагровела. Прыщ украдкой взглянул на предприимчивый палец, спрятал его в карман и там обтер. Он раскровенил щеку. Он вынул носовой платок и приложил к лицу.

Мистер Причард беспокоился, смогут ли они проехать и успеет ли он к самолету. И еще его грызла мысль, мешавшая расслабиться и отдохнуть. Он попробовал отделиться от нее смехом. Он применил все привычные методы истребления неприятных мыслей, но они не помогли.

Эрнест Хортон заявил, что план мистера Причарда — шантаж, и Эрнест даже высказал опасение, что Элиот Причард украдет его идею накладных лацканов для темного костюма, если не принять мер. Сперва это возмутило мистера Причарда — с его репутацией и положением! — а потом он подумал: «Да, у меня есть репутация и положение в моем кругу, но здесь у меня нет ничего. Я одинок. Этот человек думает, что я вор. Я не могу отослать его к Чарли Джонсону, чтобы ему объяснили, насколько он заблуждается». Это очень сильно волновало мистера Причарда. Эрнест пошел еще дальше. Он высказал мысль, что мистер Причард — из тех людей, которые ходят на квартиры к блондинкам. Он никогда в жизни этого не делал. Необходимо доказать Эрнесту Хортону, что он судит превратно. Но как это сделать?

Рука мистера Причарда лежала на спинке сиденья, а Эрнест сидел позади него один. Мотор автобуса, ехавшего на второй скорости, работал громко, и старый кузов дребезжал. Существовал только один способ: предложить что-то Эрнесту Хортону, что-то честное и открытое, тогда он поймет, что мистер Причард не вор.

Была одна смутная мысль. Он обернулся.

— Меня заинтересовал ваш рассказ о том, как у вас в компании относятся к свежим идеям.

Эрнеста это позабавило. Мужичку чего-то надо. Он заподозрил, что приятелю захотелось попасть на вечеринку. Такой же был начальник у Эрнеста. Обожал ночные совещания, и всегда они кончались в публичном доме, и всегда он удивлялся, как туда попал.

— У нас чудесно относятся,— сказал Эрнест.

— В этой моей идее нет ничего особенного,— сказал мистер Причард.— Просто

как-то пришло в голову. Можете ею воспользоваться, если хотите и если вам от нее будет польза.

Эрнест молча ждал.

— Возьмем запонки,— сказал мистер Причард.— Я, скажем, всегда ношу отложенные манжеты и запонки, а когда вы вставили запонки — чтобы снять рубашку, их надо вынуть. И если вы хотите поддержать рукава, когда моете руки, тоже надо вынуть запонки. Их легко вставить, пока не надел рубашку, но тогда не просунешь руки. А когда ты в рубашке, запонки вставить трудно. Понимаете мою мысль?

— Есть такие, которые сцепляются,— сказал Эрнест.

— Да, но на них нет спроса. Половинки всегда куда-то заваливаются и теряются. Автобус затормозил. Хуан включил первую скорость и двинулся осторожно. Автобус тряхнуло, когда он проехал яму, тряхнуло еще раз, когда проехали задние колеса, и он медленно пополз дальше. Дождь громко барабанил по крыше. Дворник повизгивал на ветровом стекле.

Мистер Причард еще больше откинулся на сиденье и сдвинул рукав так, что показалась золотая запонка.

— Теперь предположим,— сказал он,— что вместо цепочки или перекладки здесь пружина. Когда стаскиваешь манжету через руку, пружина растягивается: можно поддержать манжеты, чтобы вымыть руки, а потом все встанет на место.— Он внимательно следил за лицом Эрнеста.

Эрнест, прищурившись, думал.

— Но как это будет выглядеть? Пружина-то нужна стальная, иначе это на раз. Мистер Причард с готовностью ответил:

— Я это продумал. В дешевых можно золотить пружину или серебрить. А в дорогих — скажем, чисто золотых или платиновых, в качественных,— тут вместо перекладки трубка, и, когда манжета на запястье, пружина целиком прячется в трубку.

Эрнест задумчиво кивнул.

— Да,— сказал он,— да. Очень неплохая мысль.

— Она ваша,— сказал мистер Причард.— Ваша. Пользуйтесь ею как вам угодно. Эрнест сказал:

— Наша компания выпускает другие товары, но, может быть... может быть, я смогу их уговорить. Самый ходкий товар на свете — из мужских, конечно,— это бритвы и бритвенные принадлежности, ручки, карандаши и ювелирные изделия. Человек, который за год пяти строк не напишет, запросто покупает шжарную авторучку за пятнадцать долларов. А ювелирные? Это может выгореть. Какие ваши условия, если им подойдет эта идея?

— Никаких,— ответил мистер Причард.— Никаких условий, я вам дарю ее. Хочу помочь молодому, подающему надежды человеку.— Настроение у него опять исправилось. Но что, если выгорит это дело, которое он придумал? Что, если оно принесет миллион? Что, если... Нет, он сказал и он своему слову хозяин. Его слово — закон. А уж захочет ли Эрнест выразить свою благодарность — это ему решать.— Мне совершенно ничего не надо,— повторил он.

— Ну, это очень мило с вашей стороны.— Эрнест достал из кармана блокнот, что-то написал и вырвал листок.— Конечно, для начала надо будет оформить права,— сказал он.— Если у вас найдется в Голливуде свободное время, может быть, позвоните мне и поговорим по-деловому? У нас с вами может получиться дело.— При этих словах его левое веко чуть опустилось, а потом он скосил глаза на миссис Причард. Он передал листок мистеру Причарду и сказал: — Хемпstead, три тысячи двести пятьдесят пять, «Герб Алоха», квартира двенадцать «б».

Мистер Причард слегка покраснел, достал бумажник и сунул в него записку, спрятав записку поглубже, на самое дно. Вообще-то она была ни к чему. Он мог выбросить ее при первом удобном случае, потому что память имел отличную. Годы пройдут, прежде чем он забудет этот номер телефона. Машинка в голове щелкнула, испытанная его машинка. Три да два — пять, и еще раз. И Хемпstead. Хемп — конопля. Конопля — лен; лен — белый. У него были сотни таких приемов запоминания. Волосы, как лен, блондинка. Руки чесались выкинуть бумажку. Бернис иногда лазила к нему в бумажник

за мелочью. Он сам ей разрешал. А сейчас он нутром чувствовал опасность... Однако унижительное чувство — когда тебя обозвали вором.

Он сказал жене:

— Как ты себя чувствуешь, девочка?

— Хорошо,— сказала она.— Кажется, я переборола. Просто сказала себе: «Я не позволю ей начаться. Не позволю ей портить отпуск моим милым».

— Вот и хорошо,— сказал мистер Причард.

— А скажи, милый,— продолжала она,— как к вам, мужчинам, приходят такие идеи?

— Да просто приходят, и все,— ответил он.— А эта — из-за новой рубашки с маленькими петлями. Я на днях в ней застрял, чуть не пришлось звать на помощь.

Она улыбнулась.

— По-моему, ты ужасно милый,— сказала она.

Он положил руку ей на колено и сжал ей ногу. Она игриво хлопнула его по руке, и он отпустил.

Норма повернула голову так, что ее губы были против уха Камиллы. Зная, что Причд подслушивает, она старалась говорить как можно тише. Она ощущала его взгляд, и в каком-то смысле он ее радовал. Никогда в жизни она не чувствовала себя так уверенно, как сейчас.

— Вообще-то у меня нет семьи, ну, того, что можно назвать семьей,— сказала Норма.

Она все вываливала Камилле. Она рассказывала и объясняла ей всю свою жизнь. Ей хотелось, чтобы Камилла знала о ней все: и какой она была до нынешнего утра, и какая она теперь,— чтобы Камилла стала ее семьей, чтобы привязалась к ней эта прекрасная и уверенная женщина.

— Когда ты одна на свете, ты такие штуки выкидываешь,— сказала она.— Я людам врала. Перед собой притворялась. Делала вид, как будто это на самом деле... ну, что я придумала. Знаете, что я делала? Я воображала, как будто один знаменитый артист... ну — мой муж.

Это вырвалось. Норма не собиралась заходить так далеко. Она покраснела. Этого не надо было говорить. Этим она как будто предавала мистера Гейбла. Но, призадумавшись, она нашла, что дело обстоит не совсем так. Мистер Гейбл не вызывал такого чувства, как раньше. Чувство перешло на Камиллу. Это поразило Норму. Она усомнилась в своем постоянстве.

— Оттого, что у тебя нет семьи и нет друзей,— объяснила она.— Наверно, ты их просто придумываешь, если у тебя их нет. Но теперь-то — ну, если мы снимем квартиру — мне ничего не придется придумывать.

Камилла отвернулась, чтобы не видеть этой наготы в глазах Нормы, их совершенной беззащитности. «Милые мои! — подумала Камилла.— Куда же я угодила? Не хватало мне ребеночка. Впугалась за здорово живешь. Как это вышло-то? Теперь я должна буду над ней колдовать и жить ее жизнью, и скоро мне это осточертеет, но уже увязну так, что не выкарабкаюсь. Если Лорейн вытурила своего рекламщика и мы можем съехаться, куда я ее дену? С чего все началось? Какого черта я полезла?»

Она повернулась к Норме.

— Детка,— начала она решительно.— Я не говорила, что мы снимем. Я сказала: посмотрим, как пойдут дела. Ты обо мне много чего не знаешь. Во-первых, я помолвлена, и мой жених, он считает, что мы скоро сможем пожениться. Так что, понимаешь, если он захочет сейчас, как мы с тобой поселимся?

Камилла увидела в глазах у Нормы отчаяние, похожее на ужас: у девушки западали щеки и рот, бессильно повисли руки и плечи. Камилла сказала себе: «Можно снять комнату в ближайшем городе и спрятаться, потеряться. Можно сбежать от нее. Можно... господи, как же я в это впуталась? До чего я устала. Мне бы сейчас в горячую ванну». Вслух она сказала:

— Не огорчайся, детка. Может, он еще и не надумал. Может... да послушай, детка, может, все устроится. Может быть. Правда. Посмотрим, как пойдут дела.

Норма крепко сжала губы и отвела глаза. Голова ее вздрагивала от толчков ав-

тобуса. Камилле не хотелось на нее смотреть. Потом Норма овладела собой. Она спокойно сказала:

— Вы, наверно, меня стыдитесь, я вас не виню. Я могу быть только официанткой, но если вы меня научите, я тоже попробую стать сестрой. Буду учиться по ночам, а днем работать официанткой. Но я выучусь, и тогда вам не надо будет меня стыдиться. Ведь это будет не так трудно, если вы поможете.

Муторная волна прокатилась по желудку Камиллы. «Господи боже милостивый! Вот это попалась. Что я ей скажу? Врать дальше? Или все же растолковать ей, каким способом я зарабатываю? Еще хуже будет? А может, это так ее оскорбит, что она и не захочет меня в подруги. Может, это самое лучшее. Нет, пожалуй, лучше всего потеть ее в толпе».

— Мне бы тоже хотелось иметь специальность, как говорится, достойную, вроде вашей.

Камилла с отчаянием сказала:

— Слушай, детка, я жутко устала. Так устала, что думать не могу. Я уже еду несколько суток. Сил нет думать ни о чем. Давай пока оставим. Посмотрим, как там пойдут дела.

— Извините,— сказала Норма.— Я разволновалась и совсем забыла. Больше не буду говорить. Посмотрим, как пойдут дела. Да?

— Да, посмотрим.

Автобус резко затормозил. Они уже подъезжали к холмам, но зеленые их волны едва виднелись в дожде. Хуан, привстав, оглядел дорогу. В полотне была яма, яма, полная воды, неизвестно какая глубокая. Может быть, автобус уйдет в нее с крышей. Хуан взглянул на Деву. «Рискнуть мне?» — спросил он неслышно. Передние колеса замерли на краю лужи. Он усмехнулся, дал задний ход и отвел автобус метров на семь.

Ван Брант сказал:

— Хотите попробовать с разгона? Застрянете.

Губы Хуана зашевелились беззвучно. «Дружочек ты мой, если бы ты только знал,— прошептал он.— Если бы все вы знали». Он включил первую скорость и поехал к яме. Вода расступилась и разлетелась с плеском. Задние колеса въехали в лужу. Автобус заскользил, забуксовал. Задние колеса вертелись, мотор ревел, и, подкачивая кузов, вертящиеся колеса медленно продвигали автобус вперед и вывели на другую сторону. Хуан перевел на вторую скорость и пополз дальше.

— Наверно, там гравий был,— сказал он через плечо Ван Бранту.

— Ничего, посмотрим, как вы в гору поедете,— зловеще ответил Ван Брант.

— А знаете, дядя человека, который хочет доехать, вы что-то очень ищете по-мехи,— сказал Хуан.

Дорога пошла в гору, и здесь вода на ней не застаивалась. По кюветам она бежала вровень с верхом. Ведущие колеса пробуксовывали, растирали грязь в колесах. Хуан вдруг понял, что он сделает, если автобус съедет. Раньше он не понимал. Он думал добраться до Лос-Анджелеса и устроиться там шофером на грузовик, но он сделает по-другому. В кармане у него было пятьдесят долларов. Он всегда держал их при себе на случай поломки, и этого ему хватит. Он уйдет, но недалеко. Где-нибудь спрячется и переждет дождь. Может быть, даже поспит. А поесть — он захватит один пирог. Потом, когда отдохнет, он выйдет на шоссе и проголодает, просто подождет на заправочной станции, пока его не подберут. На попутных доберется до Сан-Диего, а там через границу — в Тихуану. Там будет хорошо, и, может быть, дня два-три он просто поваляется на пляже. С границей — просто. На этой стороне он скажет, что он американец. На той — будет мексиканцем. Потом, когда отдохнет, он уедет из города, может быть, на попутной, а может быть, просто уйдет пешком через горы и вдоль по речкам — может быть, до самого Санто-Томаса, а там подождет почтовую машину. В Санто-Томасе накупит вина, заплатит почтарю — и по полуострову на юг, через Сан-Кинтин, мимо бухты Бальенас. Пожалуй, недели две уйдет на то, чтобы добраться по камням и через кактусовую пустыню до Ла Паса. Надо, чтобы остались еще кое-какие деньги. В Ла Пасе съедет на пароход до Гуаймаса или Масатлана на той стороне залива, а может, и до Акапулько, и в любом из них он найдет туристов. В Акапулько больше, чем в Гуаймаса и Масатлане. А где туристы

барахтаются без испанского посреди незнакомой страны, там Хуан не пропадет. Подрабатывая помаленьку, он доберется до Мехико, а там туристов пруд пруди. И экскурсии можно водить, по-всякому зарабатывать. А много ему не надо.

Он усмехнулся про себя. Чего ради он так долго за это держался? Он — вольная птица. Может делать что захочет. Пускай его поищут. Пожалуй, еще прочтет про себя заметку в лос-анджелесских газетах. Решат, что он погиб, и будут искать тело. Алиса поначалу поднимет содом. И будет чувствовать себя важным человеком. В Мексике многие умеют готовить бобы. Может, сойдется в Мехико с какой-нибудь американкой из тех, что скрываются там от налогов. В приличном костюме вид у него вполне представительный, Хуан это знал. Какого шута он давным-давно не вернул?

Он уже чуял запах Мексики. Он не мог понять, почему не сделал этого раньше. А пассажиры? Пускай сами о себе побеспокоятся. Не так уж далеко они заехали. До того привыкают взваливать свои трудности на других, что разучились о себе заботиться. Им это будет полезно. Хуан о себе позаботиться может — и займется этим. Что за дурацкую жизнь он вел, о чем хлопотал — как перевезти пирога из города в город? Ну, с этим покончено.

Он заговорщицки взглянул на Гвадалупану. «Нет, я сдержу слово, — сказал он неслышно. — Довезу их, если ты хочешь. Но очень может быть, что я все равно уйду».

Память обрушила на него картины обожженных солнцем холмов Южной Калифорнии, и зной Соноры, и утренний холодок Мексиканского плоскогорья с запахом сосновых шишек в домах, с запахом маисовых лепешек. И сладко навалилась тоска по родине. Со вкусом свежих апельсинов, с огнем красного перца. Да что он делает в этой стране? Она ему чужая.

Завеса лет отлетела, и, наложившуюся на грязный поселок, он увидел, услышал, почуял Мексику, гомон рынка, скрипучий крик попугая в саду, ругань свиней на улице, цветы, и рыбу, и скромных смуглых девочек в синих шалях. Как странно, что он на столько лет об этом забыл. Он томился по югу. Он не мог понять, что за дикий западня его тут поймала. Вдруг его охватило нетерпение — уйти сейчас же. Почему не нажать на тормоз, не открыть дверь, не уйти в дождь? Он видел, как высовываются вслед ему их глупые лица, и слышал их возмущенные голоса.

Он снова взглянул на Деву. «Я сдержу слово, — шепнул он. — Я проеду, если смогу». Он почувствовал, как колеса проскальзывают в грязи, и ухмыльнулся Деве Гвадалупской.

Теперь река прибилась к самым холмам вместе с каймой берегового ивняка. А дорога вильнула в сторону, прочь от реки. Дождь редел, и они видели с дороги светло-желтые водовороты в широком потоке и раздерганные, завивающиеся пряди грязной пены. Впереди дорога лезла на косогор, а наверху был желтый обрыв, почти утес, и дорога шла под ним. На самом верху обрыва громадными блеклыми буквами было выведено одно слово: «П О К А Й Т Е С Ъ». Наверно, с большим трудом и риском для жизни писал его там какой-то блаженной человек черной краской, а теперь она почти стерлась.

В стене песчаника были пещеры, открытые дождем и ветром и прокопанные зверями. Пещеры зияли в желтом обрыве как черные глазницы.

Изгороди здесь были еще крепкие, и в суходольных травах стояли рыжие коровы, потемневшие от дождя, — некоторые уже с весенними телятами. Рыжие коровы медленно поворачивали головы и смотрели на трудившийся автобус, а одна дурная коровища со страху ударилась бежать, лягаясь и брыкаясь, словно хотела отпугнуть автобус.

Грунт на дороге стал другим. На гравии ход был устойчивее. Кузов кидало и встряхивало на ухабах, но колеса не проскальзывали. Хуан подозрительно посмотрел на Деву. Дурачит она его? Провезет и заставит самого принимать решение? Это будет некрасивая шутка. Без знака с небес Хуан не знал, что ему делать. Дорога дала большой крюк вокруг старой фермы, а потом полезла к обрыву всерьез.

Хуан снова ехал на первой скорости, и хвостик пара из сливной трубки зависал над радиатором. Конец подъема был прямо перед обрывом с темными пеще-

рами. Хуан с сердцем нажал на газ. Колеса кидали гравий. В одном месте кювет был завален, и вода со смытой почвой разлилась по дороге. Хуан гнал машину к этой темной полосе. Передние колеса переехали ее, а задние забуксовали в жирной грязи. Автобус занесло, а колеса все буксовали, и зад машины тяжело опустился в кювет.

На лице Хуана была свирепая усмешка. Он газовал, и колеса зарывались все глубже и глубже. Он дал задний ход и прибавил газу, колеса вертелись, рыли себе ямы, уходили в ямы, и автобус сел на дифференциал. Хуан сбросил газ. В зеркальце он увидел, что Прыщ смотрит на него с изумлением.

Хуан забыл, что Прыщ-то поймет. Рот у Прыща был открыт. Непохоже на Хуана. На топком месте так не газуют. Хуан увидел вопрос в глазах Прыща. Почему он так сделал? Не такой же он бестолковый. Он встретил в зеркальце взгляд Прыща и не придумал ничего лучше как подмигнуть ему украдкой. Однако на лице Прыща выразилось облегчение. Если так задумано, значит, все в порядке. Если за этим что-то кроется, Прыщ его не бросит. И тут у Прыща возникла ужасная мысль. Что, если это из-за Камиллы? Если она нужна Хуану, Прыщу ее не видать. Он Хуану не соперник.

Автобус сильно наклонился. Задние колеса утонули в канаве, а передние стояли высоко на полотне. «Любимая» походила на изувеченного жука. Но вот лицо Ван Бранта заслонило отражение Прыща в зеркале. Ван Брант был красный и злой, и его костлявый палец рассекал воздух у Хуана под носом.

— Допрыгались! — закричал он. — Посадили нас. Я знал, что этим кончится. Ей-богу, так и знал! Как я теперь попаду в суд? Как вы нас отсюда вытащите?

Хуан отбил его палец ладонью.

— Не тычьте мне в лицо, — сказал он. — Вы мне надоели. Ну-ка сядьте на место.

Сердитый взгляд Ван Бранта дрогнул. Он вдруг понял, что на этого человека нет управы. Ни комиссии железнодорожной он не боится, никого. Ван Брант попятился и сел на наклоненное сиденье.

Хуан выключил зажигание, мотор смолк. Дождь стучал по крыше автобуса. Хуан похлопал ладонями по баранке, потом, сидя, повернулся к пассажирам.

— Так, — сказал он. — Приехали.

Они смотрели на него растерянно. Мистер Причард мягко спросил:

— Вы не можете нас вытащить?

— Я еще не смотрел, — ответил Хуан.

— Но, кажется, мы сели довольно основательно. Что вы намерены делать?

— Не знаю, — сказал Хуан. Ему хотелось увидеть лицо Эрнеста Хортонна — понял ли он, что это сделано нарочно, — но Эрнеста не было видно за Нормой. Камилла вообще никак не откликнулась на происшествие. Она слишком долго ехала, чтобы теперь торопиться.

— Сидите спокойно, — сказал Хуан.

Он сел попрямее в наклонившемся кресле и толкнул рычаг двери. Замок щелкнул, но дверь не открылась. Ее заклинило. Хуан встал и открыл дверь ударом ноги. Стал слышен шелест дождя на дороге и в траве. Хуан вылез под дождь и подошел к задку автобуса. Косой дождь охлаждал ему голову.

Машину он посадил на совесть. Теперь без аварийной, а то и трактора ее не вытащить. Он наклонился и заглянул под днище — убедиться в том, что и так знал. Полуоси с дифференциалом лежали на земле. Пассажиры смотрели в окна, их лица искажало мокрое стекло. Хуан выпрямился и опять влез в автобус.

— Так, граждане, наверно, вам придется подождать. Виноват — но не забудьте, что все вы сами хотели ехать по этой дороге.

— Я не хотел, — сказал Ван Брант.

Хуан резко повернулся к нему:

— Не вмешивайтесь, черт побери. Не злите меня, я и так сейчас разозлюсь.

Ван Брант смекнул, что это не пустые слова. Он поглядел себе на руки, ущипнул дряблую кожу на костяшке и потер левую руку правой.

Хуан сидел боком в кресле водителя. Взгляд его перебежал на Деву. «Ладно, ладно»

но,—мысленно сказал он ей,—малость смухлевал. Не очень, но малость есть. Думаю, теперь ты вправе сделать так, чтобы мне стало довольно неудобно». Вслух он сказал:

— Придется мне сходить и вызвать по телефону аварийную машину. Попрошу, чтобы за вами, друзья, прислали такси. Это будет не очень долго.

Ван Брант возразил сдержанно:

— Тут на шесть километров вокруг нет жилья. Дом старика Хокинса километрах в полутора, но он стоит пустой с тех пор, как его забрал банк. Надо идти по шоссе, а это шесть километров с лишним.

— Ну раз надо идти, значит, надо,—сказал Хуан.—Хуже, чем насквозь, не промокнешь.

В Прыще вспыхнуло чувство товарищества.

— Я пойду,—вызвался он.—Пошлите меня, а сами оставайтесь.

— Нет,—сказал Хуан,—у тебя сегодня выходной.—Он засмеялся.—Попользуйся им, Кит.—Он протянул руку к ящику в приборной доске и открыл дверцу.—Тут аварийное виски,—сказал он.

Он замешкался. Взять ему револьвер — хороший «смит-и-вессон» калибра 11,43, с пятнадцатисантиметровым стволом? Стыдно бросить такую вещь. Но и таскать его не с руки: если какая-нибудь неприятность — револьвер будет не в его пользу. Хуан решил оставить его. Если он собирается оставить жену, то револьвер давно можно оставить. Он небрежно сказал:

— Если на вас нападут тигры, тут у меня револьвер.

— Я хочу есть,—пожаловалась Камилла.

Хуан улыбнулся ей.

— Возьмите эти ключи и откройте багажник. Там полно пирогов.—Он улыбнулся Прыщу.—Смотри, все не ешь. Значит, вы можете оставаться в автобусе, а если хотите, можете вынуть из багажника брезент и постелить себе в какой-нибудь пещере. Можете даже развести там костер, если найдете сухое топливо. Я постараюсь, чтобы машину за вами прислали поскорее.

— Можно, я пойду вместо вас? —спросил Прыщ.

— Нет, ты посиди здесь и присмотри за всем,—сказал Хуан и увидел, как Прыщ вспыхнул от удовольствия. Хуан доверху застегнул куртку.—Сидите спокойно,—сказал он и спустился на землю.

Прыщ выбрался за ним следом. Он прошел за Хуаном несколько шагов, Хуан повернулся и подождал его.

— Мистер Чикой,—тихо сказал он,—что вы задумали?

— Задумал?..

— Ага. Ну, понимаете... вы газовали.

Хуан положил руку ему на плечо.

— Слушай, Кит, когда-нибудь я тебе скажу. Ты пока побудь за меня, ладно?

— Ну конечно, мистер Чикой, только... я просто хотел узнать.

— Я тебе все объясню, когда мы будем одни,—сказал Хуан.—Ты последи пока, чтобы эти люди не поубивали друг друга, ладно?

— Ну конечно,—смущенно ответил Прыщ.—Через сколько вы думаете вернуться?

— Не знаю,—нетерпеливо ответил Хуан.—Почем я знаю? Делай, что я говорю.

— Конечно. Ну конечно,—сказал Прыщ.

— И ешь пирогов сколько хочешь,—сказал Хуан.

— Но нам же платить за них, мистер Чикой!

— Конечно,—сказал Хуан и зашагал под дождем по дороге.

Он знал, что Прыщ смотрит ему вслед, и знал, что Прыщ что-то почувствовал. Прыщ догадался, что он убегает. А Хуана это не так уж радовало. Не так, как он ожидал. Не так ему было хорошо, не так приятно, не так привольно. Он остановился и посмотрел назад. Прыщ как раз влезал в автобус.

Дорога шла мимо выветренного каменного обрыва с пещерами. Хуан свернул с дороги и зашел на минуту в укрытие. Пещеры и уступы над ними были больше, чем казалось снаружи, и внутри было довольно сухо. Перед входом в самую боль-

шную лежали три закопченных камня и помятая жестянка. Хуан вернулся на дорогу и пошел дальше.

Дождь слабел. Справа под склоном горы ему открылась просторная излучина реки, которая здесь поворачивала и бежала обратно поперек долины, между намокших зеленых полей. Все вокруг было пропитано влагой. Сильно пахло гнилью: мясистые зеленые стебли прели. Охлащенный дождем проселок расковыривала вода, а не колеса. Тут давно никто не проезжал.

Хуан пошел быстрее, боядя дождь. Получалось не то. Он пытался вспомнить солнечную четкость Мексики, девочек в синих шляхах и дух горячих бобов, но в голову лезла Алиса. Алиса выглядывала из-за сетчатой двери. И он подумал о спальне с цветастыми занавесками. Она любила, чтобы было уютно. Она любила красивые вещи. Взять покрывало — огромное покрывало, которое она связала сама мелкими квадратиками, и не было двух одинакового цвета. Она говорила, что могла бы получить за него больше ста долларов. И целиком связано ее руками.

Он подумал о больших деревьях и о том, как приятно было лежать в полной горячей воды ванне — в собственной ванной комнате, первой настоящей ванной комнате в его жизни, если не считать гостиниц. И всегда там кусок душистого мыла. «Просто привычка, будь она проклята, — сказал он себе. — Дурацкая западня. Привыкаешь к чему-то, а начинаешь думать, что тебе нравится. Перетерплю, как простуду перетерплю. Будет, конечно, тяжело. Буду волноваться за Алису. Жалеть буду. Укорять себя; а то и спать буду плохо. Но перетерплю. А после и думать перестану. Дешевая западня, и больше ничего». Возникло лицо Прыща, доверчивое и дружелюбное. «Потом объясню. Я тебе все объясню, Кит Карсон». Мало кто так верил Хуану.

Он хотел подумать об озере Чапала, и над светлой спокойной его водой увидел «Любимую», увязшую в грязи.

Внизу слева, в ложбине, он увидел дом, конюшню и ветряную мельницу со сломанными повисшими крыльями. Это и есть, наверное, дом старика Хокинса. Как раз — где пересидеть. Он пойдет туда — может быть, в дом, но скорее в конюшню. Старая конюшня обыкновенно чище старого дома. Там должен быть чердак или сеновал. Хуан заберется наверх и поспит. Ни о чем не будет думать. Проснется, может быть, завтра в эту же пору, выйдет на шоссе и проголосует. До пассажиров — какое ему дело? «С голоду не умрут. Это им будет совсем не вредно. Полезно будет. А мне — какая печаль?»

Быстрым шагом он двинулся под гору, к дому старика Хокинса. Его будут искать. Алиса решит, что его убили, и вызовет шерифа. Никому и в голову не придет, что он мог сбегать. Вот что самое потешное. Никому в голову не придет, что он на это способен. Вот он им и докажет. Сперва до Сан-Диего, оттуда через границу и на почтовом грузовике в Ла Пас. Алиса поднимет полицию.

Он остановился и оглянулся на дорогу. Следы его были заметны, но дождь, наверное, смывает их, да он и сам бы мог замести следы, если бы захотел. Он отвернулся от дороги и пошел к дому Хокинса.

Старый дом, стоило его бросить, пришел в упадок очень быстро. Забегавшие сюда ребята перебили стекла, утащили свинцовые трубы и водопроводные детали, а двери хлопали без толку и сорвались с петель. Дождь с ветром стащил старые темные обои и обнажил слой старых газет со старыми комиксами «Хитрый дед», «Маленький Немо», «Веселый хулиган» и «Бастер Браун». Побывали здесь и бродяги, намусорили, сожгли дверные коробки в старом закопченном камине. В доме пахло запустением и кислой сыростью. Хуан заглянул в дверь, вошел, приюхался к брошенному дому и черным ходом вышел к конюшне.

Изгородь загона повалилась, ворота конюшни упали, но запах внутри был свежий. В стойлах там, где лошади терлись о дерево, оно было отполировано. Углы скрадывала паутина. Между выгребными окошками еще стояли свечные коробки с вытертыми щетками и ржавыми скребницами. На вешалке возле двери висел старый хомут и гужи. Кожа на хомутине полопалась, и в трещины выглядывал войлок.

Сеновала тут не было. Под сено была занята когда-то вся середина конюшни. Хуан обошел крайнее стойло. Внутри было сумрачно, и свет неба низался сквозь трещины в кровле. Пол устилала короткая солома, темная от старости и чуть затхлая.

Тихо стоя в дверях, Хуан слышал мышиный писк и чуял запах мышиных поселений. Две ржаво-белые сигухи поглядели на него с балки и снова закрыли желтые глаза.

Дождь затихал и уже едва шелестел на крыше. Хуан зашел в угол и ногой откинул верхний пыльный слой соломы. Он сел, потом лег навзничь и заложил руки за голову. Конюшня жила тайными слабыми звуками, но Хуан очень устал. Нервы были напряжены, настроение мерзкое. Он подумал, что, если поспит, ему, может быть, станет легче.

Он еще в автобусе чувствовал, предвкушал судорожный восторг слияния со свободой. Но так не получилось. Ему было скверно. Плечи болели, и сейчас, хотя он расслабился и вытянулся, спать не хотелось. Он спросил себя: «Что же счастья никогда не будет? И сделать ничего нельзя?» Он пытался вспомнить былое время, когда ему казалось, что он счастлив, когда он испытывал чистую радость. И в уме всплывали картинки. Раннее-раннее утро, в воздухе холодок, солнце поднимается за горами, и по грязной дороге прыгают серые птички. Радоваться как будто нечему, но радость была.

И другая. Вечер, лоснящаяся лошадь трется красивой шеей об изгородь, кричит перепел, и где-то звук капающей воды. Он задышал чаще от одного воспоминания.

И другая. Он едет на старой тележке с двоюродной сестрой. Она старше его... он не помнит ее лица. Лошадь отпрянула от клочка бумаги, сестра повалилась на него и, чтобы сесть, оперлась на его бедро, и внутри у него все занялось, а в голове загудело от восторга.

И другая. В полночь он стоит в громадном сумрачном соборе, и от острого варварского запаха копала свербит в носу. Он держит тоненькую свечку, перевязанную посередине белым шелковым бантом. И, как во сне, ласковый рокот мессы донесся издали, с высокого алтаря, и его объяла сладкая дрема.

Мышцы Хуана расслабились, и он уснул на соломе в пустой конюшне. И робкие мышцы, почуввав, что он спит, вылезли из-под соломы и деловито играли вокруг, а дождь тихо шуршал по крыше.

Глава 15

Пассажиры смотрели, как уходит Хуан и скрывается за косогором. Никто не заговорил — даже тогда, когда в автобус влез Прыщ и занял место водителя. Сиденья были наклонены, и каждый старался уместиться поудобнее.

Наконец мистер Причард обратился ко всем с вопросом:

— Как вы думаете, сколько времени ему понадобится, чтобы прислать сюда машину? Ван Брант нервно потер левую руку.

— Ждите ее не раньше чем через три часа. Ему идти шесть с половиной километров. Если ему и удастся вызвать машину, они будут час собираться да час сюда ехать. Если вообще поедут. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь согласился ехать по этой дороге. Нам надо было идти с ним и голосовать на шоссе.

— Мы не можем, — ответил мистер Причард. — С нами багаж.

Миссис Причард сказала:

— Я не хотела ничего говорить, когда тебе взбрела в голову эта дикая идея. Элиот. В конце концов, это же твой отпуск.

Ей давно хотелось объяснить другим пассажирам, как люди их положения, для всех очевидного, могли очутиться в автобусе — могли подвергнуть себя таким неудобствам. «Они, наверно, удивляются», — думала Бернис. Теперь она повернулась и обратилась к ним:

— Мы выехали на поезде, чудесном поезде «Город Сан-Франциско» — очень комфортабельный и дорогой поезд. А потом у моего чудака мужа возникла идея ехать на автобусе. Он решил, что так лучше увидит страну.

— И мы ее видим, девочка, — сердито напомнил он.

Она продолжала:

— Мой муж сказал, что он оторван от людей. Ему захотелось послушать, о чем говорят народ, настоящий народ. — Тонкая струйка яда зажурчала в ее голосе. — Я подумала, что это глупо, но ведь это его отпуск. Ведь это он столько трудился для победы. У жен забот было немного: выкрутиться как-нибудь с нормированными про-

дуктами, раздобыть еды в пустых магазинах. Представляете, было два месяца, когда мы не видели ни крошки мяса. Ничего, кроме кур.

Мистер Причард посмотрел на жену с некоторым удивлением. Не часто ему доводилось слышать такую досаду в ее голосе, и это подействовало на него неожиданно. Он поймал себя на том, что сердится, ужасно, безрассудно сердится. Причиной был ее тон.

— Я очень жалею, что мы поехали,— сказал он.— Я, кстати, и не хотел ехать. Я бы прекрасно отдохнул, играя понемногу в гольф и ночуя в своей постели. Я совсем не хотел ехать.

Остальные пассажиры наблюдали за ними с любопытством. Они скучали. Это могло стать занятным. Супружеская ссора постепенно захватывала автобус.

Милдред сказала:

— Мама, папа, кончайте.

— А ты не вмешивайся,— сказал мистер Причард.— Я не хотел ехать. Совсем не хотел. Терпеть не могу чужие страны, в особенности грязные.

Губы у миссис Причард сжались и побелели, глаза сделались холодными.

— Ты удачно выбрал время, чтобы об этом сообщить,— сказала она.— Кто составил маршрут и покупал все билеты? Кто посадил нас на этот автобус, застрявший неизвестно где? Кто это сделал? Я это сделала?

— Мама! — закричала Милдред. Она никогда не слышала у матери такого тона.

— Довольно странное явление... — Голос у миссис Причард слегка прерывался. — Я так стараюсь. Эта поездка со всеми расходами обойдется нам в три или четыре тысячи. Если бы ты не хотел ехать, я могла бы построить оранжерейку для орхидей, которую мне так давно хочется,— миленькую крохотную оранжерейку. Ты говоришь, мы покажем другой пример, если построим ее во время войны, но война уже кончилась, а мы едем в путешествие, которого ты не хотел. Так ты теперь и для меня его испортил. Оно мне будет не в радость. Ты все портишь. Все! — Она закрыла глаза рукой.

Милдред встала.

— Мама, прекрати. Мама, прекрати сейчас же!

Миссис Причард тихонько застонала.

— Если ты не прекратишь, я уйду,— сказала Милдред.

— Уходи,— сказала миссис Причард.— Ах, уходи. Ты ничего не понимаешь.

Лицо у Милдред стало жестче. Она надела габардиновое пальто.

— Я пойду на шоссе,— сказала она.

— Это шесть километров с лишним,— сказал Ван Брант.— Вы испортите туфли.

— Я хорошо хожу,— ответила Милдред. Ей надо было уйти; в ней поднималась ненависть к матери, и ее мучило.

Миссис Причард извлекла носовой платок, и запах лаванды наполнил автобус.

— Возьми себя в руки,— грубо сказала Милдред.— Я знаю, что ты собираешься устроить. Собираешься устроить мигрень и наказать нас. Я тебя знаю. Очередной притворный приступ,— со злобой сказала она.— Не желаю сидеть и смотреть на твои выкрутасы.

Прыщ наблюдал увлеченно. Он дышал ртом.

Миссис Причард смотрела на дочь в ужасе.

— Дорогая! Ты ведь сама так не думаешь!

— Кажется, начинаю,— сказала Милдред.— Очень уж кстати случаются эти мигрени.

Мистер Причард сказал:

— Милдред, перестань.

— Я пошла.

— Милдред, я запрещаю!

Дочь резко обернулась к нему.

— Плевать мне на твои запрещения! — Она застегнула пальто на груди.

Мистер Причард протянул руку.

— Милдред, дорогая, я тебя прошу.

— Хватит с меня,— сказала она.— Мне надо проветриться.— Она вылезла из автобуса и быстро пошла прочь.

— Элиот, — крикнула миссис Причард, — Элиот, останови ее! Не позволяй ей уйти.

Он потрепал ее по руке.

— Ничего, девочка, ничего с ней не будет. Мы просто раздражены. Мы все.

— Ох, Элиот, — простонала она, — если бы только я могла лечь. Если бы я могла немного отдохнуть. Она думает, что я изображаю головную боль. Элиот, я убью себя, если она вправду так думает. О, если бы я могла лечь и вытянуться.

Прыщ сказал:

— Мадам, у нас в заду лежат куски брезента. Мы закрываем ими багаж, когда везем на крыше. Ваш муж может постелить брезент в пещере, вы там полежите.

— Чудесная мысль! — сказал мистер Причард.

— Лежать на сырой земле? — ужаснулась она. — Нет.

— Нет, на брезенте. Я устрою моей девочке милую кроватку.

— Ну, не знаю, — сказала она.

— Посмотри, дорогая, — настаивал он. — Посмотри, сейчас я скатаю мое пальто, а ты положишь на него голову, вот так. А немного погодя я приду за тобой и провожу тебя к твоей маленькой постельке.

Она всхлипнула.

— Ты положишь голову на подушку и закроешь глаза.

Прыщ сказал:

— Мистер Чикой велел мне вытащить пироги, если кто проголодается. Там четырех сортов, и все довольно приличные. Я бы съел кусок прямо сейчас.

— Давайте сначала возьмем брезент, — сказал мистер Причард. — Моя жена устала. Она просто падает с ног. Поможете устроить ей постель, ладно?

— Конечно, — сказал Прыщ.

Он чувствовал, что неплохо справляется в отсутствие Хуана. Настроение было веселое и бодрое. Об этом говорила вся его повадка: плечи были расправлены, а бледные волчки глаза смотрели ясно и уверенно. Одно лишь беспокоило Прыща. Он жалел, что не догадался кинуть в автобус старую пару туфель. Двухцветным его полуботинкам теперь достанется, и надо будет основательно поработать зубной щеткой, пока отчистишь эту грязь. А показать, что он бережет свою обувь, он не может: Камилла поймет, что он не такой рубаха-парень. На нее не произведет впечатления мужчина, который переживает из-за своей обуви — даже если это новые бело-коричневые полуботинки.

Эрнест сказал:

— Пойду погляжу на пещеры. — Он встал и вылез из автобуса.

Ван Брант ворча последовал за ним.

Миссис Причард примостилась на мужнином пальто и закрыла глаза. Она была угнетена. Как она могла сцепиться с ним при людях — с мужем? Такого еще не бывало. Когда назревала ссора, она всегда старалась остаться с ним с глазу на глаз. Даже дочери не дозволялось присутствовать при ссорах. Бернис считала вульгарным ругаться при посторонних, а кроме того, это разрушало образ, который она строила годами, — легенду о том, что благодаря ее мягкому характеру у них идеальный брак. В это верили все ее знакомые. Она сама в это верила. Своими стараниями она создала прекрасный брак — а теперь она оступилась. Она поссорилась. Она проговорила насчет оранжерейки для орхидей.

Она уже несколько лет хотела эту оранжерейку. Точнее, с тех пор, как прошла в «Харперс Базаре» про оранжерею некой миссис Уильям О. Маккензи. Фотографии были красивые. Люди стали бы говорить о миссис Причард, что у нее прелестная оранжерейка. Это вещь дорогая; ценность. Это лучше колец и мехов. Люди, с которыми она даже незнакома, прослышали бы про ее оранжерейку. Втихомолку она многое разузнала об устройстве таких теплиц. Она изучала чертежи. Она знала стоимость отопительных систем и увлажнителей. Она знала, где покупают рассаду и какие на нее цены. Она изучала книги по цветоводству. И все это — в глубокой тайне, ибо она знала, что, когда придет срок соорудить теплицу, она устроит так, чтобы мистеру Причарду захотелось выяснить все самому и ей разъяснить. Это единственный путь. И ее это даже не возмущало. Просто такова жизнь, и таким путем она

сделала свой брак счастливым. Она будет восхищаться его познаниями и спрашивать его совета по всякому поводу.

Но ее тревожило, что она сгоряча проболталась. Эта оплошность может отбросить ее назад на полгода и больше. Она намеревалась подвести его к тому, чтобы он предложил оранжерею сам, и дозированным сопротивлением заставить его преодолеть ее неохоту. А теперь в ссоре она выдала свою цель, и у него возникнет стойкое предубеждение. Если в дальнейшем не проявить величайшей осмотрительности, он вообще может упереться на своем.

Сзади до нее доходил тихий разговор Нормы с Камиллой. Им и в голову не приходило, что она подслушивает: глаза у нее были закрыты и выглядела она такой маленькой, такой больной. Норма говорила:

— А еще я хочу, чтобы вы меня научили, как вы обращаетесь... ну, с парями.

— Что значит — как? — спрашивала блондинка со смешком.

— Ну, с Прыщом, например. Я же видела, как он себя вел... старался — но на выстрел не мог подъехать, а вы вроде ничего и не делали. Или с этим другим, например, с торговцем. Он ведь довольно шустрый, а вы его отшили как маленького. Хотела бы я знать, как это у вас получается.

Камилла была польщена. Хотя и боялась она надеть себе такой хомут на шею, а все же приятно, когда тобой восхищаются. Тут-то и было самое время объяснить Норме, что никакая она не сестра, объяснить про гигантский винный бокал и про банкетки. — но она не могла. Короче, ей не хотелось разочаровывать Норму. Ей хотелось восхищения.

— Мне что нравится — что вы не вредничаете, не огрызаетесь, а они к вам близко подойти не смеют, — продолжала Норма.

— Знаешь, не замечала, — ответила Камила. — Инстинкт, наверное, какой-то. — Она усмехнулась. — У меня подруга есть — вот она умеет с ними управляться. Ей на все плевать. А с мужчинами она, пожалуй, даже вредная. И вот Лорейн — так ее зовут — была... ну, можно сказать, помолвлена с одним; у него было хорошее место, словом, человек подходящий. Лорейн хотела шубу. У нее, конечно, был короткий жакет из волка и пара белых песцов, потому что Лорейн пользуется большим успехом. Она хорошенькая и маленькая, а когда она с женщинами — смешит беспрерывно. И вот Лорейн хотела норковую шубу, не короткую, а настоящую, полную, они стоят три-четыре тысячи.

Норма свистнула сквозь зубы.

— Ничего себе! — сказала она.

— В один прекрасный день Лорейн говорит: «Кажется, теперь у меня будет шуба». Говорю: «Ты шутишь». «Думаешь, шучу? Эдди подарит». «Когда он тебе сказал?» — спрашиваю. Лорейн только засмеялась: «Он мне не сказал. Он еще сам не знает». «Так, говорю. Ты, случайно, не того?» «Давай спорить?» Лорейн хлебом не корми, дай поспорить. А я спорить не люблю, я говорю: «Как же ты собираешься подъехать?» «Если я скажу, не разболтаешь? Это просто. Я знаю Эдди. Сегодня вечером начну его подковыривать и буду подковыривать, куда он не взбесится. Не отвяжусь, пока он меня не стукнет. Может, даже подставлюсь: когда Эдди под мухой, он плохо попадает. Вот, а потом дам ему повариться в собственном соку. Я знаю Эдди. Он будет жалеть и переживать. Ну что, поспорим?» — говорит. — Я даже срок поставлю. Спорим, что к завтрашнему вечеру у меня будет шуба. Я вообще никогда не спорю и говорю ей: «На двадцать пять центов — что не будет».

У Нормы был открыт рот от волнения, а у миссис Причард в щелках между сомкнутыми ресницами мерцал отраженный свет.

— Ну а шубу-то? — не вытерпела Норма.

— В воскресенье утром я к ней пришла. У Лорейн — фонарь, красивый синий фонарь, залеплен пластырем и нос разбит.

— Ну а шубу она получила?

— Получила, будь спокойна. — Камилла хмурилась с озадаченным видом. — Получила, и шуба была прелесть. Потом она все с себя сняла — мы были вдвоем. Она вывернула шубу и надела прямо на голое тело, мехом к телу. И стала кататься, кататься по полу, а сама смеется, хохочет как ненормальная.

Норма медленно перевела дух.

— Ой,— сказала Норма,— почему это она?

— Не знаю. Она была, что ли... ну, что ли, не в себе, как будто рехнулась.

У миссис Причард горело лицо. Она дышала очень часто. Кожу покалывало. По бедрам и животу разливался тянущий зуд, и ее охватило возбуждение, какое ей пришлось испытать только раз в жизни — давным-давно, когда она ежала верхом.

Норма рассудительно сказала:

— По-моему, это нехорошо. Если она в самом деле любила Эдди и он хотел на ней жениться, по-моему, нехорошо так поступать.

— По-моему, тоже,— согласилась Камилла.— Мне это не очень нравилось в Лорейн, я ей так и сказала, а она говорит: «Ну, другие женщины просто подбираются дольше, кружной дорогой, а я хотела быстро. В конце-то концов выходит одно на одно. А Эдди все равно кто-нибудь обрывает».

— И она за него вышла?

— Да нет, не вышла.

— Да она его небось и не любила,— горячо сказала Норма.— Просто обирала этого Эдди.

— Может быть,— отозвалась Камилла,— но мы с ней старые подруги, и если мне что нужно, она всегда тут как тут. Один раз у меня было воспаление легких, она сидела со мной трое суток напролет, я была без гроша, и она заплатила врачу.

— Да, тут трудно сказать,— заметила Норма.

— Трудно,— согласилась Камилла.— Видишь, а ты меня спрашиваешь, как общаться с мужчинами.

Миссис Причард секла себя словами. Ее испугала собственная реакция. Она сказала себе, даже вслух прошептала:

— Какая страшная вульгарная история. Какие низменные эти девушки. Так вот что имеет в виду Элиот, говоря «соприкоснуться с народом».

Нет, это ужас. Мы просто забываем, каковы люди, как они бывают гнусны. «Милая Эллен,— лихорадочно излагала она, а внутренние части ляжек все еще покалывало от возбуждения.— Милая Эллен, дорога из Сан-Исидро в Сан-Хуан-де-ла-Крус была ужасна. Автобус застрял в канаве, а мы сидели и ждали час за часом. Мой Элиот был очень нежен и устроил мне постель в смешной пещерке. Ты говорила, что у меня будут приключения. Помнишь? Ты сказала, что у меня всегда бывают приключения. Ты не ошиблась. С нами в автобусе ехали две вульгарные необразованные девушки, одна официантка, а другая довольно хорошенькая. Ты догадаешься, что за птица. Я отдыхала, а они, наверно, решили, что я сплю, и преспокойно беседовали. Не могу написать на бумаге, что они говорили. Я до сих пор краснею. Порядочные люди просто не знают, как живут эти существа. Это невероятно. Я убеждена, что все — от невежества. Если бы у нас были получше школы и если бы... словом, если хочешь знать правду, если бы мы, те, кто должен показывать пример, показывали бы пример получше, я уверена, что вся картина стала бы меняться медленно, но верно».

Эллен будет читать и читать это письмо знакомым. «Я только что получила письмо от Бернис. С ней происходят самые удивительные приключения. Знаете, с ней всегда так. Нет, вам надо послушать, что она пишет. Я не знаю никого, кто умел бы, как Бернис, разглядеть в людях хорошее».

Норма говорила:

— Если бы парень мне нравился, я бы ни за что с ним так не поступила. Если бы он захотел сделать мне подарок, пусть бы сам догадался.

— Я тоже так на это смотрю,— согласилась Камилла.— Но у меня нет меховой шубы, даже жакета, а у Лорейн — три.

— Нет, не думаю, что это честно,— сказала Норма.— Не думаю, чтобы мне понравилась Лорейн.

«Скажи на милость — мысленно воскликнула Камилла.— Не знаешь, понравится ли тебе Лорейн. Да представляешь ли ты, что Лорейн о тебе подумает? Нет,— поправилась она,— неправда, Лорейн скорее всего приняла бы эту девушку, привела бы в порядок, помогла бы. Что там и говори про Лорейн, а что она плохой товарищ, про нее не скажешь».

Глава 16

Миддред наклонила голову, чтобы дождь не забрызгивал очки. Шагать по гравии было приятно, и от ходьбы она задыхалась глубже. Ей казалось, что смеркается. Час был не поздний, но вечер уже подкрадывался, высветляя светлые предметы вроде обломков кварца и известняка, а темные, вроде столбов ограды, превращая в черные.

Миддред шагала быстро, с силой ставя ногу на землю, вгоняя каблуки в гравий. Она старалась выкинуть из головы родительскую ссору. Она не помнила, чтобы мать с отцом ругались при ней. Но процесс был отлаженный, и сама шаблонность ходов показывала, что в нем нет ничего чрезвычайного. Мать, наверное, умело загоняла ссору в спальню, где их никто не мог услышать. Она создала и поддерживала версию об идеальном браке. На этот раз, когда температура достигла точки воспламенения, спальни поблизости не было. Миддред различила в ссоре нехорошие капельки желтого яда, и это ее встревожило. Яд был тайный — не открытая честная ярость, а подспудная ползучая злость, бившая острым узким жалом и тут же прятывшая оружие.

И впереди — бесконечная поездка по Мексике. А что, если ей не вернуться? Что, если уйти, проголосовать на дороге и исчезнуть... снять где-нибудь комнату, хотя бы на берегу моря, и проваляться все это время на камнях или на пляже? Мысль была очень заманчивая. Она сама себе будет стряпать и познакомится с людьми на берегу. Нелепая мысль. У нее нет денег. Отец был очень щедр, но не на звонкую монету. Он мог платить за ее платье и по ресторанным счетам, но наличных денег у нее всегда было очень мало. Отец был щедр, но весьма любопытен. Он желал знать, что она покупает, где ест, и он выяснял это по ежемесячным счетам.

Конечно, можно устроиться на работу. Все равно ей это предстоит, не сейчас, но скоро. Нет, придется потерпеть. Придется дотянуть эту жуткую поездку по Мексике; а как было бы чудесно проехать в одиночку — и опять в университет. Но скоро она пойдет работать, и отец одобрит это. Он скажет Чарли Джонсону: «Я готов давать ей все что надо, но где там — у нее столько прыти. Она сама зарабатывает на жизнь». Он скажет это с гордостью, словно это его заслуга, и даже не поймет, что работает она из желания оградить себя, иметь свою квартиру, свои деньги и тратить их, не докладываясь ему.

Дома, например, ей было разрешено залезать в винный шкаф когда угодно, но она знала, что отец точно помнит уровень в каждой бутылке и, если она нальет себе три рюмки, он сразу заметит. Он очень любопытный человек.

Миддред сняла очки, вытерла их о подкладку пальто и снова надела. Она различала на дороге следы Хуана, большие шаги. Были места, где его нога поскользнулась на камушке, а в грязи отпечатывалась вся ступня со смазанными очертаниями мыска. Миддред попробовала ставить ноги в его следы, но шаг у него был широкий и скоро у нее заныли бедра.

«Что-то в нем есть странное, притягательное», — подумала она. Она была рада, что утреннее переживание выдохлось. Она знала: смысла в нем искать нечего. Раздражение в совокупности с действием желез — все это она проходила. А кроме того, она знала про себя, что она женщина с большим биологическим потенциалом. Недалеко уже то время, когда ей необходимо будет либо выйти замуж, либо завести какую-нибудь постоянную связь. Периоды беспокойства и нужды становились все чаще. Она вспомнила смутное лицо Хуана и блестящие глаза — они ее не волновали. Но в нем была теплота и честность. Он ей нравился.

Одолев склон, она увидела внизу брошенную ферму, и это зрелище захватило ее. От фермы веяло унынием. Она знала, что не сможет пройти мимо дома, не взглянув туда. Шаг ее убыстрился. Ее разбирало любопытство.

«Закладную просрочили, — объяснил Ван Брант, — и семье пришлось уехать, а банку старый дом был без надобности. Он землю отнимал».

Шаг ее почти сравнялся с шагом Хуана. Она размашисто спустилась к подошве холма и перед утонувшим в грязи въездом на ферму вдруг стала. Следы Хуана вели туда. Она прошла еще немного по дороге — посмотреть, не выходят ли они с фермы, но никаких следов больше не увидела.

«Значит, он еще там,— сказала она себе.— Но почему? Он ведь шел к шоссе. Телефона тут быть не может». Сообразив, что происходит что-то непонятное да и сам человек этот ей почти неизвестен, она насторожилась. Она медленно вернулась ко входу и сошла на траву, чтобы гравий не шуршал под ногами.

От брошенного дома исходила какая-то опасность. Вспомнились старые газетные сообщения об убийствах в таких местах. От страха в горле у нее встал ком. «Ну и что,— утешила она себя,— могу повернуться и уйти. Никто меня не держит. Никто туда не загоняет— но знаю, что надо заглянуть. Знаю, что не уйду. Наверно, те убитые девушки тоже могли уйти. Наверно, сами напросились».

Она представила себе, как лежит на полу в комнате задушенная или зарезанная, и что-то в этой картине ей показалось смешным.. вот что: в очках лежит. А что она знает про Хуана? У него жена и небольшое дело. Ей вспомнился один заголовок: «Отец троих детей — садист-убийца. Пастор убил хористку». Почему, интересно, убивают столько хористок и органистов? Как видно, с хоровым пением связана большая профессиональная вредность. Все время за органами находят задушенных хористок. Она засмеялась. Она знала, что войдет в дом. Протопать туда или, наоборот, прокрасться и застичнуть Хуана врасплох за его занятием? Может быть, он просто в уборной.

Она осторожно поставила ногу на ступеньку и замерла, когда под ее тяжестью скрипнула доска. Она прошла по дому, заглядывая в шкафы. В кухне валялась опрокинутая банка из-под перца, а в стенном шкафу спальни забыли вешалку. Милдред наклонила голову набок, чтобы разглядеть старые газеты с комиксами под отставшими обоями. Она пробежала полоску «Веселого хулигана». Лошачиха Мод вскинула зад и лягнула, Сай полетел кубарем, на штанах у Сая отпечатались копыта.

Милдред подняла голову. Почему она раньше не подумала о конюшне? Она тихонько вернулась на крыльцо и внимательно осмотрела доски. Видны были мокрые следы Хуана. Они привели ее в комнату и там пропали. Тогда она подошла к открытой задней двери и выглянула. Ну что за дура — ходила крадучись! Вот следы, ведут наружу, действительно к конюшне.

Она спустилась по гнилым ступеням, прошла по следу через двор и мимо старой ветряной мельницы. В конюшне остановилась, прислушалась. Ни звука. Ей хотелось крикнуть и покончить с этим. Медленно она прошла вдоль стойл и обогнула последнее. Глаза не сразу привыкли к потемкам. Она стояла посредине конюшни. Все мыши попрятались. Потом она увидела Хуана. Он лежал навзничь, закинув руки за голову. Глаза у него были закрыты, и он дышал ровно.

«Могу уйти,— сказала Милдред.— Никто меня не держит. Сама буду виновата. Надо это запомнить. У него свои дела. Да что за чепуха такая?»

Она сняла очки и сунула в карман. Фигура мужчины расплылась в ее близоруких глазах, но все же она его видела. Медленно и осторожно она прошла по застланному соломой полу, остановилась возле Хуана и, поставив ногу за ногу, села по-турецки. Шрам у него на губе был белый, а дышал он неглубоко и ровно. «Просто устал,— сказала она себе.— Прилеж отдохнуть и уснул. Не надо его будить».

Она подумала о тех, кто в автобусе,— что, если ни Хуан, ни она не вернутся? Что они там будут делать? Мать рухнет. Отец даст телеграмму губернатору — двум или трем губернаторам. Вызовет ФБР. Солоно ей придется. Но что они могут? Ей двадцать один год. Когда ее поймут, она может сказать: «Я совершеннолетняя и живу как хочу. Кому какое дело?» А если уехать в Мексику с Хуаном? Это уже совсем другая история, совсем другая.

В голову полезли посторонние мысли. Если он индеец или с индейской примесью, разве к нему можно подкрасться? Она оттянула углы глаз, чтобы разглядеть его лицо. Лицо дубленое, в шрамах, но хорошее лицо, подумала она. Губы были полные и смешливые, но добрые. С женщиной он должен быть мягким. Вытерпит он с ней вряд ли долго, но будет ласков. Хотя — жена, страшная эта женщина, ее-то он терпит? И бог знает сколько лет. Она, наверно, была хорошенькая, когда они поженились, а сейчас уродина. Что там у них вышло? Как эта страшная баба его удержала? Может быть, он такой же, как все, как ее отец. Может быть, и его держат на привязи страхи и привычка. Милдред не понимала, как это случается с человеком, но видела, что случается.

Когда человек стареет, мельчают его страхи. Отец боится чужой постели, иностранного языка, другой политической партии. Отец в самом деле верит, что демократическая партия — подрывная организация, которая приведет страну к развалу и отдаст ее бородастым коммунистам. Он боится своих друзей, а друзья боятся его. Трус на трусе, трусом погоняет.

Взгляд ее перешел на тело Хуана, крепкое, жилистое тело, которое будет становиться с возрастом только крепче и жилистее. Брюки у него намокли от дождя и облепили ноги. В нем была опрятность — опрятность механика, только что принявшего душ. Она посмотрела на его плоский живот и широкую грудь. Она не заметила, чтобы он шевельнулся или задышал чаще, — но глаза его были открыты, он смотрел на нее. И глаза были не мутные со сна, а ясные.

Миалдред вздрогнула. Может быть, он вовсе не спал. Наблюдал за ней с тех пор, как вошла в хлев. Невольно она начала объяснять:

— Захотелось размяться. Понимаете, все время сидела. Решила пройтись по шоссе и перехватить машину. А тут увидела этот старый дом. Я люблю старые дома.

У нее затекли ноги. Она оперлась на руку и, вытянув ноги в другую сторону, старательно прикрыла юбкой колени. В ногах закололо, когда кровь побежала по жилам.

Хуан не отвечал. Он смотрел ей в лицо. Он медленно перекатился на бок и подпер щеку рукой. В глазах у него возник темный блеск, и углы рта чуть поднялись. Лицо у него жесткое, подумала она. Через эти глаза в голову не проникнешь. Либо все на виду, либо, наоборот, так запрятано, что вообще проникнуть нельзя.

— Что вы здесь делаете? — спросила она.

Губы у него слегка раздвинулись.

— А вы что здесь делаете?

— Я сказала — захотелось размяться. Сказала.

— Да, сказали.

— А вы что здесь делаете?

Он как будто не совсем проснулся.

— Я? А-а, присел отдохнуть. Заснул. Не спал ночь.

— Да, я помню, — сказала она. Ей надо было продолжать разговор. Она была звинчлена. — Не могу понять. Вам здесь не место. В смысле — не в автобусе. Ваше место где-то не здесь.

— Где же это? — шутливо спросил он. Взгляд его уперся туда, где сходились лацканы пальто.

— Ну... — смущенно сказала она, — пока я шла, у меня возникла странная мысль. Я подумала: а что, если вы не вернетесь, пойдете дальше — может быть, обратно в Мексику. Я представляю себе, что на вашем месте могла бы так сделать.

Прищурился, он вглядывался в ее лицо.

— Вы в своем уме? С чего вы взяли?

— Ну, просто в голову взбрело. Ваша жизнь — в смысле езда на автобусе — должна быть довольно скучной после... ну, после Мексики.

— Вы не были в Мексике?

— Нет.

— Тогда вы не знаете, как там скучно.

— Нет.

Он убрал руку и опустил голову на плечо.

— Как по-вашему, а что стало бы с ними?

— Как-нибудь вернулись бы, — ответила она. — Тут недалеко. С голоду бы не умерли.

— А как по-вашему, что стало бы с моей женой?

— С ней?.. — Она растерялась. — Я об этом не подумала.

— Нет, подумали, — сказал Хуан. — Она вам не понравилась. Я вам скажу. Она никому не нравится, кроме меня. А мне еще потому нравится, что не нравится никому. — Он ухмыльнулся. «Ну и врун», — сказал он себе.

— Конечно, дурацкая была мысль, — сказала она. — Мне даже пришло в голову, что я тоже могу убежать. Исчезну и буду жить сама по себе и... ну, больше не видеть никого из знакомых. — Она поднялась на колени, потом села, вытянув ноги в другую сторону.

Хуан посмотрел на ее колено. Он протянул руку и прикрыл колено юбкой. Она дернулась, когда рука потянулась к ней, потом смущенно приняла прежнюю позу.

— Только не думайте, что я пошла сюда за вами,— сказала она.

— Хотите, чтобы я не думал, а сами пошли,— сказал Хуан.

— Ну а если и пошла?

Его рука снова приблизилась, легла на ее прикрытое колено, и ее бросило в жар.

— Не из-за вас,— сказала она. В горле у нее пересохло.— Только не думайте, что из-за вас. Я сама. Я знаю, чего хочу. Вы мне даже не нравитесь. От вас пахнет козлом.— Ее голос продолжал с запинкой: — Вы не знаете, какой жизнью я живу. Я совсем одна. Никому ничего нельзя рассказать.

Глаза у него были горячие и блестящие и как будто обдавали ее жаром.

— Может быть, я не такая, как все,— говорила она.— Откуда я знаю? Только не из-за вас. Вы мне даже не нравитесь.

— Спорите с собой до упаду, а? — сказал Хуан.

— Слушайте, что вы собираетесь делать с автобусом? — строго спросила она.— Вы пойдете на шоссе?

Рука на ее колене стала тяжелее, потом он отнял руку.

— Я пойду обратно, выташу автобус, довезу людей до места,— сказал он.

— Тогда зачем вы сюда пришли?

— Не вытанцевалось одно дело,— сказал он.— Я кое-что задумал, да не вытанцевалось.

— Когда вы пойдете обратно?

— Теперь скоро.

Она поглядела на его руку, спокойно лежавшую на соломе,— кожа была смуглая и блестящая, слегка морщинистая.

— Не собираетесь ко мне подъехать?

Хуан улыбнулся, и улыбка была хорошая, открытая.

— Да, наверно. Когда кончите спорить с собой. Сейчас вы ни здесь, ни там. Может быть, вы скоро решите за или против, тогда я пойму, откуда заходить.

— А вы... вы хотите?

— Конечно,— сказал Хуан.— Конечно.

— Знаете, что я все равно буду ваша, и поэтому решили: стоит ли трудиться?

— Вы меня в ваш спор не втягивайте,— сказал Хуан.— Я старше вас. Я очень люблю эту работу. Так люблю, что могу подождать. Могу даже обойтись какое-то время.

— Вы могли бы мне очень не понравиться,— сказала она.— Вы отнимаете у меня всякую гордость. Отнимаете возможность все свалить на принуждение.

— Я думал, вашей гордости будет легче, если позволить вам самой решить.

— Выходит, не легче.

— Выходит,— сказал он.— У нас в стране женщины такие же. Надо их упрашивать или напирать. Тогда они довольны.

— Вы что, со всеми такой?

— Нет,— ответил Хуан,— только с вами. Вы зачем-то сюда пришли. Сами сказали, что я тут ни при чем.

Она посмотрела на свои пальцы.

— Смешно. Я, что называется, интеллигентная женщина. Читаю всякие книжки. Я не девушка. Изучила тысячу историй болезни, а набиваться не умею.— Она улыбнулась коротко и тепло.— Не можете хоть чуточку меня заставить?

Он протянул к ней руки, и она легла с ним на солому.

— Не будете меня торопить?

— У нас целый день,— сказал он.

— Презирать меня или смеяться не будете?

— А вам не все равно?

— Не все равно, ничего не могу поделать.

— Вы слишком много разговариваете,— сказал он.— Слишком много.

— Я знаю, со мной всегда так. Вы заберете меня? Хоть в Мексику?

— Нет,— сказал Хуан.— Попробуйте — может, вам удастся немного помолчать.

Глава 17

Прыщ вынул из зажигания ключи и подошел к задку автобуса. Он отпер висячий замок на багажнике и поднял крышку. Пахло нежным запахом пирогов. Мистер Причард заглянул поверх его плеча. Багаж внутри был составлен плотно.

— Пожалуй, придется все вытащить, чтобы достать брезент, — сказал Прыщ и начал дергать стиснутые чемоданы.

— Погодите, — сказал мистер Причард. — Дайте, я приподыму, а вы тащите, тогда не надо будет трогать вещи.

Мистер Причард встал на бампер и потянул кверху нижний чемодан, а Прыщ стал дергать перегиб грубого брезента. Он дергал из стороны в сторону, и постепенно брезент вылез из-под чемоданов.

— Может, заодно прихватим пару пирогов, пока открыто? — предложил Прыщ. — Тут с малиновым и лимонным кремом, с изюмом и карамельно-кремовый. Кусочек карамельно-кремового в самый раз бы сейчас.

— Потом, — сказал мистер Причард. — Сперва устроим мою жену. — Он взялся за один край тяжелого брезента, Прыщ за другой — и пошли к обрыву с пещерами.

Это было вполне обычное обнажение. В давние времена склон холмика отвалился, и получилась гладкая стенка мягкого камня. Ветер и дождь постепенно выедали низ, а верхушку держал дерн. И с течением веков под нависающей стеной образовалось несколько пещер. Здесь койоты плодили щенков, сюда — в прежнее время, когда они еще водились, — забирался спать гризли. А в верхних пещерах днем сидели сычи.

Внизу обрыва были три глубокие темные пещеры, а над ними — пещеры поменьше. Нависшая стена защищала их входы от дождя. Пещеры были творением не одной природы — тут отдыхали и жили отряды индейцев, охотившихся на антилоп, кипели тут и забытые их битвы. Позже они служили пристанищем для белых людей, заповоливших страну, и люди расширяли пещеры и разводили костры под стеной.

Копоть на камне была где старая, где довольно свежая, а полы пещер сравнительно сухие, потому что этот холмик с обрушившимся склоном не принимал стока с других, высоких холмов. На стене кто-то выцарапывал свои инициалы, но камень был такой мягкий, что они вскоре делались неразборчивыми. Только большое слово «покайтесь» еще не сдалось непогодам. Бродячий проповедник спустился по веревке, чтобы написать это великое слово черной краской, и ушел, ликуя, что разносит слово божье по грешному миру.

Мистер Причард, держа свой край брезента, поднял взгляд на слово «покайтесь».

— Кому-то пришлось потрудиться, — сказал он, — крепко потрудиться.

«Интересно, кто финансировал это начинание? Какой-нибудь миссионер», — решил он.

С Прыщом они свалили брезент под стеной и пошли осматривать пещеры. Норы были мелкие и почти одинаковые: метра полтора в высоту и в ширину, три с половиной — четыре в глубину. Мистер Причард выбрал крайнюю справа, потому что она казалась посуше, а внутри — чуть потемнее. Раз у жены начинается головная боль, в темноте ей будет легче. Прыщ помог ему расстелить брезент.

— Хорошо бы раздобыть сосновых веток или соломы и подложить под парусину, — сказал мистер Причард.

— Трава мокрая, — сказал Прыщ, — а сосны не найдешь и за сто километров отсюда. Мистер Причард потер брезент ладонью — не грязный ли.

— Она может лечь на мое пальто, — сказал он, — а своим меховым накрыться. Подошли Эрнест с Ван Брантом и заглянули в пещеру.

— Мы могли бы жить тут месяц, если бы было что есть, — сказал Эрнест.

— Может, и придется, если хотите знать, — сказал Ван Брант. — Если шофер не вернется до завтрашнего утра, я пойду пешком. Хватит с меня глупостей.

Прыщ сказал:

— Если хотите, могу распатронить пару пирогов.

— А что, неплохая мысль, — ответил Эрнест.

— Вы какие любите? — спросил Прыщ.

— Да всякие.

— Карамельно-кремовый хорош. Там вместо корочки печенье.

— Ну и прекрасно,— сказал Эрнест.

Мистер Причард пошел к автобусу за женой. Ему было стыдно за недавнюю вспышку. В животе стоял твердый ком, всегда появлявшийся от неприятностей, ком наподобие кулака. Чарли Джонсон сказал, что у него, наверное, язва, и Чарли довольно забавно прошелся на этот счет. Он сказал: у тех, кто получает меньше двадцати пяти тысяч в год, не бывает язвы. Она признак солидного счета в банке, сказал Чарли. И бессознательно мистер Причард слегка гордился болью в животе.

Когда он влез в автобус, глаза у миссис Причард были закрыты.

— Мы постелили тебе кровать,— сказал мистер Причард.

Она открыла глаза и растерянно огляделась.

— О!

— Ты спала? — спросил он.— Напрасно я тебя разбудил. Прости меня.

— Нет, дорогой. Ничего страшного. Я только задремала.

Он помог ей подняться.

— Ты можешь лечь на мое пальто, а своим накрыться.

Ответом на это была слабая улыбка. Он помог ей сойти на землю.

— Извини меня за грубость, девочка,— сказал он.

— Ничего. Ты просто устал. Я знаю, что ты не со зла.

— Чтобы это искупить, я угощу тебя в Голливуде роскошным, сказочным обедом, ну хотя бы у Романова — и с шампанским. Согласна?

— Тебе нельзя доверить деньги,— игриво сказала она.— Все уже забыто. Мы просто устали. («Дорогая Эллен, мы прелестно пообедали у Романова, и ты ни за что не угадаешь, кто сидел за соседним столиком».) Смотри, дождь почти кончился.

— Нет, а моей девочке надо поспать, чтобы проснуться здоровой и веселой.

— Ты уверен, что там не сыро и нет змей?

— Нет, мы смотрели.

— И пауков нет?

— Да, никакой паутины там нет.

— Ну, а большие волосатые тарантулы? Ведь у них нет паутины.

— Мы можем еще посмотреть,— сказал он.— Стены гладкие. Им там негде спрятаться.— Он подвел ее к пещерке.— Видишь, как уютно? Ты можешь лечь головой сюда, повыше, и смотреть наружу, если захочешь.

Он расстелил свое пальто, и она села.

— Теперь ляг, а я тебя накрою.

Она была очень послушна.

— Как у моей девочки головка?

— Ничего, я боялась, что будет хуже.

— Это хорошо,— сказал он.— Сосни немного. Тебе уютно?

Она издала тихий сладкий стон.

— Если тебе что-нибудь понадобится, позови. Я буду близко.

К пещере подошел Прыщ. Рот у него был набит, и он нес форму с пирогом.

— Хотите кусочек пирога?

Миссис Причард подняла голову, потом передернулась и опять легла.

— Нет, спасибо,— сказала она.— Очень любезно с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили, но пирог — не могу.

«Элиот обращался со мной как с королевой, Эллен. Многие ли способны на это после двадцати трех лет совместной жизни? Не устаю напоминать себе, как мне повезло».

Мистер Причард посмотрел на нее сверху. Глаза у нее были закрыты, на губах легкая улыбка. Вдруг, как это часто бывало, на него напала тоска одиночества. Он помнил, ясно помнил, как она возникла первый раз. Ему было пять лет, когда родилась младшая сестра, — и вдруг все двери перед ним закрылись и он не мог войти в детскую, не мог дотронуться до ребенка, и тогда появилось чувство, что он — маленький грязнуля, шумный и вехоробий, а его мама всегда занята. И тогда навалилось на него холодное одиночество, холод одиночества, который напал и потом и вот напал опять.

Легкая улыбка на лице жены означала, что Бернис удалилась от мира в свои покои, а ему туда входа нет.

Он вынул из кармана золотой приборчик, открыл его и, отходя от пещеры, почистил ногти. Он увидел Эрнеста Хортон, который сидел спиной к обрыву с другого края. Верхняя пещера была у него над головой. Эрнест сидел на газетах, и, когда подошел мистер Причард, он вытащил из-под себя двойной лист и протянул ему.

— Самая нужная вещь на свете, — сказал он. — Годится для чего угодно, кроме чтения.

Мистер Причард со смешком взял газету и сел на нее рядом с Эрнестом.

— Если ты прочел это в газете, значит, это неправда, — процитировал он Чарли Джонсона. — Вот вам, пожалуйста. Два дня назад я жил в номере люкс гостиницы «Окленд», а сейчас мы в пещере. Вот чего стоят наши планы.

Он посмотрел на автобус. В окнах он увидел Прыща и обеих женщин, они ели пирог. Его потянуло к ним. Он бы съел кусок пирога. Эрнест сказал:

— Что чего стоит, непременно выясняется. Иногда мне просто смешно. Знаете, считается, что мы технический народ. Каждый водит машину, пользуется холодильником и радио. Люди, пожалуй, действительно думают, что у них технический ум, но засорись у вас карбюратор, и... машина так и будет стоять, покада не придет механик и не вынет сетку. Свет перегорит — зови электрика менять пробки. Лифт застрянет — паника.

— Ну, не знаю, — возразил мистер Причард. — В общем и целом американцы все же технический народ. Наши предки неплохо управлялись и сами.

— Они-то управлялись. Да и мы бы тоже, если бы нужда была. Можете вы отрегулировать опережение у себя в моторе?

— Я...

— Пойдем дальше, — сказал Эрнест. — Положим, вам пришлось остаться здесь на две недели. Сумеете вы не умереть с голоду? Либо схватите воспаление легких и умрете.

— Видите ли, — сказал мистер Причард, — теперь люди специализируются.

— Сумеете убить корову? — не отставал Эрнест. — Сумеете освежевать ее и зажарить?

Мистер Причард почувствовал, что этот молодой человек вызывает у него раздражение.

— По стране бродит какой-то цинизм, — резко сказал он. — Мне кажется, молодежь перестала верить в Америку. У наших предков была вера.

— Нашим предкам надо было кушать, — сказал Эрнест. — Им верить было некогда. Теперь люди много не работают. Им есть когда верить.

— Но веры у них нет! — вскричал мистер Причард. — Что в них вселилось?

— Интересно, — сказал Эрнест. — Я даже пробовал разобраться. У моего отца было две веры. Одна — что честность так или иначе вознаграждается. Он думал, что, если человек честен, он как-нибудь выдюжит, и думал, что, если человек хорошо трудится и откладывает, он может накопить немного денег и не страшиться завтрашнего дня. Нефтяной скандал двадцать второго года и прочие такие дела просветили его насчет первого, а тысяча девятьсот тридцатый просветил насчет второго. Он уяснил, что самые почитаемые люди — совсем не честные. И умер в недоумении — страшноватом, между прочим, недоумении: во что он верил — в честность и усердие — они себя не оправдали. А я вдруг смекнул, что вместо них-то ничего другого не придумано.

Мистер Причард не допустил до себя эту мысль.

— Налоги подтачивают усердие, — сказал он. — Было время, когда человек мог сколотить состояние, теперь — не может. Все отбирают налоги. Просто работаешь на правительство. Я вам говорю: они под корень режут инициативу. Никто ни к чему не стремится.

— Да не так уж важно, на кого работаешь, если веришь, — сказал Эрнест. — На правительство или на кого-нибудь другого.

Мистер Причард перебил:

— Солдаты, пришедшие с войны, — сказал он, — вот кто меня беспокоит. Они не хотят осесть и взяться за работу. Считают, что правительство обязано кормить их всю жизнь, а нам это не по средствам.

На лбу у Эрнеста выступили капли пота, вокруг губ побелело, взгляд сделался мутным.

— Я тоже оттуда,— тихо сказал он.— Нет-нет, не беспокойтесь. Рассказывать про это не буду. Не собираюсь. Не желаю.

Мистер Причард сказал:

— Нет, конечно, я глубоко уважаю наших солдат и считаю, что к их голосу тоже надо прислушаться.

Пальцы Эрнеста подползли к петле в ладкане.

— Ну да,— сказал он,— ну да, я понимаю.— Он говорил как будто с ребенком.— Я читаю в газетах про наших лучших людей. Наверно, они наши лучшие люди, раз занимают главные места. Я читаю, что они говорят и делают, а у меня полно приятелей, которых вы назовете ханьгами, и между ними страшно мало разницы. Кое-кто из ханьг, я слышу, выдает тексты почище, чем государственный секретарь... А ну их к черту! — Он засмеялся.— У меня есть изобретение: резиновый барабан, а бьешь в него губкой. Это для алкоголиков, которые хотят играть в оркестре на ударных. Пойду пройдуся.

— У вас нервы,— сказал мистер Причард.

— Ага, нервы,— сказал Эрнест.— У всех нервы. И вот что скажу. Если у нас опять будет война, знаете, что самое ужасное? Я опять пойду. Вот что самое ужасное.

Он встал и пошел прочь, назад, в ту сторону, откуда ехал автобус. Голова у него была опущена, руки в карманах, ноги били дорожный гравий, и он стискивал губы и не мог остановиться. «Нервы у меня,— говорил он,— просто нервы. Больше ничего».

Мистер Причард смотрел ему вслед, потом опустил глаза на руки, снова вынул машинку для ногтей и почистил ногти. Мистер Причард был потрясен и не понимал чем. При всем его пессимизме относительно правительства, вмешивающегося в коммерцию, в глубине души у мистера Причарда всегда жила большая надежда. Есть где-то человек — такой, как Кулидж или Гувер,— он явится и вырвет правительство из рук нынешних дураков, и тогда дело пойдет на лад. Забастовки прекратятся, все будут зарабатывать деньги и все будет счастливы. До этого рукой подать, мистер Причард не сомневался. У него и в мыслях не было, что изменился мир. Мир просто наделал ошибок, но явятся нужные люди — скажем, Боб Тафт,— и все станет на места и дурацкие эксперименты кончатся.

Но молодой человек тревожил его, потому что это способный молодой человек, а живет с ощущением безнадежности. И хотя такого разговора не было, мистер Причард знал, что Эрнест Хортон не проголосовал бы за Боба Тафта, если бы его выдвинули. Мистер Причард, как большинство его соратников, верил в чудеса, но он был глубоко потрясен. Хортон не нападал на мистера Причарда, но... это, насчет карбюратора. Перед мысленным взором мистера Причарда изобразился карбюратор. Сумел бы он его разобрать? Он смутно помнил, что в карбюраторе есть какой-то поплавков, и ему рисовалась латунная сетка и прокладки.

«Однако можно было бы подумать и о более важных предметах»,— напомнил он себе. Хортон сказал «если свет погаснет»... Мистер Причард попробовал вспомнить, где у него в доме щиток с пробками,— и не смог. Хортон на него нападал. Хортон его невзлюбил. А что, если они будут отрезаны, как сказал этот молодой человек?

Мистер Причард закрыл глаза и очутился в автобусе, в проходе между сиденьями. «Не волнуйтесь,— обратился он к остальным пассажирам,— я все беру на себя. Как вы догадываетесь, не обладая определенными способностями, я не создал бы крупное коммерческое предприятие. Давайте рассуждать,— сказал он.— Прежде всего нам нужна пища. Тут на поле пасутся коровы». А Хортон сказал, что он не сумеет убить корову. Ничего, он ему покажет. Может быть, Хортон не знал, что в ящичке у шофера — пистолет. А мистер Причард знал.

Мистер Причард вытащил пистолет. Он вылез из автобуса, пошел к полю и перелез через забор. Он держал в руке большой черный пистолет. Мистер Причард часто ходил в кино. Сама собой его мысль заработала напыльями. Он не увидел, как убивает корову и свежует ее, зато увидел, как возвращается к обрыву с громадным куском красного мяса. «Вот вам пища,— сказал он.— Теперь — костер». И снова дал напыль: пляшет огонь в костре и большой кусок мяса на вертеле над жаром.

А Камила говорит: «Но что с животным? Оно же чье-то».

Мистер Причард отвечает: «Целесообразность не признает законов. Закон выживания — прежде всего. Кто потребует, чтобы я позволил вам голодать?»

И вдруг — опять напльв, и он тряхнул головой и открыл глаза. «Этого не касайся,— шепнул он себе.— От этого подальше». Где он ее видел? Если бы удалось немного с ней поговорить, он бы припомнил. Он не мог ошибиться, он был уверен в этом, потому что при виде ее лица у него как-то сжималось в груди. Он не только видел ее — что-то еще, должно быть, произошло. Он посмотрел на автобус. Прыщ и обе женщины по-прежнему сидели внутри.

Он поднялся на ноги, отряхнул сзади брюки, словно газета не предохраняла от пыли. Дождь едва моросил, и на западе проглядывало клочками голубое небо. Все будет в порядке. Он подошел к автобусу и поднялся по ступенькам. Ван Брант растянулся на заднем сиденье, занимавшем всю ширину автобуса. Ван Брант как будто спал. Прыщ и женщины разговаривали тихо, чтобы не потревожить его.

— От жены мне надо, чтобы она была верной,— говорил Прыщ.

— А сам ты? — спросила Камилла.— Тоже собираешься быть верным?

— Конечно,— сказал Прыщ,— если жена будет, какая мне нужна.

— Ну а если нет?

— Тогда я ей тоже покажу. Как вы с нами, так и мы с вами — как Кери Грант в этом кино.

Пустая форма из-под пирога и вторая, уже только с четвертушкой, лежали на сиденье по другую сторону от прохода. Женщины сидели вместе, а Прыщ — перед ними, боком, свесив руку за спинку.

При появлении мистера Причарда все повернулись к нему.

— Не возражаете, я присяду? — спросил он.

— Ну конечно, заходите,— сказал Прыщ.— Съедите кусочек пирога? Вот тут кусок лежит.— Он протянул пирог мистеру Причарду и сдвинул пустые формы, чтобы освободить ему место.

— У вас есть девушка? — продолжала Камилла.

— Ну, можно сказать, да. Но она... ну... как бы сказать, глуповата.

— Она вам верна?

— Конечно,— сказал Прыщ.

— Откуда вы знаете?

— Ну, ни разу не... короче... ага, я уверен.

— Мне кажется, вы скоро женитесь,— шутливо сказал мистер Причард,— и сами откроете дело.

— Нет, пока нет,— сказал Прыщ,— я учусь заочно. У радара большое будущее. За год можно подняться до семидесяти пяти долларов в неделю.

— Да что вы говорите?

— Там ребята, которые кончили эти курсы, они пишут, что столько зарабатывают,— сказал Прыщ.— Один уже заведует районным отделением — всего через год.

— Районным отделением чего? — спросил мистер Причард.

— Просто районным отделением. Так он пишет в письме, а оно напечатано в рекламе.

Настроение у мистера Причарда исправилось. Вот молодой человек к чему-то стремится. Не все циники.

Камилла поинтересовалась:

— Когда вы думаете пожениться?

— Ну, не сейчас ещё,— сказал Прыщ.— Я думаю, до того как обзаводиться семьей, надо повидать мир.— Поглядеть, поездить. Может быть, устроюсь на корабль. Если знаешь радар, так ведь и радио знаешь. Я думаю, неплохо было бы устроиться на корабль и поплавать радистом.

— А когда вы рассчитываете кончить курсы? — спросил мистер Причард.

— Занятия скоро начинаются. Талон у меня уже оформлен, теперь коплю на взнос. Испытание я прошел — написали, что у меня большие способности. У меня три или четыре письма оттуда.

Глаза у Камиллы были усталые. Мистер Причард смотрел на ее лицо. Он знал, что очки скрывают его взгляд. Он думал, что, если присмотреться к ней поближе, у нее очень приятное лицо. Губы такие полные и добрые, только глаза усталые. «Всю доро-

гу из Чикаго на автобусе, — подумал он. — С виду она не очень-то крепкая». Он видел, как круглятся ее грудь под жакетом, а жакет был мятый. Отложные манжеты блузки она завернула внутрь, чтобы не запачкались края. Мистер Причард это заметил. Это говорило об аккуратности. Он любил подмечать детали.

Девушку эту он ощущал почти как запах духов. Он ощущал подъем и влечение. Не часто же видишь таких девушек, таких привлекательных и милых, сказал он себе. И тут он услышал свой голос — а между тем и не думал, что собирается заговорить.

— Мисс Дубс, — сказал он, — я тут кое о чем подумал, и у меня возникла одна дельная мысль, которую вам, возможно, захочется выслушать. Я президент весьма крупной корпорации, и мне пришлось в голову... надеюсь, молодые люди извинят нас, если вам будет угодно выслушать мою мысль. Не пройтить ли нам к обрыву? Там можно сесть, у меня есть газеты. — Он изумился своим словам.

«Тьфу, нелегкая! — сказала про себя Камилла. — Поехало».

Мистер Причард вылез первым и галантно помог спуститься Камилле. Когда она перешагивала канаву, он поддержал ее под локоть, а потом мягко направил к расстеленным газетам, на которых сидел перед тем с Эрнестом. Он показал на землю.

— Не знаю, ей-богу, — сказала Камилла. — И так засиделась.

— Ничего, перемена позы — это тоже отдых, — ответил мистер Причард. — Знаете, когда я подолгу работаю за столом, я каждый час меняю высоту кресла и нахожу, что это прекрасно освежает.

Он помог ей сесть на газеты. Она прикрыла колени юбкой и, обхватив руками, подтянула к груди. Мистер Причард сел рядом. Он снял очки.

— Я вот что подумал, — сказал он. — Понимаете, человек моего положения должен смотреть вперед и рассчитывать. Сейчас формально я в отпуске. — Он улыбнулся. — Отпуск... интересно, что это будет такое — настоящий отпуск.

Камилла улыбнулась. Сидеть было очень жестко. «Долго ли это протянется?» — подумала она.

— Так вот, главное сырье у любой преуспевающей компании — люди, — сказал мистер Причард. — Я постоянно ищу людей. Сталь и резину можно получить когда угодно, но мозги, талант, красота, целеустремленность... это продукт редкий.

— Слушайте, дорогой мой, — сказала она, — я ужасно устала.

— Понимаю, милая, и перехожу к сути. Я хочу взять вас на работу. Проще, как жётся, сказать нельзя.

— Кем?

— Секретарем в приемной. Это весьма квалифицированный труд, и отсюда можно дорасти... словом, вы можете даже стать моим личным секретарем.

Камилла совсем сникла. Она оглянулась на пещеру, где лежала миссис Причард. Ничего не было видно.

— Что на это скажет ваша жена?

— Какое она имеет к этому отношение? Она моими делами не распоряжается.

— Дорогой мой, говорю вам, я устала. Не надо нам затевать эту канитель. Я хотела бы выйти замуж. Я была бы хорошей женой, да и так относилась бы хорошо к человеку, если бы он хоть на время обеспечил мне спокойную жизнь.

— Не понимаю, к чему вы клоните, — сказал мистер Причард.

— Да нет, понимаете, — сказала она. — Я вам не понравлюсь, потому что играть в ваши игры не буду. Вам бы подбираться к этому месяцами, а потом взять да огоршить, а я сижу почти без денег. Говорите, жена не распоряжается вашими делами, а я говорю — распоряжается. И вами, и вашими делами, и всем, что вас касается. Я не хочу вас обижать, но я устала. Она, наверно, подбирает вам и секретарш, только вы не догадываетесь. Это крутая женщина.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Да понимаете, — сказала Камилла. — Кто купил вам галстук?

— Но...

— Она узнает про меня через пять минут. Она-то? Нет, дайте мне досказать. Вы не можете попросить женщину напрямик. Вам надо подъезжать сбоку. Но есть только два пути, дорогой мой. Или вы влюбляетесь, или предлагаете сделку. Если бы вы сказали: «Значит, таким путем. Столько-то на квартиру, столько-то на тряпки» —

вот это я могла бы обдумать и могла бы решить, и могло бы что-то получиться. Но чтобы меня расклеивали по крошкам — не согласна. Вы что, хотели меня огоршить после двух-трех месяцев сидения за столом? Стара я для таких забав.

Мистер Причард выставил подбородок.

— Моя жена не распоряжается моими делами,— сказал он.— Не понимаю, откуда вы это взяли.

— Да бог с ней,— сказала Камилла.— Только я лучше налечу на гнездо гремучих змей, чем на вашу жену, если она меня невзлюбит.

— Меня несколько удивляет ваше отношение,— сказал мистер Причард.— У меня в мыслях не было ничего подобного. Я просто предложил вам место. Хотите — соглашайтесь, хотите — нет.

— Ах ты птичка! — сказала она.— Если вы себя так можете заморочить, упаси господь ваших девушек. Разве тут поймешь, откуда ветер дует.

Мистер Причард улыбнулся ей.

— Вы просто устали,— сказал он.— Может быть, когда вы отдохнете, вы подумаете. Воодушевления в его голосе уже не было, и у Камиллы отлегло от души. Она подумала, что, может быть, зря она так — уж больно легко с ним управиться: лапша. Лорейн скрутила бы его за день.

Теперь мистер Причард видел ее лицо по-другому. Он видел в нем черствость и дерзость, а вдобавок, сидя к ней так близко, видел всю косметику, как она положена, — и он чувствовал себя перед этой женщиной нагим. Его огорчало, что разговор принял такой оборот. Он думал, что если она согласится... ну, тогда он... тогда... Но беда в том, что она поняла. Правда, он никогда не назвал бы это... но, в конце концов, есть же такое понятие, как воспитанность.

Он был смущен и от смущения снова начал сердиться. Дважды рассердиться за день — это на него не похоже. Шея у него покраснела от злости. Надо как-то замаскировать. Из уважения к себе надо. Он заговорил решительно:

— Я просто предложил вам место. Не хотите — как хотите. Не понимаю, откуда этот вульгарный тон. В конце концов, есть такое понятие, как воспитанность.

Голос ее стал резким.

— Вот что, дядя,— сказала она,— грубить и я умею. Насчет воспитанности — это уже зря. Я вам растолкую. Вам показалось, что вы меня узнали. Состоите вы в каком-нибудь клубе вроде «Международного восьмиугольника», или в «Птицах мира», или в «Двух с половиной — трех тысячах»?

— Я в «Восьмиугольнике», — надменно произнес мистер Причард.

— Помните девушку, которая сидит в бокале? Видала я, на что вы, молодцы, похожи. Не знаю, что вам за радость от этого, и не желаю знать. Но знаю, что это некрасиво, дядя. Может, вы и разбираетесь в воспитании. Не знаю.— Голос у нее немного прерывался, и от усталости она была почти в истерике. Она вскочила на ноги.— Пойду-ка я пройдуся, а вы ко мне не приставайте, потому что я вас знаю и знаю вашу жену.

Она быстро ушла. Мистер Причард смотрел ей вслед. Глаза у него были широко раскрыты, а в груди — гнетущая тяжесть, вялый физический ужас. Он смотрел, как движется ее красивое тело, смотрел на ее красивые ноги — и мысленно видел ее раздетой: она стояла возле громадного бокала и вино красными струями стекало по ее животу, бедрам, ягодицам.

Рот у мистера Причарда был разинут, шея багровая. Он оторвал от нее взгляд и осмотрел свои руки. Он вынул золотую пилку для ногтей и снова засунул в карман. Голова у него закружилась. Он неуверенно встал и двинулся вдоль обрыва к пещерке, где лежала миссис Причард.

Когда он вошел, она открыла глаза и улыбнулась. Мистер Причард быстро лег рядом с ней. Он приподнял край ее пальто и залез под него.

— Ты устал, дорогой,— сказала она.— Элиот! Что ты делаешь? Элиот!

— Замолчи,— сказал он.— Слышишь? Замолчи! Ты жена мне или нет? Есть у человека право на жену?

— Элиот, ты с ума сошел! Кто-нибудь... кто-нибудь тебя увидит.— Она панически сопротивлялась.— Я тебя не узнаю,— сказала она.— Элиот, ты рвешь мне платье.

— Я его купил или нет? Мне надоело, что со мной обращаются, как с больным котенком.

Бернис тихо плакала от ужаса и отвращения.

Когда он ушел, она продолжала плакать, зарывшись лицом в мех. Постепенно плач прекратился, она села и выглянула наружу. Взгляд ее был свиреп. Она подняла руку и приставила ногти к щеке. Раз она провела ногтями для пробы, а потом закусила губу и рванула по щеке. Она почувствовала, как кровь сочится из царапин. Она опустила руку на пол, измазала ее в грязи и стала втирать грязь в окровавленную щеку. Кровь просачивалась сквозь грязь и текла по шее за ворот блузки.

Глава 18

Милдред вышла с Хуаном из конюшни и сказала:

— Смотрите, дождь перестал. Смотрите, солнце над горой. Будет чудесно.

Хуан улыбнулся.

— А знаете, у меня прекрасное настроение,— сказала она.— Прекрасное настроение.

— Конечно,— сказал Хуан.

— А у вас оно достаточно прекрасное, чтобы подержать мне зеркальце? В сарае ничего не было видно.— Она вынула из сумочки квадратное зеркальце.— Вот. Нет, чуть повыше.— Она быстро расчесала волосы, попудрила щеки и намазала губы. Она придвинулась к самому зеркальцу, потому что видела только вблизи.— Считаете, что для опозоренной девушки я веду себя легкомысленно?

— Обыкновенно себя ведете,— сказал он.— Вы мне нравитесь.

— И только? Не больше?

— Хотите, чтоб я врал?

Она засмеялась.

— Пожалуй, немного да. Нет, не хочу. И вы не возьмете меня в Мексику?

— Нет.

— Значит, это — все? Больше ничего не будет?

— Откуда я знаю? — сказал Хуан.

Она спрянула зеркальце и помаду в сумочку и разровняла помаду — губой о губу.

— Стряхните с меня солому, ладно?

Он стал отряхивать ее пальто ладонью, а она поворачивалась.

— А то,— продолжала она,— папа с мамой о таких вещах не знают. Уверена, что и меня зачали непорочно. Мама меня посадила — луковица номер один — до заморозков и присыпала меня землей, песком и навозом.— Голова у нее шла кругом.— В Мексику нельзя. А что мы будем делать?

— Вернемся, вытащим автобус и поедем в Сан-Хуан.— Он пошел к воротам старой фермы.

— Можно взять вас ненадолго за руку?

Он посмотрел на руку с отрезанным пальцем и стал переходить на другую сторону, чтобы дать ей целую.

— Нет,— сказала она,— мне эта нравится.— Она взяла его за руку и погладила пальцем гладкий конец обрубка.

— Не надо,— сказал он.— Это действует мне на нервы.

Она крепко сжала его руку.

— И очки можно не надевать,— сказала она.

Склоны на востоке горели и золотились от заходящего солнца. Хуан и Милдред повернули направо и стали подниматься к автобусу.

— Ответьте мне на один вопрос в... ну, в уплату за мое распутство?

Хуан засмеялся.

— Какой вопрос?

— Зачем вы сюда пришли? Думали, что я пойду за вами?

— Хотите правду или словами поиграть? — спросил он.

— Вообще мне и то и другое нравится. Впрочем, нет... пожалуй, сперва правду.

— Я сбежал,— сказал Хуан.— Хотел удрать в Мексику и скрыться, а пассажиров бросить на произвол судьбы.

— Да? А почему не сбежали?

— Не знаю,— сказал он.— Не заладилось. Дева Гвадалупская меня подвела. Я думал, что надул ее. Она не любит надувательства. Подрезала этому делу крылышки.

— Вы сами в это не верите,— с чувством сказала она.— Я тоже не верю. А настоящая причина?

— Чего?

— Почему вы пришли на старую ферму.

Хуан продолжал шагать и вдруг расплылся в улыбке; шрам на губе сделал улыбку кривоватой. Он посмотрел на Милдред, и взгляд его черных глаз был теплым.

— Я зашел сюда, потому что надеялся, что вы пойдете погулять, а тогда, я подумал, можно будет... вдруг удастся вас... залучить.

Она продела руку ему под локоть и сильно прижалась щекой к его рукаву.

— Хотела бы я, чтобы это еще немного продлилось,— сказала она,— но знаю, что нельзя. Прощайте, Хуан.

— Прощайте,— сказал он.

И они медленно пошли назад к автобусу.

Глава 19

Ван Брант лежал, вытянувшись на заднем сиденье автобуса. Глаза у него были закрыты, но он не спал. Голова его лежала на правой руке, и от тяжести правая рука затекла.

Когда Камилла вышла с мистером Причардом из автобуса, Прыщ и Норма замолчали.

Ван Брант прислушивался к тому, как растекается по жилам старость. Он почти ощущал шорох крови в своих бумажных артериях и слышал, как бьется сердце со скрипучим присвистом. Правая рука потихоньку немела, но его беспокоила левая рука. В левой руке у него осталось мало чувствительности. Кожа была невосприимчива, словно превратилась в толстую резину. Когда он был один, он тер и массировал руку, чтобы восстановить кровообращение, и, догадываясь, что с ней на самом деле, не хотел признаваться в этом даже самому себе.

Несколько месяцев назад он потерял сознание — всего на секунду, и врач, измерив ему давление, сказал, что главное — не волноваться, и все будет в порядке. А две недели назад произошло другое. Была электрическая вспышка в голове и в глазах, секундное ощущение как бы ослепительного бело-голубого света, и теперь он совсем не мог читать. Не из-за зрения. Видел он вполне хорошо, но слова на странице плыли и набегали друг на друга, извивались, как змеи, и он не мог разобрать, что они говорят.

Он очень хорошо понимал, что перенес два легких удара, но скрывал это от жены, а она скрывала от него, и врач скрывал от них обоих. И он ждал, ждал еще одного, того, который взорвется в мозгу, скрючит тело и если не убьет его, то сделает бесчувственным предметом. В ожидании этого он злился, злился на всех. Животная ненависть ко всем окружающим подкатывала к горлу.

Он перепробовал всевозможные очки. Пробовал читать газеты с лупой, потому что сам половиной сознания пытался скрыть от себя свою беду. Злоба теперь вспыхивала и прорывалась у него совершенно неожиданно, но самым ужасным для него было то, что иногда он непроизвольно начинал плакать и не мог остановиться. Недавно он проснулся рано утром с мыслью: «Почему я должен ждать этого?»

Отец его умер от того же самого, но перед смертью одиннадцать месяцев пролежал в постели как серый беспомощный червь, и все деньги, которые он копил на старость, ушли на врачей. Ван Брант понимал, что если такое случится с ним, восьми тысяч долларов, лежавших у него в банке, не будет и старуха жена, похоронив его, останется без гроша.

В тот день, как только открылись аптеки, он пошел в аптеку Бостона — к своему приятелю Милтону Бостону.

— Мне надо потравить белок, Милтон,— сказал он.— Дашь мне немного цианида, ладно?

— Это дьявольски опасная штука,— сказал Милтон.— Терпеть не могу его продавать. Может, я дам тебе стрихнина? Это будет ничем не хуже.

— Нет,— ответил Ван Брант,— я получил правительственный бюллетень с новой прописью, там цианид.

Милтон сказал:

— Ну ладно. Тебе, конечно, надо будет расписаться в книге ядов. Но осторожнее с этой дрянью, Ван. Осторожнее. Не оставляй ее где попало.

Они дружили много лет. Вместе вступили в Синюю ложу, были учениками, подмастерьями и по прошествии лет стали мастерами ложи Сан-Исидро; потом Милтон вошел в Капитул Королевской Арки и в Шотландский Обряд, а Ван Брант так и не поднялся выше третьей степени. Но они остались друзьями.

— Сколько тебе надо?

— С унцию, наверно.

— Это страшно много, Ван.

— Я принесу что останется.

Милтон не успокоился:

— Только не прикасайся руками, хорошо?

— Я умею с ним обращаться,— сказал Ван Брант.

Потом он пошел к себе в кабинет в цокольном этаже своего дома и острым пещинным ножом проколол тыльную сторону ладони. Когда выступила кровь, он открыл пробирку с кристаллами. И остановился. Не мог. Просто не мог высосать кристаллы на ранку.

Через час он отнес пробирку в банк и спрятал в свой абонированный сейф, где лежало его завещание и страховки. Ему пришло в голову купить маленькую ампулу и носить ее на шее. Тогда, если случится сильный, ему, может быть, удастся донести ее до рта, как делали эти люди в Европе. Но сейчас высосать — он не мог. Может быть, это и не случится.

Он носил в душе тяжесть разочарования и носил в душе злость. Злили его все люди вокруг, не собиравшиеся умирать. И еще одно его угнетало. Удар спустил с цепи некоторые его инстинкты. В нем вновь проснулись могучие вожделения. Его до удушья тянуло к молодым женщинам, даже девочкам. Он не мог оторвать от них глаз и мыслей и в самом разгаре болезненных своих фантазий вдруг разражался слезами. Он боялся, как ребенок боится в чужом доме.

Он был слишком стар, чтобы приспособиться к изменению личности и к тому новому в естестве, что было порождено ударом. Он прежде не был охотником до чтения, но теперь, потеряв способность читать, изголодался по печатному слову. И характер у него делался все более вздорным и вспыльчивым, так что даже старые знакомые начинали его избегать.

Он слушал, как топится в жилах время, и хотел, чтобы пришла смерть, и боялся ее. Сквозь прикрытые веки он видел, как золотой свет заката заливает автобус. Его губы слегка зашевелились, и он сказал: «Вечер, вечер, вечер». Слово было очень красивое, и он слышал, как посвистывает у него в сердце. Сильное чувство овладело им, расперло грудь, расперло горло, застучало в голове. Он подумал, что опять расплачет. Он попробовал сжать правую руку, но она онемела и не сжималась.

А потом он окаменел от напряжения. Тело, казалось, раздувается, как резиновая перчатка. Ворвался вечерний свет. В мозгу выросла страшная мигающая вспышка. Он почувствовал, как валится, валится в потемки, в черноту, в черноту...

Солнце село на западный холм, сплющилось, и свет его был желтым и чистым. Напоенная долина блестела под косым светом. Прозрачный промытый воздух был свеж. На полях поникшая пшеница и толстые оцепенелые стебли овсяга подтянулись, свернувшиеся лепестки золотых маков чуть раздались. Желтая речная вода бурлила и вертелась в бучилах и остервенело грызла берега. На заднем сиденье автобуса захлебывался храпом Ван Брант. Лоб у него был мокрый. Рот был открыт, глаза тоже.

Глава 20

Прыц пересел к Норме, а она грациозно подобрала юбку и отодвинулась к окну.

— Как по-твоему, чего этот старикан хочет от девушки? — подозрительно спросил он.

— Не знаю,— сказала Норма.— Одно тебе скажу. Она себя в обиду не даст. Она замечательная девушка.

Прыщ сказал:

— Ну, не знаю. Есть и кроме нее замечательные девушки.

Норма вспыхнула.

— Кто же, например? — спросила она иронически.

— Ты, например, — сказал Прыщ.

— Вот как! — Она этого не ожидала. Она опустила голову и стала смотреть на свои сморщенные пальцы, стараясь овладеть собой.

— С чего ты вдруг взяла и уволилась? — спросил Прыщ.

— Миссис Чикой плохо ко мне относилась.

— Я знаю. Она ко всем плохо относится. Жалко, что ты ушла. Мы бы с тобой могли подружиться.

Норма не ответила. Прыщ предложил:

— Если скажешь, я притащу пирог с изюмом. Они довольно вкусные.

— Нет. Нет, спасибо. Подумать о еде не могу.

— Тошнит?

— Нет.

— Вообще, если бы ты вернулась туда на работу, мы могли бы ездить на субботний вечер в Сан-Исидро — на танцы или еще куда.

— Раньше ты об этом не думал, — сказала она.

— А я не думал, что нравлюсь тебе.

В ней появилось лукавство. Это была восхитительная игра.

— А почему ты думаешь, что теперь нравишься? — сказала она.

— Ну, ты теперь другая. Вроде изменилась. Мне нравится твоя прическа.

— А-а, это, — сказала она. — Да там, в закуской, вроде как незачем прихорашиваться. Кто меня увидит?

— Я, — галантно сказал Прыщ. — Давай назад. Тебя возьмут обратно. Гарантирую.

Она покачала головой.

— Нет, когда я ухожу — я ухожу. Обратного не приползу. А кроме того, пора подумать о будущем. У нас есть планы.

— Какие планы?

Норма заколебалась, стоит ли рассказывать. С одной стороны, можно слгзнить — но удержаться она не могла.

— У нас будет квартира с красивым диваном и радио. Будет плита, холодильник, и я буду учиться на сестру. — Ее глаза сияли.

— Кто это «мы»?

— Мы с мисс Камиллой Дубс, вот кто. Когда я стану сестрой, у меня будет на что одеваться, мы будем ходить в театр и, может быть, принимать друзей.

— Ерунда, — сказал он. — Не будет этого.

— Почему ты так говоришь?

— Не будет, и все. Слушай, чего ты не вернешься к Чикоям? Я изучаю радар, а там уйдем вместе и, кто его знает, может, и сойдемся. Ведь девушке — ей же хочется замуж. Я парень молодой. Ну а... это... парню хорошо иметь жену. Это делает его вроде... целеустремленным.

Норма посмотрела ему в глаза серьезным вопросительным взглядом — не смеется ли он над ней. И была в ее взгляде такая прямота, что Прыщ неверно истолковал его и смущенно отвернулся.

— Понятно, — сказал он с горечью. — По-твоему, нельзя встречаться с парнем, у которого такая штука. Я все делал. Больше сотни истратил на врачей и разную аптечную дрянь. Все без толку. Один врач говорит, они пройдут. Говорит, годика через два исчезнут. Только не знаю, правда ли. Ну и давай, — сказал он со злостью, — устраивай себе квартирку. Я, может, такие развлечения знаю, какие тебе не снились. Нечего ставить из себя. — Голос у него был совершенно подавленный и он глядел себе на колени.

Норма посмотрела на него с удивлением. Ни в ком, кроме себя, не предполагала она такой жалкой боли. Никто еще не искал у Нормы сочувствия и поддержки. Пузырек тепла наклонился у нее внутри — и какая-то благодарность. Она сказала:

— Ты так не думай. Нельзя так думать — если ты девушке небезразличен, она

так думать не будет. Врач знал, что говорит. Я знала трех молодых ребят, у них это потом прошло.

Прыщ не поднимал головы. Он все еще был подавлен, но бесенок уже зашевелился. Он чувствовал, что преимущество переходит к нему, и начал им пользоваться — и это было вновь для него, это было открытие. Он всегда хвастался перед девушками, пегушился, а тут, оказывается; — так просто: Хитрый бесенок начал действовать.

— Это так доводит, что прямо не можешь, — сказал он. — Иногда думаю покончить с собой. — Он вынудил у себя всхлип.

— Нет, ты так не говори, — сказала Норма.

Для нее это было тоже новой ролью, но такой, наверно, для которой она годилась лучше всего.

— Никто меня не любит, — сказал Прыщ. — Никто меня знать не хочет.

— Не говори так, — повторила Норма. — Это неправда. Ты мне всегда нравился.

— Никогда я тебе не нравился.

— Нет, нравился. — Утешая его, она положила руку ему на локоть.

Он не глядя накрыл ее ладонью и прижал к себе. А потом его рука схватила руку Нормы и сжала пальцы, и Норма машинально ответила пожатием. Он повернулся, сгреб ее и сунулся к ней лицом.

— Не надо! — крикнула она. — Перестань.

Он обхватил ее еще крепче.

— Перестань, — сказала она. — Перестань же. Старик сзади.

Прыщ прошептал:

— Слышишь, храпит старый хрыч. Хоть из пушки стреляй. Не бойся, не бойся.

Она уперлась локтями ему в грудь. Руки Прыща цеплялись за ее юбку.

— Перестань, — шептала она. — Перестань, слышишь? — Теперь она поняла, что ее провели. — Перестань! Пусти меня!

— Ну давай, — ошалело говорил он. — Давай, ну пожалуйста. — Глаза у Прыща помутнели, и он возился с ее юбкой.

— Перестань, перестань, пожалуйста. А если... если войдет Камилла? Если увидит, что ты де...

Взгляд у Прыща на секунду прояснился. Он недобро уставился на Норму.

— Ну и войдет. Ну и увидит, проститутка несчастная, — а тебе не один черт?

Рот у Нормы раскрылся, руки ослабли. Она смотрела на него, не веря своим глазам. Смотрела так, как будто не расслышала. А затем — ярость ее была холодной и убийственной. Ее закаленные работой мускулы напряглись. Она вырвала руку и ударила его в зубы: Она вскочила на ноги и заработала обоими кулаками, а он был так ошарашен, что только закрывал лицо.

Она фырчала на него как кошка.

— Сопляк! — сказала она. — У-у, сопляк паршивый. — Она пинала и толкала его, выпихнула в проход, пробежала по проходу и выскочила вон. Он запутался ногами в ножках сидений и пытался перевернуться.

Норма чувствовала слабость и дурноту. Губы у нее дрожали, из глаз текло.

— Сопляк паршивый, — плакала она. — Сопляк паршивый, грязный. — Она перешагнула кювет, кинулась в траву и уткнулась лицом в руки.

Прыщ наконец встал и воровато выглянул в окно. Он совсем не знал, что теперь делать.

Камилла медленно возвращалась по дороге и увидела Норму, лежащую ничком. Она перешагнула канаву и наклонилась к ней.

— Что с тобой? Упала? Что случилось?

Норма подняла заплаканное лицо.

— Ничего, — сказала она.

— Встань, — коротко приказала Камилла. — Встань ты с мокрой травы. — Она рывком подняла Норму, подвела к обрыву и усадила на газетку. — Да что с тобой стряслось-то?

Норма утерла мокрое лицо рукавом и смазала остатки губной помады.

— Не хочу про это говорить.

— Ну, дело хозяйское, — сказала Камилла.

— Все Прыщ. Хватать меня начал.

— Ты что, постоять за себя не можешь? Сразу сырость разводять?

— Не из-за этого.

— А из-за чего же? — Камилле было, в общем, неинтересно. У нее хватало своих забот.

Норма терла пальцами красные глаза.

— Я его ударила, — сказала она. — Ударила потому, что он назвал вас проституткой.

Камилла отвернулась. Она смотрела на ту сторону долины, где за горами прягалось солнце, и терла щеку. Глаза у нее были потухшие. Потом она заставила их ожить, заставила их улынуться и с улыбкой обернулась к Норме.

— Слушай, детка, — сказала она. — Придется тебе принять это на веру, пока сама не убедишься: каждой случается в жизни быть проституткой. Каждой. И худшие проститутки — те, кто называет это иначе.

— Но вы же нет, — сказала Норма.

— Оставим это. Оставим. Давай-ка лучше займемся твоим личиком. Помада, конечно, ванны не заменит, но все же лучше, чем ничего.

Камилла раскрыла сумочку, порылась в ней и достала расческу.

Глава 21

Хуан ускорил шаги, и Милдред с трудом держалась рядом.

— Нам обязательно бежать? — спросила она.

— Гораздо легче будет откопать автобус, пока светло, чем ковыряться в потемках. Она попевала за ним рысдой.

— Вы надеетесь его вытащить?

— Да.

— Почему же вы сразу не попробовали, а ушли?

Хуан замедлил шаги.

— Я же сказал вам. Два раза сказал.

— А-а, ну да. Значит, это было всерьез?

— Я всегда говорю всерьез, — ответил Хуан.

Они пришли к автобусу, когда солнце уже скользнуло за хребет. Верхние облака все еще были розовыми и розовой прозрачностью обливали землю и холмы.

Прыщ шмыгнул из-за автобуса навстречу Хуану. В его повадке было какое-то враждебное подобоострастие.

— Когда они выезжают? — спросил он.

— Никого не нашел, — лаконично ответил Хуан. — Придется самим. Мне нужна помощь. Куда они, к чертям, подевались?

— Разбрелись, — сказал Прыщ.

— Ладно, внимай брезент.

— Там дама на нем спит.

— Ладно, подними ее. Нужны камни, если сможешь найти, и нужны доски для столбы. Придется, наверно, разобрать забор. Но колючую проволоку оставь, скот разбьется. И вот что, Прыщ...

Рот у Прыща открылся, плечи повисли.

— Вы обещали...

— Собери всех мужчин. Мне понадобится помощь. Я возьму большой домкрат под задним сиденьем.

Хуан влез в автобус. Внутри уже было темно. Он увидел, что на сиденье лежит Ван Брант.

— Вам придется встать, я хочу взять домкрат, — сказал Хуан.

Вдруг он наклонился ниже. Глаза у старика были открыты и закатились, шумный натужный храп рвался из его глотки, в углах рта собралась слюна. Хуан перевернул его на спину, язык у старика запал в горло и преградил путь воздуху. Хуан залез в его открытый рот пальцами и оттянул язык вперед и вниз. Он крикнул: «Прыщ! Прыщ!» — и свободной рукой, золотым обручальным кольцом, постучал в стекло.

Прыщ влез в автобус.

— Он заболел, черт побери. Позови кого-нибудь. Посигналь.

Сменить их пришлось мистеру Причарду. Ему это было отвратительно, но отказаться он не мог. Хуан отрезал короткую палочку и показал ему, как придерживать западавший язык, уперев палочку в небо, чтобы старик не задохнулся. Мистеру Причарду был омерзителен вид больного, и от кислого запаха, выходявшего с тяжелым дыханием, его мутило. Но отказаться он не мог. Он не хотел ни о чем думать. Его ум желал выключиться. Все его существо поминутно скручивалось от ледящих мыслей. В автобус вошла его жена и, увидев его, села на первое место у двери — как можно дальше от него. И даже в сумерках он разглядел царапины и кровь у нее на воротнике. Она с ним не разговаривала.

Он мысленно сказал: «Я, наверно, был невменяем. Не понимаю, как я мог это сделать. Дорогая, ну почему ты не можешь подумать, что я был болен, не в своем уме?» Он сказал это в своем уме. Он подарит ей маленькую оранжерейку — и не такую уж маленькую. Он построит ей лучшую оранжерейку на свете. Но долгое время об этом нельзя будет даже заговорить. И путешествие в Мексику — им надо пережить его. Оно будет ужасным, но им надо пережить его. И долго ли не исчезнет из ее глаз это выражение — обида, укор, упрек? Несколько дней она не будет разговаривать — это он знал, а если и будет, то безкоризненно вежливо: краткие ответы, мягкий голос и ни одного взгляда в глаза. «О господи, — подумал он, — как меня в такое заносит? Почему не я здесь лежу умираю, а этот старик? Ему уже никогда не придется переживать такое».

Он почувствовал, что под машиной начали работать люди. Он услышал, как воткнулась лопата и хлопнула грязь, услышал, как бросили камень под колесо. Жена сидела подобрившись, и на губах ее была терпеливая улыбка. Он еще не знал, какой оборот она придаст положению, но все в ее руках.

Его жене было грустно, и она говорила себе: «Не нужно злых мыслей. Если Элиот поддался низменному, это вовсе не значит, что я должна забыть о своем благородстве и великодушии». В груди трепыхнулось торжество. «Я победила гнев, — прошептала она, — и победила отвращение. Я способна простить его, я знаю, что способна. Но ради него же я не должна торопиться с этим — ради его же блага. Я должна выждать». Лицо ее было преисполнено достоинства и обиды.

У автобуса Прыщ творил чудеса силы и доблести. Его двухцветные штiblеты погибали в грязи. Он губил их почти намеренно. Слои грязи налип на его шоколадные брюки. Он надругался над своим красивым костюмом. Он вонзал лопату в землю, оканывая колеса сзади и с боков, и отшвыривал грязь. Он стал на грязь коленями, чтобы рыть руками. Его волчьи глаза горели от труда, и на лбу выступил пот. Он украдкой поглядывал на Хуана. Хуан забыл — и как раз тогда, когда Прыщ особенно в нем нуждался. Прыщ втыкал лопату в землю с порывисто-бурной силой.

Эрнест Хортон взял кирку и перешагнул через канаву. Он снял дерн, корни, слой почвы и наткнулся на то, что искал. Каменные обломки некогда обвалившегося холма. Он выковыривал камни и складывал на траве возле ямы. К нему подошла Камилла.

— Я помогу вам носить.

— В грязи измажетесь, — сказал Эрнест.

— Думаете, я могу стать грязнее, чем сейчас? — спросила она.

Он опустил кирку.

— Не хотите дать мне телефон? Я бы вас сводил куда-нибудь.

— Я правду сказала. Я пока нигде не живу. У меня нет телефона.

— Как знаете, — сказал Эрнест.

— Да нет, честно. Где вы остановитесь?

— В «Голливуд-Плазе», — сказал Эрнест.

— Хорошо, если будете в вестибюле послезавтра около семи, я, может быть, зайду.

— Годится, — сказал Эрнест. — Пойдем обедать к Муссо-Франку.

— Я не сказала, что приду. Я сказала — может быть. Не знаю, какое еще будет настроение. Если не появлюсь, не швыряйте часы об стенку. Я уже не соображаю что к чему — до того укаталась.

— Годится, — сказал Эрнест. — Поторчу до половины восьмого.

— Вы молодец, — сказала Камилла.

— Лопух как лопух,— сказал Эрнест.— Большие не поднимайте. Я отнесу. Берите маленькие.

Она взяла в обе руки по камню и отправилась к автобусу.

Хуан подошел к старой изгороди и стал вытаскивать столбы. Он вышатнул восемь штук, но через один, чтобы не упала колючая проволока. Он отнес столбы и пошел за новыми.

Розовая заря бледнела, и на долину спускались сумерки. Хуан опер домкрат на столб, подвел его под полку обода и стал поднимать автобус с одного бѳка. По мере того как колесо поднималось в яме, Прыщ наталкивал под него камни.

Хуан переставил домкрат, покачал еще, и постепенно одна сторона автобуса поднялась из грязи. Хуан перенес домкрат на другую сторону и стал вывешивать другое колесо. Эрнест выкапывал камни, а Камилла с Нормой носили их к канаве.

Милдред сказала:

— А мне что делать?

— Уложите поплотнее этот столб, пока я схожу за другим рычагом,— сказал Хуан.

Он работал наперегонки с темнотой. Лоб у него блестел от пота. Прыщ, коленями в грязи, бутыл яму под колесом, и другая сторона автобуса поднималась над кюветом.

— Поднимем с запасом,— сказал Хуан,— чтобы не переделывать снова. Я хочу уложить столбы под колеса.

Кончили уже в потемках. Хуан сказал:

— Надо, чтобы все подтолкнули, когда я тронусь. Если хоть метр сделаем — все в порядке.

— Как там дальше дорога? — спросил Прыщ.

— Мне показалось — ничего. Ого! Дал ты жизни своему костюму.

Лицо у Прыща осунулось от разочарования.

— Подумаешь, костюм,— сказал он.— Что от него толку? — Голос был такой убитый, что Хуан уставился на него в полутьме.

Губы Хуана нехотя разошлись в улыбке.

— Я сяду за руль, а тебе придется покомандовать здесь, Кит. Заставь их навалиться, когда я тронусь. Ты знаешь, что делать. Командуй здесь, Кит.

Прыщ швырнул лопату.

— Все сюда! — закричал он.— Все сюда, а ну нажмем! Я стану справа. Девушки тоже. Все взялись!

Он выстроил людей позади автобуса. На секунду он задержал алчный взгляд на миссис Причард. «Пожалуй, будет только мешаться»,— решил он.

Хуан забрался в автобус.

— Вылезайте толкать,— велел он мистеру Причарду.

Мотор завелся легко. Хуан дал ему несколько секунд поработать. Потом включил первую скорость, дважды стукнул по борту и услышал, как Прыщ два раза стукнул в ответ по задней стенке. Он чуть прибавил газу и стал отпускать сцепление. Колеса пошли, пробуксовали, рыкнули, пошли, и «Любимая», пьяно переваливаясь по каменной колее, выползла на дорогу. Хуан отъехал по дороге от лужи и потянул ручной тормоз. Он встал и выглянул в дверь.

— Кидайте инструменты прямо на пол,— сказал он.— Давайте, поехали.

Он включил фары, и лучи осветили гравийную дорогу до самой макушки маленького холма.

Глава 22

Хуан очень медленно въехал на вершину и повел автобус вниз по изрытому водой гравию, мимо покинутого дома. На повороте его фары ухватили безглазый дом, сломанный ветряк, конюшню.

Ночь была совсем черна, но повеял новый ветерок, неся семенной запах трав и пряный — люпина. Фары бурили ночь над дорогой, и мелькала сова, то влетая в свет, то вылетая. Далеко впереди перебегал дорогу кролик; он поглядел на фары, вспыхнул красным его глаза, и он соскочил в канаву.

Хуан вел автобус на второй скорости, держа размытую водой колею между колесами. В автобусе было темно, лишь щиток светился. Хуан кинул взгляд на Деву.

«Я прошу только об одном,— сказал он про себя.— От того я отказался, но сделай одолжение, пусть она будет трезвой, когда я вернусь».

Миссис Причард уже сидела не так прямо. Голова ее качалась от толчков автобуса, и она мечтала. Она одета в... во что... что на ней будет? Что-нибудь светлое. Должно быть белое. И она водит Эллен по своей оранжерейке «Тебя удивляет, что я оставила несколько пурпурных орхидей? — спрашивает она у Эллен.— Ведь у всех есть родственники, которым нравятся пурпурные. Даже у тебя, Эллен,— ты не станешь отрицать. Зато посмотри сюда. Они как раз распускаются — прелестные коричневые и зеленые. Элиот выписал их из Бразилии. Они растут за тысячу километров от устья Амазонки».

На полу автобуса кирка лягала о лопату. Прыщ нагнулся к Хуану:

— Я могу сменить вас, мистер Чикой. Вы устали. Давайте я поведу.

— Нет, спасибо, Кит, с тебя хватит.

— Да я не устал.

— Ничего,— сказал Хуан.

Милдред видела профиль Хуана на фоне освещенной дороги. «Интересно, насколько мне удастся растянуть этот день. Как мятную жвачку. Надо держаться за сегодня, покуда не выпадет другой день, такой же хороший».

В шуме и тряске автобуса мистер Причард ловил ухом дыхание Ван Бранта. Он едва различал его лицо на сиденье. Мистер Причард обнаружил в своей душе ненависть к этому человеку за то, что он умирает. Он с удивлением анализировал свою ненависть. Он понял, что мог бы с легкостью задушить этого человека и жить дальше. «Что же я за тварь? — воскликнул он.— Откуда во мне эти твари? Или я схожу с ума? Может быть, я переутомился? Может быть, это нервное расстройство?»

Он наклонился к больному — не нарушилось ли у него дыхание. Сильная ссадина будет у него на небе, куда упирается палочка. Он услышал движение за спиной и увидел, что Эрнест Хортон пришел назад и сел рядом.

— Сменить вас?

— Нет,— сказал мистер Причард.— Пока, кажется, все в порядке. Как вы думаете, что с ним?

— Удар,— сказал Эрнест.— Я не хотел на вас набрасываться. Нервы расшались.

— Такой уж день,— ответил мистер Причард.— Когда все скверно, моя жена говорит: «Ничего, пройдет время, и это покажется нам смешным».

— Что ж, хорошо так смотреть на вещи, если можешь,— сказал Эрнест.— Если надумаете мне позвонить, я буду в «Голливуд-Плазе». А то попробуйте вечером на квартиру — я вам дал номер.

— Боюсь, не сумею выкроить время,— сказал мистер Причард.— А все же вы бы заглянули как-нибудь на завод. У нас может получиться дело.

— А что — может,— сказал Эрнест.

Норма сидела теперь у окна, Камилла рядом с ней. Норма облокотилась на подоконный выступ и глядела в порхающую темень. Над западными горами вокруг широкой черной тучи чуть серел еще ободок неба; потом, когда туча ушла, оттуда выглянула вечерняя звезда, ясная, умытая, немигающая. «В небе первую звезду ранним вечером найду, загадаю на звезду: сбудься то, чего я жду». Камилла сонно повернула голову.

— Что ты сказала?

Норма ответила не сразу. Потом тихо спросила:

— Посмотрим, как получится?

— Да, посмотрим, как получится,— отозвалась Камилла.

Где-то впереди, чуть слева, показались огоньки — слабые огоньки, мерцавшие сквозь расстояние, сиротливые и затерянные во тьме, далекие, холодные, мерцающие, связанные в цепочки. Хуан посмотрел на них и крикнул:

— Вон впереди Сан-Хуан!

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЕВГЕНИЙ НОСКОВ



НА ОРЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Константина Георгиевича Паустовского я еще с детства почитаю и за то, что он, как мне кажется, пока единственный писатель — или, во всяком случае, был таковым, — кто отважился и кому кое-как удалось в те смуглые времена на перекладных добраться из центра России, сюда, в эдакую глухомань. Перебираясь с места на место где на верблюдах, где на ишачках, где на рыбацких шаландах, а то и просто пешком, как перекати-поле, он сумел потом отразить на бумаге довольно правдиво то, что увидел на восточном берегу Каспия. Побывал тогда Паустовский, в конце 20-х годов, и на той кромке пролива и залива, имя которым, как и повести Константина Георгиевича, вышедшей в 1932 году, — Кара-Богаз...

Кара-Богаз в переводе с тюркского Черная пасть (горло). Из Каспия через пролив вода хлестала, бурлила, пенилась словно на порогах и неслась со страшной скоростью в эту самую Черную пасть как в прорву, производя, в общем-то, жуткое впечатление на людей...

Если взглянуть на старые географические карты и внимательно поискать в этом районе, лучше всего с лупой, можно найти на самом кончике острия южной части полуострова, переименованного теперь в Карабогазскую пересыпь, приютившуюся точечку: это и был город Кара-Богаз-Гол. Там я в конце 30-х годов, будучи школьником, под утренний рев ишака — а сигналил он, как ни странно, строго по часам и считался по этой причине достопримечательностью города — поднимался с постели с единственной мечтой и надеждой когда-нибудь хоть один раз, хоть краешком глаза увидеть Россию с ее живописной природой, услышать аромат ее трав, лугов и лесов, так красиво изображенных в книгах Паустовского. Мечта была самая затаенная...

Видоизменялись мы оба — залив и я — со временем. Он испарялся под воздействием губительно палящего солнца, отступал от берегов и мелел. Я просто тянулся вверх. Вот и все. Но, в общем-то, люди жили здесь в неизменных условиях окружающей среды, прижатые к морю с одной стороны и к заливу с другой, обложенные плотно не менее зловещей, чем сам Кара-Богаз, коварной, безлюдной и безводной пустыней. Куда ни глянь, картина одна и та же — пески, пески и пески... И лишь с запада бескрайняя и обманчивая синь моря и залива. Глаза слепит от боли. Язык будто обложен наждачной бумагой. Поначалу фантастические миражи донимали нас, мальчишек, до одури, потом ничего — привыкли...

Бывало, в весеннюю пору плетешься в школу или из школы с ватагой ребятни и глядишь не по сторонам, а под ноги в оба: не наступить бы на эдакую ядовитую тварь размером в сантиметр, а то и больше, на каракурта — черного паука. Зазевался человек или верблюд какой — цап, и пиши пропало. Укусит самка каракурта — поминай как звали. Опасны и фаланги, и скорпионы, и другие...

Воды своей пресной Кара-Богаз-Гол не имел ни капли — ни дождевой, ни колодезной. Ее доставляли сюда более или менее регулярно только на пароходах из Баку. День прихода водоналивного — всенародный праздник. Потом власти строго распределяли

воду среди населения по специальным талонам. Никакого тебе блата, никакого знакомства. Получай свою норму и будь здоров!

Дома воду эту кипятили по несколько раз на примусах и керосинках. Столовой ложкой хозяйки снимали зеленую пену, шипающую в нос болотной гнилью, кипятили еще раз и еще, и лишь тогда эта водица, на вес золота каждый грамм, шла в потребительные семьи.

Из самого залива Кара-Богаз взрослые добытчики, русские и туркмены, казахи и другие среднеазиаты, стоя вдоль берега с черпаками в руках, прямо из приборной волны сгребали глауберову соль. Мертвый залив. Никогда там никакая живность не водилась...

Ветер задует поздней осенью, зимой ли — спасу никакого нет. Гудит, воеет, что шакал. Буря песок метет сплошной стеной неделю, а то и другую. Без шоферских очков или летных, плотно-плотно облегающих глазницы, наружу не высовывайся. Глаза выбьет. Час, другой — и все дома до печных труб покрывало песком... Кровля под тяжестью вздыхала над головой словно живая. Песок лез в самую малую щель в окне, в дверях, в стенные трещины, пробирался в такие дырочки, которые с лупой и то не сразу обнаружишь. Росли по всей квартире по углам, под окнами десятки миниатюрных террикончиков... Садись на пол и играй себе в шахтеров, в ударников труда или в огелеушников, которые ловят вредителей... В школу не бежать... Сиди и жди, как, бывало, говорил отец, у моря погоды... Когда это приедут пожарники откапывать наши дома, никому не известно...

Обычно нормальные, начитанные дети убежали из дома к индейцам в Америку или в Австралию. Я тоже убежал, но не в Америку и не в Австралию, я убежал в Россию... Ловили и возвращали... Родительница больно и долго стегала отцовским армейским ремнем и приговаривала:

— Веди себя прилежно, сынок. Учись. Кончай десятилетку, Женюра. Вот тогда и увидишь свою Россию, бестолочь!..

Из всех кара-богазских сверстников память сохранила некоторые черты лишь двоих.

Нонна Сватикова. Умная девочка в очках, с правильными чертами лица, увенчанного пышной копной вьющихся волос, обладательница точеной фигурки спортивной гимнастки. Ее от других девочек школы отличали не только внешность (а очки украшали ее, между прочим) и успехи в учебе, но и страсть к этому виду спорта, где она соперниц не имела, но зато завистниц — хоть отбавляй!

Свои симпатии мы с Нонной прятали от сверстников и взрослых как могли. И это у нас получалось. Я не помню, например, ни одного случая, чтобы нас дразнили или писали на стенах: «Нонна + Женя...»

Игорь Кижаяев. Как мне помнится, в кругах пацанов из местных русских отчаянных мореходов, искусно владеющих и парусом и веслом с пеленок, рыболовов до мозга костей, но не выдавших глазами со дня своего рождения паровоза и железной дороги, разве что на картинках да в кино, мы с Игорем, с их точки зрения, числились книжниками и маменькиными сынками... Игорь, сын заведующего водным транспортом Кара-богазголхимтреста, сам прекрасно управлял отцовской быстроходной парусной яхтой, оставившей далеко позади мальчишек в их кунгасах. И вообще Кижаяев слыл в городе парнем не из робкого десятка и умел с достоинством постоять за себя и за товарища. Мне льстила дружба с ним.

Мы часто втроем — я, Нонна, а Игорь, конечно, в качестве прикрытия, для отвода глаз — бродили по пустынному берегу Каспия. Болтали о том о сем, мечтали... И я как-то не выдержав — расчувствовался, что ли, — выболтал свою заветную тайну-мечту побродить, поездить вдоволь по России. Нонна и Игорь не посмеялись надо мной, чего я больше всего боялся: ведь не поймут! Но они, настоящие друзья, отнеслись к моей идее не только сочувственно, но тут же, по сути дела, стали моими единомышленниками.

— Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать! — воскликнул Игорь. — По рукам, братцы?

Так образовался союз трех по образу и подобию некогда популярной кинокартины «Два друга, модель и подруга». Слово «модель» мы, по единомышленному мнению, заменили на слово «мечта». Договорились: не изменять общему делу, не давать себя в

обида, во всех случаях стоять друг за друга стеной. Беречь союз и мечту как зеницу ока. Главное: после окончания десятилетки — если будем работать, то в первый же отпуск, а если продолжать учебу, то в летние каникулы, — где бы мы ни были, собратся втроем и, объединив финансы, в путь, мечте навстречу, в путешествие по России... Но не тут-то было!

Нагрянула война с фашистской Германией... Нонна, Игорь и я волею судьбы потеряли друг друга из виду в самом начале войны. В то время не только у меня, а у всех из моего поколения свое, бесконечно дорогое, сугубо личное само по себе отодвинулось в сторону, запряталось в потаенных уголках души, прижалось и затаилось под сердцем до лучших времен.

Все родное слилось в одно слово — родина! Судьба отечества — твоя судьба! Его боль — твоя боль! Фронт и тыл — единый лагерь, противопоставленный волею партии фашистскому нашествию, и ты — один из миллионов...

Железнодорожный воинский эшелон, битком набитый офицерами-танкистами, катил с юга на север не первые сутки, катил уже где-то за Актюбинском. На верхних жестких досках нар, подложив под себя шинель, в одной из четырехосных теплушек подпрыгивал на стыках рельсов вместе со всеми и я. Больно отбивая то один, то другой бок, перевернувшись на спину, я силился как-то удержать в поле зрения скачущие строчки. Я читал новый, недавно выпущенный в этом, сорок третьем, году рассказ Паустовского «Бакенщик». Россию — мою мечту — я видел все еще глазами автора, ощущениями писателя...

Мне врезалось в память: «И звезда взойдет, остановится над рекой и до утра стоит — загляделась, красавица, в чистую воду. Так-то, ребята... Наша страна — прелесть какая! За эту прелесть мы тоже должны с врагами драться, уберечь ее, защитить, не давать на осквернение... Все шумите: «родина», «родина», а вот она, родина, за стогами! Учит их стараясь, — продолжал Семен, будто извиняясь перед кем-то и показывая на мальчишек, бежавших купаться. — Уважению учить к родной земле. Без этого человек — не человек, а труха!»

«Кара-Богаз, Каракумы пусть даже и не такие писанные красавицы, но они тоже родина! — подумал я. — Хотя и страшны они в своей сути, но и их нельзя отдавать врагам на осквернение». Меня увозили от родных мест, увозили от отчего дома, увозили из детства, везли в неизвестное, везли на встречу с мечтой, везли куда-то в Россию... Прочитав «Бакенщика», я задумался и стал глядеть в окно. Переехали мост, перекинутый через речку Илек. Медленно прошли станцию с покосившейся вывеской «Яйсан».

— Ну вот и въехали в Россию, — как-то облегченно вздохнув, промолвил с благоговением мой друг, смолянин, тоже лейтенант, Костя Заборовский.

Сердце мое заколотилось. Я прильнул к окну. Мечта моя давняя все же сбылась... Глазел во все глаза, но, кроме той же бескрайней и плешивой пустыни с островками снега кое-где, не видел я никакой России, хотя мы уже и ехали не первый километр по территории РСФСР...

Россию я увидел по-настоящему в Орловской области, вернее, говоря военным языком, в лице орловского плацдарма.

Орловщину, так живописно воспетую Тургеневым, а позже Паустовским, Орловщину с ее сильно всхолмленной лесостепной равниной, изрезанную долинами рек, оврагами и балками, немецкие фортификаторы превратили в современную глубоко эшелонированную оборону, плотно насыщенную артиллерией, минометами, танками, дотами и дзотами, густыми минными полями, противотанковыми сооружениями, траншеями в полный рост, переполненными вражескими солдатами, соединенными ходами сообщений. Так нас ориентировали старшие командиры, вводя в курс обстановки на фронте, по данным воздушной и наземной разведки. И никаких тебе коростелей, дергачей, соловьев... За каждым кустом — «каракурт», за каждой веткой — смерть.

В сорок третьем мне шел восемнадцатый год. Угодили мы, комсомольцы-добровольцы, из Ташкентского танкового училища в самое пекло, известное теперь под именем Курской битвы. Там я убедился в справедливости народной мудрости: у страха глаза велики. Поначалу через смотровые приборы и щели башни «тридцатьчетверки»

мне с командирского сиденья казалось: полыхали черно-багровым пламенем не только одни ржаные поля, рощи и перелески, но и все остальное вокруг.

Горели ярким пламенем и фашистские и наши танки. Угдилась земля под гусеницами. В пепел обращалось небо над головой. Ревели на полную мощь тысячи моторов на земле и в воздухе. Самолеты пикировали на нас с утра и до вечера, сбрасывая сотни тонн бомб. Гул и грохот стоял вулканический... Кровь людская, бензин, газойль, масла, расплавленный металл растекались, как лава, по склонам холмов Орловщины, пожирая все живое.

С исходных позиций мы наблюдали в ожидании сигнала «в атаку», как «тридцатьчетверки» нашей 3-й гвардейской танковой армии все наваливались — между жизнью и смертью, — наваливались на высоту 271,5, что у Соскова. То скатывались назад, что испорченные детские заводные игрушки, то вспыхивали, как спичечные коробки серные... Стальносердные братья мои гибли, но атаквали и атаквали упрямо, зло, в лоб, быть может, рассудку вопреки (со стороны так казалось), но усердно, как учили. Кровь из носа, а высоту взять — таков приказ экипажам.

К тому же нам еще приказали полностью очистить само Сосково от фашистов и, промолотив гусеницами около двадцати километров по плотному расположению войск первого и второго эшелонов противника, продаться через всякие противотанковые препятствия к районному центру Шаблыкино, выбить из него захватчиков и удерживать Шаблыкино любой ценой до подхода главных сил танковой армии.

Вслушав мой приказ экипажу, старшина механик-водитель сказал только одно: «Три ха-ха — и солдат выскочил в окно, лейтенант! Не видать нам ни Соскова, ни Шаблыкина, как своего что левого, что правого уха».

На душе у меня и так кошки скребли, а тут еще эти старослужащие, годившиеся по возрасту мне в отцы, беззлбыным подначиванием травили мою неокрепшую волю. Вот воспитай таких попробуй! Не отец-командир, а горе луковое!..

Ждать да догонять хуже всего. Это все знают. Терпение лопается, а команды все нет и нет. Все взмокло от пота, аж на боеукладку капало, а ты сиди жди своего часа. Наконец в наушниках шлемофона: 333, 333... И открытым текстом протяжное:

— Впе-ред! За-а Ро-ди-ну! Впе-ред!

Взревели моторы, и окутанные клубами пыли остатки нашей роты ринулись на вражеские позиции...

После зычной команды и воинственного клича, кстати традиционного, крепко-накрепко сидевшего все 1418 дней войны в сознании и душах каждого, кому с оружием в руках довелось браться на врага, всякие мысли о неминуемой смерти у меня улетучились из головы, как дым. Сам страх согласно приказу куда-то запрятался.

С первым же метром движения вперед, когда танк занырял по неровностям незнакомой резко пересеченной местности, что рыбачий кунгас на каспийской волне, в его чреве, бронированной коробке размером (отделения боевое и управления) два на полтора метра, каждый из нас четверых — механик-водитель, командир танка (то есть я), стрелок-радист и командир башни, он же заряжающий, — приступил к выполнению своих прямых обязанностей в бою, строго-настроено расписанных уставом.

Внутри «тридцатьчетверки» грохотало, как в кузнечно-штамповочном цехе: ревел на полных оборотах пятисотсильный двигатель, отдача семидесятишестимиллиметровой пушки била мне так в правую часть головы, прижатой к ее стальному разгоряченному телу и наглазнику телескопического прицела ТМФД (а выстрелов из орудия командир танка обязан по инструкции производить 6—8 в минуту!), что ощущалось — если не все зубы вылетят, то уж мозги фонтаном вот-вот забьют из ушей наверняка. Дробь двух пулеметов долбила голову, что те отбойные молотки. Откат пушки выбрасывал стреляную гильзу, раскаленную до шипенья, и с ней густое облако едкой пороховой гари. Лицо, шея, кисти рук моментально покрывались жирной сажей. Сухая пыль, поднятая гусеницами, проникала, кажется, не только во все щели и технические зазоры, а лезла сквозь броню, как тот кара-богазский песок в бурю. Два вентилятора в башне обессилели. Мощностей отсасывать облако пыльно-пороховой мути не хватало...

Голова ходила кругом, и сам я весь чувствовал, как пороховая гарь вперемешку с пылью всасывается через каждую пору, забивает до отказа, до судорожной рвоты рот, горло и легкие, смешивается с кровью, и поэтому голову под шлемофоном распи-

рает так, что еще минута-другая — и она лопнет запросто, как детский воздушный шарик. Вдобавок ко всему каждое попадание мины или осколочного снаряда в корпус «тридцатьчетверки» высекало в том месте от внутренней стенки брони, как из-под точильного камня, веерный сноп искр, а окалина брони иголками больно впивалась в не защищенные комбинезоном части тела...

Как только «тридцатьчетверка» взобралась на косогор, я через перископический прицел с господствующей над прилегающей местностью высоты увидел жуткую картину, поле сражения. Представьте себе впереди по боевому курсу примерно в двух-трех километрах от вас чашеобразную котловину размером так четыре на пять километров, всю заполненную гигантскими облаками черного дыма и багрового огня, над которой тысячами тысяч роев, что осы, кружат трассирующие пули. Края этой адаовой чаши были дугообразно обрамлены кудрявыми рощами, буквально изрыгающими молнии фронтальных, фланговых и перекрестных артиллерийских залпов. В просветах дыма мне часто виделись склоны и дно котловины, заставленные сотней ваших танков и самоходок. Наверное, половина без башен. Те, как срубленные головы, валялись неподалеку от своих тел в самых невероятных положениях. Так обычно с танков сносило башню, когда рвался весь боезапас и баки с горючим. Другие машины полыхали, все объятые огнем, ни подойти к ним, ни выскочить из них. Из третьих, что не горели, из люков башен и переднего лобового, распластавшись по броне, висели вниз головами мертвые танкисты, мои товарищи. К счастью, всего этого не видели из-за отсутствия у них приборов наблюдения стрелок-радист и заряжающий... Мрачно посмеиваясь перед атакой, они обычно шутки ради, для поддержки бодрости духа говорили:

— Ну что ж, сказал слепой, посмотрим, как будет ганцевать безногий...

Лишь водитель через триплексы своего люка, как и я, наблюдал весь этот ужас. Но и ему было не до выражения эмоций. Он вел танк, маневрировал на поле; умело используя складки местности, пока ловко увертывался от прямого попадания противотанкового снаряда.

Нас швыряло в «тридцатьчетверке» словно в железной бочке, которая катится вниз по крутому ухабистому склону. В приборы наблюдения будто наваливались то белые облака, то черная земля, то рыжая плешина колосающегося поля, то зеленые, то обуглившиеся стволы, то восходящий из-за горизонта медный шар солнца. Все бешено несло навстречу.

На узком участке атаки нашей роты, у переднего края обороны неприятеля так называемая нейтральная полоса была усеяна убитыми... Каким образом удавалось водителю объезжать сраженных?.. Старшине, правда, носящему звание мастер вождения, каким-то чудом удавалось пропускать под днищем танка, между гусеницами, мины и фугасы. Словом, бог нас пока миловал, как говорится...

Хотелось лишь на минуту закрыть глаза, чтобы спрятаться от всей этой жути, от нечеловеческого побоища... Я невольно вспомнил слова Паустовского, которые он вложил в уста бакенщика Семена: «Эх, идут на войну люди, а нас старых, забыли! Зря забыли, это ты мне поверь. Старик — солдат крепкий, хороший, удар у него очень серьезный. Пустили бы нас, стариков, — вот тут бы немцы тоже почесались. «Э-э-э, — сказали бы немцы, — с такими стариками... последние порты растеряешь. Это, брат, шутишь!»

Словно наваждение мелькнуло перед глазами вместо дымящейся котловины, знойное марево над Кара-Богазом, миражными призраками проплыли барханы, караваны верблюдов, искаженные, как в зеркале воды, лица отца и матери, Нонны, Игоря... Только на мгновение. Закрывать глаза или отрываться от прицела — боже упаси!.. Кстати, прибор этот самый до такой степени был несовершенен, вспоминать стыдно; смотреть в него или наводить пушку, пулемет в цель — одно мучение, равносильно подглядыванию в замочную скважину. Но голь на выдумки хитра, и пользовали мы эту технику до дна...

Пока в голове, которая гудела, как колокол, вертелся весь этот калейдоскоп, я произвел семь выстрелов осколочно-фугасными патронами по траншее противника и даже успел заметить, как вместе с землей и досками взлетели в воздух останки обороняющихся. Выпустил несколько очередей из пулемета, скосивших группы солдат. Более крупные цели пока в поле моего наблюдения не попадали.

С каждым отвоеванным метром земли становилось ясно, что оборонительную линию противник построил не у Соскова, как нас информировал командир батальона на рекогносцировке, а неподалеку от него, в районе безымянной высоты, господствующей над окружающей местностью. Расчет у фашистских начальников был прост: заманить наши танки и самоходки, пехоту в огневой мешок, а затем артиллерийским, минометным и пулеметным огнем уничтожить... Идущая рядом с моим танком «тридцатьчетверка» взвода наскочила на фугас. В воздух поднялся огромный веер дыма и огня. От ребят ничего не осталось...

О чем переговаривались между собой по ТПУ (танковое переговорное устройство) члены экипажа, я не слышал. Моя ларингофонно-шлемофонная гарнитура была переключена на прием. Приемник радиостанции из эфира через наушники доносил до моего сознания разъяренную и забористую речь, которой в пылу жаркого боя объяснялись между собой наши на земле и в воздухе... Откуда-то издали еле слышно доносился до меня знакомый голос комбата: «Гер-р-рои! Впер-р-ред!»

Заметил: пехота наша, царица полей, под шквальным губительным огнем, который наши взводные грамотей еще называли почему-то кинжальным, залегла... Кто из этих скрюченных комков жив и здоров, кто ранен, кто убит — из танка не разберешь.

Мельком глянул на циферблат светящихся танковых часов... Глянул еще раз и не поверил. Я думал, прошла целая вечность, а тут — на тебе! — стрелки замерли на 6 часах 15 минут! Остановились? Сунул их под шлемофон, к уху. Нет! Идут как часы. Всего пятнадцать минут прошло после начала атаки... Значит, все ягодки — впереди! «Крепись, казак, — атаманом будешь», — неожиданно вспомнил я тут, в России, как, бывало, низадала меня мать в Кара-Богазе, наставляя после внеочередной порки и ставя на колени в угол за провинность...

Помню, как пророснули первую траншею врага, вторую, наконец ворвались в глущину противотанкового узла. Давили тяжестью танка блиндажи, крушили дзоты, подминали под себя орудия, минометы, пулеметные гнезда и их прислугу. Гусеницами уютно жили траншеи, смешивая вместе с землей и щепками живую силу неприятеля.

В наушниках шлемофона треснуло, пискнуло, зазуммерило.

— Командир! Смотри вправо градусов тридцаты! — передал по ТПУ механик-водитель. — Вон вишь из той рощи, что в седловине? Вишь?.. «Тигр» вылезает, га... Быстрей, лейтенант. Едрена корень... Сча-а-а-ас! Ка-а-ак! Жа-а-а-ах-нет!.. И... понесутся похоронки родных, знакомых известить, что сын их больше не вернется и не придет погостить!.. — сыпал скороговоркой с крепкими словцами, сдабривая фронтовой и очень популярной среди танкистов песенкой, мой водитель.

Боялись мы этих «тигров», честно признаюсь. Из своей восьмидесятивосьмимиллиметровой пушки болванкой, бронебойным снарядом, он, «тигр», с дистанции две тысячи метров прошивал нашу «тридцатьчетверочку» насквозь... А мы из своей семидесятишестимиллиметровой пушки могли намертво поразить этого зверя лишь с дистанции пятсот метров и ближе подкалиберным снарядом. Так вот этим самым злосчастным снарядом я должен угодить в борт, за которым размещались снаряды; под основание башни — тогда ее заклинит; по стволу пушки — тогда ее оторвет; по задней части, где расположены бензиновые баки, а между ними мотор, — загорится; по переднему колесу, ведущему, или заднему, ленивцу, по опорному ли катку — значит, повредишь ходовую часть. Все же остальные части «тигра» нам не поддавались, и бронебойные отскакивали от его брони, как горох от стенки.

— Подкалиберным заряд-жай! — скомандовал я.

— Готово! — ответил башнер, и замок пушки клацнул над моим ухом.

— Короткая-а!

Водитель по этой команде приостановил танк.

Вращая левой рукой механизм поворота башни, а правой — механизм вертикальной наводки орудия, я слислся с прицелом и нашел «тигра». Он, к счастью, полз поперек нашего курса, пушка его была направлена куда-то в сторону, и экипаж врага, видимо не замечая нас, выгодно для меня подставил свой левый борт. Я захватил «тигра» точно в центр перекрестья прицела, обливаясь потом, боясь осрамиться перед экипажем, на-

брал воздуху в легкие, затаил дыхание и... нажал ногой на спуск. Танк дернулся под силой отдачи...

— Молодец, командир! Горит, зараза! — радостно воскликнул водитель. — Дает лейтенант! С первого выстрела врезал!.. А вы, темнота, — гудел по ТПУ водитель, укоряя заряжающего и радиста, — заладили свое: пацан, желторотик, молоко на губах не обсохло... Выйдем из боя, командиру двести граммов! Поняли, сундуки?..

Что касается меня, то я, чуть не плача от радости, успел лишь заметить в прицел, как «тигр» окутался дымом, и все...

Надо сказать, что с водителем мне просто повезло. Он еще в предвоенные годы трижды водил свой быстроходный танк «БТ-7» на военных парадах по Красной площади. Воевал с самого начала. Трижды орденосец. И сегодня он мастерски создавал все условия для ведения прицельного огня...

— Лейтенант! Слева тридцать пять — сорок... бутор. Чуть правее пушка!.. Вишь?

— Осколочным заряжай!

— Готово!

Четко видел, как разбросало колеса, как отлетел щит, как раскидало расчет...

К семи часам утра бой достиг своего апогея. Высота несколько раз переходила из рук в руки.

— Командир! Командир! «Фердинанд»! «Фердинанд»... Вишь ствол торчит из роши?

— Нет! Не вижу... Где? Подскажи точнее...

— Да вон он... У развалин дома... Вправо градусов пятьдесят, что ли. Неужто не видишь?.. Ну!..

— Стоп! Кажется, поймал... Где труба печная? А...

— Точно...

— А чем... я его? Чем? Нет подкалиберных. Ковчильсь.

— Ну все. Амба. Теперь по нам...

— Бронебойно-зажигательным заряжай!

— Готово!

Поднялся клуб пыли, и труба рухнула. Однако самоходное орудие «фердинанд» чуть вылезло вперед и выстрелило в нашу сторону. А я не успел.. Да и что «фердинанду» бронебойный да с такого расстояния. Что по слону дробина...

Удар в наш правый борт был такой силы, от которого «тридцатьчетверка» подпрыгнула. Раскаленный докрасна шар размером с баскетбольный мяч вломился в отделение управления. Вместе со сжигающим жаром что-то горячее и липкое ударило в лицо, окатило с головы до пят. Взрывная волна больно ударила в грудь, в голову, помутила сознание. Крышки чемоданов боеукладки сорвала и бросила мне на колени. Я зарорал, как мне казалось, на всю Орловщину от дикой боли в правом колене. Весь залит кровью. Взыл из последних сил:

— Ребя-я-а-та! На-зад! У меня отор-ва-ло но-гу! На-зад! Но-гу отор-ва-ло!..

Само нутро «тридцатьчетверки», как я уже говорил, размером всего два на полтора метра, в один миг заполнилось совершенно неизвестными запахами, исключая лишь запахи сожженного волоса, кузницы, угольного угара...

На мои крики никто не отвечал. Наушники омертвели. Двигатель урчал, танк двигался куда-то. Плафоны освещения погасли. Я метнулся было к приборам наблюдения, но боль в ноге остановила. Я схватился за ногу. Сапог на месте. Левая? Тоже на месте. Что же произошло? Откуда же столько кровящи? Ноги, руки целы мои. Ничего не понимаю. Скользнул из башни вниз в этой темени. Спины водителя нет. Потянулся к рычагам управления. Наткнулся руками на горячее, мягкое и липкое... В страхе отпрянул. На щитке приборов водителя увидел часы. Они остановились на 7.00.

Тут я только понял, увидев круглую дыру на том месте, где крепилась рация. Вражеская болванка пробила борт, словно бритвой разрешила пополам радиста и водителя, раздавила их и все это вместе со стреляными пулеметными гильзами курсового пулемета, какими-то железяками швырнуло взрывной волной в меня... Дернул за рычаги. Они болтались словно палки. Понял — тяги перебиты. Танк неуправляем. Однако двигатель молотит на постоянном газе. «Тридцатьчетверка», еле живая, ползет...

Моя душа ушла в пятки, когда вдруг кто-то охватил мою шею. Счастье-то какое, не один... Башнер что-то промычал невнятное. Понял: контузило, отнялся язык. Главное, жив! Не пойму, горим или не горим? Расторопный заряжающий схватил огнетушитель и на всякий случай залил место пробойны, тлеющие комбинезоны ребят...

Вступил в силу железный закон: если танк подбит, но не горит — экипаж обязан защищать боевую технику до последнего патрона, до последнего снаряда.

Двигатель вдруг взревел. Танк дернулся и пополз дальше, в ту страшную общую кучу битых танков и самоходок. Осмотревшись вокруг, я понял: мы в самой глубине обороны врага. На помощь своих еще надеяться можно, но от фашистов пощады не жди. У них так было принято: если экипаж подбитого танка не сдается на милость победителю, то они, победители, обычно если не расстреливали в упор артиллерийским огнем, то обливали машину бензином и поджигали ее.

Я попробовал механизмы. Действуют! Заряжающий без всякой команды схватил снаряд и сунул его в патронник, затвор клацнул. Я нажал на спуск. Выстрел! Ура! Нажал другую педаль, застучал пулемет. Поживем маленько, значит — так, помнится, говаривал мой отец.

Заряжающий заряжал, а я стрелял. Зафиксировали сами для себя: три противотанковых орудия и три противотанковых ружья, шесть пулеметов, четыре миномета и десятка четыре фрицев в общей сложности на счету всего экипажа...

Но неуправляемая «тридцатьчетверка» прошлепала по орловской земле еще какую-нибудь сотню метров, скатилась в пологий овражек и ткнулась стволом в его склон. Орудие и спаренный с ним пулемет по этой причине начисто вышли из строя. Вот теперь-то уж отвоевались. Конеч! Сливай керосин...

С помощью смотрового прибора окинул взглядом округу. Чадят наши танки. Немцев набито навалом, но и живых хоть отбавляй. Бегают туда-сюда со снарядами в руках, орут по-своему как оглашенные. Значит, огневая позиция артиллерии, думаю. Вот влипли так влипли. Гулко хлопают рядом орудия. Словно над ухом раздается одна и та же команда: «Фойер! Фойер! Фойер!»

Так что же делать? — в который уж раз спрашивал я самого себя. Заряжающий сидел, прижавшись к фальшбурту, сопел, прикрыв глаза, притаясь словно мышь.

Смертельный страх ледяными щупальцами хватал за горло, все крепче и крепче давил сердце, вползал ядовитой змеею в душу. Вопросы я задавал сам себе страшные: люблю ли я родную, и эту и кара-богаскую, землю по-настоящему? способен ли биться с лютым врагом до конца, и не на жизнь, а на смерть, как сражались наши буденовцы в гражданскую, как бойцы и командиры защищали родину на Хасане, Халхин-Голе, от финской белогвардейщины? Испытывать-то фашисты будут нас и впрямь каленым железом, а не чем-нибудь... Смогу ли соблюсти верность каждому слову воинской присяги? Ее последний абзац в училище мы, курсанты, вызубрили точно: «Если же по злему умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

Радиосвязи нет. Спросить старших, как быть, что делать в таких случаях, как себя вести, — спросить не у кого: ни у ротного, ни у комбата, ни у родителей своих...

Перископический прицел заклинило, и он уперся своим бронированным глазом в стенку оврага. Для наблюдения остались две щели — моя и заряжающего. Но и они по своим размерам куда хуже домашней замочной скважины. Мне еле-еле виден участок местности в узком секторе. Там пылает наш танк, малютка «Т-70». Чей он был? Он весь почернел от копоти, и номера на башне не видать. А что видит заряжающий? Понятия не имею. Он прижался спиной в угол между фальшбортом и моторной перегородкой, обхватил руками колени и спрятал туда голову.

Мышеловка захолопнулась... Правда, имеется в башне еще три отверстия с заглушками для стрельбы через них из нагана. Мы в окружении. Из оружия — трофейный парабеллум и восемь патронов к нему на нас двоих... Силы? Какая у меня там силенка? Хотя в последний предвоенный год благодаря Нонне Сватиковой я уже слыл в Кара-Богазе неплохим гимнастом... Э-э-эх! Нонна, Нонна! Видела бы ты меня! Моя силенка — курам на смех. Вчера целый день — бой. Ночью, вот перед этой самой злощастной атакой, стодвадцатикилометровый марш из-под Философова сюда. Заправились горючим, погрузили снаряды, зарядили пустые пулеметные диски, проверили мат-

часть — и, так и не завтракая, в атаку. Поди уж часов пятьдесят глаз не сомкнули. Муху поганую раздавить пальцем и то сил не хватит. А тут фрицы. Вон стоит на опушке, гад толстомордый, ухмыляется, жует чего-то... Пальнуть по нему, что ли? Благо дело все громыкает еще кругом.. Опоздал, его и след простыл. Простофиля!..

Который теперь час, интересно? Часы замерли ровно в 7.00, остановились в ту самую минуту, когда болванка «фердинанда» пробила наш правый борт и разнесла водителя и радиста... Наверное, сейчас около полудня, потому что броню солнце раскалило уже, как сковороду на медленном огне. Не Орловщина это, а Кара-Богаз. Хорошо, что бак был пуст, потому и не загорелись. А то бы наш пепел, раздаваемый ветром, уже носился над Орловщиной, над Россией, над моей мечгой!.. Кровь раздавленных товарищей на моем лице сослась и стянула кожу.

Пушка и пулемет отстреляли свое. Ствол чуть ли не наполовину влез в землю. Никакие силы башню не развернут. Гранат нет. Курсовой пулемет радиста изогнулся дугой. Запасной вчера отнесли в оружейную мастерскую.

Я хотел освободиться от лишних мыслей и сосредоточиться на вопросе вопросов: как быть? И не мог. Хаос царил во мне умопомрачительный. Голова трещала от боли.

Прислушался. Артканонада и сам бой в этом районе будто бы стихали. Сюда никто из наших так и не прорвался. Обидно до слез. Наверное, атака вообще захлебнулась? Похоже, нашу пехоту отрезали от танков и положили всю на переднем крае. Все явственнее стала доноситься возбужденная немецкая речь. «Фойер» не орали. Кое-где раздавались или одиночные, или короткие пулеметные и автоматные очереди. Немецкие, однако, не наши.

Заряжающий открыл глаза, молча разогнулся, встал, как тень, не хрустнув ни одной косточкой, не громыхнув ни одной железкой. Рассматривать его было мне страшно, но подумал — а сам-то на кого похож! Не лицо, а жуткая маска из спекшейся чужой крови и сажи. Безумные глаза, спаленные брови, ресницы, за распухшими губами — ряд белых зубов. Встав на ноги, он прильнул к своей щели. Я проделал то же самое, почти не дыша. Через смотровую щель, приложив к ней рот, как к фляге с водой, глотнул раз-другой свежего живительного воздуха. Полегчало будто бы. Глянул в щель и обомлея: в нашу сторону, победно рыгоча во всю глотку, беспечно, вразвалку шли в полный рост с автоматами на шее четверо верзил с закатанными рукавами френчей, с воротами нараспашку, пуская табачный дым из ноздрей... А курить хотелось!.. Один из них, крайний слева, повернулся вполуборот у той самой «семидесятки», что виднелась в секторе видимости из моей щели, приподнял автомат в сторону, вниз — и дал короткую очередь. Наверное, добил кого-то из тяжело раненных, обгоревших братьев моих... Идут... Мозги мои, крутятся ни медленно, ни быстро, запрашивали сами себя: что делать? Стрелять не могу, их через щель не вижу — выпшли, как из кадра, — но слышу их совсем уж близко. Чувствую их через броню. Вот уж они у борта. Вот полезли на танк. Кованые сапоги застучали по броне. Шаг, еще шаг, еще один шаг. А вот и удар, другой, удар за ударом, чем-то тяжелым по крыше башни бьют, словно по твоей голове.

— Э-э-эй! Руссише швайн? Хенде-хох! — орал один.

Другой, коверкая наши слова, крикивал:

— Пилэн! Капут! Алес капут! Пилэн... Руссише панцир! Пилэн! Ферштеен? Одер нихт? Жарим-парим! Парим-жарим! Ферштеен?.. Иван?

Заряжающий и я молчали ни живы ни мертвы. Помирать буду, а то требование фашистских молодчиков вспомню обязательно...

Я глянул в щель и обалдел окончательно и бесповоротно. В каких-то двадцати сантиметрах, не более, от меня, заслонив свет, торчала прямо перед глазами прореха брюк с оторванными пуговицами, за ней — серые подбитанники. Мне даже будто шарбуну в нос мочой через эту щель. Не задумываясь ни на минуту, я вытолкнул наружу заглушку револьверного отверстия, сунул ствол пистолета в дырку и выстрелил. И опять рывком цепочки на себя захлопнул отверстие заглушкой...

Подобного человеческого воя слышать мне в жизни еще не приходилось. Он, наверное, свалился с борта на землю — по топоту ног можно было догадаться, что остальные трое кинулись с танка к нему на помощь.

Я посмотрел на своего заряжающего, ожидая его оценки и похвалы. Но тот зло

пробуравил меня глазами из-за мертвой пушки, которая отделяла нас друг от друга в башне, повертел лишь выразительно указательным пальцем у своего виска. Махнул безнадежно рукой и медленно опустился вниз. Сжавшись в комок, приткнулся в свой угол как обреченный.

Я стоял одной ногой на боеукладке, вторую приспособил на пустой снарядный лоток. Правая так болела, что трудно было найти ей место. А что там творится под бриджами, черт его знает. Переступить с одной ноги на другую было почти невозможно, так как каждый квадратный сантиметр хранил на себе какую-то часть того, что осталось от наших товарищей. Так я и торчал, что цапал.

Тем временем истошный крик, чем-то напоминавший визг недорезанного кабана, стал удаляться от «тридцатьчетверки». Потасили... «Ну, держись, лейтенант,— сказал я сам себе,— устроят они тебе кристалл нахт, хрустальную ночь. (О ней нам рассказывали на лекции в училище, характеризуя внутреннюю обстановку в Берлине в конце 30-х годов; тогда гитлеровцы одновременно подожгли сотни синагог, магазинов и лавок, горы книг, устроив гигантский костер.) Это ждет и тебя. Стоит ждать?»

Оценив ситуацию, к стыду своему забыв о заряжающем, я принял, как мне думалось, самое здоровое, а не угарное решение. Я сделал усилие, чтобы зубы не стучали. Роковая минута пришла. Седьмой патрон в патроннике... Дрожащей рукой поднес пистолет к правому виску. Мысленно со всеми попрощался. Дыхание замерло, а сердце остановилось, глаза закрылись сами собой. Мокрый от пота указательный палец торчал в скобе, но не слушался. Ствол, приставленный к своему виску, я чувствовал... Ну! Давай!.. И тут заряжающий, мыча, молниеносно, рывком, будто давно следил за мной исподтишка, выбросил, что заправский боксер, правую руку через гильзоулавливатель, перехватил мою кисть (откуда взялась у него такая хватка?) да так стиснул, что я чуть не заорал от боли благим матом, но вовремя спохватился. Мое запястье хрустнуло, и пистолет вывалился...

Заряжающий угрожающе мычал, не выпуская моей руки, рот перекосило от свирепой ярости, глаза его сверкали в нашей темнице и, казалось мне, метали огненные стрелы. Тыча в мою сторону пальцем, он стучал себя кулаком по лбу, показывая и жестами и мимикой, всем своим существом, какой я есть всамделишный слабак.

Я с силой выдернул руку, прильнул ртом к смотровой щели и судорожно глотнул воздуха. Посмотрев в щель, увидел, как жадное пламя дожирало нашу бедную «семидесятку».

С трудом на меня сходило явственное просветление, а наваждение под действием неведомых мне сил куда-то исчезало. Я стал медленно, но верно понимать, что за свою жизнь надо уметь драться. Драться до последнего дыхания, а не цепляться за глупость. Соображать-то пора, хрен кара-богазский!.. Казнил я себя и самоистязал. Тоже мне отец-командир! Заруби себе на носу раз и навсегда! Не забывай слова русского полководца Суворова: герой — весьма смел без запальчивости; быстр без опрометчивости; деятелен без легкомыслия. Все это так. Но что же делать-то?

Нервы у меня были натянуты, как самая тонкая струна гитары — хотя к ней никто и не прикасается, она, окающая, звенит, да так, что вот-вот, гляди, лопнет. Меня ни на минуту не покидал и мучил жгучий стыд перед сержантом-заряжающим, моим подчиненным и единственным свидетелем жалкой моей попытки пустить себе пулю в голову. И я, честно говоря, изготавился — может, слишком романтически — принять любую мученическую смерть от врага, нежели остаться в живых, вернуться целым и невредимым в свою часть и, представ перед командирами и товарищами по оружию, стать после рассказа сержанта всеобщим посмешищем. Это такой народ, юморист!

Не могу не признаться, что, испытывая мучения в темноте ослепленного танка, мало что видя из него, я все же и гордился сам собой. Быть может, так устроен каждый, поручиться не могу. Но я честолюбиво сам себя — правда, скромно — возвышал над своими одноклассниками, сослуживцами... На фронте я ведь оказался не по закону. Подлежал призыву в армию аж в конце этого, сорок третьего года, но вот я какой, полюбуйте: наперекор всем после окончания девятого класса, в шестнадцать лет, добровольно сумел пробиться в армию еще в мае сорок второго, то есть, по сути дела, до наступления срока призыва. Больше того: успешно окончил танковое учили-

ше, получил воинское звание — лейтенант и квалификацию — командир взвода танков «Т-34»!

В мой предсмертный час, если можно его так назвать по старинке, я видел «лучик в темном царстве». Перед самой атакой я краем уха от писарей прослышал, будто бы за взятие важного опорного пункта неприятеля Философово я награжден — подумать только! — не медалью, а боевым орденом Красной Звезды. Однако по причине отсутствия в наличии правительственных наград, как объяснили награжденным всезнающие писаря, нам их перед началом атаки на Сосково не вручили...

И вот тогда, в башне мертвого танка, я не жалел, что ушел в армию добровольно. Во всяком случае, по грубым подсчетам, в боях под Собакином, Философовом и вот здесь, под Сосковым, штук триста захватчиков при помощи танкового оружия и гусениц я отправил к праотцам, не считая там разной военной техники. И все равно помирать никак не хотелось.

Ломал я голову и так и эдак и не знал, как вырваться из этого глупейшего окружения, не знал ни теоретически, ни практически. Однако, кроме единственной надежды — вот-вот нагрянут наши и высвободят, появилась и вторая. «Э-э-эх, была бы только ночка, да ночка потемней...» — как, бывало, распевал дома эту старую русскую песню мой веселый отец в дни больших праздников. Пришла бы ночь, и можно было бы попытаться вырваться из этой проклятой вражеской обороны. День летний и длинный. Правда, то самое роковое число 22 июня, именуемое в географии моментом летнего солнцестояния, ставшее днем историческим, днем начала войны с фашистской Германией, благополучно минуло нас, день пошел на убыль, но пока эта самая ночь придет сюда и накроет все поле брани, от нас с заряжающим не останется ничего. Заговорил бы он, что ли? Все стало бы полегче, но он, однако, добродушнейший калининский деревенский парень, хлебопашец по натуре своей, намного меня старше, мычал и отмахивался от меня рукой, а две медали «За отвагу» на его груди чуть слышно издавали серебряный звон...

Чтобы как-то отвлечь самого себя от мрачных мыслей, я пытался фантазировать, как бывало, в Кара-Богаз-Голе уносился вечерами с берега моря по лунной дорожке в какие-то дали... Но здесь, под Сосковым, на Орловщине, у меня, к беде моей, ничего не получалось.

В этой смертельно опасной ситуации, назовем ее так, в гнуснейшем состоянии духа я ни на минуту не переставал бороться с самим собой, с гнетущим меня страхом, вовсю старался, как помню, взять себя в руки, отбросить всякую шелуху, произвольно лезшую в голову, которая, кстати говоря, раскалывалась от боли, и свести концы с концами как-то. Быть может, разум мой в критической обстановке подспудно зрел и развивался даже быстрее, чем обычно... То, что я в настоящем, я знал твердо, а вот было ли у меня прошлое, я, честно говоря, не знал. Быть может, я того... тихо схожу с ума? Или сие смутный и бессвязный сон, неотступно преследующий меня?.. Возвращаясь к прожитым годам, я не мог их чем-то отделить один от другого, настолько они были неотличимы друг от друга...

Я в то же самое время дико радовался, что я в борьбе за свою душу человеческую все же взял верх. Ведь как-никак, а я довольно решительно и беспощадно разрубил одним махом воли, фазрубил в себе — так же как мой отец, лихой кавалерист, в дни своей молодости, когда в Каракумах сходились грудь в грудь конница на конницу, одним ударом шашки из-под выси, как мне рассказывали очевидцы, привстав на стремянах своего чистокровного ахалтекинца, рассекал басмача надвое, — так и я здесь, под Сосковым, летом сорок третьего рассек хоть и не близкую, но и не такую уж далекую искусительную мысль о плене. Ведь можно было и утешиться: не я первый и не я последний. Война есть война. В любой войне были и будут пленные. Жизнь в плену не сахар колотый. Но все мы, смертные, как я убедился, любим жизнь и страшимся смерти. Это дело совести каждого. Что же касается меня, я ее, окаянную мысль, отсекал.

Там, в чреве своей «тридцатьчетверки», я, как мальчишка, восторгался тем, что выдержал в тот памятный день под Сосковым столь страшное испытание, хотя при всем при том чуть было, где-то в самой мертвой точке, едва не сорвался.

Пока нас вражеские солдаты не тревожили, я искал в себе и такие, конечно, до-

книжному понятию, положительные черты человеческого характера, как, например, рассудительность и умение доставлять радость ближнему, почитание старших, приветливость, благородство и честность. Я нисколько не сомневался в том, что носителем этих высоких черт характера был и мой отец — коммунист, активный боец ликвидации басмачества, требовательный, но справедливый командир, пользовавшийся заслуженным авторитетом у красноармейцев. Я запомнил эти черты его характера со слов самих военнослужащих. Нет-нет да давали мне, мальчишке, возможность прогарцевать на отцовском ахалтекинском пакуне. Боже мой! Кем я только себя не воображал в эти сладостные минуты!.. Отзывы о моем отце я слышал и за праздничным застольем от его сослуживцев. Хвалили при мне отца и мои сверстники, исходя по-своему из подслушанных разговоров собственных родителей...

Дома я часто брал в руки отцовский серебряный портсигар; каюсь, брал для того, чтобы взять из него папиросу, а делал вид, будто брал, чтобы полюбоваться им как вещичкой... Свершив свое дело, я под любым предлогом сматывался из дому... Раскуривая не спеша ароматную папиросу, я часто задумывался над смыслом, над сутью замысловато выгравированных вязью на крышке портсигара серьезных слов, адресованных вышестоящим командованием моему отцу: «Честность большевика превыше всего! Будь всегда таковым!»

Из-за своего мальчишеского скудоумия проникнуть глубоко, до самого истока этого девиза тогда я был еще не в силах. Вместе с тем, совершенно естественно, отец для меня был образцом, и я прилагал немало усилий, чтобы как-то походить на моего родителя. Он же, в свою очередь, старался довершить из меня мужчину, хотя для исполнения родительского долга ему, как и всем остальным коммунистам, в те годы не отводилось времени, но кое в чем мой отец все же преуспел. С его легкой руки я тоже, как и он, стал орденоносцем.

Разбирая самого себя по косточкам, я не забывал об осаде и чутко прислушивался к тому, что происходит по ту сторону брони. Где-то неподалеку, а затем все ближе и ближе, явственнее слышались голоса немцев.

— Ну, теперь пиши пропало.— И сердце мое больно екнуло.

В свою щель я увидел их метрах в двадцати от танка. Пятеро мелкими перебежками приближались к нам...

— Ага, гады! Побаяваете! А то гоготали и перли в полный рост...

Трое из них, слегка припадая на колено, тащили по двадцатилитровой канистре — с бензином, естественно.

— Решили все-таки съечь живьем, собаки бешеные...

Нагнулся и рывком поднял пистолет с чемодана боеукладки, больно ударившись головой о гильзоулавливатель пушки. Будет шишка! Протер липкую рукоятку о брюки. Хлопнул заряжающего по плечу и почему-то шепотом предупредил:

— Идут! Слышь?.. Гляди в оба. В случае чего... прости и не поминай лихом.

Он, в свою очередь, толкнул меня в плечо и, как я понял, улыбнулся своей маской. Потом посмотрел в свою щель и дал мне жестом понять, что и с его борта подбираются, и показал мне пятерню.

— Итого согласно арифметике Муленина и Буренина врагов десять. Та-а-ак! А патронов?.. Патронов всего-навсего семь. А если по одному оставить для себя? Пять...

Не мешкая я вытолкнул наружу заглушку, сунул ствол пистолета в образовавшуюся дырку, точно и удивительно хладнокровно навел мушку в грудь ближайшего ко мне солдата. Он стоял на одном колене и возился со своим автоматом метрах в пятнадцати от нас, не больше. Медленно, как в тире, я нажал на спусковой крючок. Гулко прогремел выстрел. Фашист дернулся. Удивленно посмотрел вокруг, ну как в кино, и тут же тяжело повалился навзничь. Другие как по команде плюхнулись наземь... А я вдруг подумал вслух:

— Может быть, надо было стрелять по канистре с бензином? В чем сокрыта наша смертельная опасность? В одушевленном или неодушевленном предмете? Черт ее знает. Поди разберись... Но так или эдак, а сама канистра, как я предполагаю, на наш танк не ползет. Это факт!..

И тут же передал пистолет заряжающему. Сержант укал и гукал. Надо думать, так он смеялся над моей примитивной философией.

Осталось шесть патронов.

Его выстрел больно шибанул по моим ничем не защищенным ушам и оставил в них неприятный писк. Он показал мне большой палец. Слава богу, не промахнулся...

— Осталось пять патронов... вернее, три всего.

Вдруг будто все замерло вокруг и насторожилось. Напряженно прислушиваясь к возникшему где-то и все приближающемуся громоподобному раскату, я пытался моментально разгадать природу этого совсем мне незнакомого явления. Но тщетно...

Я, к примеру, могу сказать, нисколько не бахвалясь, что, как и все бывшие фронтовики, мог там, на полях сражений, безошибочно назвать по звуку, отделив от всего другого, какой не видимый глазом баллистический предмет (без точного определения калибра, разумеется) запущен врагом в пространство, где упадет и какие ориентировочно нанесет через мгновение-другое беды... Бросаться ли в укрытие, падать ли наземь, присесть ли на корточки, пригнуться, или, как говорили, поклониться, или просто остаться на месте — не метаться, а попрыгивать махрой и делать вид, особенно перед необстрелянным пополнением, что, мол, мне на все наплевать... Но подобная смесь рассудка с безрассудством пришла ко мне позже, в сорок четвертом.

А сегодня, вспоминая тот громоподобный раскат под Сосковым, я понимаю, что его можно бы сравнить с сотрясением воздуха при испытании на стенде мощного современного реактивного двигателя.

Я не видел, куда подевались немцы, намеревавшиеся сжечь нас живьем, но запомнил, что молодые деревья, видимые мною через щель, вначале какой-то неведомой силой согнуло, потом прижало к самой земле. В следующее мгновение черная, вперемежку с огромными языками огня стена напрочь скрыла весь мой сектор наблюдения и рядом с танком рвануло так, что наша тридцатитонная несчастная «тридцатьчетверочка» зашевелилась словно живая, закричала всеми своими железными суставами. Через смотровую щель горячим сжатым воздухом ударило по моим глазам до того хлестко, что я, прижав к ним пальцы, нисколько не сомневался, что глаза уже вылетели из орбит...

Не мог я сообразить, какой такой вид страшного оружия наши применили, но понял: для нас с заряжающим это шанс выжить.

Под воздействием все сотрясающих взрывов, следующих серией один за другим, и инстинкта самосохранения я закрыл ладонями глаза и, согнувшись в три погибели, обмякшим кулем головой вперед, как в воду, повалился из башни вниз на останки своих ребят. Проникая через броню, воздушные волны били по моим ребрам примерно так, как хозяйка добросовестно колотит по матрацу, выбивая из него скопившуюся пыль... В моем мозгу колотилось, стучало, как ходики, одно и то же: не по нам бы...

На крышу башни танка — я это не только слышал, а чувствовал всем своим существом — обрушивались сверху, наверное, многопудовые глыбы земли, звонко барабанили по броне тысячи осколков и словно с язвительной обидой, рикошетно взвизгнув, не достав жертвы, куда-то уносились по прямой и кривой прочь от танка...

Поясняя давно прошедшее и выражаясь нынешним языком, я бы сказал, что мы с заряжающим в своем танке, ко всему прочему, оказались там, под Сосковым, как бы в самом эпицентре не только многобалльного землетрясения, но и пыльного урагана. Поднятая взрывами в воздух пыль проникла внутрь танка запросто и в мгновение ока, как серой мукой, накрыла толстым слоем все предметы, засыпала останки водителя и радиста. Мы задыхались. Пыль забила, как ватой, носоглотку, уши. Скрипела на зубах, как кара-богазский песок.

Мучились бы мы так, если б не солдатская смекалка. К великому счастью, на глаза вовремя попались сумки с противогазами. Натянув резиновые маски, кое-как прищипли в себя, отдышались.

Как только огневой налет закончился, сержант что-то засуетился. Бкая, показал мне для чего-то на дымовую пашку. Я смотрел, но ничего не понимал. Заряжающий аккуратно переложил с сиденья то, что осталось от радиста, освободив себе доступ к аварийному люку в днище танка. Я с неослабевающим интересом наблюдал за ним, но никак не мог схватить смысл его идеи. К счастью, аварийный люк открылся без труда. В танке словно забрезжил рассвет. Сержант покопался во всех своих карманах и извлек

коробок спичек и кيسет с табаком. У меня от вида этих курительных принадлежностей, как от ароматного шашлыка из барашка, потекли слюнки... Свернув дрожащими руками, будто не воевали, а кур воровали, сигарки, с наслаждением великим закурили...

Все еще мыча — язык ему после контузии так и не подчинился,— он показал мне жестами, что надо поджечь дымовую шашку и через аварийный люк выбросить ее наружу. Повалит, как из фабричной трубы. Пусть, мол, себе немчура, если осталась жива, думает, что после артиллерийского шквала танк загорелся... До чего гениально, до чего просто! «Учись, командир, набирайся ума-разума у подчиненных — может, и жив останешься», — выговаривал я самому себе, крепко пожимая пятерню заряжающего.

Проделав все, как задумал изобретательный сержант, мы снова натянули на лица противогазные маски. Поднявшись с трудом, потому что ноги мои, особенно правую, постоянно сводило судорогами, я разглядел через щель сквозь дым от шашки местность и не узнал ее. Ничего похожего! «Семидесятка» каким-то образом куда-то исчезла. Ни одного живого места. Вокруг сплошные дымящиеся воронки... Слово из-под земли послышалось начальственное покрививание чудом уцелевших немцев.

— Во как! — отметил я. — Живучи, как тараканы. Ничем не изведешь...

На наш танк они пока внимания не обращали. Обороняющаяся сторона, как я понял, была занята своим делом — сбором трупов, а это верный симптом... Оценив покомандирски обстановку, я сформулировал в уме вывод: наголову разгромленный противник, понеся неисчислимые потери в живой силе и технике, оставив прикрытие, вынужден отходить на заранее подготовленные позиции...

Так оно и вышло. Недаром же государственная комиссия на выпускных экзаменах в военном училище единодушно вывела мне по тактике круглую пятерку!.. Заревели то там, то сям моторы. Танки, самоходные орудия, тягачи с пушками и минометами на прицепах выбирались из своих искусно замаскированных от нас укрытий, вымученно ползли через сектор моего обзора и исчезали в неизвестном направлении.

На меня пудовой тяжестью налегла усталость. Глаза слипались — хоть ставь распорки из спичек. Но вздремнуть, однако, или, как выражались танкисты, замкнуть на массу, я не мог. Несмотря на то, что мы висели на волосок от смерти чуть ли не двенадцать часов кряду, не считая еще всех бессонных пятидесяти с гаком часов подряда, моя беспокойная голова была чем-то занята — видно, на самом деле она без устали дотошно перерабатывала все пережитое за день и тщательно, а не как-нибудь распределяла отобранную информацию по полочкам: одно — к забвенью, другое — для личного пользования, третье — на всякий случай, четвертое — на вечное хранение. Я мучился и с завистью посматривал на сержанта. Он, свернувшись калачиком, спиной к спине мертвого радиста, сладко посапывал. Выполнив в этот злосчастный день свой воинский долг с честью, он заслужил полное право на сон праведника. Я свидетель тому. И он, как всякий русский, не преминул воспользоваться этим правом.

По ту сторону брони нет-нет да и огрызались зло пулеметы. В перебранку вставляли свое слово и автоматные очереди. Но чувствовалось: к исходу светлого времени суток выдохлись вусмерть и наши и немцы. После захода солнца и наступающие и обороняющиеся вовсе утихомирились. Откуда-то потянуло гречневой кашей, смачно, видимо, одобренной мясной тушенкой. Облачком проплыл запах кофейка... И только лишь одна орловская земля под Сосковым, изуродованная до неузнаваемости бомбами и снарядами, конвульсивно вздрагивала и терпеливо ждала своего часа — часа полного изгнания немецко-фашистских захватчиков.

Стемнело. Послышались издали первые раскаты грома. Поднялся ветер и засвистел в смотровые щели башни нашей «тридцатьчетверки». Первая молния прорезала тучи и осветила все поле брани, вырвав из кромешной темноты обезображенные остовы тяжело раненных и спаленных танков, годных только на переплавку. Гроза в небе над Орловщиной в ту ночь разыгралась не на шутку и бушевала с такой яростью, словно она, призвав на помощь все стихийные силы природы, тщилась переиграть молниями и громами дневное исчадие ада под Сосковым и норовила смыть проливным дождем не только кровь людскую с лица земли, но и все следы смертоубийства...

Когда гроза стихла, мы с заряжающим, прикинув все за и против, приняли решение оставить «тридцатьчетверку» и, даже если придется ползком преодолеть десяток километров, выбраться отсюда и прибыть в часть, во что бы это нам ни стоило.

Верхний люк башни предательски скрипнул в ночи своими проржавевшими петлями, и сразу же над танком прочертили след осветительные ракеты, к счастью потонувшие в низких, набухших дождевых тучах. Чуть в стороне от нас промелькнули, посвистывая, сотни сверкающих стрел, выпущенных из автоматов. Надо сказать, что солдаты вражеского прикрытия стреляли наугад, как я понял, больше для очистки совести — ни они, ни мы ни черта не видели, хоть глаз выколи... Кое-как привыкнув к крошечной темноте, мы тронулись большей частью на брюхе, но все же тронулись в путь. Я полз за сержантом с парабеллумом в руке, осталось пять патронов. Сколько мы в полубредовом состоянии, до смерти боясь потерять друг друга, передвигались по полю брани, переползая через рыхлые трупы, утопая в воронках, переполненных водой, отдающей керосином, вымокшие так, что сухой ниточки на нас не сыщешь, ползли час или два, а может быть и все три, сегодня восстановить в памяти уже невозможно. Ползали, полагаясь только на собственный инстинкт. Быть может, и кружили на одном месте, кто знает, все могло быть...

Я первым учуял махорочный дух. Свой! Понял, поверил и сразу же так обесилел от счастья, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Но настырный заряжающий, ыкая мне в правое ухо, требовательно потряс за плечо — мол, не раскисай, командир,— и первым пополз на родной запах.

Когда я в темноте снова (в какой уж раз) бултыхнулся в воронку с водой по самое горло, совсем рядом вполголоса окликнули с рязанским выговором:

— Стой! Ктой-то там идет?.. Ляжаты!.. А то пулять зачну!— И ругнулся как положено.

Что там наши, сомневаться больше не приходилось. «Да не идем мы, голуба моя, а еле-еле ползем!» — хотел я громко выкрикнуть, но у меня ничего не вышло, потому что ком встал в горле.

— Ы-ы... Тан... Ы-ы... Тан-кисты м-м-мы по-о-погоревшие. С-свои м-мы, братья с-славяне! С-свои... славяне! С-свои...

Я не верил своим ушам. Немой заряжающий заговорил! С чего вдруг? От радости, от счастья, видать. Хоть и заикаясь на каждом слове, но заговорил. На моих глазах свершилось чудо, и я тому свидетель, это факт! Язык сержанта ожыл. Как ни странно, но я вот в такой сложнейшей ситуации вспомнил похожую сцену из комедийного фильма «Праздник святого Йоргена». Мне было смешно!

Впереди по курсу слышались голоса, стук котелков, клацанье затворов. Потом добродушная команда:

— Эй вы, там! Сколько вас? Ша-гом м-марш по одному!..

Сильные руки обхватили меня и — головой вниз с бруствера — стащили в траншею.

Все остальное почти не помню... Какие-то дурацкие вопросы... Курево... Котелок с горячей кашей, приправленной тушенкой... Краюха хлеба... Фляга с водкой... И все...

В который раз я пытаюсь восстановить в памяти подробности, детали встречи со своими, с родной матушкой пехотой, однако у меня с этой затеей ничего не получается. Не восстанавливается момент, вот ведь беда какая!..

Сколько времени мы проспали с заряжающим, я не знаю. Но когда я проснулся, солнце стояло высоко над головой и его горячие лучи отвесно падали на сырое дно траншеи в полный рост... Вокруг ни звука. Заряжающий еще спит, как младенец, подтянув колени к самому подбородку. Я стал разглядывать сержанта, как самого себя в зеркале. Комбинезон на нем в клочья. Волосы забиты глиной. Лицо и шея — что голенище сапога. Кисти рук — угольщика. Зато душа чиста наша и людям в глаза смотреть не стыдно. Чего ж еще?..

Под нами заботливо подстеленная солома. Пехота, видимо, а кто ж еще-то, уходя вперед, забстилась о нас. Рядом, аккуратно прикрытый крышкой, трофейный солдатский котелок, до краев набитый пшенной кашей вперемежку с кусками американской колбасы. Фляга с булькающей в ней жидкостью. В одной тряпице ломоть хлеба, в другой махра, несколько листиков от газеты, спички и даже алюминиевая столовая ложка на двоих. Ну где ж ты, спрашивал я самого себя с пристрастием, где еще в мире ты отыщешь вот такое бескорыстие, такое вот братство по оружию, как у нас?

Свою часть мы с заряжающим отыскивали, передвигаясь где на перекладных, где

пехом. лишь к исходу третьих суток, но... замешкайся мы с сержантом еще где-то минут на тридцать — и не миновать беды: похоронки на нас были бы уже где-то очень далеко.

Отыскали мы и свою «тридцатьчетверку» на великом танковом кладбище. Не без труда, но отыскали. Водителя и радиста извлекли из танка по частям, завернули бережно их останки в плащ-палатки и с соблюдением всех воинских почестей предали танкистов орловской земле.

С того самого незабываемого исчадия ада сосковского я стал ходить в танковые атаки, предварительно вооружив себя, что называется, до зубов: в карманах брюк две-три, а то и четыре, смотря по обстоятельствам, гранаты-лимонки; кроме табельного оружия, что обычно болтается на боку в кобуре с двумя обоймами, второй в загнушке, за пазухой, под гимнастеркой, тяжеленный кольт (где я его раздобыл, не помню); три-четыре пачки патронов рассыпью, расованных по карманам комбинезона; за левым голенищем столовая ложка, за правым — финка...

Вначале надо мной насмехались многие. Но когда кто-то из них попал в передрагу, многие стали задумываться не только о начале танковой атаки, но и о ее конце и, естественно, последовали моему примеру.

...26 октября 1943 года, в день моего совершеннолетия, на дымящемся и изрытом поле букринского плацдарма, образованного излучиной Днепра, перед неровным, не по ранжиру, заметно поредевшим в боях за освобождение Левобережной Украины строем 345-го танкового батальона была подана зычная команда:

— Лейтенант Носков, сержант Сидоров! Выйти из строя!

Командир 91-й отдельной танковой бригады, щедро одаренный природой ростом и могучим телосложением, — тогда, в сорок третьем, полковник, в 70-е годы Маршал Советского Союза, ныне покойный — Иван Игнатьевич Якубовский, перекрывая гудевшую вдали артиллерийскую канонаду, зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР:

«За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить:

орденом Красного Знамени:

лейтенанта Носкова Евгения Николаевича,

старшину Ревенко Алексея Пантелеевича — посмертно;

орденом Отечественной войны II степени:

сержанта Сидорова Николая Ивановича,

сержанта Рябова Ивана Павловича — посмертно».

Полковник Якубовский взял из рук своего адъютанта старшего лейтенанта Кияшко ордена и прикрепил их поочередно к нашим комбинезонам. Сжал нас по-отечески в железных объятиях и крепко расцеловал.

— По ма-ши-и-и-нам!

Экипаж из нового пополнения занял свои места в «тридцатьчетверке»: в отделении управления — водитель и стрелок-радист, в башне — я и заряжающий. Натянув плотно шлемофон на голову, я включился в связь, перекинул тумблер в положение «прием» и, как обычно, нервничая и не находя себе места, ерзая на командирском сиденье, стал ждать своего часа. Ждать да догонять хуже всего. Это известно. Терпение лопается, а команды нет. Все взмокло от пота, аж на боеукладку капает, а ты сиди жди. Наконец в наушниках шлемофона: 555, 555... И открытым текстом протяжно:

— Впе-ред! За Ро-ди-ну!.. Впе-ред!..

Взревели моторы, и окутанная клубами пыли свежая рота ринулась на вражеские позиции букринского плацдарма. В эту атаку я повел свой взвод танков «Т-34» уже семнадцатилетним парнем, кандидатом в члены ВКП(б), дважды орденоносцем.

Разгорались бои и сражения за освобождение Правобережной Украины...



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ



КОРНИ ДУБА*

Впечатления и размышления об Англии и англичанах

«ТУЗЕМЦЫ НАЧИНАЮТСЯ С КАЛЕ»

Приведенная выше поговорка многое говорит об отношении англичан к иностранцам. Она воплощает в себе врожденное представление о всех заморских народах как о существах иного сорта, подобно тому как жители Среднего царства тысячелетиями считали варварами всех, кто обитал за Великой китайской стеной.

Англичанин чувствует себя островитянином как географически, так и психологически. Дувр в его представлении отделен от Кале не только морским проливом, но и неким психологическим барьером, за которым лежит совершенно иной мир.

Если немцу или французу, шведу или итальянцу привычно считать свою родину одной из многих стран Европы, то англичанину свойственно инстинктивно противопоставлять Англию континенту. Все другие европейские страны и народы представляются ему чем-то отдельным, не включающим его. О поездке на континент англичанин говорит почти так же, как американец о поездке в Европу.

Известный заголовок лондонской газеты «Туман над Ла-Маншем. Континент изолирован» — это пусть курьезное, но разительное воплощение островной психологии.

Мы редко употребляем слово «континентальный» иначе как со словом «климат», имея прежде всего в виду резкие колебания температуры. Для англичанина же в слове «континентальный» заложен более широкий смысл. Это, во-первых, отсутствие уравновешенности, умеренности, это шараханье из одной крайности в другую — иными словами, недостаток цивилизованности. Во-вторых, «континентальный» означает не такой, как дома, точнее даже — хуже, чем дома. Таково, например, распространенное понятие «континентальный завтрак»: ни тебе овсяной каши, ни яичницы с беконом, ни просто кофе с булочкой.

Ла-Манш для англичанина все равно что крепостной ров для обитателя средневекового замка. За этой водной преградой лежит чуждый, неведомый мир. Путешественника там ожидают приключения и трудности (континентальный завтрак!), после которых особенно приятно испытать радость возвращения к нормальной и привычной жизни внутри крепости.

Главный водораздел в мышлении островитянина проходит, стало быть, между понятиями «отечественное» и «заморское», «дома» и «на континенте». Островная психология — один из корней присущей англичанам настороженности, подозрительности и даже подспудной неприязни к иностранцам, хотя подобное отношение сложилось под воздействием ряда других причин.

Полушутя-полусерьезно англичане говорят, что попросту непривычны к иностранцам в больших количествах, так как нога заморских завоевателей не ступала на их землю с 1066 года. Действительно, в отличие от других европейских народов анг-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

Однако плоды этого подвижнического труда редко становились достоянием общечеловеческости, расширяли кругозор жителей метрополии. Подобно данным агентурной разведки, они лишь принимались к сведению где-то в штабах, определявших стратегию и тактику в отношении колоний.

В отличие, скажем, от французов, которые в Индокитае или в Алжире значительно легче смешивались с местным населением, англичане жили в заморских владениях замкнутыми общинами, ни на шаг не отступая от традиционного уклада жизни.

Путешествуя по Индии, я поначалу недоумевал: почему в каждой гостинице меня будят чуть свет и прямо в постель, под марлевый полог москитника, подают чашку чая с молоком? Лишь потом, в Лондоне, я оценил достоинства этого английского обычая — пить так называемый ранний утренний чай едва проснувшись, по крайней мере за час до завтрака. Традиция сия доныне жива не только в бывших британских колониях, но и на европейских курортах, излюбленных англичанами, — от Остенде в Бельгии до Коста-дель-Соль в Испании.

Англичанин действительно заядлый путешественник. Но чтобы чувствовать себя за рубежом как дома, ему, образно говоря, нужно возить свой дом с собой, отгораживаясь от местной действительности непроницаемой ширмой привычного уклада жизни. Стойкое нежелание изучать иностранные языки, например, не без основания слышит национальной чертой жителей туманного Альбиона.

Джентльмен в лондонском клубе может с искренним негодованием рассказывать своим собеседникам:

— Восьмой год подряд езжу отдыхать в Португалию, каждый раз покупаю сигары в одном и том же киоске в Лиссабоне — и, представьте, этот торговец до сих пор не удосужился выучить ни слова по-английски...

Не будет преувеличением сказать, что англичанам в целом не хватает не только понимания, но и желания понять жизнь зарубежных народов.

В зажиточных казачьих станицах когда-то бытовало слово «инородец», в котором органически было заложено неприязненное отношение к приезжим со стороны, к чужакам, покушающимся на права и привилегии местных жителей. Нечто сходное с подтекстом этого слова англичанин бессознательно вкладывает и в понятие «иностранец».

В Лондоне я часто вспоминал рикшу из захолустного китайского городка. Он мок под дождем, тщетно дожидаясь седока у гостиницы. Вряд ли ему доводилось когда-либо видеть иностранцев. Но когда я прошел мимо и обернулся, я увидел на лице этого оборванного, продрогшего, полунищего возницы усмешку, которую до сих пор не могу забыть. Рикше был смешон мой нелепый вид, так как я, на его взгляд, был одет не по-людски.

У англичан, мне кажется, есть общая черта с китайцами: считать свой образ жизни неким эталоном, любое отклонение от которого означает сдвиг от цивилизации к варварству. Представление о том, что «туземцы начинаются с Кале», отражает склонность подходить ко всему лишь со своей меркой, мерить все лишь на собственный английский аршин, игнорируя даже возможность существования каких-то других стандартов.

Натура островитянина не в силах преодолеть недоверия, настороженности, сталкиваясь с совершенно иным образом жизни, с людьми, которые, на его взгляд, ведут себя не по-человечески. В основе этого предубежденного отношения к иностранцам лежит подспудный страх перед чем-то внешне хорошо знакомым, но, в сущности, неизвестным.

Еще с прошлого века известен случай с английскими туристами на Рейве, которые оскорбились, когда кто-то из местных жителей назвал их иностранцами. «Какие же мы иностранцы? — искренне возмущались они. — Мы англичане. Это не мы, а вы иностранцы!» Можно, разумеется, считать это старым анекдотом. Но и теперь, в сезон легких отпусков, из уст лондонцев нередко слышишь:

— Если вздумаете на континенте сесть за руль, не забывайте, что иностранцы ездят по неправильной стороне дороги.

личане из поколения в поколение привыкли жить, не зная врага, который периодически покушался бы на часть территории их страны, вроде Эльзаса, Силезии или Македонии.

Но если за последние девять веков Британия не знала иностранных вторжений, то в течение предыдущего тысячелетия она извела их немало. Иберы, кельты, римляне, англы, саксы, юты, викинги, норманны волна за волной обрушивались на британские берега. Всякий раз заморские припелыцы прокладывали себе путь огнем и мечом, наводя ужас на местных жителей и отгесняя их дальше, в глубь страны.

Войска Вильгельма Завоевателя, пересекшие Ла-Манш в 1066 году, были последним заморским вторжением. Но это вовсе не означало, однако, что угроза их перестала существовать. Хотя Британию стали считать владычицей морей и одной из великих держав чуть ли не со времени гибели испанской армады, англичане почти всегда чувствовали за горизонтом присутствие более крупного и сильного соперника. Британия уступала в силе Испании Филиппа II, Франции Людовика XIV и Наполеона, Германии Вильгельма II и Гитлера.

Взять, к примеру, ближайшую соседку — Францию. Хотя Лондон издавна старался спорить с Парижем на равных, Британия лишь на рубеже нашего века сравнялась с Францией по населению. В 1700 году население Англии составляло четверть, а в 1800 — треть тогдашнего населения Франции. Другими словами, Англия и Франция находились тогда по населению примерно в такой же пропорции, как сейчас Голландия в сравнении с Англией.

Итак, призрак заморской угрозы веками тревожил англичан. Он несколько отошел на задний план лишь при королеве Виктории, когда Британия не знала себе равных как промышленная мастерская мира и одновременно обладательница крупнейшей колониальной империи.

Но чувство отчужденности и даже предубежденности по отношению к иностранцам в ту пору не исчезло, а укрепилось как одно из следствий политики «блестательной изоляции».

Столетие назад, в 70-х годах прошлого века, «нация лавочников», как когда-то назвал ее Наполеон, правила четвертью человечества и владела четвертью земной суши. Взирая на мир с высоты имперского величия, легко было убеждать себя в том, что на свете нет и не может быть народа, похожего на англичан, и что «туземцы начинаются с Кале».

Впрочем, эпоха «блестательной изоляции» лишь усугубила предрассудки, существовавшие задолго до нее. Еще в 1497 году венецианский посол доносил из Лондона: «Англичане большие почитатели самих себя и своих обычаев. Они убеждены, что в мире нет страны, подобной Англии. Их высшая похвала для иностранца — сказать, что он похож на англичанина, и посетовать, что он не англичанин».

Даже самокритичность англичан является как бы оборотной стороной их самоуверенности. Во-первых, склонность бичевать или высмеивать самих себя вовсе не означает, что англичане охотно предоставляют это право кому-то со стороны. А во-вторых, чем больше знаешь этих островитян, тем больше убеждаешься, что даже когда они на словах поносят что-то английское, в душе они по-прежнему убеждены в его преимуществе над иностранным. А ведь иным народам присуще как раз обратное!

Обитатель Британских островов исторически тяготел к двум стереотипным представлениям о заморских народах. В иностранцах он привык видеть либо соперников, то есть противников, которых надо победить или перехитрить, либо дикарей, которых надлежало усмирить и приобщить к цивилизации, то есть сделать подданными британской короны. В обоих случаях британцы проявляли одинаковое нежелание знакомиться с языком и образом жизни иностранцев, с которыми они вступали в контакт.

Разумеется, для создания крупнейшей колониальной империи требовались не только завоеватели, но и исследователи. Править четвертью человечества было немислимо без знания местных условий. Имперское владычество опиралось на самоотверженность энтузиастов-первопроходцев, которые по двадцать — тридцать лет могли жить где-нибудь среди тамиллов или зулусов, досконально изучали их язык, нравы, обычаи, а заодно и слабости их правителей, видя в этом подвиг во славу британской короны.

Как быть иностранцем? Иностранцем вообще не следует быть. Это постыдно, это гурной вкус. Нет смысла притворяться, что дело обстоит иначе. И выхода из этого тоже нет. Преступник может исправиться и стать порядочным членом общества. Иностранец не может исправиться. Он всегда останется иностранцем. Он может стать британцем, но он никогда не может стать англичанином.

Так что лучше смириться с этой печальной действительностью. Есть некие благородные англичане, которые могут простить вам. Есть щедрые души, которые могут понять, что это не ваша вина, а ваша беда.

Джордж Микеш (Венгрия), «Как быть иностранцем» (1946).

СТАРЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ГАЛСТУК

— Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона...

Англичане любят повторять эту фразу, сказанную когда-то герцогом Веллингтонским. Наиболее чтимый своими соотечественниками полководец подчеркнул в ней роль закрытых частных школ в формировании элиты общества. Назначение школы — воспитать джентльмена, назначение джентльмена — возглавить и повести за собой людей в час трудных испытаний. Так принято трактовать крылатую фразу «железного герцога».

Выше уже говорилось, что англичане видят идеал воспитания не в родительском доме, а в закрытой частной школе. Самыми привилегированными из них считаются так называемые публичные школы. Уже само это название сбивает с толку своей парадоксальностью. Если «публичный дом» означает в Англии просто-напросто пивную, то «публичная школа» — это не что иное, как частная школа.

Публичные школы существовали в Англии со средних веков. Они давали классическое образование, необходимое для публичной карьеры, каковой в ту пору считалась деятельность служителя церкви или государственного чиновника.

Ныне в Британии насчитывается 260 публичных школ. Среди 38 тысяч остальных это вроде бы капля в море. Обучается в них лишь около 4 процентов общего числа школьников. И все же влияние публичных школ не только на систему образования, но и на общественно-политическую жизнь страны и даже на национальный характер чрезвычайно велико. В своем нынешнем виде они сложились полтора столетия назад — со времени тех новшеств, которые ввел доктор Томас Арнольд, возглавивший публичную школу Регби в 1827 году. Реформы эти отражали новые потребности, порожденные ростом империи. Как военная, так и гражданская служба в заморских владениях нуждалась в людях, которые, кроме традиционного, классического образования, были бы наделены определенными чертами характера.

Если в средневековых школах упор делался на совершенствование духа, а важнейшим рычагом для этого служила религия, то Томас Арнольд поставил во главу угла формирование характера, используя для этого такой новый рычаг, как спорт. Во-первых, моральные принципы, во-вторых, джентльменское поведение и, наконец, в-третьих, умственные способности — в таком своеобразном порядке перечислил он воспитательные цели публичной школы.

Со времен реформ Томаса Арнольда спортивные игры на свежем воздухе стали важной составной частью учебных программ. Причем спорт культивируется в публичных школах не только ради физической закалки, но прежде всего как средство воспитания определенных черт характера. Вместо индивидуальных видов спорта — таких, как гимнастика или легкая атлетика, — в публичных школах доминируют спортивные игры, то есть состязания соперничающих команд.

Считается, что именно такое соперничество приучает подростков объединять усилия ради общей цели, подчинять интересы личности интересам группы, способствует формированию командного духа, умению повиноваться дисциплине и умению руководить, то есть искусству так расставить людей, чтобы наилучшим образом использовать сильные стороны каждого из них в интересах команды и, наоборот, сделать их слабые места неуязвимыми для противника. Хороший игрок в составе школьной

команды обретает, по мнению англичан, задатки руководителя и общественного деятеля, которые пригодятся ему на любом поприще.

Воспроизводя для нужд империи правящую элиту, публичные школы видоизменили средневековый рыцарский кодекс чести, сделав спортивную этику, понятие «честной игры», важнейшим нравственным принципом, мерилом порядочности.

Если в средневековых школах основами воспитания считались латынь и розги, то Томас Арнольд, во-первых, добавил сюда третий рычаг — спорт, а во-вторых, вложил розгу в руки старшекласника. О том, как командное соперничество на спортивных площадках дополнило изучение классиков, речь уже шла. Вторым же важным нововведением явилась система старшинства, то есть внутренней субординации среди воспитанников, которая наделяет старшекласников значительной властью над новичками.

Для того чтобы эта субординация глубже пронизывала жизнь публичной школы, она организационно делится не горизонтально, а вертикально, то есть не на классы, а на дома. Каждый из домов объединяет воспитанников всех классов, остающихся в нем весь срок обучения от первого до последнего дня.

Именно через старшекласников публичная школа преподает новичку самый первый и самый суровый урок: необходимость беспрекословно подчиняться всякому, кто по школьной субординации стоит хотя бы на ступеньку выше. Трудно представить себе то огромное и безжалостное воздействие, которое, подобно нажиму валков прокатного стана, оказывается здесь на характер подростка. Все, что не совпадает с общепринятыми взглядами, безжалостно подавляется. Своими неписаными законами и обычаями английская публичная школа многим напоминает бурсу. Идею субординации новичкам прививают не нравоучениями, а унижительными обычаями, наряду с которыми существует вполне официальная система телесных наказаний.

Да, в той самой стране, где так любят говорить об уважении человеческого достоинства, телесные наказания школьников отнюдь не ушли в прошлое вместе со средневековьем или даже временами Диккенса. Розга доньше остается здесь узаконенным средством, чтобы сначала учить воспитанника безропотно подчиняться, а потом, когда он сам станет старшекласником, учить его умению повелевать.

Шестой, то есть выпускной, класс, в котором воспитанники обычно учатся два года, это как бы унтер-офицерский костяк школы. Эти подростки отвечают за порядок в классах, на спортивных площадках, в спальнях. Они вправе применять к младшим дисциплинарные наказания и поощрения.

Система воспитания, сложившаяся в публичных школах, требует изоляции подростка не только от семьи, но и от внешнего мира вообще. Считается, что лишь совместная жизнь в стенах интерната может привести к тому тесному контакту и глубокому знанию друг друга, при которых эффективно прививаются и качества подчиненных и качества руководителей. Этот замкнутый мир накладывает на молодежь столь глубокий отпечаток, что в выпускниках определенных публичных школ нередко можно распознать определенные человеческие типы.

Корпоративный быт, как и занятия спортом, имеет в публичных школах еще и побочную задачу: он в равной мере рассматривается как средство закалки. Считается, что спартанские условия жизни, в частности холод и голод, воспитывают твердость духа, выносливость, самообладание и другие ценные черты характера. Чем уважаемее и, стало быть, дороже школа, тем более суровые условия существуют там для воспитанников.

Девизом многих публичных школ поистине могли бы стать слова: чем хуже питание, тем лучше воспитание. Классы с центральным отоплением — нововведение, с которым куда раньше познакомятся учащиеся какой-нибудь второразрядной общеобразовательной школы. Спальни в публичных школах, размещающихся обычно в старинных зданиях готической архитектуры, никогда не отапливаются, как и раздевалки при спортивных залах. В публичной школе Гордон-стаун на севере Шотландии, где в свое время учились муж королевы герцог Эдинбургский и наследник престола принц Уэльский, воспитанники ходят в шортах и принимают холодный душ даже зимой, когда вокруг лежит снег. Окна в спальнях держат круглый год открытыми, и никому не разрешается накрываться больше чем двумя тонкими одеялами.

У англичан есть понятие «старый школьный галстук», с которым они привыкли связывать другое распространенное словосочетание — «сеть старых друзей». Корпоративные галстуки выполняют в Британии ту же роль, какую в Японии издавна играют родовые эмблемы на черных парадных кимоно.

Существуют галстуки научных обществ, спортивных клубов, гвардейских полков. Но наиболее престижным считается галстук публичной школы. По лондонским понятиям, он позволяет судить не только об образованности человека, но и о достоинствах его характера, о круте его знакомств — словом, служит свидетельством принадлежности к избранной касте. Куда бы ни забросила судьба английского джентльмена, он всюду перво-наперво ищет собратьев по публичной школе, которые в любом обществе инстинктивно тяготеют друг к другу.

На сей счет к тому же существует игра слов, так как выражения «школьный галстук» и «школьные связи» по-английски звучат одинаково. Человек с галстуком публичной школы — стало быть, человек со связями. Повязывая темно-синий галстук в тонкую голубую полоску, воспитанник Итона знает, что этим самым узлом он накрепко присоединен к «сети старых друзей», которая всегда будет ему опорой.

Подобно тому как жизнь юных затворников пронизана внутренней субординацией, такая же субординация существует и между самими публичными школами. Примерно треть из этих 260 частных учебных заведений считается более respectable, чем остальные, а внутри этой трети поистине элиту элит составляют наиболее старые школы: Итон, Винчестер, Регби, Харроу.

В Итоне стоит побывать всякому, кто хоть на несколько дней оказался в Лондоне. Всего в получасе ходьбы от Виндзорского замка, за мостом через Темзу sitsя готический собор, окруженный старинными школьными зданиями. Причем не меньшей достопримечательностью, чем эти архитектурные памятники, служат их современные обитатели. По узким извилистым улицам степенно расхаживают группы школьников, каждый из которых облачен во фрак и белый галстук бабочкой. Будущим джентльменам положено являться на занятия в наряде, который в наш век носят, пожалуй, лишь дирижеры и метрдотели.

Основанный в 1441 году Итон всегда был ближе к королевскому двору, чем другие публичные школы. Лично монарх назначает туда главу совета попечителей, а формированием совета занимаются Оксфорд, Кембридж и Королевское общество, то есть Академия наук. Пост директора Итона доныне принято считать вершиной учительской профессии.

Вот уже пять с лишним веков Итон воспитывает людей, считающих своим призванием стоять у кормила власти. Из стен этой школы вышло 18 премьер-министров. Поселившись на Даунинг-стрит, 10, Макмиллан любил повторять:

— При консерваторах дела обстоят вдвое лучше, чем при лейбористах: у Этгли было три итонца в правительстве, а у меня — целых шесть...

Благодаря баснословно высокой плате за обучение (2000 фунтов стерлингов в год), а также щедрым денежным пожертвованиям от своих бывших питомцев Итон располагает средствами, чтобы нанимать лучших преподавателей. Доступное лишь для избранных, такое учебное заведение, стало быть, и наиболее привлекательно для этих немногих. Надо ли удивляться, что две трети итонцев составляют сыновья бывших итонцев. Эта публичная школа больше, чем другие, напоминает наследственный клуб для политических деятелей, и в ее традициях развивать у воспитанников профессиональный интерес к политике.

Мечтая о «подобающей школе», обивая пороги Итона или Винчестера, Харроу или Регби, английский отец или мать думают прежде всего не о том, чему их отпрыск выучится на уроках, не о классическом образовании, сулящем сравнительно мало практической пользы. Они думают о том воздействии, что окажет публичная школа на характер их сына, о манере поведения, что останется с ним до конца дней, как и особый выговор, который проявляется с первого же слова и который можно выработать лишь в ранние юношеские годы. Они думают о друзьях, которых обретает их сын, и о том, как эти одноклассники и сам «старый школьный галстук» помогут ему в последующей жизни.

Принято считать, что хорошая публичная школа воспитывает в характере подростка такие черты, как самостоятельность, выдержку, стойкость перед трудностями, а также готовность вставать во главе других.

Публичные школы — это, разумеется, средство воспроизводства элиты, и само их существование свидетельствует об иерархической структуре общества. Именно в публичных школах проходит предварительную обработку тот человеческий материал, который поступает затем для окончательной шлифовки на «фабрики джентльменов» — в Оксфорд и Кембридж.

Вряд ли какая-либо другая страна стала бы терпеть, а тем более смогла бы создать столь жестокие заведения, как британские публичные школы. Первая неделя новичка в такой школе часто оставляет самый болезненный след в его жизни. Ему трудно даже осознать, что в мире может быть столько людей, желающих ударить его, причинить ему боль и имеющих полную возможность делать это в любое время дня и ночи.

Жестокие побои, которым старшины домов, старшеклассники, и даже сверстники подвергают новичков за малейшие проступки или за недостатки характера, не имеют параллели в британском обществе.

Hugge, даже в тюрьме, подростку не дадут семнадцать ударов розгами лишь за гримасу, сделанную другому подростку. Однако в публичной школе такая мера одобряется — отчасти потому, что она позволяет эффективно поддерживать дисциплину; отчасти потому, что учит младших чувству ответственности и повиновению власти; отчасти потому, что добрая порка считается полезной для воспитанников независимо от того, заслуживают они ее или нет.

Энтони Глия (Англия), «Кровь британца» (1970).

По части телесных наказаний в школах мы являемся чрезвычайно жестокой страной. Польша отменила их еще два столетия назад. Законы, запрещающие бить детей, были приняты в Голландии в 1850-м, во Франции в 1888-м, в Финляндии в 1890-м, в Норвегии в 1935-м, в Швеции в 1958-м, в Дании в 1968 году. В Британии же телесные наказания школьников до сих пор не отменены.

Еженедельник «Обсервер» (Англия), 1977.

ФАБРИКИ ДЖЕНТАЛЬМЕНОВ

Излучины реки Кем плавно огибают фасады колледжей. Весна напоминает о себе нежно-серебристой листвой плакучих ив, золотыми россыпями нарциссов на подстриженных лужайках. А приглядевшись к готическим стенам, замечаешь, как на их каменном кружеве тут и там оживает набухшими почками деревянное кружево плюща. В водной глади двоятся арки горбатых мостиков. Какой же из них дал имя здешнему городу? Ведь слово «Кембридж» означает «мост через Кем».

О консерватизме англичан, об их любви к старине и приверженности традициям написаны многие тома. Но вместо того чтобы штудировать их, можно просто побродить по этому городу, проникнуться его духом. Колледжи, похожие на старинные крепости. Готические соборы. Трапезные с почетными помостами для преподавателей и портретами прославленных выпускников на стенах. Увитые плющом аркады. Зеленый бархат газонов на квадратных двориках. Средневековая архитектура. Изысканная, ухоженная столетиями природа. Архаичные мантии профессоров и студентов. Все вокруг гармонично, все источает аромат старины, преемственности и незыблемости традиций; все это не может не оказывать воздействия на молодые души, на мироощущение тех, кто проводит здесь самые важные годы жизни.

Как и Оксфорд, Кембридж относится к числу немногих сохранившихся в Европе университетских городов. Оба они вот уже семь веков бесспорно доминируют в британском образовании. И хотя все это время между ними не утихает острое соперничество, провести грань между Оксфордом и Кембриджем отнюдь не легко.

Кое в чем эти университетские центры воплотили в себе различия районов, где они расположены. Кембридж — ворота Восточной Англии, края, своеобразного не только равнинным рельефом. Еще в XIV веке порты Восточной Англии вели бойкую торговлю шерстью, и нарождающийся купеческий класс все чаще спорил за власть с местными баронами. Потом на этих плоских равнинах, напоминающих Нидерланды, поселились голландские и фламандские беженцы от испанской тирании. Их появление еще больше укрепило вольнолюбивые традиции этого края.

В XVII веке, когда в Англии была свергнута, а затем снова восстановлена монархия, Оксфорд оставался городом роялистов, тогда как Кембридж был оплотом круглоголовых, как называли себя последователи Кромвеля, выходцы из купеческо-мещанской Восточной Англии. Будучи ближе к столице в прямом и переносном смысле слова, Оксфорд слыл более ортодоксальным и консервативным, чем сравнительно более изолированный, независимый и радикальный Кембридж.

Считать, что подобный контраст сохранился доныне, было бы упрощением. Кембридж действительно воспринял кое-какие черты вольнолюбивой Восточной Англии. На берегах реки Кем когда-то преподавал греческий язык Эразм Роттердамский. Там учились Кромвель и Мильтон, Ньютон и Дарвин. В кембриджском колледже Тринити мужало свободолюбие лорда Байрона. Но, с другой стороны, из стен Кембриджа вышли такие фигуры, как Пальмерстон и Бальфур, Болдуин и Чемберлен, которых никак не назовешь ниспровергателями или бунтарями.

Оксфорд уделяет сравнительно больше внимания гуманитарным наукам, особенно философии и литературе. В Кембридже наряду с классическими дисциплинами несколько шире поставлено преподавание точных и естественных наук.

Однако сами соперники считают подобное противопоставление условным и утврждают, будто Оксфорд и Кембридж имеют лишь два бесспорных различия: первый построен из серебристо-серого, второй — из розовато-бурого камня; в первом красива главная улица, второй славится «задами», то есть фасадами колледжей, обращенными к реке.

Впрочем, если о различиях между Оксфордом и Кембриджем подчас спорят, то установить сходство между ними куда легче. Прежде всего примечательно следующее: англичанин, учившийся в Оксфорде, предпочтет сказать, что окончил Балиол или Крайстчерч. Бывший студент Кембриджа обычно отрекорекомендуется как выпускник Тринити или Кингз. Оба, стало быть, перво-наперво назовут не университет, выдавший им диплом, а один из 20 с лишним колледжей, из которых каждый университет состоит.

Своего рода притчей стал случай с иностранцем, который сошел с поезда в Кембридже, уселся в такси и сказал: «В университет, пожалуйста!» На что шофер недоуменно ответил: «А здесь нет университета...» Водитель этот по-своему был прав, ибо ни в Кембридже, ни в Оксфорде нет адреса, который осуществлял бы собой понятие «университет». Иностранцу привычно связывать это слово со зданием или группой зданий, где размещаются ректорат, факультеты, аудитории и лаборатории, куда студенты приходят на лекции и семинары, а затем получают дипломы, подтверждающие, что они прошли определенный курс наук.

Кембриджский университет в этом смысле представляет собой нечто иное. Это прежде всего 23 автономных колледжа, которые играют в его структуре неизмеримо большую роль, чем существующее параллельно деление на факультеты.

Именно колледжи, которым, как и публичным школам, присуща негласная градация по статусу, деление на более престижные и менее престижные, осуществляют набор студентов, то есть продолжают дело их социальной классификации. Именно колледжи служат центрами всех форм корпоративной жизни, то есть воспитательного воздействия на студентов.

Факультеты, как общеуниверситетское начало, стали в послевоенные годы играть более заметную роль в учебно-педагогической деятельности колледжей. Однако видеть разделение труда между ними в том, что факультеты занимаются преподаванием, а колледжи — воспитанием, было бы неверно. Дело в том, что в отличие от прочих, «краснокирпичных» университетов Оксфорда и Кембриджа имеют общую своеобразную черту — систему личных наставников, своего рода научных руководителей, пер-

сонально прикрепленных к каждому студенту. Эта дорогостоящая, недоступная для «краснокирпичных» вузов система осуществляется не факультетами, а колледжами (хотя в роли наставников выступают профессора и доценты факультетских кафедр). Скажем, чтобы подобрать личного наставника для студента, изучающего китайскую философию, колледж договаривается с факультетом востоковедения. Причем плату за каждую встречу со своим подопечным этот научный руководитель получает именно от колледжа. Таким образом, студент Оксфорда или Кембриджа ходит на факультет слушать лекции, а сверх того отработывает каждую тему на индивидуальных занятиях в колледже, представляя наставнику письменные работы и подробно обсуждая их содержание. Словом, точнее будет сказать, что факультеты занимаются деятельностью преподавателей, в то время как заботу колледжей составляет и воспитание и успеваемость студентов.

Во всех формах корпоративной жизни, и прежде всего, разумеется, в спорте, который играет в Оксфорде и Кембридже, пожалуй, не меньшую роль, чем в публичных школах, студенты, как правило, отстаивают честь своего колледжа. Быть членом команды, выигравшей первенство университета по крикету, или попасть в состав сборной восьмерки для ежегодной регаты гребцов Оксфорда или Кембриджа — это факт в биографии, который значит подчас для будущей карьеры не меньше, чем оценки на выпускных экзаменах.

Нетрудно видеть, что роль колледжей в структуре Оксфорда и Кембриджа во многом схожа с делением публичной школы на дома. Здесь подобным же образом насаждается корпоративный дух, инстинктивная манера делить людей на своих и чужих. Здесь продолжается воспитание классовой верности. Основы ее закладываются как верность своему школьному дому в Итоне или Винчестере, закрепляются как верность своему колледжу в Оксфорде или Кембридже, чтобы перерасти затем в верность своему клубу, своему полку, своему концерну, своей парламентской фракции, а в конечном счете — в верность своему классу, классу власть имущих.

Формируя характер и мировоззрение будущих правителей страны, «фабрики джентльменов» используют те же методы, что и публичные школы. Это корпоративная жизнь в стенах колледжей, спортивная этика, возведенная в мерило порядочности, и, наконец, сама атмосфера средневековых университетских городов, утверждающая веру в незыблемость традиций. Но сверх того Оксфорд и Кембридж имеют одну своеобразную особенность, которая еще разительнее раскрывает их роль в воспроизводстве правящей элиты. Речь идет о дискуссионных клубах, специально предназначенных для того, чтобы со студенческой скамьи прививать будущим джентльменам навыки профессиональных политических деятелей.

Таковыми дискуссионными клубами являются в Оксфорде и Кембридже студенческие союзы, которые не имеют ничего общего с аналогичными организациями в других английских вузах. Во всей своей деятельности — от выборов руководящих органов до процедуры дебатов и голосования — студенческие союзы полностью имитируют палату общин британского парламента. Руководство студенческого союза избирается на семестр, иначе говоря, на десять недель. Так что ежегодно в университете трижды вспыхивает лихорадка предвыборной кампании. Как использовать соперничество колледжей, чтобы устранять личных соперников, как блокироваться со слабым против сильного, как идти на открытые компромиссы и закулисные сделки — все эти приемы и методы предвыборной борьбы на полном серьезе постигаются здесь на практике.

Дискуссионные клубы Оксфорда и Кембриджа учат будущих членов правящей элиты отнюдь не маловажному искусству полемики, способности сочетать эрудицию с находчивостью, умению стройно и убедительно излагать свои аргументы и парировать доводы противника. Мне довелось однажды беседовать с председателем студенческого союза Кембриджа. Он безукоризненно, без малейшего замешательства реагировал на сложные, даже каверзные вопросы, держал себя непринужденно, но с достоинством. И хотя в его поведении не было ничего напыщенного, ничего нарочитого, почему-то осталось чувство, что это студент театрального училища, играющий роль премьер-министра.

Диплом Оксфорда или Кембриджа — это не столько свидетельство определенных специальных знаний, сколько клеймо «фабрики джентльменов». Главная цель обучения там — воспитать человека, который продолжал бы традиции правящего класса, как они сложились на протяжении столетия в соответствии с неким избранным идеалом. Оксфорд и Кембридж — это заключительный этап отбора, пройдя который человек на всю жизнь приобщается к правящей касте, чувствует себя окруженным «сетью старых друзей».

Нарушив непреложное правило о том, что в доме повешенного не говорят о веревке, я дерзнул однажды завести речь об элитарности традиционного английского образования в одном из лондонских клубов. Утопая в глубоких кожаных креслах и окутывая себя облаками сигарного дыма, мои собеседники со «старыми школьными галстуками» и соответствующим выговором развили в ответ свою теорию, «сновавшую чуть ли не на дарвинизме. Да, признавали они, Оксфорд и Кембридж все чаще критикуют за то, что эти университеты не уделяют должного внимания естественным наукам, что они копаются в мертвом прошлом, вместо того чтобы заниматься живым настоящим, что они мало готовят человека к практической работе по конкретной специальности, что они переоценивают значение спорта, что, наконец, они недемократичны. Но можно ли винить скаковую лошадь за то, что она отличается от ломовой? Она просто принадлежит к другой породе, доказывали мне рассудительные джентльмены, потягивая из хрустальных бокалов старый шерри. Англичане, продолжали они, по природе своей селекционеры. Во всем — будь то розы, гончие или скакуны — они прежде всего ценят сорт, породу и стремятся к выведению призовых образцов. А каждый селекционер знает, что особо выдающихся качеств можно достичь лишь путем отбора, то есть за счет количества. Вырастить из всех лошадей породистых скакунов нет возможности, да нет и нужды. Точно так же нет необходимости делать все вузы похожими на Оксфорд и Кембридж. Публичные школы и старые университеты заняты выведением особой человеческой породы — людей, способных управлять страной. Цель эта уже сама по себе предполагает селекцию, отбор. А как можно совместить избранное меньшинство с разговорами о равенстве для всех?»

Выслушать подобные откровения было весьма любопытно. Тем более в клубной гостиной, огражденной от бега времени резными дубовыми панелями, кожаными креслами у топящегося камина и золочеными рамами портретов, с которых на нас словно из ушедших веков смотрели былые поколения итонско-оксфордских «призовых образцов».

Оторванный от семьи в раннем детстве, английский ребенок попадает в средневековую бурсу, именуемую публичной школой, где его вскармливают соской традиций. Есть лишь один способ надевать соломенную шляпу в Харроу, приветствовать учителей в Итоне, носить учебники в Чартерхаузе. Что за дело, хорош ганный обычай или плох? Главное — он установлен триста или шестьсот лет назад, прочее не имеет значения. Полы, на которых воспитанники Харроу совершают свои первые шаги как джентльмены, сделаны из дубовых досок кораблей Трафальгара. На скамьях, где еще Питт и Гладстон вырезали свои имена, школьники растут убежденными, что все лучшее в мире является британским: суда и сукна, секретные службы и зоопарки, дворцы и самолеты.

В тени высоких кирпичных стен, на зеленом ковре вековых газонов молодой англичанин обретает печать, которую уже ничто не может стереть. Привыкнув в течение семи лет жить с восьмьюстами подростками, делать те же жесты, совершать те же ритуалы, носить ту же одежду, подчиняться тем же правилам, увлекаться тем же спортом, с тем же командным духом — англичанин всю жизнь несет клеймо своей школы, какую бы карьеру он потом ни избрал. Когда вы увидите, с какой радостью почтенный епископ снимает с себя крест и митру и надевает шорты, чтобы быть судьей гребных состязаний на Темзе между Оксфордом и Кембрижем, вы поймете, что англичане рождаются джентльменами и умирают детьми. В каждом прелате церкви, в каждом государственном деятеле всегда живет школьник, который подходит к мировым проблемам все с теми же мерками клуба, крикета, школы.

Влияние Оксфорда и Кембриджа прежде всего направлено на то, чтобы вопреки тенденциям современности сделать большинство их студентов консервативными. Эти университеты видят свою роль в том, чтобы конструировать и формировать тип человека, предназначенного управлять страной. Именно это, а не учение, является главным.

Вильгельм Дибелиус (Германия), «Англия» (1922).

СОЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

— Для иностранца английская система образования — поистине темный лес, — посетовал я как-то в беседе с одним парламентарием-либералом.

— Что лес — это верно, и никакой системы в нем не высмотришь, — усмехнулся он. — Но в Англии не любят сажать деревья в ряд и подстригать их на один манер. Иное дело во Франции, где министр просвещения точно знает, на какой странице открыты сегодня учебники на уроке истории в четвертом классе или на уроке физики в восьмом. Многим англичанам не по душе такая регламентация. Сначала единая государственная школа, потом единая государственная наука. А что в итоге? Единый государственный образ мыслей? Какая беда, если у нас в Англии множество разнообразных школ (причем даже у однородных нет общих программ), что все они существуют сами по себе, как растут деревья в лесу? Зато хочешь — сядешь под дубом, хочешь — устроишься под сосной. Надо же оставить какой-то выбор и для родителей и для учащихся...

Подобные рассуждения можно услышать в Британии довольно часто. Это отголоски политической борьбы, которая идет вокруг проблем образования все послевоенные годы. Восхваление «свободы выбора» — излюбленный аргумент противников демократизации и унификации системы народного просвещения, которая в своем нынешнем виде продолжает служить социальным фильтром, каналом классовой сегрегации молодежи.

Лозунг «среднее образование — для всех», лежавший в основе послевоенной реформы английской школы, на практике оказался ширмой, маскирующей действия этого фильтра.

Вплоть до 1944 года среднее образование существовало в Англии в форме платных публичных школ и бесплатных грамматических школ, куда, однако, требовалось пройти по конкурсу. После того как среднее образование стало одинаково обязательным для всех, оно отнюдь не стало для всех одинаковым. Так называемые современные средние школы (преобразованные росчерком пера из начальных школ) заведомо должны были стать второразрядными учебными заведениями в отличие от первоуровневых — грамматических школ.

Для того чтобы рассортировать детей по этим двум типам школ, был учрежден селекционный порог — пресловутый экзамен «одиннадцать плюс». Малыши в Англии начинают ходить в школу с пятилетнего возраста. Первые шесть лет спрос с учащихся невелик. Главный стимул к прилежанию — их собственный интерес к занятиям, а не требовательность со стороны преподавателей. Но затем, как раз на рубеже начальной и средней школы, для детей наступает нечто вроде судного дня, когда их нужно делить на праведников и грешников, чтобы послать либо в рай, либо в ад.

Экзамен «одиннадцать плюс» был введен с целью отделить три четверти детей, предназначенных начать трудовую жизнь с шестнадцати лет, классифицируя их как менее одаренных, и сохранить перспективу высшего образования лишь для оставшейся четверти. В зависимости от этого экзамена подросток мог идти либо в грамматическую школу, готовящую к высшему учебному заведению, либо в современную среднюю школу, которая не дает права на поступление в вуз.

Практика отсекает «менее одаренные три четверти» посередине срока обучения, то есть еще в одиннадцатилетнем возрасте предопределять их дальнейшую судьбу, — эта система жестокая и, без сомнения, система классовая.

Защитники этой системы утверждают, будто грамматические школы (они носят такое название потому, что подготовка в университет требовала когда-то прежде всего изучения латинской и греческой грамматики) служат демократизирующим факто-

ром, ибо открывают дверь к высшему образованию, даже шанс поступить в Оксфорд или Кембридж для наиболее одаренных выходцев из бедных трудовых семей, которым недоступен кратчайший путь туда через публичные школы.

Через грамматические школы в Англии действительно выдвинулось из низов немало самородков. По содержанию программ и качеству преподавания они близки к платным публичным школам и все больше конкурируют с ними по числу выпускников, поступающих в вузы. (В чем они, разумеется, уступают питомцам Йтона и Винчестера, это отсутствием «старого школьного галстука», который играет столь важную роль в карьере.)

Однако сами по себе грамматические школы, как и вся система отбора по способностям, бесспорно, носят классовый характер. Ибо у выходцев из трудовых семей куда меньше предпосылок выдержать экзамен «одиннадцать плюс», чем у тех, кто имеет состоятельных родителей, возвращающихся в более образованной среде, имеет благоприятные условия для занятий, домашних репетиторов и т. д. Подсчитано, что в одиннадцать лет сын английского служащего имеет в 9 раз больше шансов поступить в грамматическую школу, чем сын рабочего, а в шестнадцать лет — в 30 раз больше шансов продолжать образование в вузе.

Хотя роль публичных школ в воспроизводстве элиты общества куда более очевидна и разительна, именно грамматические школы стали ныне в Англии главной мишенью критики и средоточием борьбы за демократизацию и унификацию системы образования. Произошло это отчасти потому, что на долю грамматических школ после войны приходилось около четверти учащихся (вшестеро больше, чем в публичных) и их роль в закреплении сословных различий больше бросалась в глаза.

Резкие протесты общественности против экзаменов «одиннадцать плюс» привели к тому, что лейбористское правительство провозгласило курс на их постепенную отмену и переход к системе общеобразовательных школ, которые со временем заменили бы пеструю чересполосицу грамматических, современных и прочих школ, не затрагивая лишь публичных. Сейчас около четверти английских детей поступают в грамматические или современные средние школы на основе отбора в одиннадцатилетнем возрасте, а остальные три четверти учатся в общеобразовательных школах, где их лишь перемещают в соответствующий поток.

Дело в том, что в отличие от других стран английская общеобразовательная школа не учит всех детей по общей программе и не ставит целью дать им одинаковый объем знаний. Она общеобразовательна лишь в том смысле, что объединяет под общей крышей разные типы средних школ. Одни классы занимаются там по продвинутой программе, открывающей дорогу в вузы, другие — по сокращенной, не дающей права на это. Выпускник может получить аттестат «А» — свидетельство об общем образовании повышенного уровня, или аттестат «О» — об общем образовании обычного уровня. Новое состоит лишь в том, что общеобразовательная школа теоретически предоставляет возможность переходить из потока в поток и после одиннадцати лет (что на практике бывает весьма редко). Система сортировки детей в середине срока обучения, стало быть, сохранилась, но лишь в завуалированной форме.

Поборники демократизации английского просвещения добиваются того, чтобы переход к системе общеобразовательных школ параллельно сопровождался ломкой внутренних перегородок в самих этих школах — только это покончило бы с судным днем для одиннадцатилетних детей не по форме, а по существу. Консервативные круги отвечают на это яростными контратаками с целью дискредитировать какие бы то ни было реформы, увековечить практику отбора и разнородных потоков, чтобы сохранить за системой просвещения роль социального фильтра.

Пока кипят страсти по поводу экзаменов «одиннадцать плюс» и реорганизации системы среднего образования, публичные школы как бы остаются в стороне от этих споров. Рассуждения о том, что они отжили свой век, что, с одной стороны, рост цен, а с другой — возможность учиться бесплатно обрекут эти дорогие школы на вымирание, оказались преждевременными. Хотя ежегодная плата за обучение в Йтоне, Харроу, Марлборо перевалила за 2000, а в Миллфилде даже за 3000 фунтов стерлингов, пробиться туда стало еще труднее, чем прежде.

Готовность родителей идти на любые жертвы ради того, чтобы их отпрыск стал обладателем «старого школьного галстука», а затем непременно подал в Оксфорд или Кембридж, порождается не одним лишь снобизмом. Из года в год старые университеты снимают сливки с публичных школ. А те в свою очередь — с частных подготовительных школ, где вместо унижительного экзамена «одиннадцать плюс» подростков натаскивают для успешного перехода от начального образования к среднему вплоть до тринадцатилетнего возраста. Обладая престижем и к тому же располагая средствами, старые университеты в состоянии привлекать лучших профессоров, а публичные школы — нанимать лучших учителей. Можно ли ожидать после этого, что уровень преподавания, а главное — уровень подготовки выпускников во всех учебных заведениях будет одинаков?

Обладатель «старого школьного галстука» имеет в 22 раза больше шансов попасть в Оксфорд или Кембридж, чем учащийся общеобразовательной школы, констатирует доклад «Неравенство в современной Британии».

Классовая сегрегация на этапе средней школы продолжается и в высшей. В Оксфорде и Кембридже учится менее 20 тысяч человек. Среди полумиллиона английских студентов они составляют лишь 4 процента, то есть примерно такую же прослойку, как воспитанники публичных школ среди 11 миллионов учащихся. Однако именно «старый школьный галстук» или диплом Оксфорда или Кембриджа остаются самым надежным ключом к успешной карьере, залогом приобщения к кругу тех, кто держит в своих руках бразды правления.

Характерная особенность Британии состоит в том, что четыре пятых молодежи сразу же после школы начинает трудовую жизнь. На высшее образование вплоть до недавних пор принято было смотреть как на излишнюю роскошь. По числу студентов на тысячу жителей Англия заметно отстает от других развитых государств, резко уступая, в частности, США и Японии. Здесь, безусловно, сказываются последствия классовой сегрегации, которая присуща английской системе образования больше, чем другим капиталистическим системам.

Помимо неимущих классов (для которых дорога в вуз была несбыточной мечтой,) даже многие представители английской буржуазии, особенно мелкие предприниматели, относились к высшему образованию не только скептически, но и враждебно. Существовало укоренившееся представление о том, что университет — пустая трата времени, что для овладения избранной специальностью важнее практическая подготовка на месте работы. Англичане, попросту говоря, не считают, что торговый агент или банковский служащий будет лучше делать свое дело, имея диплом, или что газетчик будет лучше писать, если окончит факультет журналистики. Нью-йоркское издательство вряд ли наймет редактора без высшего образования. В Лондоне же это обычное дело.

В начале нашего столетия историк Рамсэй Ньюир указывал, что по числу людей, оканчивающих университеты, Англия — пропорционально своему населению — находится позади всех стран Европы, если не считать Турцию. Полвека спустя доклад, опубликованный ЮНЕСКО, показал, что положение мало изменилось: Англия остается по этому показателю в хвосте европейских государств, опережая лишь Ирландию, Турцию и Норвегию. Отношение к высшему образованию стало существенно меняться лишь с начала 60-х годов. За это время число студентов в Великобритании увеличилось в два с половиной раза.

Оксфорд и Кембридж остались уделом избранных. Однако роль и других, «краснокирпичных», вузов также возросла. Их диплом стал больше цениться в промышленности, финансах, государственном аппарате. А способность готовить своих выпускников к поступлению в вузы стала важным мерилom достоинств той или иной школы.

На берегах Темзы любят подчеркивать, что так называемая социальная мобильность, то есть перемещение людей из одного класса в другой, происходит в Британии главным образом через систему образования. Правящая элита готова пополнять свои ряды теми талантливыми выходцами из других классов, кто сумел преобразить себя по ее облику и подобию, пройдя перековку на «фабриках джентльменов».

Но говорить, что английская система образования служит каналом для социальной мобильности, значит признавать, что она в гораздо большей степени остается каналом классовой сегрегации, воспроизводя и увековечивая сословную разобщенность.

Как почти все реформы 40-х годов, закон о народном образовании 1944 года был кульминационной точкой исследований, начатых в военные годы, и должен был послужить толчком к полной революции... на бумаге.

Теоретически все английские дети получают сейчас в той или иной форме среднее образование. В соответствии со своими способностями и склонностями они ходят либо в классические, либо в современные, либо в технические школы, и ничто не препятствует выпускникам любой из этих школ выдвинуться на высшие посты в государственном аппарате или в частном секторе, в политике или науке. Но практически просто никогда не случается, чтобы маршал авиации был выпускником технического училища; или чтобы управляющий Английским банком кончал современную среднюю школу; или чтобы торговец обувью имел классическое образование.

Современная средняя школа получает наименее одаренных детей, которые просто остаются там до шестнадцатилетнего возраста, после чего идут на производство. Технические школы явно выпускают больше квалифицированных механиков, чем оксфордских профессоров. Что же касается классического образования, то публичные школы и грамматические школы делят между собой лучших учеников, лучших преподавателей и вырабатывают расщепление для высших постов в стране.

Именно так увековечивается два вида сегрегации, происходящей параллельно: одна по качеству, другая по социальному происхождению. Они идут рука об руку, ибо самое лучшее образование является в Британии одновременно наиболее дорогим, что порождает два четко разграниченных класса.

Таким образом, закон 1944 года не мог решить два типа проблем: во-первых, сделать образование достоянием масс; и, во-вторых, покончить с глубокой и изощренной сегрегацией, которая раскалывает страну надвое.

Энн Лорнес (Франция), «Британия — не остров» (1964).

ДВЕ НАЦИИ

В наш век никого не удивит автомобильными пробками. Но эта многомильная очередь старомодно-тяжеловесных машин запомнится на всю жизнь. Огибая с юга Виндзорский парк, к Эскоту медленно двигалась бесконечная вереница «роллс-ройсов» с пассажирами в чрезвычайно консервативных серых цилиндрах и чрезвычайно эксцентричных дамских шляпах.

Почему-то вспомнились полчища глубоководных черепах, которые, повинувшись неведомому инстинкту, в определенный день выползают на один из тихоокеанских пляжей откладывать яйца в приморском песке. Неужели в одном месте их может быть так много сразу? И какая загадочная сила отцедила эти сливки лондонского автомобильного потока, где «роллс-ройс» порой мелькает лишь как редкий образец обреченной на вымирание породы?

Неделя королевских скачек в Эскоте знаменует начало летнего светского сезона еще с тех пор, как королева Анна в 1711 году повелела соорудить ипподром близ Виндзорского замка.

Вообще-то в «высоком лондонском кругу» не принято выставлять напоказ ни свою знатность, ни свое богатство. Так что королевские скачки — это как бы повод разговеться от поста приличий, появиться на ярмарке тщеславия, что называется, при полном параде, чтобы продемонстрировать, а также ощутить собственную причастность к сливкам общества. (Не потому ли заветный жетон, дающий право входа в «королевскую ограду», имеет светло-кремовый цвет?)

Чтобы попасть на ипподром в дни королевских скачек, нужно иметь деньги. Но чтобы получить билет на привилегированную часть трибун — в «королевскую ограду» (внз три ксторей, в свою очередь, расположена королевская ложа), этого мало.

Нужно заранее подать во дворец письменную просьбу о персональном приглашении. И уже дождавшись такового, на свой выбор покупать либо места в общем ряду, либо отдельную ложу. Стоит она до тысячи фунтов за сезон, но цена эта, утверждают знатоки, не столь уж велика, если сопоставить ее с расходами на туалеты, которые даме волей-неволей приходится изо дня в день менять всю неделю.

Но что значат подобные заботы и расходы в сравнении с пьянительной атмосферой причастности к избранному кругу? Серые цилиндры, экзотические шляпы и, конечно же, клубника со сливками, без которой, как и без шампанского, нельзя представить себе королевских скачек в Эскоте.

Пахнет конским потом, духами, сигарами. И еще, пожалуй, пахнет большими деньгами — как в вестибюле Английского банка, где служители почему-то носят такие же цилиндры и визитки, только не серого, а розоватого (как клубника со сливками) цвета.

Изящно изданная программа заездов позволяет судить о родословной каждой лошади, о ее цене. Что же касается родословной и состоятельности владельца, чье имя проставлено рядом, то это кому надо известно и без программы. Сливки Эскота — наиболее наглядная иллюстрация к докладу «Неравенство в современной Британии». Один процент жителей держит в своих руках четверть личной собственности в стране, 5 процентов владеют половиной ее. А 80 процентов населения, составляющие подножье социальной пирамиды, делят между собой меньшую долю, чем имеет один процент на ее вершине.

В «королевской ограде» Эскота принято, разумеется, говорить не о подобных статистических выкладках, а о породах лошадей. Однако остается вопросом, в чем больше преуспел Эскот за два с лишним века своего существования: то ли в выведении чистокровных скакунов, то ли в воспитании стопроцентных снобов? Ни один профессиональный режиссер не сумел бы придать идее классовых барьеров, идее социальной разобщенности, большую наглядность, чем это воплощено на ипподроме в Эскоте.

В годы лондонской эмиграции Ленину часто вспоминались слова Дизраэли о том, что в Англии существуют две нации, которые «управляются различными законами, следуют различным нормам поведения, не имеют общих взглядов и симпатий и не способны к взаимопониманию».

Дизраэли писал о двух нациях, когда страна была разделена на неимущих тружеников и титулованных земледельцев. С тех пор, разумеется, многое изменилось. Сильно разросся средний класс, то есть, по определению Энгельса, тот самый имущий класс, который на континенте принято именовать буржуазией. (Стало быть, когда англичане ведут речь о верхнем и нижнем среднем классе, под этим надо понимать соответственно крупную и мелкую буржуазию.) Однако вследствие особенно глубокого отпечатка, который старая земельная аристократия наложила на образ жизни страны, на ее социальные институты, Британии до сих пор гораздо больше, чем другим западноевропейским странам, присущи классовые различия, сословная разобщенность.

Обостренное чувство своей классовой принадлежности — отличительная черта национальной психологии англичан. Утверждение Джона Б. Пристли, что 29 его соотечественников из 30 точно знают, к какому классу себя отнести, многие считали писательской метафорой. Но социологическое исследование Джеффри Горера убедительно подтвердило эти слова. Результаты проведенных им опросов показали, что 94 англичанина из 100 не испытывают колебаний в том, к какому слою общества себя причислить. 54 из них назвали себя рабочим классом, 30 — средним классом, 7 — нижнесредним и 2 — верхнесредним классом, один человек заявил, что он не верит в существование каких-либо классов, и лишь оставшиеся 6 не знали, что ответить.

Имущественное неравенство, пропасть между эксплуататорами и эксплуатируемыми присущи любой капиталистической стране. Однако в Британии сверх всего этого о классовой структуре общества на каждом шагу напоминает множество сословных предрассудков. Как и во времена Дизраэли, социальный апартеид донныне разобщает страну, делит ее глухой стеной на две нации.

Для певца имперского величия — Киплинга мир был разделен на метрополию и колонии:

Запад есть Запад, Восток есть Восток,
И вместе им не сойтись...

Но как при жизни поэта, так и теперь, после распада колониальной империи, содержание этой строфы вполне применимо и к самой британской столице. Ее Вест-энд и Ист-энд, то есть запад и восток, — это по-прежнему полюсы богатства и нищеты, между которыми лежит столь же бездонная пропасть. В Лондоне больше всего поражает даже не этот контраст сам по себе, но четкость и непроницаемость социальных перегородок, дробящих быт огромного многоликого города.

Этот социальный апартеид пронизывает всю английскую жизнь, находя бесчисленные, подчас самые неожиданные проявления. Стоит ли удивляться тому, что лондонское такси имитирует карету прошлого века. Как когда-то кучер на козлах, шофер такси совершенно отделен от седоков (рядом с ним помещают только багаж). Если пассажиров четверо, два из них усаживаются на заднем сиденье, а другие два — лицом к ним, на откидном.

Есть ли еще в мире страна, где классовые различия простирались бы вплоть до денежных единиц? На лондонском аукционе Сотсби, например, где идут с торгов предметы старины и произведения искусства, цены до сих пор выражаются в гинеех, хотя при уплате их приходится тут же пересчитывать на фунты. Гинея — это некая условная денежная единица, которая состоит из 105 пенсов, в то время как фунт стерлингов — из 100. Иначе говоря, это своеобразная форма социального апартеида, или, точнее, социального снобизма. Вплоть до недавнего времени в гинеех принято было исчислять гонорары писателей, адвокатов, певцов. В гинеех же обозначалась цена драгоценностей, мехов, оперных лож, скаковых лошадей. Врач, сумевший открыть клинику на Уимпол-стрит или Харлей-стрит, портной, обосновавшийся на Сэвил-роу, взымали со своих клиентов плату в аристократических гинеех, подчеркивая тем самым свое превосходство над менее удачливыми коллегами по профессии, которые вынуждены довольствоваться вульгарными фунтами.

Ничто так не удручает англичанина, как невежество, с которым иностранец игнорирует оттенки социальных различий. Трудно представить себе, чтобы кто-нибудь у нас, говоря о литературе, назвал Льва Толстого граф Толстой. Здесь же не только в литературоведческой статье, но в будничном диалоге собеседник всегда скажет: лорд Байрон, сэр Вальтер Скотт. В один из первых месяцев жизни в Лондоне я совершил непроситительный грех — назвал писателя Чарльза Перси Сноу «мистером Сноу» вместо положенного обращения «лорд Сноу».

Англичане очень скрупулезны в употреблении титулов. Однако, с другой стороны, они считают непроситительным высокомерие, надменность, чванство, особенно по отношению к нижестоящим. Подчеркивать принадлежность к высшему классу не принято — окружающие должны сами ее почувствовать. И одним из признаков этого служит склонность держаться в тени.

Элита общества вращается в своем кругу. Травить лисиц, стрелять куропаток, удить лосося или форель уезжают в отдаленные поместья, так что эти традиционные аристократические развлечения не бросаются в глаза посторонним. Скачки в Эскоте — одно из немногих исключений, когда демонстрировать свою принадлежность к сливкам общества считается допустимым.

В условиях социального апартеида различные слои общества должны быть легко опознаваемы. Когда-то о классовой принадлежности человека говорила прежде всего его одежда. В наши дни поначалу кажется, что даже Шерлок Холмс не сразу распознает бы теперь, кто продавец из универмага, а кто профессор университета, кто страховой агент, а кто директор банка. А уж насчет женщин он и вовсе зашел бы в тушик, ибо все они следуют моделям и косметическим советам одних и тех же журналов.

Но хотя признаки социальных различий в современной одежде, казалось бы, свелись к минимуму, англичане тем не менее почти безошибочно определяют классовую принадлежность людей, с которыми встречаются впервые. Стремление первоначально классифицировать нового знакомого по социальной шкале возникает у них

инстинктивно и опирается на изощренный набор примет и сведений, накопленных с детства. Внешность, походка, манера держаться, интонации и приемы речи — все здесь играет свою роль. Изрядно поношенный, но добротный, сшитый на заказ костюм поднимет акции его владельца куда выше, чем щегольская обновка из универмага.

Самым безошибочным клеймом класса англичане считают язык. Отношение к выговору человека как к указателю его социальной принадлежности является важной особенностью английского общества.

Исключительную роль в данном случае играет обретенное произношение. Его не следует смешивать со стандартным, то есть, попросту говоря, правильным. Стандартное произношение свидетельствует о культуре человека, об определенном уровне полученного им образования. Обретенное же произношение указывает на принадлежность к избранному кругу. Этот особый выговор можно обрести лишь в раннем возрасте в публичных школах, а затем окончательно отполировать его в колледжах Оксфорда и Кембриджа. Откуда бы ни был родом обладатель «старого школьного галстука», его речь всегда носит отпечаток юго-востока страны, где расположено большинство публичных школ, а также старые университеты.

Однако обладать таким выговором вовсе не значит говорить по-английски безукоризненно правильно и тем более — излагать свои мысли четко и ясно. Британия, возможно, единственная страна, где дефекты речи и туманность выражений служат признаками принадлежности к высшему обществу.

На взгляд лондонских снобов, абсолютно правильная речь неаристократична: человека могут принять за актера, за диктора Би-би-си или, чего доброго, за иностранца. Более пристойным и изысканным считается мямлить, заикаться и вообще изъясняться несколько косоязычно. Словом, речь человека доньше остается для англичан самым безошибочным индикатором его социальной принадлежности. «Пигмалион» Бернарда Шоу посвящен прежде всего именно проблеме классовых различий и своеобразной языковой форме их проявления в британском обществе.

Почему у англичан столь обострено чувство общественной иерархии? Почему у них столь живучи сословные различия и предрассудки? Почему социальный апартеид так глубоко пронизывает весь их образ жизни?

Не приходится сомневаться, что эти черты сознательно культивируются в народе теми, кто держит в своих руках бразды правления и потому заинтересован, чтобы каждый четко знал свое место на общественной лестнице и строго его придерживался. Но, формируя выгодные для себя традиции и нормы поведения, власть предрежащие апеллируют к некоторым конкретным особенностям жизненной философии англичан, в своекорыстных целях спекулируют на этих национальных чертах.

Британские правящие круги, например, издавна стремятся навязать народу выгодную себе трактовку таких потенциально опасных для устоев власти понятий, как свобода и равенство. И надо признать, что тут они во многом преуспели. Именно в результате подобных усилий англичанину подчас свойственно понимать свободу прежде всего как свободу выбора или как свободу предпринимательства, а равенство — прежде всего как равенство возможностей или как равенство людей перед законом.

Ставка здесь — и, надо сказать, безуспешно — делается на самый подход к жизни. Англичане инстинктивно чужаются какой-либо регламентации, считая ее вмешательством в естественный ход вещей. Идеалом их жизненной философии можно назвать беспрепятственное развитие индивидуального. Они исходят из того, что все живые существа — люди, растения, животные — не только принадлежат к разным видам, но и внутри каждого вида отличаются друг от друга индивидуально, в этом смысле природа не знает равенства. Причем только свободное естественное развитие способно наиболее полно выявить черты индивидуального своеобразия.

Такова, стало быть, благодатная почва для представлений о том, что свобода от постороннего вмешательства и равенство возможностей вовсе не исключают определенной иерархии среди живых существ, которая налицо в природе и потому, мол, естественна и в человеческом обществе. Англичанина, обладающего подобной жизненной философией, легче убедить в том, что всех людей нельзя ставить на одну доску, как нелепо равнять гонимую с овчаркой или скаковую лошадь с ломовой.

Английская элита рассматривает себя как породистый класс, который под воздействием таких факторов, как наследственность, традиции, воспитание, лучше других подготовлен для управления страной; как особый сорт людей, специально предназначенный стоять у кормила власти. Устойчивость британского истеблишмента в значительной степени умножается тем, что многие представители других классов инстинктивно разделяют подобную точку зрения.

Одни люди заведомо принадлежат к породе руководителей, другие к породе руководимых — не нужно думать, что подобный взгляд ушел в прошлое вместе с эпохой королевы Виктории. Он доныне бытует на Британских островах — и не только в темных закоулках человеческого сознания, но вполне открыто, на страницах газет. Хочется проиллюстрировать это статьей видного публициста солидной газеты.

«Бесклассовая Британия не сработает» — гласит заголовок в «Санди телеграф» от 7 августа 1977 года. Автор воскресного обозрения Перегрин Уорсторн полемизирует с западногерманским журналом «Шпигель», по мнению которого в недугах Британии повинна ее классовая система, снобизм менеджеров, относящихся к рабочим как к существам низкой касты. Перегрин Уорсторн пытается доказать обратное. Проблемы современной Британии, утверждает он, порождены не недостатком, а избытком равенства. Беда в том, сетует он, что социальный разрыв, который разделял менеджеров и рабочих — разное образование, разный выговор, разный культурный уровень, — ныне значительно сузился. В прежние времена менеджер был не просто боссом. Он был членом класса, которому на роду написано отдавать приказы и который выглядел, одевался, говорил иначе, чем все. Подобным же образом рабочий был не просто рабочим. Он принадлежал к классу, предназначенному выполнять приказы, и выглядел, одевался, говорил соответственно. Иерархия шла на пользу авторитету одних и дисциплине других. Люди знали свое место. Именно это и гарантировала классовая система. Сегодня, вздыхает Перегрин Уорсторн, дело обстоит иначе. Но не из-за того, что Британия слишком медленно приближается к идеалу равенства, в чем ее часто упрекают иностранцы, а именно потому, что движение к этому идеалу оказалось чересчур поспешным. Корень зла, дескать, в том, что рабочим якобы труднее подчиняться тому, кто выдвинулся из их же рядов, чем прирожденному руководителю, человеку особой породы.

Итак, сословные различия оказались в Англии более стойкими, социальный аппарат — более глубоким, чем в других западноевропейских странах. Однако британская элита сумела в нужный момент избежать превращения в замкнутую касту и тем самым продлить свою жизнеспособность.

Вплоть до XVIII века английский правящий класс почти целиком состоял из крупной земельной аристократии. Благодаря праву первородства она из поколения в поколение сохраняла размеры своих владений и лишь в редких случаях дополнялась особо выдающимися политиками и полководцами, которым жаловались не только титулы, но и поместья.

С развитием торговли и промышленности влияние старой земельной аристократии, казалось бы, должно было пойти на убыль. Однако она сумела сохранить его, принимая в свои ряды тех, кто карабкался вверх по социальной лестнице. Это был исторический компромисс, благодаря которому английская аристократия не капитулировала перед новым классовым соперником — буржуазией, а удержала за собой положение законодателя нравов правящей элиты. Она распахнула дверь перед теми, кто был готов подкрепить своим богатством и влиянием позиции аристократии в обмен на желанную возможность смешаться с нею. Однако проникнуть в этот круг избранных всегда было можно лишь при одном неременном условии: приняв стиль, традиции и нормы поведения, сложившиеся у элиты общества на протяжении предыдущих веков. Аристократия, таким образом, омолаживалась притоком свежей крови, оставаясь наследственной кастой лишь в смысле своего образа жизни.

Такой метод «укрощения строптивых» — допуском их в элиту общества — британские правящие круги давно научились применять и для нейтрализации своих классовых противников. Не счесть примеров, когда ревностного ниспровергателя устоев, ярого противника капиталистической эксплуатации вдруг перестают третировать как фанатика, а, наоборот, берут его в пылкие объятия, осыпают почестями, поднимают на

пьедестал и в конце концов делают из него безопасного и покорного члена истеблишмента.

Трактуя свободу как «свободу выбора», а равенство — как «равенство возможностей», британская элита умудрилась приспособить эти грозные для эксплуататоров понятия на потребу хищнической идеологии частного предпринимательства.

По американским традициям, как равенство возможностей, так и равенство условий тесно связаны с идеей свободы. В Британии же эти два понятия гораздо легче разделяются и подчас даже противопоставляются. Там всегда находились люди, отрицавшие равенство как нечто практически недостижимое и даже морально нежелательное. Свобода же, понимаемая в рамках порядка, издавна почиталась главной из британских общественных добродетелей.

Даниэл Сноумэн (Англия), «Лобызающиеся кузины — сравнительная интерпретация британской и американской культур» (1977).

Лорд, ставший социалистом, был бы нормальным явлением в любой стране. Для социалиста же стать лордом было бы нелепицей где-либо еще. Это полнейшая нелепица и в Англии, но здесь она представляет собой нормальный порядок вещей. Привычным вознаграждением за жизнь, проведенную в решительной борьбе против привилегий, служит здесь возведение в пэры.

Джордж Микеш (Венгрия), «Как быть неподражаемым» (1974).

Английский верхний класс умело избегал окопной войны. Когда давление снизу становилось слишком сильным, он совершал тактический отход. Верхний класс уступал спорную территорию добровольно, без кровопролитий и слез, но, конечно, захватив с нее при отходе все, что имело какую-либо ценность.

Кроме того, покидая поле боя, верхний класс увозил с собой заложников. Для некоторых людей сама идея существования привилегированного класса, к которому они не могут принадлежать, столь невыносима и унизительна, что они готовы любой ценой сокрушить этот класс, на какие бы уступки он ни шел. К таким непреклонным существам, жаждущим крови, точнее говоря — голубой крови, применяются особые успокоительные средства. Когда, вырвавшись вперед и оставив позади толпы атакующих, они вплотную приближались к заветной крепости, перед ними вдруг распахивались ворота, и когда они, грожа от негодования, останавливались на крепостном дворе, они получали именно то, чего требовали: голубую кровь, кровь верхнего класса, — и по уши насыщались ею.

В конечном счете такой лидер, первым ворвавшийся в ворота, сам просил, чтобы их закрыли за ним, так как шум толпы мешает ему слышать, что говорят его новые грузы.

Дэвид Фрост и Энтони Джей (Англия), «Англии — с любовью» (1967).

Однажды в Лондоне я натолкнулась на два небольших строения, каждое из которых имело по две двери. На одном строении было написано: «Джентльмены — один пенс; мужчины — бесплатно». На другом: «Леди — один пенс; женщины — бесплатно». Я рассматривала эти надписи так долго, что полицейский почтительно подошел ко мне и вполголоса осведомился, не забыла ли я дома кошелек и не дать ли мне займы пенс.

Но я уже не могла вынести столько потрясений погряд и заплакала — то ли из благодарности к полицейскому, который с первого взгляда признал во мне леди; то ли от умиления перед сдержанностью и терпимостью лондонской толпы, которая до сих пор не сожгла дотла эти строения с их оскорбительными надписями; то ли оттого, что Англия настолько демократична, что не побоялась публично объявить разницу между джентльменом и мужчиной, между леди и женщиной, оценив ее всего-навсего в один пенс.

Одетта Кюн (Франция) «Я открываю англичан» (1934).

ЧАЙ У КОРОЛЕВЫ

Однажды мы с женой удостоились приглашения на чай в Букингемский дворец. Подобные приемы королева обычно устраивает летом на лужайке дворцового парка, обнесенного высокой стеной.

В нижнем правом углу пригласительной карточки было написано: «Утренняя визитка, или мундир, или пиджак». На языке дипломатического протокола «утренняя визитка» означает тот самый туалет, в котором джентльмену положено появляться на королевских скачках в Эскоте (и который эксцентричный профессор Хиггинс не удостоился надеть, когда впервые повез туда Элизу Дулиттл). Это серый цилиндр, такого же цвета визитка, полосатые брюки, перчатки, зонтик в виде трости и гвоздика в петлице. Все это можно, конечно, брать напрокат в специально предназначенных для этого заведениях. Поразмыслив, однако, я решил, что, прожив пятьдесят лет без серого цилиндра, обойдусь без него и на сей раз, благо сама королева предлагает в качестве альтернативы «или мундир, или пиджак».

Уже сама очередь, выстроившаяся перед воротами Букингемского дворца, напоминала массовую сцену для очередной экранизации «Пигмалиона» или «Саги о Форсайтах». Три четверти приглашенных пришли, разумеется, в серых цилиндрах, а все остальные — в военных или ведомственных мундирах. Ни единый человек, к моему облегчению, не бросил косога взгляда на мой прозаический пиджак; так же как никто, к огорчению жены, не обратил внимания на ее кружевную шляпу. Переступив порог дворца, я, к своему удовлетворению, убедился, что все министры лейбористского правительства, демонстрируя собственный демократизм, явились к королеве в пиджаках.

На лужайке парка были разбиты шатры, где угощали чаем и печеньем. Елизавета II ходила от одной группы гостей к другой. Причем все присутствующие неукоснительно соблюдали правила дворцового приема: разговаривать с королевой полагается лишь тому из гостей, к кому она непосредственно обратилась.

Я рассказываю об этом потому, что английская вежливость распространяет подобный принцип и на многие жизненные ситуации. Войдя в универсальную контору или пивную, англичанин терпеливо ждет, пока его заметят, пока к нему «обратятся непосредственно». Считается, что проситель, каковым является всякий клиент, не должен пытаться привлечь к себе внимание обслуживающего персонала каким-то восклицанием, жестом или иным способом. К тому же легко убедиться, что это бесполезно. Реально существующим лицом становишься лишь после того, как к тебе обратились с вопросом: «Да, сэр? Чем могу помочь?»

Сколько бы людей ни толпилось у прилавка, продавец имеет дело лишь с одним покупателем. И если степенная домохозяйка набирает недельный запас продуктов для своей многочисленной семьи, не следует попытаться уловить минутную паузу, чтобы спросить, есть ли сегодня в продаже печенка. Не ради того, чтобы взять ее без очереди, а просто узнать, есть ли смысл стоять и ждать. На подобный вопрос ответа не последует. Зато когда наступит ваша очередь, можно не торопясь выбрать себе печенку, попутно расспрашивать мясника о том, оценилась ли его такса, обсуждать с ним очередную перемену погоды и другие местные новости. Причем никто из стоящих позади не проявит ни малейшего раздражения или нетерпения. Ведь каждый здесь дожидается своей очереди не только ради покупки, но и ради того, чтобы полностью завладеть вниманием продавца.

Когда после нескольких лет жизни в Лондоне попадаешь на неделю в Париж, поначалу с удивлением чувствуешь, что тебя нигде не замечают. Стоишь перед окошком на почте, или у вокзальной кассы, или у стойки бара и бесплодно ждешь, чтобы на тебя обратили внимание (пока не догадаешься, что французского официанта просто нужно окликнуть словами: «Два пива, месье!»).

Если толкнуть англичанина на улице, если наступить ему на ногу в автобусе или, раздеваясь в кино, задеть его полой плаща, то он, то есть пострадавший, тут же инстинктивно извинится перед вами. Порой говорят, что такая доведенная до автоматизма вежливость безлична, даже неискренна. И все-таки, пожалуй, она лучше, чем инстинктивная грубость.

Английская вежливость в своей основе диаметрально противоположна японской. Японец ведет себя в толпе, как солдат, который чувствует себя обязанным отдавать честь не всякому встречному, а лишь тем, кто старше его по званию. Вежливость для него — это вертикальная ось человеческих взаимоотношений, долг перед старшими и вышестоящими. Английская же вежливость проявляет себя как бы не по вертикали, а по горизонтали. Это не бремя долга и не желание произвести благоприятное впечатление на других. Учтивость и предупредительность к окружающим, то есть к незнакомцам, рождает у англичанина чувство удовлетворения, возвышает его не в чужих, а прежде всего в своих собственных глазах.

Хорошим опытным полем для изучения английской вежливости может служить, как ее теперь принято называть, сфера обслуживания. На собственном опыте могу утверждать, что по уровню сервиса Лондон значительно уступает Нью-Йорку или Токио. Причины тому, впрочем, различны. Если в Соединенных Штатах индустрия обслуживания шагнула значительно дальше, чем в других капиталистических странах, то в Японии она еще больше, чем в Англии, сохраняет традиции минувших времен, когда медкий розничный торговец был в состоянии знать и учитывать запросы каждого постоянного покупателя.

Признаюсь, что за рубежом неполадки в системе обслуживания порой подмечает с оттенком злорадства. В Англии же с ними сталкиваешься столь часто, что чувство это вытесняется раздражением. Приезжаешь в назначенное время за автомашиной, поставленной на ремонт, а она не готова к сроку. Являешься на следующий день и обнаруживаешь, что старые свечи в моторе так и не заменили. Или купишь в магазине книжные полки, но доставить их пообещают только через две недели, а там и вовсе забудут. Иной же раз раздражает, наоборот, догматическая склонность к очередям: нужно потратить полчаса, чтобы лишь узнать, что следовало обратиться в другое место.

Зато постоянно убеждаешься, что англичанам почти неведомы такие черты современного быта, как грубая реплика, раздраженный вид или даже отчужденное безразличие со стороны продавца универсама, кондуктора автобуса или чиновника в конторе. Лондонец считает само собой разумеющимся, что люди, с которыми он вступит в контакт ради той или иной услуги, отнесутся к нему не только учтиво, но и приветливо. Торговец газетами на перекрестке, кассир в метро, клерк на почте умеют находить для каждого из сменяющихся перед ними незнакомых лиц дружелюбную улыбку. Англичане попросту не привыкли, чтобы к ним относились по-иному. И потому очень болезненно реагируют на любые проявления грубости и даже бездушия.

Надо подчеркнуть, однако, что дух приветливости и доброжелательности, пронизывающий английский сервис, неотделим от взаимной вежливости тех, кто обслуживает, и тех, кого обслуживают. К клиентам положено относиться как к джентльменам и леди, имея в виду, что они действительно будут вести себя как таковые. Отсюда полный отказ от повелительного наклонения в разговоре. «Могу ли я попросить вас...», «Не будете ли вы так любезны...» — вот общепринятые формы обращения покупателя к продавцу, посетителя кафе к официанту.

Взаимная вежливость в сфере услуг составляет в Англии одну из основ подобающего поведения. Грубость по отношению к обслуживающему персоналу и вообще к людям, которые в силу своего социального положения не могут должным образом ответить на нее, издавна считается самым непростительным грехом.

У англичан есть множество примет, по которым они сразу определяют, на какой ступени социальной лестницы стоит тот или иной человек. Причем одним из главных критериев принадлежности к элите общества считается именно вежливость к нижестоящим. Английского аристократа с малолетства учат, что проявлять свое превосходство над простыми смертными он должен лишь подобным путем. Это основополагающее правило воплощает собой, возможно, нечто вроде инстинкта самосохранения правящих классов.

Английская вежливость вообще предписывает сдержанность в суждениях как знак уважения к собеседнику, который вправе придерживаться иного мнения. Отсюда склонность избегать категоричных утверждений или отрицаний, отношение к словам

«да» или «нет» словно к неким непристойным понятиям, которые лучше выразить индифферентно. Отсюда тяга к вставным оборотам вроде «мне кажется», «я думаю», «возможно, я не прав, но...», предназначенным выхолостить определенность и прямолинейность, способную привести к столкновению мнений. Когда англичанин говорит: «Боюсь, что у меня дома нет телефона», он сознательно ограничивает это утверждение рамками собственного опыта. А вдруг за время его отсутствия телефон мог неведомо откуда взяться?

От англичанина вряд ли услышишь, что он прочел прекрасную книгу. Он скажет, что нашел ее небезынтересной или что автор ее, видимо, не лишен таланта. Вместо того чтобы обозвать кого-то дураком, он заметит, что человек этот не выглядит особенно умным. А выражение «по-моему, совсем неплохо» в устах англичанина означает «очень хорошо».

Самыми распространенными эпитетами в разговорном языке служат слова «весьма» и «довольно-таки», смягчающие резкость любого утверждения или отрицания («Погода показалась мне довольно-таки холодной»).

Иностранец, привыкший считать, что молчание — знак согласия, часто ошибочно полагает, что убедил англичанина в своей правоте. Однако умение терпеливо выслушивать собеседника, не возражая ему, вовсе не значит в Британии разделять его мнение. Когда же пытаешься поставить перед молчаливым островитянином вопрос ребром: да или нет? за или против? — он обычно принимается раскуривать свою трубку или переводит разговор на другую тему.

На взгляд англичан, обитатели континента чрезвычайно падки на преувеличения. Экспрессивные народы действительно не боятся преувеличить, сгустить краски, чтобы яснее и четче выразить свою точку зрения. Англичане же склонны к недосказанности. Не только преувеличение, но даже определенность пугает их, как окончательный приговор, который нельзя оспаривать, не оскорбляя кого-нибудь или не ущемляя собственного достоинства. Недосказанность же предусмотрительна, поскольку она признает свой временный характер, допускает поправки, дополнения и даже переход к противоположному мнению.

Короче говоря, англичанин избегает раскрывать себя, и черта эта отражена в этике устного общения. Проявлять навязчивость, пытаться разговаривать с незнакомым человеком, по английским представлениям не только невежливо, но в определенных случаях даже преступно — за это могут привлечь к уголовной ответственности.

В Британии доныне смеются над старым анекдотом о двух англичанах, которые оказались на необитаемом острове, но поскольку некому было представить их друг другу, двадцать лет не обменивались ни единым словом. Однако даже члены лондонских клубов, специально предназначенных для контактов элиты общества, кое в чем похожи на этих двух робинзонов. Когда джентльмен приходит обедать один, ему полагается садиться за общий стол, причем рядом с уже сидящими. Если сосед оказался незнакомым, с ним допустим обмен общими фразами. Однако называть свое имя, род занятий, что предполагает желание получить такие же сведения о собеседнике, считается бестактным. Этому должен предшествовать ритуал представления. Кто-то третий оглашает имена знакомящихся, после чего они задают друг другу сугубо формальный, не требующий ответа вопрос: «Как вы поживаете?» До этого, словно до обмена паролями, собеседник остается чужаком, а значит, интересоваться тем, как его зовут и как его дела, считается неуместным.

Английские представления о подобающей форме беседы, пожалуй, лучше всего воплощены в разговорах о погоде. Английская погода не столь уж плоха, какой слывет. Однако она дает достаточно поводов поговорить о себе, ибо часто оставляет желать лучшего, а главное — постоянно меняется. Поэтому, встречая на улице знакомого или соседа, кроме слов «доброе утро», принято отпустить какое-то замечание о погоде: обругать ее или, наоборот, похвалить, добавив, что она, судя по всему, вот-вот изменится. Необходимо, однако, помнить, что разговор о погоде носит сугубо ритуальный характер, так что ни в коем случае не следует подвергать сомнению слова собеседника и тем более спорить с ним.

Английская беседа полна запретов. Помимо слов «да» и «нет», четких утверждений и отрицаний, она старательно избегает личных моментов, всего того, что может

показаться непростительным вторжением в чужую частную жизнь. Но если не вести речь ни о себе, ни о собеседнике, если не ставить прямых вопросов и не давать категоричных ответов, если выбирать тему беседы лишь так, чтобы каждый раскрывал себя насколько пожелает и не создавал неловкости для других, то о чем останется говорить, кроме как о погоде?

Английская беседа поначалу кажется иностранцу тривиальной, постной, лишённой смысла. Однако считать, что это действительно так, было бы заблуждением. За внешней сдержанностью англичанина кроется эмоциональная, восприимчивая натура. А поскольку сложившиеся правила поведения не допускают, чтобы человек выражал свои чувства прямо, у англичан, как осязание у слепых, на редкость развита чуткость к намекам и недомолвкам. Они умеют находить путь друг к другу сквозь ими же возведенные барьеры разговорной этики. Со временем убеждаешься, что в английской беседе первостепенную роль играет не сам по себе словесный обмен, а его подтекст, то есть круг общих интересов или общих воспоминаний, на которые разговор опирается. Посторонний зачастую считает его тривиальным именно потому, что как бы плавает по масляному пятну на воде, не ощущая радости погружения в общие глубины.

Из этого, однако, следует и другой важный вывод. Язык намеков и недомолвок может быть уделом лишь определенного замкнутого круга, вне которого он теряет смысл. Стало быть, каноны устного общения, созданные властью имущими, способствуют сословной разобщенности, закрепляют классовую сегрегацию.

Во многих отношениях англичане одновременно самый вежливый и самый неучливый народ в мире. Их вежливость проистекает из уважения к человеческой личности и поощряется природной добродетельностью.

Их неучливость же — более сложное чувство, представляющее собой смесь подозрительности, равнодушия и неприязни. Объяснение этой неучливости, как и многих других английских черт, может быть найдено в классовой структуре английского общества; в той опасности, которую представляет для этой структуры что-либо не совместимое или не гармонирующее с ней. Всякий, чье положение или чьи запросы угрожают структуре классового общества, получает резкий отпор; ибо до тех пор, пока он не представил приемлемые верительные грамоты, незнакомец поговреивается в том, что он просит больше, чем ему положено, хочет занять не то положение, которое ему подобает, или выдвигает требования, не имея на то оснований. Нигде не встретит такого гостеприимства человек, которого жуют; нигде не получит такого холодного отпора нежданный незнакомец, тем более если его одежда или выговор выдают его сомнительное социальное положение.

Генри Стилл Комманджер (США), «Британия глазами американцев» (1974).

Английская вежливость — это не просто учтивость; это непревзойденное искусство. Она всегда была в руках правителей безотказным оружием для одурачивания того класса, который эти правители считали нужным обманывать. В этой стране умеют так же неумолимо закручивать гайки, как где-либо еще. Но даже когда вас сгибают в бараний рог, весь этот процесс облачен в такую обходительную форму, что вы как бы не догадываетесь о своей участи.

Одетта Кюн (Франция), «Я открываю англичан» (1934).

Изысканную и безукоризненную вежливость верхушки английского общества часто связывают с девизом «положение обязывает». Но мне она представляется своего рода врожденным инстинктом классового самосохранения.

Верхние классы в Британии не всегда были вежливы с теми, кто стоял ниже. Когда они обладали сильной властью, они могли позволить себе быть резкими и наглыми. Я подозреваю, что они стали более вежливыми, когда почувствовали, что власть начинает ускользать из их рук, — и сделали это, чтобы выжить как класс, способный править и дальше если не благодаря своей силе, то благодаря своему влиянию. В других странах, как, например, во Франции, России или Германии, где аристократия не сумела совершить такой коренной сдвиг в своем поведении, дворянство было сметено. В Британии же оно уцелело.

Уолтер Генри Нэлсон (США), «Лондонцы» (1975).

МАРШРУТ ЗОЛОЧЕНОЙ КАРЕТЫ

Так уж повелось, что хмурый ноябрьский день традиционно служит фоном для самой красочной и пышной из ежегодных лондонских церемоний — торжественного открытия парламента. Шестерка запряженных попарно белых коней выкатывает из ворот Букингемского дворца золоченую карету королевы. Ее сопровождает эскадрон конной гвардии в парадной форме времен битвы при Ватерлоо: драгуны в сверкающих кирасах и шлемах с плюмажами.

Королевский экипаж с фореяторами в средневековых камзолах и традиционным двигателем в 6 лошадиных сил вместе с почетным эскортом на вороных конях выезжает на Уайтхолл и затем спускается на Парламентскую площадь, к Вестминстерскому дворцу.

Под звуки фанфар, в короне и белом платье с шестиметровым шлейфом королева появляется в палате лордов и занимает свое место на троне. Пэры королевства в пурпурных мантиях с белыми горностаевыми воротниками получают разрешение сесть, за депутатами нижней палаты посылают гонца.

И тут в расписанном минута за минутой ритуале наступает довольно-таки затяжная пауза. Гонцу, во-первых, приходится пересечь из конца в конец все здание. А во-вторых, буквально перед его носом дверь палаты общин наглухо захлопывается. Лишь после того как посланец монарха почтительно постучится три раза, ему дозволяют войти внутрь, поклониться спикеру, его булаве и произнести заветную фразу:

— Королева повелевает палате ее величества сей же час прибыть в палату лордов.

Чтобы сделать это, нужно опять-таки пересечь весь Вестминстерский дворец. Депутаты следуют за гонцом попарно: глава правительства с лидером оппозиции, министры с соответствующими членами теневого кабинета. (Поневоле напрашивается сравнение с двумя футбольными командами, которые точно так же — вратарь с вратарем, нападающие с нападающими — выходят на поле стадиона.)

Стучаться к лордам им не приходится, но и места для такой толпы в верхней палате тоже нет. Протиснуться в проход могут лишь два-три десятка депутатов из 635. Так, стоя у двери или за дверью, слушают члены палаты общин тронную речь королевы.

Торжественное открытие парламента не только колоритная туристская достопримечательность. Маршрут золоченой кареты символичен. Букингемский дворец, Вестминстер, Уайтхолл — все это нарицательные понятия в государственном устройстве Великобритании. А сама ноябрьская церемония воплощает в себе многие своеобразные черты политической истории страны.

Палата лордов, где произносится тронная речь, украшена статуями 18 баронов, которые в 1215 году заставили короля Иоанна скрепить своей печатью Магна карта — Великую хартию вольностей. Эта охранная грамота была первой успешной попыткой феодалов навязать королю правила игры, обязательные не только для его подданных, но и для него самого; говоря языком шахматистов, заставить его признать, что хотя ферзь может ходить и как пешка, и как слон, и как ладья, он не вправе ходить как конь. Хотя на уме у авторов Магна карта явно была лишь узкоклассовая корысть, а отнюдь не интересы нации в современном понимании этого слова, англичан со школьной скамьи учат, будто политическая демократия ведет свое начало с Великой хартии вольностей и само понятие «гражданские права» родилось именно в их стране в 1215 году. А это утверждение, в свою очередь, порождает свойственную англичанам склонность понимать под борьбой за свободу прежде всего борьбу за суверенитет парламента в противовес абсолютизму королевской власти. Следы этого многовекового противоборства донныне окрашивают и описанный выше ритуал в Вестминстерском дворце.

Когда говорят о британском парламенте, обычно имеют в виду палату общин. Именно ее депутатов принято называть «эм-пи», то есть «член парламента»; именно переизбрание ее состава представляют собой парламентские выборы. В этом находит свое отражение главенствующая роль палаты общин, хотя, кроме нее, в Вестминстер-

ском дворце заседает еще и верхняя палата, состав которой должен официально именоваться «лорды парламента».

Однако, с точки зрения конституционного права, британская государственная пирамида имеет даже не двуглавую, а трехглавую вершину. Королева на троне, перед которой восседают пэры, а за ними толпятся члены палаты общин,— вот три компонента, олицетворяющие собой законодательную власть.

То, о чем теперь напоминает лишь ежегодный ритуал открытия парламента, в свое время было повседневной практикой. Предложение ввести новый или изменить старый закон, пройдя обе палаты, представлялось как петиция «королю в парламенте». В случае его одобрения формула «король того желает» превращала билль в закон.

Внешняя сторона этой процедуры дожила до наших дней. Строго говоря, верховным законодательным органом в стране является не палата общин и не обе палаты вместе, а триумvirат, именуемый «королева в парламенте». Всякий парламентский акт должен получить (правда, теперь заочно) королевскую санкцию и доньше неизменно начинается словами: «Да станет законом, изданным ее величеством королевой по совету и при согласии лордов духовных и светских, а также палаты общин в период созыва нынешнего парламента...»

Существование монархии напоминает о себе многими подобными приметами. Портрет Елизаветы II красуется на денежных знаках и почтовых марках. Конверт любого официального учреждения помечен грифом «на службе ее величества» (даже если в нем содержится всего-навсего счет за телефон или налоговая повестка). Кульминацией любого официального обеда неизменно служит «тост верности». Он состоит всего из двух слов: «За королеву!» — и одновременно служит сигналом, что желающие могут закурить. Название любого уголовного дела упоминает монарха рядом с именем преступника. Скажем, если какой-нибудь Джон Браун попадет при ограблении банка, судебный процесс над ним будет называться «Королева против Джона Брауна».

Есть ли за всем этим что-либо, кроме внешней стороны? Сохраняет ли какое-либо реальное влияние «милостью божией королева Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и других подвластных ей владений и территорий, глава Содружества наций, хранительница веры, суверен британских рыцарских орденов»?

Мы с детских лет привыкли слышать о том, что обладательница этого пространного титула «царствует, но не правит». Действительно, в условиях конституционной монархии королевские prerogatives носят скорее формальный, чем практический характер. Они сводятся к тому, чтобы созывать и распускать парламент, назначать и смещать премьер-министра, утверждать законы, принятые парламентом, возводить в пэры королевства, жаловать награды и пользоваться правом помилования. Однако во всех этих случаях монарх действует по совету Уайтхолла или по решению Вестминстера. Если бы, скажем, парламент вздумал вынести королеве смертный приговор, он обязан был бы представить ей этот билль на утверждение, а она, в свою очередь, была бы обязана дать на него королевскую санкцию, писал еще в 1867 году, в расцвет викторианской эпохи, Уолтер Бэджет, автор книги «Английская конституция», доньше считающейся наиболее авторитетным трудом по британскому государственному праву.

С 1707 года не было случая, чтобы билль, принятый парламентом, не смог стать законом из-за того, что ему было отказано в королевской санкции. С 1783 года не было случая, чтобы монарх сместил премьер-министра. Право назначать главу кабинета также весьма условно: премьер-министр должен опираться на большинство в палате общин и быть в состоянии сформировать правительство из своих сторонников. Сложные дилеммы возникали порой, лишь когда обитатель дома № 10 на Даунинг-стрит выбывал из строя досрочно. Но теперь выборы партийного лидера вошли в практику как у лейбористов, так и у консерваторов. Так что отставка Вильсона не вызвала в Букингемском дворце ни сомнений, ни колебаний, перед тем как «послать за Каллаганом».

Однако даже если королевские prerogatives не используются, это вовсе не означает, что они отменены. «Если в ходе дальнейшего развития английской политики нынешняя, по существу, двухпартийная система уступит место системе трех или более

партий, при которой ни одна из них не будет обладать подавляющим большинством, право короля назначать премьер-министра может оказаться большим преимуществом правящего класса», — писал Джон Голлан в книге «Политическая система Великобритании». Можно добавить, что таким же важным резервным оружием остается и другая королевская прерогатива — роспуск парламента.

Роль Букингемского дворца в государственном механизме может проявляться и иначе. В Англии широко известны слова Уолтера Бэджета о том, что за монархом сохраняется «право быть проинформированным, право поощрять и право предостерегать». Комментируя формулу Бэджета, будущий наследник престола герцог Йоркский (в последствии Георг V), говорил, что права эти «открывают перед королем широкое поле деятельности и могут дать возможность существенно влиять на государственные дела».

Право быть проинформированным — несомненно важный источник политического влияния. Красные кожаные портфели с государственными бумагами ежедневно доставляются королеве, где бы она ни находилась. Это позволяет ей быть в курсе всех решений кабинета и обсуждаемых им проблем, следить за перепиской с зарубежными правительствами и донесениями послов. К тому же премьер-министр каждый вторник посещает Букингемский дворец. Словом, королева имеет возможность видеть деятельность государственного механизма как бы изнутри и к тому же знать людей, занимающих в нем ключевые посты. Все важные правительственные назначения должны быть заблаговременно одобрены ею с правом «поощрить или предостеречь» в отношении предлагаемых кандидатов.

Все это в сочетании с широкими возможностями для личных контактов с зарубежными государственными деятелями позволяет монарху быть одним из наиболее информированных лиц в стране. По мнению английского социолога Айвора Дженнингса, королева, по существу, является членом кабинета и более того — единственным постоянным его членом, не зависящим от смены партийных правительств и потому влиятельным уже в силу своей опытности и осведомленности.

Проще говоря, монархия остается в Британии одним из элементов истеблишмента, то есть устоев власти. И то повседневное влияние, которое королева в состоянии оказывать на процесс принятия решений, может играть не меньшую, а подчас даже большую роль, чем официальные королевские прерогативы.

Существование монархии стоит изрядных денег. На содержание королевского двора парламент ежегодно отпускает по так называемому цивильному листу около двух миллионов фунтов стерлингов. Причем специальным парламентским актом оговорено, что размер этих ассигнований автоматически увеличивается по мере роста догровизны, то есть застрахован от инфляции.

Однако «цивильный лист» составляет примерно лишь треть всех расходов. Правительство сверх того оплачивает содержание и обслуживание персонала Букингемского, Сент-Джеймского дворцов и Виндзорского замка. Военно-воздушные силы содержат за счет своего бюджета королевскую эскадрилью, военно-морской флот — так называемую королевскую яхту (в действительности крупный океанский лайнер с экипажем в 250 человек, который не без основания именуют плавучим дворцом).

Королеву считают вторым крупнейшим землевладельцем в стране. В ее личную собственность поступают доходы от герцогства Ланкастерского, а наследнику престола — доходы от герцогства Корнуоллского, причем налоги с них не взимаются. Лично королеве принадлежит замок Балморал в Шотландии и замок Сендрингэм в графстве Норфолк, куда королевская семья выезжает на отдых.

Что же касается остальных коронных земель, которые даже по мнению британских юристов давно уже следует считать достоянием государства, то доходы от них со времен Георга III сдаются в казну (при каждой вспышке критики, что блеск королевского двора стал стране не по карману, это используется как довод, будто монархия в немалой степени окупает себя).

Да, с точки зрения подлинных правителей Британии, монархия действительно окупает себя, причем в гораздо более широком смысле. Пусть содержание ее обходится почти в 6 миллионов фунтов стерлингов, это, в конце концов, лишь сумма, которая расходуется в Англии на рекламу стиральных порошков. А ведь речь тут

идет не об отбеливании рубашек, а о том, чтобы обелить, сделать более привлекательной саму систему власти, укрепить веру в неизбежность ее устоев.

Золоченая карета, этот средневековый экипаж с двигателем в 6 лошадиных сил, донныне несет идеологическую нагрузку. Прежде всего монархия апеллирует к чувству истории, глубоко заложенному в англичанах. Она превозносит преемственность и неизбежность традиций, укрепляя тем самым корни политического консерватизма в национальном характере. Пусть в этом меняющемся мире будет хоть что-то стабильное, неизменное, связывающее хмурый сегодняшний день со славным прошлым, — вот к чему прежде всего взывает сверкающие кирасы конногвардейцев и блеск золоченой кареты.

Существование королевы, которая «царствует, но не правит», помогает, во-вторых, укреплять в народе взгляд, будто неприкосновенный фасад государственных установлений — это одно, а подлинные рычаги власти — уже нечто другое. Монархия тем самым способствует утверждению мифа о нейтральности и беспристрастности государственного механизма, о том, что он служит не интересам определенных классов, а народу в целом. В условиях двухпартийной системы Уайтхолл в отличие от Вестминстера является по этой версии такой же постоянной величиной, как и Букингемский дворец, и, стало быть, подобно королеве стоит якобы вне борьбы политических партий и общественных классов.

О том, как все эти факторы способствуют перераспределению реальной власти между парламентариями Вестминстера и чиновниками Уайтхолла, речь пойдет в следующих главах.

Монархия — это анахронизм, венчающий британское общество. В этой самой политической из западных стран, всегда бурлящей новыми идеями о путях и средствах, с помощью которых люди могут управлять собой, продолжает существовать тысячелетняя монархия, которую кто почитает, кто уважает, кто терпит, но мало кто подвергает нападкам.

Дрю Миддлтон (США), «Британцы» (1937).

Когда тот или иной политический институт в Британии перестает действовать, он не упраздняется. Его функции перерождаются в ритуалы, реальность заменяется мифом. Примером такого рода метаморфозы может служить монархия. Куда меньше людей, однако, осознано, что парламент — этот вечный факел англофилов — последовал за монархией в блистательную импотенцию. Он сохранился как символ демократических прений, гавно перестав обладать какой-либо реальной властью.

Клайв Ирвинг (Англия), «Подлинный Бритт» (1974).

МЕШОК С ШЕРСТЬЮ

Около миллиона туристов проходят ежегодно под сводами Вестминстерского дворца. Они задирают головы и рассеянно слушают гидов, ошеломленные обилием статуй и портретов, фресок и гобеленов. Под ливнем имен и фактов новичок чувствует, что у него голова идет кругом, как у студента, который пытается перед экзаменом наспех перелистать многотомный учебник истории.

Туристы узнают, что хорошо знакомое им по открыткам готическое здание на Темзе с башней Большого Бена вовсе не являет собой памятник средневековья в отличие от соседствующего с ним Вестминстерского аббатства. Удачно имитируя позднеготический стиль, архитектор Чарльз Бэрри возвел его не далее как в 1850 году на месте почти целиком сгоревшего одноименного дворца. И лишь знаменитый Вестминстер-холл (тронный зал, где при Генрихе VIII судили Томаса Мора, а при Кромвеле — Карла I) существует целых шесть веков, донныне поражая двадцатипятиметровым пролетом арочного перекрытия, опирающегося на систему дубовых стропил.

Хотя нынешний Вестминстерский дворец выстроен специально для парламента, он по сей день считается королевским, то есть формально лишь предоставленным в распоряжение палаты лордов и палаты общин. Ежегодное появление монарха учитывается в его планировке анфиладой парадных лестниц и залов.

После пышной помпезности Королевской галереи, главного Дворцового зала, где среди портретов монархов выделяются две огромные картины, изображающие смерть Нельсона в Трафальгарском бою и встречу Веллингтона с Блюхером во время битвы при Ватерлоо, убранство палаты лордов кажется более сдержанным и строгим. Ажурной резьбой своих дубовых панелей, тусклым золотом трона, цветными витражами в готических окнах она напоминает средневековую часовню.

Самая колоритная достопримечательность палаты лордов — мешок с шерстью. Так называется обитый красной тканью пуф, сидя на котором лорд-канцлер ведет заседания. Еще шестьсот с лишним лет назад Эдуард III повелел положить мешок с шерстью на самом видном месте в палате лордов, дабы он всегда напоминал о значении этого товара для королевства.

Палата лордов сравнительно невелика: примерно 30 метров в длину, 15 в ширину. Это, в сущности, малый тронный зал. Мешок с шерстью помещен в передней его части, как бы у подножия трона. А справа и слева от него вдоль зала тянутся красные кожаные диваны — по четыре ряда, поднимающихся ярусами с каждой стороны, по три шестиместных дивана в каждом из рядов. Право восседать на них имеют 1139 пэров королевства.

Не следует ломать голову, как они там размещаются. В голосованиях, которые бывают по вечерам, обычно участвует лишь десятая часть общего состава палаты. Для кворума же достаточно всего трех человек. Зато, взяв слово, пэр может говорить сколько заблагорассудится, и никто не вправе его остановить. Есть старый английский анекдот о том, как одному титулованному лицу однажды приснился сон, будто он произносит речь в палате лордов. Проснувшись, оратор, к своему удивлению, обнаружил, что действительно произносит речь в палате лордов. Эта едкая шутка приходит на память, когда смотришь с галереи на пустующие красные диваны, бродишь по коридорам, курительным, читальням. Всюду царит тот же дух отрешенности от времени, дух умиротворенной старости, который присущ прославленным лондонским клубам на Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс.

Палату лордов неспроста называют лучшим из клубов королевства. Где еще можно понежиться на склоне лет в столь изысканной компании? Причем если в клубах взимают членские взносы, то пэру, наоборот, выплачивают «суточные» за каждую явку в палату, даже если он просто зайдет на полчаса в бар.

Порой думаешь, что обитателей Вестминстерского дворца можно было бы разделить на три категории. Во-первых, это 130 государственных деятелей минувших времен, увековеченных в бронзе и мраморе и расставленных на каждом шагу. Во-вторых, это 635 современных политиков, заседающих в палате общин. И, наконец, в-третьих, где-то на полпути между настоящим и прошлым — это неопределенное и непредсказуемое число пэров в палате лордов.

Почтенные, великовозрастные фигуры. Присматриваясь к ним, порой испытываешь ощущение, будто листаешь газетный фотоархив: перед глазами сменяются полузабытые лица знаменитостей, вроде бы давно сошедших со сцены.

В последнее время палата лордов все заметнее обретает новую функцию: быть в политической жизни Великобритании чем-то вроде стоянки для отслуживших свой срок автомашин или чердака, куда можно складывать расшатавшуюся мебель, которую неудобно использовать, но жаль выбрасывать. Как консерваторы, так и лейбористы сплавляют в палату лордов тех, кого еще преждевременно «списывать в тираж», но уже нецелесообразно держать в палате общин.

Эта тенденция стала еще более очевидной после 1958 года, когда, опасаясь требований полностью упразднить верхнюю палату, консервативное правительство Макмиллана пошло на то, чтобы частично пожертвовать наследственным принципом ее формирования. С тех пор королева начала возводить в пэры пожизненно, то есть без права наследования титула.

Члены верхней палаты, занимающие в ней места пожизненно, так сказать, по должности, существовали и прежде. Это 26 духовных пэров, представляющих англиканскую церковь (архиепископы Кентерберийский, Йоркский и 24 епископа), а также 9 лордов высшего апелляционного суда. Теперь к ним добавилось еще около 300 пожизнен-

ных пэров, примерно половину из которых составляют бывшие члены палаты общин, а остальные — это промышленники, банкиры, дипломаты, ученые, писатели, профсоюзные деятели. Однако почти три четверти состава палаты лордов по-прежнему образуют 818 наследственных пэров.

Всего два столетия назад палата лордов сплошь состояла из титулованных землевладельцев. Нынешнему заводе консерваторов в палате лорду Каррингтону как-то напомнили, что, когда его предок был возведен в пэры Георгом III, лорды возмущенно покинули зал, ибо новичок был банкиром.

Крупные землевладельцы заседают в палате лордов и поныне. Но теперь их там вдвое меньше, чем банкиров, и вдесятеро меньше, чем пэров, чьи имена значатся в указателе директоров компаний. В палате лордов представлена половина крупнейших промышленных фирм (перед войной это были прежде всего владельцы шахт, судоверфей, железных дорог, а теперь директора нефтяных и химических концернов).

В сущности, нынешняя практика возводить в пэры пожизненно явилась не чем иным, как продолжением давней традиции. Ведь, как уже отмечалось выше, британский правящий класс еще со времен промышленной революции старался быть «аристократией с открытой дверью», вбирать в себя не только влиятельных представителей буржуазии, но и всех тех, кто в глазах общественного мнения олицетворял успех на каком-либо поприще. Помимо всего прочего, это, как известно, весьма эффективный метод обезвреживать и приручать опасных бунтарей. Наглядное напоминание — профсоюзная прослойка в палате лордов, бывшие лидеры тред-юнионов, чья многолетняя непримиримая борьба против сословных различий, против почестей и привилегий в итоге вознаграждена алыми мантиями пэров королевства.

В известном смысле палата лордов сама по себе может служить олицетворением истеблишмента, местом, где встречаются лицом к лицу те, кто держит в своих руках подлинные бразды правления, подспудные пружины власти.

Лондонских ревнителей демократических свобод всегда изрядно конфузит простой вопрос: как может этот никем не избираемый и никому не подотчетный орган чинить помехи палате общин, которую принято превозносить как «эталон парламентаризма»? И тем не менее подобный «необъяснимый анахронизм», как выразился журнал «Экономист», продолжает существовать и делать свое дело.

Вплоть до 1911 года лорды могли вообще отвергнуть любой законопроект, принятый палатой общин. Впоследствии за ними было сохранено лишь право отлагательного вето — двухлетней отсрочки, которая с 1949 года сокращена вдвое, а по бюджетным биллям, касающимся денежных ассигнований, — до месяца.

Однако даже в своем нынешнем виде право отлагательного вето остается важным козырем в руках истеблишмента, дает ему дополнительные шансы для маневрирования. Возможность заблокировать негодный законопроект хотя бы на год практически нередко означает похоронить его. Ведь к следующей парламентской сессии может сложиться совсем иная, неблагоприятная для данного билля политическая ситуация, а уж если на горизонте замаячат новые всеобщие выборы, о нем и подавно приходится забыть.

Примерами подобного саботажа со стороны пэров королевства пестрит британская история последнего времени. Перед первой мировой войной лорды сорвали принятие билля о самоуправлении Ирландии, что привело к ее расчленению, трагические последствия которого дают себя знать по сей день. В 1931 году верхняя палата воспротивилась законопроекту об обязательном школьном обучении до пятнадцатилетнего возраста. Данный билль удалось сделать законом лишь после второй мировой войны. Стало быть, у целого поколения англичан были урезаны возможности для среднего образования. Самих лордов это, разумеется, не коснулось. Почти все наследственные пэры относятся к числу обладателей «старого школьного галстука»: более половины из них (432 из 818) — бывшие воспитанники Итона, остальные кончали Харроу, Винчестер, Регби и другие привилегированные публичные школы.

В послевоенные годы лорды чинили всяческие помехи политике национализации ключевых отраслей экономики. Вновь и вновь проявляется примечательная тенденция: пока у власти находятся консерваторы, палата пэров не напоминает о себе, даже если

парламент сталкивается с крутыми поворотами во внешней и внутренней политике, какими были, например, вступление Англии в «Общий рынок» или попытка сковать забастовочное движение «законом об отношениях в промышленности». Но стоит прийти к власти лейбористам, как лорды тут же активизируют свою тактику саботажа, стремясь бесчисленными поправками либо затянуть принятие правительственных законопроектов, либо выхолостить их содержание.

Ведь независимо от воли избирателей, независимо от того, располагают ли лейбористы большинством в палате общин, они заведомо обречены на меньшинство в палате лордов, где за них голосуют всего 155 пэров, в том числе лишь 28 — наследственных. Казалось бы, это не так уж мало, если добрая половина лордов — «мертвые души» для палаты, а многие из остальных появляются в ней лишь от случая к случаю (уже говорилось, что в вечерних голосованиях обычно участвует около сотни пэров).

Однако особенность палаты лордов заключается в том, что состав ее перед каждым голосованием — величина неопределенная и непредсказуемая. Так, например, билль о санкциях против расистского режима Смита в Родезии был отвергнут в 1968 году большинством в 193 голоса против 183. Многие участники небывало многолюдного голосования появились под сводами Вестминстерского дворца впервые за несколько десятилетий. «Я встретил уйму родственников, которых считал давно умершими», — цитировали газеты удивленную реплику одного барона.

В ноябре 1977 года 196 пэров во главе с лордом Каррингтоном в очередной раз заблокировали правительственный законопроект о национализации авиационной и судостроительной промышленности (что было наиболее радикальным пунктом предвыборного манифеста лейбористской партии). Они проголосовали за поправку о том, чтобы исключить из числа национализируемых предприятий 12 крупных судоремонтных верфей. Поскольку правительство не могло пойти на это, законопроект был перенесен на следующую сессию, а там отложен в долгий ящик.

Итак, вспомогательный тормоз в руках противников социального прогресса — такова истинная роль палаты лордов в британском механизме власти.

Следует помнить, что политическое объединение представителей низших классов, созданное в их собственных интересах, является злом первой величины, что постоянный характер такого объединения обеспечил бы низшим классам преобладающую роль в стране и что их господство означало бы власть невежество над просвещением и численного превосходства над знанием. Пока они не научились действовать сообща, еще есть возможность предотвратить эту опасность, и она может быть предотвращена только величайшей мудростью и дальновидностью верхних классов... Они должны добровольно уступать, пока это еще не опасно, чтобы не пришлось впоследствии уступать по принуждению.

Уолтер Бэджет (Англия), «Английская конституция» (1867).

ЗАДНЕСКАМЕЕЧНИКИ И КНУТЫ

«Посторонние, шапки долой!» — этот средневековый клич разносится по гулким коридорам Вестминстерского дворца, возвещая, что процессия спикера с булавой шествует в палату общин. И пестрая толпа иностранных туристов, школьников с экскурсоводами и пенсионеров из провинции почтительно замирает, чувствуя себя свидетелями и участниками некоего священнодействия. К тому же центральное лобби, где толпится больше всего посетителей, и впрямь напоминает собор своими мозаиками на сводах. Эти четыре панно изображают святых-покровителей и национальные эмблемы каждой из составных частей Соединенного королевства. Святой Георг и роза символизируют Англию, святой Андрей и чертополох — Шотландию, святой Давид и лук-порей — Уэльс, святой Патрик и клевер-трилистник — Ирландию.

После величавой готики центрального лобби сама палата общин производит неожиданное впечатление. Она прежде всего поражает своими малыми размерами: всего около 20 метров в длину! Скамьи, обитые зеленой кожей, тут подлиннее, чем в палате лордов, и размещены они в пять рядов, по каждую сторону от прохода. Но даже при большем

числе посадочных мест, чем у пэров, палата общин все-таки скорее напоминает клубную гостиную, чем зал конгрессов.

Здесь нет ораторской трибуны. Депутаты выступают с места. И такая камерная атмосфера придает своеобразный характер дебатам: их участники ведут спор, что называется, лицом к лицу. Члены правительства на передней скамье отделены от скамьи теневого кабинета лишь проходом шириной в две шпаги. Черта, проведенная по ковру перед каждой из скамей, напоминает о времени, когда требовались меры предосторожности, чтобы словесные поединки в палате не переходили в вооруженные. Существующее доныне правило гласит, что если кто-либо из депутатов переступит черту у его ног, то есть «шагнет в аут», заседание считается прерванным.

Думается, что склонность англичан относиться к политике как к спорту, то есть видеть в ней состязание двух соперничающих команд, была умело использована творцами британской избирательной системы. Она благоприятствует чередованию у власти двух главных политических партий (в ущерб остальным) и делает парламентские дебаты похожими на футбольный матч между правительством и оппозицией.

Страна поделена на 635 избирательных округов (516 в Англии, 71 в Шотландии, 36 в Уэльсе, 12 в Северной Ирландии), каждый из которых посылает в палату общин по депутату. Причем при существующей ныне мажоритарной системе для победы не требуется большинства голосов. Нужно лишь, чтобы их было больше, чем у кого-либо из соперников. Скажем, если из 30 тысяч бюллетеней за одного кандидата подано 11 тысяч, за второго 10 тысяч и за третьего 9 тысяч, первый из них получает мандат, а голоса остальных 19 тысяч избирателей (то есть большинства в данном округе) пропадают впустую.

Заложенный в мажоритарной системе принцип «победителю все, а остальным ничего» способствовал мерному чередованию у власти тори и вигов, а потом консерваторов и лейбористов, сковывая тенденции к многопартийности с ее неустойчивыми коалициями.

Сам термин «оппозиция ее величества» являет собой хитроумное изобретение британских правящих кругов. Им декларируется, что партия, отстраненная от власти, сохраняет полную лояльность государственным устоям и будет добиваться возврата к кормилу правления, лишь свято соблюдая «правила игры». Лидер оппозиции, например, считается официальным лицом и наряду с членами правительства получает жалованье из государственной казны.

В своем нынешнем виде палата общин столь же приспособлена к двухпартийной системе, как футбольное поле для двух команд. Их основные составы — непосредственные участники матча — сидят друг перед другом на передних скамьях, тогда как всем остальным приходится довольствоваться участием запасных игроков, тщетно дожидаящихся возможности ударить по мячу.

От новичка в парламентской фракции меньше всего ждут ораторского блеска, государственной мудрости, законодательных инициатив. Даже само его участие в заседаниях палаты мало кого волнует. От рядового депутата, или, как тут говорят, заднескамеечника, прежде всего требуется лишь одно: он должен слушаться кнута. Это выражение, заимствованное из конного спорта, прочно вошло в обиход «праматери парламентов».

Как ни парадоксально, эталон западной демократии функционирует на основе военной дисциплины. «Главный кнут правительства», «главный кнут оппозиции» — это не газетные эпитеты, не жаргонные словечки, а общепринятые наименования должностных лиц — парламентских организаторов каждой из партийных фракций. Их обязанность вполне соответствует их названию: в нужный момент прогнать свою паству через нужную дверь.

В британском парламенте голосуют не руками, а ногами. При каждом разделении палаты (как называют подсчет голосов) депутаты, голосующие за, выходят в западные двери, а голосующие против — в восточные. Причем на всю эту процедуру отпускается несколько минут с момента включения сигнального звонка.

Заседания палаты общин по традиции начинаются во второй половине дня. Так что, заслушав сигнал около десяти вечера, когда обычно голосуются важные резолюции, депутаты должны сломя голову мчаться в палату нередко из дома или из гостей. Обла-

датели «старого школьного галстука», каких полным-полно в Вестминстере, любят ворчать, что дворец этот такая же бурса, как Итон или Винчестер: вся жизнь заднескамеечника проходит по звонку и под кнутом.

Впрочем, главный парламентский организатор олицетворяет собой не только кнут, но и пряник. Именно он является советником премьер-министра по правительственным назначениям и награждениям. Главный кнут имеет официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 12 — через дом от премьер-министра — и встречается с ним с глазу на глаз чаще, чем кто-либо другой.

Формально говоря, парламентская процедура игнорирует партийную принадлежность. К любому депутату положено адресоваться лишь как к уважаемому члену от округа такого-то. Лет сто назад подобное обращение имело смысл, ибо значительная часть законопроектов вносилась отдельными членами парламента. Ныне же инициатива в подавляющем большинстве случаев исходит от правительства. Принятие частного законопроекта стало большой редкостью.

Завладев большинством мест в палате общин и дав тем самым лидеру своей партии возможность сформировать правительство, рядовые парламентарии должны смириться с тем, что их главная миссия окончена и что впредь им остается лишь утверждать решения, принятые за пределами палаты, то есть послушно превращать правительственные билли в законы.

Теоретически депутаты считаются такими же полновластными хозяевами парламента, как акционеры — хозяевами своей компании. На практике же они, как и владельцы акций, узнают суть дела, лишь когда их ставят перед совершившимся фактом. Для члена палаты общин есть одна лишь возможность приблизиться к власти: стать обладателем министерского портфеля. А неременное условие такого назначения всем известно: депутат должен слушаться кнута.

Существует целая система приемов, предназначенных блокировать попытки заднескамеечников выступать против шагов правительства, которые им не нравятся. Одна из радикальных мер — объявить высказанное возражение «важным вопросом, требующим голосования доверия правительству». Это чревато роспуском парламента, досрочными выборами, то есть ставит под вопрос не только пребывание данной партии у власти, но и парламентский мандат депутата-бунтаря, которого окружная партийная организация может в другой раз даже не выдвинуть в кандидаты...

Вот почему единственная отдушина для заднескамеечника, когда он может забыть о звонках и кнутах, когда он может как-то проявить себя, это «час запросов». Ежедневно, кроме пятницы, с половины третьего до половины четвертого члены правительства, а по вторникам и четвергам и сам премьер-министр обязаны отвечать на поданные заранее письменные запросы депутатов:

известно ли уважаемому члену такому-то, что...? Не сделает ли он заявление по данному вопросу?

да, невозмутимо отвечает министр (читая по бумажке текст, искусно составленный его чиновниками), затронутый вопрос ему, разумеется, известен; правительство постоянно держит его в поле зрения; необходимые меры принимаются; об их результатах палата будет проинформирована...

Депутат усаживается на место с чувством выполненного долга, а точнее говоря, с надеждой, что несколько газетных строк о его запросе и ответе министра будут замечены в его избирательном округе. На большее он редко и претендует.

В наши дни вестминстерская политическая кухня немислима без средств массовой информации. Однако «праматерь парламента» пришла к этому через цепь мучительных и отнюдь не всегда последовательных компромиссов. Вплоть до 1738 года писать о ходе дебатов в газетах считалось грубейшим посягательством на привилегии парламента. Поэтому скрепя сердце согласились открыть Вестминстерский дворец для репортеров. Однако вплоть до наших дней на галерею прессы не допускают фотографов. Целые поколения художников доныне иллюстрируют газетные парламентские отчеты скетчами ораторов.

На моих глазах в 1978 году дебаты в Вестминстере впервые в истории начали транслироваться по радио. Что же касается телевидения, то его пока держат за порогом

палаты общин, а для палаты лордов делают исключение лишь раз в год — в день торжественного открытия парламентской сессии и тронной речи королевы. Этот запрет, впрочем, весьма относителен. Ибо, выйдя из палаты, любой оратор может тут же пересказать суть своего выступления перед телекамерами, как это делает канцлер казначейства после своей бюджетной речи или член теневого кабинета после дебатов по какому-либо вопросу.

Каждый день, который начинается в половине третьего с «часа запросов», в палате общин произносится около 40 тысяч слов. Это, как остряк на Флит-стрит, целых две многоактные пьесы. Лишь малая толика вестминстерского красноречия попадает в эфир и прессу. Большая часть стенограмм остается лишь на страницах «Гансарда» — парламентского бюллетеня, экземпляры которого брошюруются и складываются в хранилищах башни Виктории, где накоплено уже более 60 тысяч документов.

Маститые лондонские политики любят говорить о палате общин как о живом существе: «Палата не любит, чтобы ее держали в неведении... Палата не потерпит подобного безразличия...» В действительности же «праматерь парламентов» терпит многое — и прежде всего упадок своего влияния. Она по-прежнему остается центром политической жизни, но в значительной мере утратила былую роль в осуществлении политической власти. Парламентская процедура призвана создать впечатление, будто все важные вопросы решаются именно под сводами Вестминстерского дворца, по инициативе членов парламента и в результате гласных дебатов. На практике же суверенитет парламента теряется в запутанных коридорах власти, которые его окружают. Палата общин служит лишь авансценой для спектакля, который режиссируется из-за кулис.

Палата общин подобна паровой машине, которая выпускает пар, шипит и свистит, но втайне приводится в движение электричеством.

Энтони Сэмпсон (Англия), «Новая анатомия Британии» (1967).

Почтительно и смиренно поднимается посетитель на парламентскую галерею. И что же он видит? Несколько полууснувших депутатов, пытающихся внимать речи полубогрствующего оратора, который время от времени замолкает, дабы люди в бриджах, кружевных оборках и париках могли совершать некий непостижимый ритуал, внося и вынося символические жезлы и побрякушки.

Парламент относится к числу тех английских установлений вроде королевского смотра с выносом знамен, смены дворцового караула или ежегодной процессии лорда мэра, которые сохранили форму в церемониях, традициях или ритуалах, хотя уже давно почти целиком утратили свое содержание.

Десять десятых того, что происходит в Вестминстере, это хорошо отрепетированный спектакль. Большинство речей произносятся там не с намерением повлиять на чьи-то мнения или действия, а с целью довести до сведения избирателей через местную печать, что если их депутат и не всемогущ, то, по крайней мере, еще жив. Даже хваленый «час запросов» представляет собой «бокс теней», правила которого тщательно продуманы так, чтобы никто в поединке не пострадал. Это пантомима, во время которой депутат бьет министра бычьим пузырем на палке, а министр в ответ шлепает депутата связкой сосисок.

Члены палаты разминают мускулы во время «часа запросов», но стоит звонку возвестить о голосовании, как им приходится забыть приятное ощущение силы, порожденное этим упражнением, и, вытерев со лба воображаемый пот, дружно маршировать за своим лидером в соответствующую гверь. Им приходится выбирать не между разумным и глупым решением, не между хорошим и плохим законом. Выбирать они могут только между своей и чужой партией.

Все высказанное отнюдь не означает, что парламент не служит никакой цели. Просто цель эта — не служение народу, а служение его правителям. Он весьма полезен как барьер между народом и Уайтхоллом. Он служит местом, где люди могут выговориться, метать громы и молнии, от которых мало толку.

Дэвид Фрост и Энтони Дней (Англия), «Англии — с любовью» (1967).

КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Британскую двухпартийную систему часто сравнивают с маятником. Когда этот маятник совершает свое очередное качание, то есть когда оппозиция ее величества одерживает победу над правительством ее величества, смена власти в Лондоне напоминает по своей стремительности государственный переворот — правда, вместо танков к министерским особнякам на рассвете стягиваются багажные автофургоны.

Результаты парламентских выборов, которые по традиции происходят в четверг, становятся известными утром в пятницу. В тот же самый день премьер-министр извещает королеву об отставке правительства; лидер победившей партии приглашается в Букингемский дворец и после ритуала целования рук переселяется на Даунинг-стрит, 10, откуда грузчики еще выносят ящики со скарбом его предшественника.

Тот факт, что большинство членов кабинета селятся в правительственных особняках, делает смену власти особенно болезненной: министр разом теряет не только пост, но и кров. Сосед премьера — канцлер казначейства, живущий на Даунинг-стрит, 11, — имеет дом с одной-единственной дверью. Так что любители драматических сцен могут наблюдать с тротуара напротив, как через эту дверь происходит выселение прежнего обитателя и вселение нового.

Смена президента в Белом доме знаменует начало «великого переселения» в коридорах власти Вашингтона, которое затрагивает многие тысячи людей и тянется два месяца — с ноябрьских выборов до январского вступления в должность.

Поражение правящей партии в Британии означает массовое переселение лишь в палате общин, где две главные фракции меняются местами, словно танцоры во время кадрили. Что же касается перемен в лондонских коридорах власти, то они хоть и безотлагательны, но нечувствительны. Новые таблички появляются в Уайтхолле лишь на сотне дверей (правительство обычно состоит примерно из 20 членов кабинета, 30 с лишним некабинетных министров и еще столько же младших министров, замещающих руководителей ведомств). Весь аппарат каждого из министерств вылететь до его руководящего ядра во главе с постоянным секретарем остается на своих местах.

Когда в разгар Потсдамской конференции 1945 года лейбористы одержали победу над консерваторами и на смену Черчиллю в Потсдам прибыл Эттли, новый премьер не заменил в британской делегации ни единого человека. Это, по его словам, «вызвало большое удивление наших американских союзников». (Поскольку Эттли с первых же дней был окружен советниками Черчилля, стоит ли удивляться, что внешняя политика лейбористов так мало отличалась от курса консерваторов?)

Если двухпартийную систему в Лондоне любят сравнивать с маятником, то гражданской службе или чиновничеству принято отводить роль махового колеса, предназначенного сглаживать момент перехода власти из одних рук в другие. В следующий же понедельник после выборов новый министр уже подписывает бумаги, подготовленные тем же штатом сотрудников, что служили преждему. Он наследует все, кроме одного. В отличие от постоянного секретаря новый министр не имеет доступа к документам своего предшественника. Секреты предыдущего правительства не должны становиться достоянием соперничающей партии. Существующее на сей счет «джентльменское соглашение» имеет важные последствия. Чиновники знают больше, чем их сменяющиеся шефы — политики, и это накладывает свой отпечаток на их взаимоотношения.

Избрание в палату общин дает политику не только мандат в Вестминстер, но и шанс на путевку в Уайтхолл. В отличие от законодательных органов ряда других стран Запада британский парламент, подобно японскому, имеет монополию на правительственные посты. Их обладателями становятся около ста человек, то есть примерно четверть депутатов победившей партии. Остальные три четверти остаются заднескамеечниками и «слушаются кнута» в надежде когда-нибудь получить министерский портфель.

Лидер правящей партии поселяется в старинном особняке на Даунинг-стрит, 10, табличка на двери которого гласит: «Первый лорд казначейства». Именно таков официальный титул главы британского правительства, по которому ему выписывается жалованье.

Дважды в неделю здесь собираются члены кабинета. Они обсуждают повестку дня за длинным овальным столом, адресуясь лишь к премьер-министру и именуя друг дру-

га только по должности: «Я не разделяю мнения министра внутренних дел», «Что думает по поводу внесенного предложения министр транспорта?» Эта безличная форма обращения должна напоминать участникам дискуссии, что, хотя премьер-министр формально считается лишь «первым среди равных», именно он назначил присутствующих на занимаемые ими посты и он же вправе в любое время сместить каждого из них.

Помимо раздачи министерских портфелей, лидер правящей партии держит в своих руках и другие важные рычаги политического влияния, в частности награды и почести. Он представляет к присвоению почетных званий, титулов, включая возведение в пэры. Если роль палаты общин в политической жизни Британии на протяжении последнего столетия неуклонно шла на убыль, власть премьер-министра, наоборот, росла, став во многих отношениях президентской.

До середины XIX века государственная служба была безраздельной вотчиной земельной аристократии. Подбор чиновников целиком основывался на принципе личного покровительства. Члены парламента заполняли вакантные должности своими протеже — чаще всего младшими сыновьями знатных лиц, которых требовалось вознаградить или задобрить.

Уайтхолл находился, таким образом, в политической зависимости от Вестминстера. Карьера чиновников, их шансы на продвижение по службе в немалой степени предопределялись составом палаты общин. Смена партии у власти сопровождалась сменой верхушки государственного аппарата.

В своем нынешнем виде гражданская служба существует со времен реформы 1870 года, когда правительство Гладстона заменило практику личных рекомендаций системой конкурсных экзаменов. Одни британские историки превозносят этот шаг как торжество либерализма над консерватизмом. Другие рассматривают его как составную часть исторического компромисса между земельной аристократией и ее новым классовым соперником — промышленной буржуазией. Вторая точка зрения содержит, бесспорно, большую долю истины, хотя и не исчерпывает ее.

Главная цель реформы гражданской службы состояла в том, чтобы сделать государственный аппарат независимым от сменяющихся у власти политических партий, вывести его из-под влияния парламентского большинства и формируемых им партийных правительств. Принципы реформы были сформулированы в 1853 году в докладе Норткота—Тревелияна, авторы которого, по их собственным словам, были потрясены громовыми раскатами революции 1848 года, доносившимися до Британских островов из-за Ла-Манша.

Развитие капиталистических отношений и политические амбиции промышленной буржуазии, с одной стороны, выход пролетариата на политическую арену и рост требований всеобщего избирательного права, с другой, — вот что побудило титулованную знать стать «аристократией с открытой дверью», пожертвовать своей былой монополией в Вестминстере и Уайтхолле. Однако, сделав уступку времени, земельная аристократия позаботилась о том, чтобы бразды правления оставались в руках людей с угодным ей мировоззрением.

Рекомендации доклада Норткота—Тревелияна не случайно совпали с распространением публичных школ, когда эти «фабрики джентльменов» стали формой приобщения детей промышленников и банкиров к традициям и образу жизни земельной аристократии, чтобы пополнять ими ряды правящей элиты.

Став союзниками, недавние соперники оказались перед вопросом: если уж пришлось дать черни избирательное право, как застраховаться на случай, если она вдруг завладеет парламентом? Главная цель реформы 1870 года как раз и состояла в том, чтобы сделать государственный аппарат еще более действенным тормозом социальных перемен, чем палата лордов или монархия.

По предложению Чарльза Тревелияна, который четырнадцать лет служил в Индии, в основу реформы гражданской службы был положен опыт колониальной администрации. Чтобы искоренить взяточничество и семейственность, процветавшие во времена Ост-Индской компании, и обеспечить условия для выгодного помещения английских капиталов, для колониальных чиновников была введена система конкурсных экзаменов, раздельных для руководящего состава (для англичан) и технических работ-

ников (индийских клерков). С точки зрения имперских интересов, такая система вполне себя оправдала.

Реформа 1870 года подобным же образом разделила гражданскую службу надвое, возвела барьер между руководителями и исполнителями. Чтобы попасть в «административный класс», открывающий доступ на руководящие посты, стало необходимым сдавать экзамены по классическим дисциплинам в том объеме, в каком они изучаются в публичных школах и университетах Оксфорда и Кембриджа. Ясно, что такой образовательный ценз — нечто вроде экзаменов «одиннадцать плюс» для взрослых — был задуман как форма социального апартеида с целью гарантировать, чтобы к кормилу власти попадали лишь люди с определенным классовым мировоззрением.

Доклад Норткота—Тревелияна являет собой примечательный пример того, как британский господствующий класс использовал опыт, приобретенный в колониях, для усиления государственного механизма в метрополии. (Тенденция эта проявляется и по сей день, когда опыт карательных операций в Кении, Малайе, Омане, на Кипре перенесен на Ольстер, а Ольстер, в свою очередь, стал опытным полем для разработки новой технологии репрессий, предназначенных для самой Британии, о чем подробнее пойдет речь ниже.)

Выведя Уайтхолл из-под зависимости от Вестминстера, британские правящие круги продемонстрировали свое умение всякий раз застраховываться от последствий тех уступок, которые они порой вынуждены делать народным массам, чтобы удержаться в седле. Внешне власть отдана в руки избирателей: парламент формируется на основе всеобщего избирательного права, правительство формируется из членов палаты общин лидером партии парламентского большинства. Практически же страной правят не избранники народа, а чиновники, которых не выбирают, а подбирают.

Коридоры власти, которым посвятил свою одноименную книгу писатель Чарльз Перси Сноу, воплощают собой, разумеется, не всю семисотпятитысячную армию государственных служащих, а лишь ее элиту, лишь те 0,5 процента, что образуют так называемый административный класс — тесно сплоченную, замкнутую касту обладателей «старых школьных галстуков». Эти три с лишним тысячи чиновников значат в механизме власти больше, чем полсотни министров и шесть сотен депутатов.

Будучи заднекамеечником, депутат чувствует, что он бессилен перед мандарином гражданской службы, что самые каверзные парламентские запросы — не более чем булавочные уколы для этой многоглавой гидры. Министерский портфель представляется ему единственной предпосылкой обрести реальную власть. Однако те его коллеги, кому посчастливилось перебраться на переднюю, правительственную скамью, вынуждены убедиться в иллюзорности обывательского мифа о том, будто «чиновники советуют, а министры решают».

Постоянный секретарь не только лучше оплачивается, чем его сменяющиеся шефы. Он больше знает и больше может. Он неизмеримо превосходит своего начальника компетентностью в отношении проблем и людей, ошибок прошлого и возможностей на будущее. Может ли министр, пришедший в департамент на два-три года, войти в курс дела так же глубоко, как постоянный секретарь? Ведь ему, как говорят в коридорах власти, приходится носить сразу три шляпы: во-первых, возглавлять свое ведомство и в данном качестве представлять его перед общественностью, отвечать на парламентские запросы в палате общин; во-вторых, выполнять депутатские обязанности, регулярно бывать в своем округе, встречаться и переписываться с избирателями; и, наконец, в-третьих, заслышав вечером звук парламентского звонка, мчаться в Вестминстерский дворец, чтобы вместе с другими членами своей партийной фракции слушаться главного кнута правительства.

Если новый министр, не вдаваясь в суть дела, вздумает озаглавить свой приход какими-то радикальными новшествами, постоянный секретарь почтительно, но твердо докажет, что часть предложенного уже делается, другая планируется, а все остальное практически неосуществимо.

На Уайтхолле шутят, что дело министра — держать ружье, а куда целиться и когда спускать курок — дело постоянного секретаря. Именно чиновники готовят решения, именно они превращают их в жизнь. Однако первое публичное заявление о новом политическом шаге делается в парламенте именно министром. Одна из функций палаты

общин как раз и состоит в том, чтобы служить трибуной для подобных заявлений и дебатов вокруг них.

Нынешний государственный механизм Британии сложился в ту пору, когда политическая жизнь вращалась прежде всего вокруг проблем управления империей. Однако настало время, когда политический консерватизм верхушки гражданской службы, весь ее комплекс мышления, больше обращенный в прошлое, чем в будущее, стал помехой для процесса адаптации Британии к новым историческим условиям, в которых она оказалась после второй мировой войны в результате утраты колониальных владений.

Неспособность государственного аппарата приспособиться к новым потребностям настолько встревожила господствующий класс, что было решено изучить вопрос о новой реформе гражданской службы. В конце 60-х годов комиссия под председательством лорда Фултона опубликовала свои предложения на этот счет.

Доклад Фултона открывался формулировкой, которая доныне бросает в дрожь элиту Уайтхолла. «Гражданская служба,— подчеркивалось в нем,— все еще главным образом основывается на философии любительства. Ныне эта концепция имеет губительные последствия. Культ любителя устарел на всех уровнях и во всех частях гражданской службы».

По мнению авторов доклада, государственный аппарат, запрограммированный для нужд империи, отстал от времени. В изменившихся условиях разительно выявились его органические недостатки, прежде всего его чрезмерная элитарность и недостаточный профессионализм. Социальный апартеид, пронизывающий гражданскую службу, возводит в культ руководителя-джентльмена, то есть просвещенного дилетанта с классическим гуманитарным образованием, доступным лишь узкому общественному слою. Одной из самых радикальных рекомендаций доклада было предложение сломать барьеры, разделяющие государственный аппарат, чтобы открыть доступ на ключевые посты специалистам-профессионалам, лучше вооруженным для решения современных экономических и технологических проблем.

Насколько же успешной оказалась попытка вторично реформировать гражданскую службу? Ровно через десять лет после того, как указанные предложения были внесены, один из их авторов, лорд Кроутер, констатировал: «Гражданская служба выполнила лишь те рекомендации доклада Фултона, которые ей нравились и которые умножали ее власть, и уклонилась от осуществления тех идей, которые сделали бы ее более профессиональной, а также более подотчетной парламенту и общественности».

Доклад Фултона рекомендовал, к примеру, сократить преобладание людей с гуманитарным классическим образованием на руководящих должностях, способствовать выдвиганию на них квалифицированных специалистов. Но если сравнить статистику конца 60-х и конца 70-х годов, убеждаешься, что доля выпускников Оксфорда и Кембриджа, слушавших там историю, философию или право, увеличилась на государственной службе с 62 до 63 процентов. Администратор общего профиля (то есть все тот же джентльмен-дилетант) имеет в 5 раз больше шансов вырасти до помощника постоянного секретаря, чем ученый, и в 8 раз больше, чем инженер или экономист.

Хотя число руководящих постов на государственной службе возросло за последние двадцать лет на одну пятую, обладатели «старого школьного галстука» увеличили свою долю среди них с 59 до 62 процентов. При конкурсах на вакантные должности две трети заявлений поступают от выпускников государственных общеобразовательных школ, однако им достается лишь треть назначений. «Обвинение в том, что гражданская служба в основном формируется из элиты — воспитанников публичных школ и старых университетов,— ныне столь же верно, как и двадцать лет назад. Власть гражданской службы по-прежнему подменяет власть министров и парламентариев»,— признает газета «Гардиан».

Уайтхолл с его беспристрастностью и нейтральностью служит в британской политической системе такой же постоянной величиной, как и монархия, и подобно ей олицетворяет собой стабильность и преемственность в мире неустойчивости и перемен, убеждает англичан официальная пропаганда.

Но правомернее было бы другое сопоставление: если королева царствует, но не правит, то обитатели коридоров власти пристрастились поступать наоборот.

Уайтхолл продолжает играть ту роль, для которой этот рычаг государственной машины был в свое время предназначен: роль тормоза социальных перемен. Но пришла пора, когда рычаг этот, на беду его создателей, стал тормозом и в ином смысле — мешая стране (и механизму власти, в частности) прийти в соответствие с изменившейся реальностью.

Легко ли убедить себя в том, что проходит век полковников, которые извечно воплощали собой образ триумфального викторианства, империи, послеобеденного чая, игры в крикет на зеленых лужайках. Когда-то эти полковники — строители империи в 30-х годах прошлого века — уходили в отставку и поселялись в живописных поселках Дорсета и Корнуолла. Они читали воскресные проповеди в приходских церквях. Они имели самые ухоженные сады и получали призы на сельскохозяйственных выставках, выращивая огурцы величиной с тыква.

Эти полковники олицетворяли собой Британию, которая никогда не менялась: консервативную, уверенную в себе и замкнутую. Если вы не говорили с ними о распаде империи, о безработице, о лейбористской партии, о Бернарде Шоу, о механизации армии — обо всех этих проклятых новшествах, пришедших с континента, — они были милейшими людьми.

Полковники почувствовали, что получили смертельный удар даже не при распаде империи, а уже при механизации армии. Как только начали расформировывать кавалерийские полки, они стали требовать, чтобы офицерам, пересаженным на танки, сохранили хотя бы шпоры. Но техника, пришедшая в армию, нанесла удар по самому главному: по взаимоотношениям любителей и профессионалов.

И вот, по мере того как нарастают волны критики в их адрес, джентльмены и полковники чувствуют, что движутся к вымиранию. Не только глинноволосые интеллигенты, читающие Марселя Пруста и Зигмунда Фрейда, уничижительно высказываются о детях публичных школ, но все громче раздаются голоса, что «эти вещи гораздо лучше делаются за границей». А под «этими вещами» имеется в виду как раз то, что прежде всегда оставляли джентльменам: управление людьми и делами, проблемы политики и администрации, войны и мира.

Клайв Ирвинг (Англия), «Подлинный Бритт» (1974).

Если присмотреться внимательнее, становится очевидным, кто управляет страной. Это верхушка гражданской службы. Они делают вид, будто являются лишь старшими клерками, администрацией, смиренно и безымянно выполняющей приказы, проводящей в жизнь решения, принятые другими. Они действительно безымянны — они не отчетны общественности. Возможно, они и вправду смиренны. Но так или иначе они и есть наше правительство. Ибо сама система построена так, что именно они принимают решения по долгосрочным проблемам и определяют политику на будущее, даже если под документом стоит подпись политика, а на телевизионном экране появляется его улыбка.

Возникает вопрос: если государством управляют чиновники, чем же тогда занимаются политические деятели? Подобную деятельность вряд ли можно назвать искусством управления, скорее искусством рекламы. Да, политики занимаются именно этим. Они служат рекламными агентами нашего подлинного скрытого правительства — чиновничества.

Дэвид Фрост и Энтони Джей (Англия), «Англии — с любовью» (1967).

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЕ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА

Замечательному русскому писателю, академику, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственной премий Леониду Максимовичу Леонову — 80 лет. Большое, праздничное событие во всей литературе, в современном мире.

Леонид Леонов стоял у истоков социалистического реализма. Своим талантом, вдохновенным словом он внес огромный вклад в его развитие. Он один из тех писателей, благодаря которым молодая советская литература получила мировое признание.

С первых лет власти Советов писатель настойчиво вторгнулся в бурлящий поток жизни. «А действительность он знает, как будто сам ее делал», — сказал А. М. Горький; он же заметил однажды, что писатель Леонид Леонов сразу же выступил со «своей песней». Эта песня не умолкая звучала на всем историческом пути развития советского общества. Голос Леонова слышен далеко и могуче.

Можно сказать, что все глубинные общественные процессы так или иначе оказались в центре художнического видения писателя, поистине само время живет в книгах Леонова. Начиная от романов «Барсуки» и «Вор», посвященных людям и событиям гражданской войны, первых лет становления советской власти, через вдохновенный рассказ об индустриализации страны, о героическом сопротивлении советского народа гитлеровскому нашествию к эпическому полотну «Русский лес» развертывается художнический поиск Леонида Леонова в области современного романа, захватывающий кардинальные проблемы духовной жизни человечества. Острейшим социально-нравственным проблемам посвящена пьеса «Золотая карета», остроактуальна и повесть «Евгения Ивановна», где автор рассказывает о тяжелой судьбе русской женщины, оказавшейся вне родины, повесть исполнена глубокого патриотического звучания. В сатирическом памфлете «Бегство мистера Мак-Кинли» писатель искусно обнажает механизм буржуазной политики с ее бездуховностью и откровенным цинизмом. Под пером Леонида Максимовича Леонова живая действительность получила глубокое философское осмысление, «великое столкновение идей», если пользоваться его же определением, составляет суть решительно всех произведений писателя. Эта широта социальных и философских обобщений соединяется в его прозе и драматургии с глубиной психологического анализа, богатством языка. Продолжая и развивая лучшие образцы классической литературы, Леонид Леонов создал психологически точные, интеллектуально наполненные, реалистические характеры наших современников.

Для новаторцев отраден тот факт, что на страницах именно нашего журнала впервые появились такие видные леоновские произведения, как «Соть» и «Скутаревский», «Дорога на Океан» и «Половчанские сады», «Волк» и «Нашествие», «Лёнушка» и «Взятие Великошумска». И сегодня мы, как и все советские читатели, ждем нового слова большого художника. Его творчество питает самые различные виды искусства — театр, кинематограф, телевидение и т. д., это целая область в современной духовной культуре, о чем говорят и авторы публикуемых в номере выступлений, посвященных юбилею Леонида Леонова.

Вместе с нашими авторами, вместе с огромной армией читателей редколлегия и редакция «Нового мира» горячо поздравляют Леонида Максимовича Леонова, выдающегося писателя современности, крупного общественного деятеля, со знаменательным событием. желают ему доброго здоровья, долгих лет жизни и плодотворного труда.

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ. «...на всю жизнь талантливый»¹

Если брать итог литературной деятельности Леонида Леонова, то итог этот будет чрезвычайно ярок и многообразен.

Драматургические произведения писателя давно стали украшением советской сцены, а романы и повести вошли в золотой список советской литературы и действие их охватило огромные времена — от первых дней советской власти до наших дней.

Вершиной писательского труда Леонида Леонова следует считать роман «Русский лес», в нем сразу нас охватит мир леоновского творчества.

Леонов — один из основоположников советской прозы. Всю свою писательскую жизнь он страстно влюблен в слово, он великий трудолюбец, который работает, как вдохновенный мастер, над каждой строкой, чтобы не было проходящих, летучих, пустых фраз, не было необязательных сцен, наскоро, поспешно нарисованных пейзажей.

Леонид Леонов встречает юбилей не сторбленным, отставшим от жизни старцем, который мудро изрекает свои мысли и только полон воспоминаний о давно прошедших временах. Он обладает богатырской созидательной силой, которая с годами не превратила его в ветерана прошлых битв жизни, а наполняет его свежей энергией, и я не сомневаюсь, что мы еще получим удовольствие прочесть его новое произведение, потому что трудно представить себе его не занятым творческим трудом изо дня в день, а годы не играют особой роли для такого могучего организма. Я уверен, что он одарит еще нас новым романом, потому что он живет острым ощущением окружающей его действительности и не порывает с ней связи. А эта действительность богата событиями как никогда.

Я знаю Леонова с тех давних дней, когда я впервые попал в Москву. Первое по времени советское издательство «Круг» возглавлял популярный тогда литератор и критик — Александр Константинович Воронский. Он чрезвычайно внимательно относился к молодым авторам, которые каждый день со своими рукописями являлись к нему в издательство, и восторженно приветствовал их. Поговорив однажды с молодым

скромным человеком, Воронский после его ухода сказал мне: «Вы знаете, кто это?» Я не знал. «Это, — сказал он, — писатель большого будущего. Он написал повесть. Она называется «Барсуки». Это великолепная вещь. Вы должны с ним познакомиться».

И я познакомился с Леоновым. Он мне дал чистый лист бумаги, широкий, альбомный, и сказал: «Я собираю новеллы о русской бане. Напишите на этом листе короткую новеллу или ваши мысли о русской бане». Мне понравилось задание, и я, подумав и посмеявшись, написал короткое повествование о русской бане. Каково же было мое удивление, когда впоследствии он при встрече сказал: «Я ведь собрал альбом новелл о русской бане. Но лучше всех о бане написали вы...»

А я вспомнил, что осенью семнадцатого года под напором вильгельмовских полчищ мы медленно отступали от Риги на север. И однажды наш разъезд в южной части Эстонии набрел на брошенный хутор. При хуторе была русская баня, и гусары захотели ею воспользоваться. Мы долго и блаженно мылись, а потом кто-то сказал: «Братцы, да неужели немцы, которые идут за нами, будут тоже мыться в этой бане?» И они сожгли баню, чтобы она не досталась врагу... Это и была та новелла, взятая из жизни, которая понравилась Леонову.

Спустя немного времени наша писательская бригада должна была по совету Максима Горького отправиться в Туркмению. В бригаду входили писатели Петр Павленко, Всеволод Иванов, Леонид Леонов, поэты Владимир Луговской, Григорий Санников и я. Это была очень много давшая нам, писателям, поездка.

За время этой поездки на берегах Амударьи в только что образованных колхозах мы тесно сошлись и сдружились. Каждый из нас, писателей, вынашивал свою тему, которая была ему ближе других. Тогда по Туркмении только что прошла кампания борьбы с саранчой, и Леонид Леонов сразу заявил, что будет писать повесть «Саранчуки». Я решил написать о кочевниках пустыни — джемшидах и белуджах, Владимир Луговской взял тему пограничников, и все другие углубились в изучение своего материала. Но мы не знали еще, что Леонид Леонов, что называется, мастер — золотые руки. Если он брался вырезать из дерева, то он вырезал, как заправский профессионал.

¹ Настоящая публикация — одна из последних работ Николая Семеновича Тихонова, написанная им за несколько дней до смерти.

крестьянин. В данный период он увлекся фотографией. И снимал он замечательно.

Надо сказать, что поездка для нас была трудная. Донимала адская жара. А Леонов к тому же никогда не делал больших переходов верхом и очень страдал от долгого пути по пескам пустыни. Кроме того, мы на каюке одолели бурную Амударью и проехали на крошечном суденышке от Керков до Чарджоу.

Во время этой поездки Леонид Леонов показал себя как прекрасный товарищ, который разделял с нами все тревожения и даже опасности путешествия. Было и так, что наш автобус заваливался в арык, и песчаная буря — афганец — трепала нас всю ночь, но Леонов был весел и неутомим. В Бухаре нам с Луговским на фабрике подарили шкуры варанов, которые тогда шли на изготовление туфель. Но шкуры эти так ужасно пахли, что мы спрятали их под матрасы. Но Леонов, обладая чувством юмора, вошел в комнату, принохался и сказал: «Товарищи, здесь что-то неладно. Почувствуйте — по запаху слышно, что где-то здесь спрятан труп, пахнет невозможно». Мы долго не признавались, но вараны нас выдали. Фото, сделанные Леоновым, прекрасно отражают отдельные моменты поездки и могут быть помещены в музей в Ашхабаде как живые картины прошлого. Сцены в пустыне или на каюке на реке живописно передают подробности того времени.

Это было время нашей молодости, и годы давно скрыли те дни, когда все было иным.

Мы выросли, состарились. От нашей бригады туркменской остались сегодня только два человека — Леонид Леонов да я.

Уже тогда мы видели, что делаем нужное дело. Дальше жизнь ставила перед нами другие задачи. У каждого был свой путь. И Леонид Леонов вырос во всемирно известного писателя, романы которого издаются на всех континентах, а пьесы ставятся на сценах Запада и Востока. Только недавно мы вручали ему Государственную премию как автору сценария «Бегство мистера Мак-Кинли».

Максим Горький, отмечая большой талант Леонида Леонova, дал правильное определение ему: «...на всю жизнь талантливый». И мы видим, что в этом богатом характере живет пафос жизни, вдохновение патриота и богатые возможности творчества.

Леонид Леонов имеет звание академика. Когда вы возьмете все его произведения и рассуждения, собранные в книге статей и выступлений, вам будет ясно, что он заслуживает этого высокого звания. Работая над собой всю жизнь, добиваясь подлинной художественной выразительности, знакомясь со всеми областями знания и культуры, он представляет законченный тип писателя, пришедшего из народа и достигшего вершин эпического искусства. Творчество Леонида Леонova рождено Великой Октябрьской революцией, открывшей широкую дорогу смелому, замечательному таланту, который наследует всем своим классическим предшественникам, не уступая им в силе образности и глубине постижения правды народной.

ПАУЛЬ КУУСБЕРГ. Исследователь глубин человеческой души

Нелегко бывает объяснить, чем покорила нас настоящая большая литература, в чем ее тайная власть, которая овладевает нами, продолжая воздействовать и после прочтения книги. Могут забыться отдельные сюжетные линии, иные подробности взаимоотношений героев и даже кто-нибудь из персонажей, но не сотрется след, оставленный талантливым произведением в твоей душе. Иногда след этот так глубок и неизгладим, что становится фактором, воздействующим на душу постоянно. Конечно, в поисках первопричин и объяснений можно говорить о важности и значительности проблем, поднятых в произведении, о мастерски нарисованных характерах, о великолепном образном языке, чем критики в

подобных случаях и занимаются, и все это, конечно, правильно, но перечисление упомянутых и многих других компонентов далеко не всегда помогает выявить что-то основное, может быть самое главное, в творчестве писателя.

Книг, насыщенных интересными проблемами, с пластическими жизненными характеристиками, написанных хорошим языком, не так уж и мало, но всего этого недостаточно, чтобы произведение сильно и надолго завладело нашими мыслями и чувствами. По-видимому, кроме способности создавать картины, помимо умения хорошо изображать и рассказывать, писатель должен обладать чем-то еще. Чем же? И что это такое?

Конечно, нужны страстность и бескомпромиссность в поисках истины и в служении ей, конечно, писателю необходим богатый внутренний мир, которым он щедро делится с нами, необходимо умение освещать жизнь и людей с новой, неизвестной нам стороны. Ну а еще? Не является ли этим «нечто», так трудно поддающееся определению словами, то исходящее от личности писателя, от его неповторимого «я» внутреннее излучение, которое свойственно только подлинным мастерам и только большому искусству? Именно к такому большому искусству можно отнести лучшие произведения Леонида Леонова. И прежде всего, по-моему, романы «Русский лес» и «Вор».

Произведения Л. Леонова переносят нас в исключительно своеобразный, окрашенный неповторимым леоновским видением мир. Явления жизни, и в первую очередь самого человека, Л. Леонов не иллюстрирует, а исследует. Не ограничиваясь описанием событий и внешним правдоподобием, Л. Леонов проникает в такие глубины человеческой души, которые часто оставались за семью печатями; его интересуют глубинные потоки жизни, процессы, протекающие в сознании человека, причинные связи во взаимоотношениях людей, связи между человеком и обществом. Там, где многие авторы кончают, Леонов только начинает: ему недостаточно описать поведение, мысли и чувства героев — он ищет и выявляет самые тайные и скрытые мотивы поступков и поведения человека, диалектику его души.

Он рассматривает человека не с одной стороны, а под разными углами зрения, на все новых и новых уровнях, обнаруживая в его душе все более глубокие пласты. Большое и самобытное искусство Л. Леонова в создании образа, исключительно многокрасочная палитра, используемая им для раскрытия внутреннего мира человека, на-

шли, например, великолепное выражение в своеобразной ткани романа «Вор».

Глубокое постижение души человека помогает Л. Леонову с исключительной силой и правдивостью освещать и анализировать поднятые им проблемы. Редкие книги вторгаются в самую гущу жизни с такой страстью и действенностью, как его роман «Русский лес». В советской литературе немало произведений, в том числе и романов, где в основе конфликта лежит принципиальная и бескомпромиссная борьба честного, увлеченного своей работой человека с эгоистичным, все попирающим карьеристом, но с персонажами такой неповторимой индивидуальности, как Вихров и Грацианский, нам редко приходится сталкиваться.

Талант писателя удивительно полно и всеобъемлюще раскрывает внутреннюю жизнь героев — открываются навстречу Леонову и души читателей. Боль и тревога писателя за русский лес заставляет сопереживать и нас, русский лес вырастает в символ, отношение к лесу — в мерило добра и зла. Писатель словно стучится в сердце каждого человека: а как живешь ты, как относишься к своей родине, к ее всенародному богатству?

Мы привыкли говорить, что литература — человековедение, а писатели — инженеры человеческих душ. Эти слова как нельзя лучше характеризуют Леонида Леонова и его творчество. С полным правом мы можем назвать его исследователем души человеческой, более того — ее глубинным исследователем. Всесторонность анализа и основательность изображения внутреннего, глубинного мира человека — вот то, что покоряет и обогащает нас в произведениях Леонида Леонова, что оставляет неизгладимый след в наших душах.

Перевела с эстонского В. РУБЕР.
Таллин.

ТЕАТР ЛЕОНОВА²

ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.

Я думаю: как это плохо для нас, актеров, и, конечно, для зрителей, что Леонид Леонов сейчас не пишет пьес. Он безжалостно нас обедняет: ведь в его пьесах столько неисчерпаемых возможностей для каждого, кто

² В основу публикаций легли интервью, взятые по просьбе журнала Анной Илупиной.

получает даже маленькую роль, — в любой из них можно без конца «копаться» и не часто кому удается дойти до дна человеческой души, человеческого характера, задуманного и воплощенного Леоновым.

Его пьесы пронзительно правдивы. При их великой реалистичности здесь всегда есть некая загадочность, какая-то «чертовщинка». И это делает любое сценическое произведение писателя (как, впрочем, и любой его ро-

ман) необыкновенно увлекательным и завлекательным для исполнителей и публики. Последняя, получая на леоновских спектаклях благодатную духовную пищу, получая огромный материал для размышлений, неизменно бывает заинтересована: а что будет дальше, чем все кончится? Таким искусством, таким умением заинтересовать зрителя, способностью держать зал в непреодолимом напряжении обладает далеко не каждый драматург. Леонов — среди немногих.

В моем родном Малом театре ставились три пьесы Леонова. Особенно близкое мне «Нашествие» ставилось дважды, и всегда театр, встретившись с большой драматургией, создавал спектакли волнующих проблем, глубоких мыслей, значительных характеров. Таков был «Волк», поставленный ровно сорок лет назад на сцене Малого театра. Тогда, в конце 30-х годов, тема враждебных народу сил, тема, воплощенная в характере Луки, была особенно актуальна. Сложность душевного мира главного героя, мрачные бездны его нравственного падения, распад его личности — все создавало образ необычайной сложности. В сопоставлении с миром большевика Рощина — с людьми, идущими по жизни далеко не простыми, но чистыми и праведными путями, — мир Луки казался еще чернее, навечно обреченным. Жизнь его представляла безнадежной. Кривда блекла перед правдой. Правдой идея, правдивостью чувств, художественной истинностью страстей и поступков.

Да, то была спектакль настоящего ансамбля. Спектакль, в котором с исключительной яркостью раскрылся талант Г. И. Коврова. Он играл Луку так, что не пропадали ни один жест, ни один взгляд, ни одна интонация. В его исполнении Лука казался волком — злым, загнанным зверем. По-звериному ненавидел он все новое, чистое, радостное в жизни советских людей. По-человечьи тосковал и мучился от сознания навеки утраченной, невозвратимой уверенности в своей внутренней правоте... Прекрасно играли В. Н. Рыжова, только что пришедшая в наш коллектив Д. В. Зеркалова, да и все остальные исполнители были достойны действующих лиц, созданных Леоновым — его воображением, талантом, знанием жизни...

Еще более серьезным вкладом в наш репертуар был «Скутаревский». Одноименный роман Леонов инсценировал сам, и это, видимо, предопределило высокое качество пьесы, ибо свойственное Леонову чувство

сцены всякий раз одаряло нас новыми поисками и новыми находками. Заглавная роль в исполнении Н. Н. Рыбникова покоряла правдой. То была правда Скутаревского — ученого старой закалки, но посвятившего себя служению всему новому, прогрессивному. Он постиг истинную и мнимую ценность окружающих людей, сумел оценить их замыслы и поступки с великим мужеством и великой человечностью. Диалектические противоречия жизни сказались в том, что носителем всего старого, гнилого, отжившего оказывается сын Скутаревского, а он — «старик», до конца понявший интересы родной страны и до конца им преданный, — олицетворяет интеллектуальные силы молодой советской отчизны. Столкновение отца и сына, их последняя встреча, изумительный монолог Скутаревского — это подлинно идейная кульминация пьесы, апогей ее драматизма.

Более чем убедителен был в роли сына профессора В. Э. Мейер. Его Арсений вызывал и возмущение и гадливость любого человека, наделенного нравственной брезгливостью. И жалость! А об игре А. А. Яблочкиной, создавшей незабываемый образ жены Скутаревского, что ни скажи — все будет мало. Солидная дама в песне выглядела весьма rispetабельно. Но внешняя, поверхностная интеллигентность слетала с нее как шелуха, как только ей казалось, что задеты ее интересы — супруги знаменитого ученого и стяжательницы, едва ли не помешанной на мешанской идее приобретательства...

Я уже сказала, что «Нашествие» Леонова имеет для меня особое значение. Во-первых, потому, что в этой пьесе я сама впервые соприкоснулась с Леоновым-драматургом. И все, что я прежде передумала о его пьесах, все, что я нафантазировала для себя по поводу его женских образов, подверглось серьезному испытанию. Испытанию практической работой над ролью. Во-вторых, я так долго мечтала о роли Ольги, так любила «Нашествие», так много было пережито мною, как и всем народом, в дни фашистского нашествия на нашу страну, что выйти на сцену в этом произведении казалось шагом как никогда ответственным...

Чувство ответственности, волнения, страха усугублялось еще тем, что я не работала над спектаклем с самого начала. То был ввод, осуществленный в течение немногих репетиций, длившихся всего неделю. Кроме того, «Нашествие» было необычайно популярно, оно ставилось почти всеми театра-

ми Советского Союза. Честь первых постановок принадлежала Ленинградскому областному драматическому театру. Эвакуированные в Чистополь артисты показали премьеру 7 ноября 1942 года. Можно себе представить, как работали, как играли ленинградцы! Да и не только они. Августовская книжка «Нового мира» с этой пьесой Леонова была нарасхват в театрах. Все справедливо видели в «Нашествии» доказательство того, что сугубая актуальность, сиюминутность драматургии может быть и глубока, и художественна, и совершенно свободна от какой бы то ни было плакатности. Не случайно уже после войны именно эта пьеса обошла множество сцен мира от Белграда до Парижа, от Мехико до Осло и Токио, Варны и Будапешта.

Малый театр был среди первых коллективов, осуществивших постановку первой военной пьесы Леонова. Созвездие исполнителей от Садовского, Пашенной, Массалитиновой до начинающей тогда ученицы Хорьковой, игравшей девочку Аниску, — все казались здесь созданными для образов леоновских героев. Премьера 1943 года, подготовленная режиссером И. Я. Судаковым и первоклассными артистами, была встречена очень хорошо. И недаром спустя почти четверть века после нее С. Б. Межинский, великолепно игравший «воскресшего» при фашистах городского голову Фаюнина, вспоминал дни работы над «Нашествием» как одно из самых прекрасных творческих деяний писателя, актеров и всего Малого театра.

В 1947 году мы снова вернулись к этой пьесе. Работая над ролью Ольги, я много раз спрашивала себя: кто она, эта прекрасная русская девушка? что это за характер, выписанный с такой любовью писателем и выписанный так, что он заставляет вспомнить о великих традициях русской классики с незабываемыми женскими образами Некрасова и Тургенева? Ольга выросла в интеллигентной русской семье. Ее отец доктор Таланов, ее мать — люди широкой души, редкостной доброты и негнбаемой воли. Черты русского национального характера воплотились в этих людях с удивительной правдивостью, естественностью, убедительностью, достигаемыми лишь большими художниками. Такими, как Леонов! Конкретность каждого лица и обобщенность художественного образа. Такой предстает семья Талановых. Она была мне очень близка, очень дорога. В чем то она напоминала

семью моих родителей, их дом, где я росла. Окружение интеллигентных людей, привычка к чтению, пристрастие к писателям глубокой мысли и больших чувств. Такой мне виделась Ольга. Эта роль была для меня особенно важной: она доказывала, что я могу играть не только роковых женщин...

Брат Ольги Федор поначалу входит в действие как отщепенец, как непонятный, даже подозрительный человек. Та загадочность, «чертовщинка» леоновских персонажей, о которых я упоминала, свойственна Федору. Но наступает критический момент, некая точка кипения жизни человеческого духа — и он оказывается достойным своей семьи, своей сестры-героини, и благодаря мастерству драматурга, благодаря тщательно продуманным сюжетным поворотам это воспринимается как нечто совершенно закономерное. Федор убивает фашистских главрей и, выдав себя за руководителя партизан, идет на казнь вместе с товарищами — идет мужественно, смело. Так, как это продиктовано гордостью, чувством собственного достоинства советского человека, его неукротимой, действенной ненавистью к врагу...

Для меня было наслаждением играть в окружении лучших актеров Малого. В сценах с матерью — Пашенной я, Ольга, чувствовала себя частичкой настоящего сценического дуэта, и это давало неподдельную отраду и удовлетворение. Но, быть может, еще большую отраду и удовлетворение принес мне разговор с Леонидом Максимовичем, когда он сказал о правдивости образа Ольги, о том, что она «не лезет в героини» и всю свою сценическую жизнь проживает с большим тактом, начисто отменяя всякую назойливость в показе ее таланта конспиратора, в ее потрясении подвигом брата, в ее любви и нежности...

Когда отмечалось сорокалетие моей работы в театре, мне больше всего хотелось сыграть в новой пьесе Леонова. Я поехала к нему, очень его упрасивала написать и дать нам новинку...

Леонид Максимович, пишите пьесы! Они так нужны артистам. Они так нужны всем!

МАРК ПРУДКИН, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.

В 20-х годах почти одновременно в Художественный театр пришла группа молодых артистов и молодых драматургов — начинающие писатели Всеволод Иванов с его незабываемым «Бронепоездом», Михаил Булга-

ков, написавший для нашего театра «Дни Турбиных», поставленные И. Я. Судаковым под руководством великого Станиславского, первый советский комедиограф Валентин Катаев, чьи «Растратчики» и водевиль для молодежного спектакля «Квадратура круга» успешно шли на нашей сцене... Вот в этой группе дебютантов, в этой, я бы сказал, «могучей кучке» драматических талантов, был Леонид Леонов.

Его первая, специально для нашего театра написанная пьеса «Унтиловск» была воспринята как откровение — настолько своеобразна была тема, так ярки персонажи, так изумительно сочен, ни на кого не похож был богатый, гибкий, я не побоюсь сказать, могучий язык Леонова. Он рассказывал о богом забытом городке в тундре Унтиловске, о его обитателях, людях таких разных, с такими неповторимыми чертами индивидуальности. Здесь люди из «бывших» вроде Червакова — все потерявшие, во всем изверившиеся, циничные до мозга костей. Люди светлой души и большой внутренней силы вроде Раисы и Виктора Буслова.

Я назвал только троих. А в пьесе шестнадцать действующих лиц, каждая роль — перл для любого исполнителя. И какие исполнители появились в леоновском «Унтиловске»! Впоследствии мы ставили и «Половчанские сады» с их многозначной символикой вечного, необоримого цветения жизни; успешно и долго шла столь близкая моему сердцу «Золотая карета». Но «Унтиловск» в этом небольшом, но весомом списке занимает особое место. Особое потому, что именно эта вещь открыла нам Леонова-драматурга, и драматурга во всех отношениях замечательного. Особое потому, что работал над пьесой сам Константин Сергеевич Станиславский. И наконец, потому, что в спектакле были заняты лучшие силы Художественного театра.

Познакомил Станиславского с «Унтиловском» Москвин. Он первый читал нашему незабвенному учителю эту вещь двадцативосьмилетнего Леонова. И Станиславского так заинтересовал автор и его произведение, что он тут же принял пьесу к постановке, начав работать с той увлеченностью и заинтересованностью, которые свойственны лишь самым крупным режиссерам-художникам.

Вместе с драматургом Константин Сергеевич много работал над самой пьесой: ее по-леоновски сложный язык, образный, метафоричный, часто с необычной конструк-

цией фразы, должен был стать доходчивей, яснее для широкой публики. Разумеется, Станиславский, ярый враг всякого примитива, вовсе не хотел опрощать великолепную, предельно индивидуализированную речь персонажей. Метафоричность — это прекрасно. Но для чтения и на сцене она должна быть несколько иной. Человек в зрительном зале не может остановить актера, переспросить, перечитать текст. Он должен слышать и сразу воспринимать сценичность, действительность любой метафоры. Таков приблизительно, как я сегодня вспоминаю, был ход рассуждений Константина Сергеевича всего лишь «по одному вопросу» — о леоновских метафорах. И столь же детальной была работа над каждой страницей. И так же скрупулезно, с чисто мхатовской тщательностью велись репетиции на всех этапах — от застольного периода до выпуска премьеры.

«Унтиловск» Леонова занял свое место среди самых блистательных премьер Художественного театра. Правда, тогдашняя критика не сумела оценить психологическую глубину пьесы. Противоречивость, сложность духовного мира героев, их подчас выглядевшие странными взрывчатые самоизъявления помешали спектаклю получить должный резонанс. Работы таких корифеев, как Москвин, Добронравов, Зуева, Шевченко, только со временем оценены по достоинству — чем дальше идет время, тем масштабнее выглядят созданные ими образы.

Скажу об одном. Черваков Москвина бесспорно относится к вершинным достижениям непревзойденного артиста. На эту роль был тогда, в 20-х годах, назначен и я, но сыграть не пришлось. И только спустя полвека мне все-таки довелось «дорваться» до «Унтиловска». В телевизионной передаче, посвященной творчеству Леонова, мне предстояло прочесть монолог Червакова. Он произносит его перед Раисой, с презрением и брезгливостью отвергающей и его большую любовь и его большие мысли. Готовясь к выступлению, я вспоминал, как Станиславский предостерегал артистов: здесь легко впасть либо в декламацию, либо в бытовизм. Необходимы большее внутреннее напряжение, большая действенность каждого слова. Слова не надо раскрашивать — их надо произносить так, чтобы все они порознь и вместе были насыщены большим смыслом, большим содержанием. «Ближе к Достоевскому!» — часто повторял Констан-

тин Сергеевич, видя в Леонове не эпигона великого классика, не подражателя, а самостоятельную личность драматурга нового времени, чьи герои сродни героям Достоевского по самой глубине внутренних переживаний. Не знаю, как я в том памятном телевизионном вечере прочел монолог Червакова, но знаю, что каждое слово Леонова запало мне в душу.

И так же до глубины души всколыхнула меня роль академика Кареева в «Золотой карете». Поставленная на сцене МХАТа через двадцать девять лет после «Унтиловска», пьеса эта показала, что театр верен драматургии Леонова, а публика в гораздо большей степени, чем прежде, понимает все, что он хочет сказать...

Для нас, как прежде, Леонов-драматург был близок и дорог тем, что все его создания глубоко психологичны. Они обогащены вторым планом, свободны от прямолинейности, однозначности, проходных, ничего не значащих сцен. Но именно эти драгоценные качества делают для артистов работу над леоновскими образами очень сложной. Так было и с Кареевым. Трудно мне пришлось вживаться во все события, которые обусловили характер моего героя еще до того, как он выходит на сцену.

В юности, когда он был никем, он любил девушку из богатого дома, получил отказ и решил... мстить. Месть его оказалась не из простых: он решил добиться многого в жизни и действительно добился — стал выдающимся ученым. Спустя много лет он вновь появился в родном городке. Его любовь — теперь уже не Маша, а Марья Сергеевна — председатель горсовета. Их встреча очень важна в спектакле. Было необходимо найти те внутренние оправдания, которые естественно привели бы меня, Кареева, к разговору необычайно сложному, волнующему, подводящему итоги прожитой жизни.

Кареев, конечно, не самый симпатичный человек на свете. В нем таится некая непонятность для окружающих. И зритель думает о нем разное и не всегда сердечное. А между тем он человек сильный, целеустремленный, талантливый — иначе он не стал бы Кареевым. Вот из такого сплава, казалось бы, несовместимых черт следовало «вытачивать» моего героя, добиваясь его убедительности для себя самого и, как следствие, для зрительного зала.

Взаимоотношения Кареева с сыном, сложная, не прямая, а зигзагообразная лириче-

ская линия отношений юноши и дочери Марьи Сергеевны. Кареев наедине с самим собой... Все это разные аспекты его душевного статуса, разные повороты его по-своему весьма интересной и глубокой личности. Как добиться правдивости, правды переживаний во всех этих поворотах? Над этим я бился долго, стараясь найти внешний и внутренний облик живого героя.

Леонов очень помогал таким поискам. Он приходил на репетиции, рассказывал нам о каждом действующем лице, увлекался, начинал фантазировать, проникая в самые сокровенные тайники души наших героев. Помогали и ремарки писателя, всегда подробные, точные и представляющие незаурядный интерес как образцы прекрасной русской прозы.

Мы пользовались каждой встречей с Леонидом Максимовичем, чтобы еще и еще раз выпросить его о персонажах «Золотой кареты». Он сердился и смеялся: «Это не артисты, а какие-то следователи»...

Всегда хочется вновь и вновь очутиться в роли таких «следователей», вновь и вновь встречаться с леоновской драматургией, которую за много лет мы успели полюбить преданно и навсегда.

ВСЕВОЛОД ЯКУТ, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

Прежде всего я должен сказать о Леонове как о писателе. Ибо Леонов-драматург, театр Леонова выросли из его собственной большой литературы. Двуединство творчества писателя — его неизменная современность и его неотторжимая связь с лучшими традициями русской и мировой литературы — в равной мере определяет и его романы и его пьесы. Художественные образы возникают, рождаются от первоосновы — подлинных человеческих характеров. Их столкновение всегда остроконфликтно. Именно духовное борение резко различных натур создает особую, леоновскую драматичность и драматургичность действия во всем, будь то роман или произведение, предназначенное специально для сцены, инсценировка или по-леоновски обстоятельное, неспешное, внутренне напряженное и стремительное повествование...

Часто проводят параллель Леонов — Достоевский. Находят в них много общего. Это можно понять так: Леонов знает о своих героях, о движениях человеческой души в себе. Он так анатомирует все движущие подспудные силы людских поступков,

что порой невольно вспоминается Достоевский. И все-таки подобное сближение кажется мне весьма и весьма условным. Потому прежде всего, что мирозерцание Леонова светло и жизнеутверждающе. Горьковская вера в человека, любовь к нему, уважение к нему Леонову ближе, чем мир Достоевского. Да и вообще Леонов «сам по себе», хотя, конечно, нет в нем ничего от Ивана, не помнящего родства: корни его сочинений уходят глубоко в национальную почву отечественной литературы. Но вершина могучего древа леоновской литературы — современность. Дыхание современности, воздух современности в каждой его пьесе, будь то реалистическая фантазмагория (да-да, на театре может быть и такое, и это очень интересно!) «Усмирение Бададошкина» или драматически насыщенная «Провинциальная история».

Обе вещи, созданные в конце 20-х годов, рассказывали о событиях текущего дня и уже по одному этому были современны. Не знаю почему, но ни одна из них не была поставлена. Быть может, театр Леонова вообще раскрыт еще далеко не полностью, и если мы представим себе организацию театрального фестиваля, посвященного Леонову, то оказалось бы, что режиссеры могут поставить, актеры сыграть, а публика увидеть много нового или рожденного заново.

Мое личное соприкосновение с драматургией Леонова началось очень давно. Я был молодым актером. В Театре Революции (теперь это Театр имени Маяковского) увидел комедию «Обыкновенный человек». Еще ничего на себя не «примеряя», я был зрительно увлечен всем происходящим на подмостках, смеялся вместе со всеми, внимательно вслушивался в каждое слово Свеколкина, с интересом наблюдал за всеми перипетиями его встречи с другом времен гражданской войны. Друг этот стал знаменитым певцом. Старого товарища он принимает за обделенного судьбой «счетного работника», а на самом деле перед ним большой ученый и, что гораздо важнее, большой человек...

Были очень смешны сцены Констанции — ловчицы и мещанки, домогающейся выгодного замужества для своей дочери... Леонов разделялся с этой Констанцией с безжалостностью огромного таланта, который всеми фибрами души ненавидит людей подобного рода. В «Золотой карете» он так же разделялся с наглой авантюристкой, сха-

рактизованной в перечне действующих лиц так: Табун-Турковская — мадам. С тем же сарказмом, изничтожающей иронией относился драматург к мадам Скутаревской. Но вот что знаменательно: при всей гротесковой заостренности этих образов они нигде не выглядят карикатурными, то есть поверхностными, внешними. Перед нами живые люди со своими хоть и мелкими, но страстями, со своими хоть и жалкими, но мечтаниями и со своей весьма опасной для окружающих энергией и мимикрией.

Заговорив о женщинах такого рода, встречающихся в ряде пьес Леонова, я не могу умолчать о тех персонажах, которые обрисованы драматургом с удивительной, чарующей нежностью, пленительной красотой и правдивостью. Речь идет о девических характерах, о расцветающей жизни, полной свежести, чистоты, простодушия и честности. Вспомним комсомолку Женю в «Скутаревском», Аниску в «Нашествии» и Лёнушку в одноименной народной трагедии. Вспомним Полю Вихрову в романе и инсценировке «Русский лес», Марьку в «Золотой карете», Аннушку в «Обыкновенном человеке»...

Последняя оказалась мне особенно близкой: спустя много лет после того, как я впервые увидел эту комедию, мне повезло сыграть Свеколкина — отца этой самой Аннушки. Отца, который жертвует возможным счастьем дочери во имя чести, справедливости, порядочности. Свеколкина я играл в Театре имени Ермоловой. Начинать работу с осмысливания тех современных (и сегодня современных!) проблем, которые окружают моего героя. «Не все то золото, что блестит» — мысль, развитая в «Обыкновенном человеке» со свойственной Леонову глубиной и подлинной философичностью, облечена в непринужденно-комедийную форму. Мы и сейчас часто наблюдаем, как человека по одежке встречают. А так как одежда Свеколкина — его костюм — действительно более чем скромна, то и друг юности Дмитрий Романович Ладыгин, прославленный, разбогатевший артист, думает, что перед ним некто, в жизни вовсе не преуспевший. На этой почве возникают то чисто комедийные забавные положения, то серьезные затруднения, недомолвки, взаимная отчужденность.

Важно то, что ко времени начала действия Ладыгин и Свеколкин предстают как непримиримые антиподы, полярные характеры. На одном полюсе — самовлюблен-

ность, щегольство внешнее и фанаберия глубоко внутренняя, фанаберия чисто актерской природы, которую, что греха таить, можно и сегодня наблюдать в нашей среде. На другом полюсе — скромность, сдержанность, самоуглубленность. Чувство самовосхищения, уверенность в своей избранности, высокомерно-нисходительное отношение к «малым сим» у Ладыгина и великодушие, тонкий ум, духовная сила «ничем не примечательного» Свеколкина.

Во время работы над спектаклем Леонов несколько раз приезжал к нам на репетиции. На одной из первых он спросил у меня: «А как вы будете одеты в «Обыкновенном человеке»?» «Чем скромнее, тем лучше. А почему, Леонид Максимович, вы спросили меня об этом?» «Потому что внешний облик Свеколкина очень важен: он должен быть проявлением его внутреннего содержания, его мира...»

Свеколкин и впрямь требовал самого скромного костюма. Некогда я дружил с Юрием Олешей, с Михаилом Светловым — какие это были скромные внешне, богатые духовно, светлые люди! Мой учитель Н. П. Хмелев был великим артистом и на редкость застенчивым, скромным человеком. Соприкасаясь с таким человеком изо дня в день, узнавая его все больше, хотелось походить на него хоть немного. Вот какие вполне реальные, близкие мне люди помогали создавать образ Свеколкина.

И очень помогал сам Леонов. Как-то в перерыве одной из репетиций он подошел ко мне: «А вам не кажется, что в этой сцене вы слишком громко разговаривали?» «Да, я сам это почувствовал». «А почему вы это почувствовали?» — спросил Леонид Максимович, глядя на меня своими пронзительными, всепонимающими глазами. Немного насмешливый, добрый его взгляд был выжидательным и ободряющим. «Мне кажется, что таким людям, как Свеколкин, не надо повышать голос для доказательства своей правоты. Правота все равно на их стороне, в их мире, а не в суетном мире Ладыгиных».

К сожалению, «Обыкновенный человек» не стал спектаклем идеального ансамбля. То была, быть может, не наша вина, а наша беда. Но мне кажется, что зрители уходили из театра, твердо зная и радуясь тому, что они были свидетелями моральной победы Свеколкина над Ладыгиным. И сознание того, что Свеколкины сильнее, что они жи-

вут среди нас, усугубляло то светлое, мажорное настроение, которым была полна эта чудесная комедия Леонида Леонова.

ИОСИФ ТОЛЧАНОВ, народный артист СССР.

Театру имени Вахтангова принадлежит честь открытия Леонова-драматурга. Именно вахтанговцы первыми обратились к молодому писателю — автору нашумевшего романа «Барсуки» — с просьбой инсценировать это произведение. Предложение нашло должный отклик, и к десятилетию советской власти было решено выпустить спектакль по пьесе Леонида Леонова «Барсуки».

То было сильное реалистическое сочинение о борьбе за новь в деревне, о борьбе не на жизнь — на смерть, когда брат подымался на брата...

Два брата в центре всех сценических событий. Один из них — рабочий, большевик, отчетливо понимающий, чем люди живы и что необходимо сделать для того, чтобы жили они по справедливости, диктуемой революцией. Другой — предводитель зеленых, крестьянских бунтарей, людей, никого и ничего не признающих, кроме звериной ненависти к красным. Их анархия, открытый бандитизм, неслыханная беспощадность в расправах с коммунистами сталкиваются с негибимой волей большевиков, с ясным разумом тех, кто зовет деревню к союзу с городом, с рабочим классом.

Сейчас, когда все эти вопросы у нас давным-давно решены, социальный смысл «Барсуков» может показаться несколько наивным, даже немного упрощенным. Но тот, кто сегодня просто перечитает роман и пьесу, безусловно отдаст должное жизненности характеров, острому сценическим положениям, драматизму событий. И тот, кто захочет представить себе далекое время начала леоновского творчества — начала формирования в театре современного репертуара, поймет, как велик был вклад писателя в решение новых задач, вставших перед артистами, режиссерами, художниками. Об этой «гигантской задаче, заданной нашему искусству, и в частности театру, способствовать самопознанию страны» писал А. В. Луначарский в своей статье о «Барсуках», опубликованной 14 октября 1927 года в вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты». К этой во всех отношениях замечательной статье я еще вернусь, а сейчас продолжим разговор о самой постановке.

Она свидетельствовала о большом драма-

тургическом потенциале Леонова, позволяла ждать от него превосходных вещей, сделанных специально для театра, и время подтвердило, что самые смелые ожидания были не напрасны. Начиная с «Унтиловска», впервые написанного в виде пьесы для Художественного театра, и до «Русского леса», инсценированного для вахтанговцев, минувшие годы сформировали из Леонова драматурга первой величины. На наших глазах прошло зарождение, постепенное совершенствование, становление и расцвет театра Леонова с его строгими нравственными требованиями к человеку, виртуозной психологичностью, многоплановой героикой, пленительным лиризмом, никогда и нигде не переходящим в слащавую сентиментальность. Театр Леонова мужествен и умен. И вообще театр Леонова — это такое широкое понятие, которое сможет охватить лишь специалист — исследователь высокой одаренности.

Значение «Барсуков» для Театра имени Вахтангова переоценить трудно. Достаточно сказать, что это была всего третья советская пьеса на нашей сцене. Первая — инсценировка «Виринеи» Лидии Сейфуллиной, вторая — «Зойкина квартира» Михаила Булгакова. Я был занят во всех трех спектаклях. От первого к третьему — от «Виринеи» к «Барсукам» — тянулась нить создания образа крестьянина в пору таких потрясений, пережитых людьми на земле, в пору таких страшных испытаний, из горнила которых люди выходили либо обновленными и закаленными, либо опустошенными, идейно обанкротившимися. К последним относился Семен — вожак зеленых. Его яростный противник — его любящий брат Павел. В исполнении наших актеров Н. Гладкова и Б. Щукина (роль Павла была одной из лучших работ выдающегося советского артиста) эти братья по рождению, по горячей привязанности друг к другу, враги по развернувшейся борьбе представляли как реальные люди и как символы двух правд, столкнувшихся в непримиримом классовом споре.

Вот отцом этих братьев, Савелием, был я. Живой, народный, выразительный язык всех персонажей, и в частности Савелия, привлек сразу. И сразу я поставил перед собой вопрос: какой он, мой новый герой? Я знал много таких крестьян, потому что жил в деревне, изо дня в день встречал подобных мужиков — с хитрецой, себе на уме, взыскующих правду и идущих к ней часто весьма извилистыми путями..

Внешне Савелий должен был выглядеть типичным «земляным человеком». Бородастый, с растрепанными серо-седыми волосами, с постоянной насмешливо-недоверчивой ухмылкой. Немного лукавый, пронзительно-испытующий взгляд, устремленный на каждого пришельца извне, и горечь и боль во взгляде при думах о сыновьях, о растреванной и непонятной жизни..

За минувшее время (а ведь минуло ни много ни мало, а полстолетия) многое позабылось. Но запомнился такой случай: во время одной репетиции у меня как-то сами собой родились новые, не написанные автором слова. В пьесе в момент столкновения сына с комиссаром по продлогу Савелий безмолвно наблюдает эту сцену. По-видимому, подсознательно такое безмолвие, безучастность Савелия казались мне неестественными: он же отец, а не посторонний! И вот однажды у меня, Савелия, вдруг вырвалась реплика: «Сенька, дай ему в сопатку!» Фраза эта оказалась очень органичной, нужной, и появление ее приветствовал сам Леонид Максимович.

Творческая нить длиною в десять лет протянулась в дальнейшем к Ивану Шадрину — герою «Человека с ружьем» Погодина. Шадрин тоже «человек земли», и поначалу в нем есть черточки хотя и отдаленно, но напоминающие Савелия: крестьянская психология упряма... Но, поставленный драматургом в иные условия, помещенный в иную среду, Шадрин приходит к осознанному приятию революции и борьбе за нее.

Значение «Барсуков» было понято далеко не сразу и далеко не всеми. Понадобилась обоснованная, взвешиваемая отповедь чрезмерно ретивым критикам, которую дал в упомянутой статье А. В. Луначарский, чтобы все стало на свои места. Его статью я храню как реликвию, вдвойне мне дорогую: потому что Луначарский серьезно и позитивно анализирует спектакль и потому что он счел нужным сказать несколько добрых слов о моем Савелии. Спустя пятьдесят два года после премьеры «Барсуков» я полагаю себя вправе подробнее рассказать об этой достопамятной рецензии и привести из нее несколько строк:

«Пьеса несколько выиграла идеологически по сравнению с романом... Пьеса оделась всеми чарами талантливого спектакля, талантливого актерского исполнения... Я считаю спектакль превосходным, я считаю его первоклассным... Спектакль увлекает

своей правдивостью, героизмом, высоким и трагическим напряжением».

Знаменательно, что здесь же Луначарский вспоминает, как в самый разгар движения зеленых, он был послан для борьбы с ними в Костромскую и Ярославскую губернии, и утверждает, что, присутствуя в театре, он убедился в близости к жизни спектакля вахтанговцев... Эта постановка, продолжает Луначарский, «дорога тем, что здесь я в первый раз почувствовал, как настоящая советская революция начала проникать в сердце, в нервы, в кости актера. Актеры живут на сцене». И о моей роли: «Нельзя не удивляться ажурнейшей, изящнейшей игре Толчанова в созданном им таком неуклюжем и ужасно симпатичном Савелии».

АНГЕЛИНА СТЕПАНОВА, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.

Леонов-драматург всегда интересен по языку действующих лиц. Язык этот у каждого свой, не похожий на «соседа» по сцене. И почти в каждом действующем лице живет мечта, тяга к лучшему.

Больше всего я ценю «Унтиловск». Может быть, потому, что пьеса ставилась под руководством Станиславского и я до сих пор помню его репетиции. Не будучи занята в его спектакле, всегда, как только позволяло время, прибегала в зал, и смотрела, и слушала, наслаждаясь работой нашего гениального учителя, необычным прекрасным языком пьесы. Она первое драматургическое произведение Леонова, его сценический первенец (до того была лишь инсценировка романа «Барсуки»). Действенность, драматизм, развитие сюжета, образы — подчас гиперболизированные, подымающиеся до высокого гротеска, но всегда убедительные — ничто не выдавало в «Унтиловске» пробу пера дебютанта. Казалось, автор рожден для театра и атмосфера театра и есть та питательная среда, в которой только и могут рождаться вещи такого размаха, как «Унтиловск».

Да, то была вещь широкого размаха, несмотря на то, что все четыре акта пьесы замкнуты в крошечное пространство заштатного «ссылного городка». Размах мысли, выводящий человека далеко за пределы Унтиловска, заставляющий думать о просторе земли, об иной жизни, навстречу которой, раз и навсегда разорвав все унтиловские связи и пути, уезжает Раиса...

Все эти душевные комнаты, где происходит

действие, какая-то затхлость обстановки, вся эта неприглядная провинция только оттеняла проявление духовности, что всегда есть в людях Леонова.

Духовность выявлял и искал Станиславский в каждом персонаже. Он провидел за ограниченностью, за нелепостью человека — даже такого смешного и жуткого, вечно жующего Аполлоса — его стремление к прекрасному, желание изменить то, что его окружает, желание измениться самому. Так, решительно меняет свою нечистую жизнь солдатка, самогонщица Васка, находящая в любви к Буслову новый смысл существования. Так, любовь к Раисе заставляет Илью Редкозубова мечтать о неведомых солнечных краях, куда он трогательно, наивно и настойчиво зовет избранницу своего бесхитростного сердца...

Совсем недавно на зачетах в нашей Школе-студии МХАТа второкурсники сдавали отрывки. И как же я была приятно удивлена и обрадована, когда, принимая зачет, вдруг услышала сцену Ильи и Раисы. У исполнителей еще нет опыта, они еще просто «способные детишки», но так велико воздействие леоновского текста, так много навеял он дорогих воспоминаний об одном из лучших мхатовских спектаклей, что даже в студенческом исполнении воскрес наш «Унтиловск». И пусть то был «разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц», но, может быть, именно поэтому так свежо прозвучало каждое леоновское слово, таким непосредственным, своеобразным предстал совершенно особенный леоновский юмор.

...Много юмора (а еще больше иронии) и в последнем по времени драматургическом опыте Леонова — в «Бегстве мистера Мак-Кинли». Здесь писатель впервые выступает как кинодраматург. Его сценарий сыграл в моей творческой жизни заметную роль: приглашенная сниматься в роли миссис Шамуэй, я имела удовольствие приобщиться к новому аспекту таланта Леонова и могла убедиться, что талант его так же современен, так же разящ и горяч, как прежде.

Киноповесть Леонида Леонова «Бегство мистера Мак-Кинли» была издана в 1961 году. Одноименная лента выпущена «Мосфильмом» в 1975-м. Указываю даты не к тому, чтобы сказать, как медленно иногда реализуются в нашем кино самые прекрасные сценарии, а для того, чтобы подчеркнуть, что современность, актуальность написанного Леоновым нисколько не потускнели за четырнадцать лет, более того: сочи-

нение выглядело родившимся только что. Согласитесь, что не многие драматурги отличаются такой прозорливостью, таким пониманием тенденций новейшей истории капитализма, чтобы их злободневные создания с течением времени не утрачивали своей значимости...

Обратившись к кинематографу, Леонов предстал в неожиданных качествах фантаста, автора острого политического памфлета, международного, который мог бы опубликовать свое произведение под рубрикой «Их нравы»...

Но прежде и раньше человек, его понимание жизни и своего назначения в ней. Заглавную роль великолепно сыграл Д. Баннионис.

Мак-Кинли — рядовой клерк, решивший убежать от сегодняшней жизни в будущее. Изобретение газа кокильона сохраняет человека в блаженно-спящем состоянии любое количество лет и даже веков, с тем чтобы, проснувшись, он оказался в желанном мире без войн. За большие деньги можно купить «сон в кокильоне», получив место в специальном сальватории. Но Мак-Кинли беден. Он хочет зайцем проникнуть в сальваторий. Это не удастся. Возникает много трагикомических положений. Тогда герой решает обогатиться, убив богатую старуху. На мысль об убийстве его наталкивает разговор молодых людей в кафе. С большим интересом слушают они (и Мак-Кинли) рассказ своего дружка о том, как Раскольников убивает топором процентщицу. Интересно, что Леонов, которого нередко сравнивают с Достоевским, здесь прямо обращается к нему, но сцена из «Преступления и наказания» в пересказе юных невежд звучит и очень иронично и очень смешно, а главное — совершенно неожиданно.

Неожидан Леонов и в обрисовке жертвы Мак-Кинли Это и есть моя миссис Шамузэй. С ней связана вся увлекательная детектив-

ная линия повести. А сам детектив тоже предстал как неожиданность в творчестве Леонова.

Любительница острых ощущений, она разоряет Мак-Кинли в ресторанах, на скачках и... сама удаляется в сальваторий накануне того дня, когда он приходит ее убивать. Она оказалась достаточно проницательной, чтобы угадать его намерения. Проверив возникшие подозрения, она подбрасывает ему ключ от своего дома и ждет: украдет он его или нет? правдивы ли его слова о нежных чувствах, к которым она так вожделеет, или ему нужны ее деньги?

Мы снимали эту сцену в Будапеште, возле какого-то загородного особняка. Таинственное освещение. Обстановка тайны, загадочности, неизвестности... Мак-Кинли не убил Шамузэй. Она его перехитрила. А он, внезапно выиграв деньги, купив место в сальватории, в последний миг отказывается от него, поняв наконец, что человек не имеет права бежать от жизни.

Вот это и есть главная мысль сценария, талантливо воплощенная в кинематографе режиссером М. Швейцером. Он подчеркнул своей работой моральные требования автора к любому человеку, требование активно вмешательства в действительность, осознания обязанностей перед будущими поколениями, ответственности за жизнь на земле. И хотя нигде и никто не произносит в фильме деклараций на сей счет, сила леоновского слова и леоновской мысли таковы, что они мгновенно доходят до любого зрителя, читателя, участника фильма.

Из всего, что я говорила вам о Шамузэй, понятно, что острохарактерная, порой на грани гротеска роль эта весьма интересна для актрисы. Интересна она была и мне. Но еще важнее для меня было то, что киноповесть позволила мне снова соприкоснуться с необыкновенным даром Леонова-драматурга.



А.А. МИХАЙЛОВ



ЭТЮДЫ О ПОЭЗИИ

I. На службе у замысла

Нетрудно заметить, что у поэтов есть свои любимые ритмические схемы. У Константина Ваншенкина, например, его «фирменный» размер образуется из чередования трех- и двустопного ямба:

Туман разрастался, клубясь,
Тропинка пропала.
Листвы безупречная вязь
Едва проступала.

Был мир, как ночной океан,
Закрыт пеленою.
И солнце снвзвь этот туман
Казалось луною.

Надо бы, конечно, это стихотворение («В тумане») прочесть целиком, и тогда станет очевиднее, как ритмическая схема закрепляется эмоционально, как паузы перед строками подчеркивают нарастание тревоги. Почти все длинные, трехстопные, строки экспозиционны, короткие, двустопные, выражают действие.

Нельзя сказать, чтобы Ваншенкин часто пользовался этой ритмической конструкцией, но все же как-то неумовимо проступает его особое эстетическое расположение к ней. А вот стихотворение «Медведь»:

Прошел косолапо
Под низкий еловый шатер,
Он в сказках растяпа,
Он в жизни силен и хитер.

Здесь порядок строк по отношению к предыдущему стихотворению перевернут: двустопные строки — нечетные, трехстопные — четные. Мне эта структура показалась менее убедительной хотя бы потому, что почти без ущерба смыслу порядок строк можно изменить, привести в соответствие с первым вариантом. А вот в сти-

хотворении «Характер» его не изменишь, хотя последовательность действий героини и дает основание к этому:

Погладила утром белье,
Усердно умылась.
Однако в движеньях ее
Связзила унылость.

Двустопная строка в современной поэзии встречается нечасто, но она традиционна для народных песен, частушек. Ваншенкин тоже не сразу пришел к ней. Уже почувствовав уверенность и накопив немалый опыт, он начинает все чаще прибегать к двустопным ритмическим схемам, пользоваться укороченной, усеченной строкой.

В «Поездке к другу» двустопная строка представляет собою паузную форму ритма, тактовик, здесь своеобразная ритмическая конструкция:

Восемнадцать лет
Просвистали мимо.
Но насколько зримо
Сохранился след!..

Даже по одной этой строфе можно судить, что ритм, с одной стороны, придает стремительность стиху, а с другой — создает эмоциональные паузы, меняющие его тональность.

Еще более короткая строка в стихотворении «Колодец»:

К свету, синяя,
Всходит ведро.
Как из туннеля
Поезд метро.

Согласитесь, что эта короткая строка не мешает пластическому изображению.

В другом стихотворении с двустопной ритмической конструкцией («Режущий свет...») Ваншенкин ищет согласия ее со

смыслом, опуская глаголы. Отглагольные существительные, динамичные эпитеты создают ощущение действия.

Режущий свет.
С сердцем нет сладу.
Быстрый ответ
Быстрому взгляду.

Во всем двенадцатистрочном стихотворении нет ни одного глагола, но оно стремительно в развитии сюжета переживания.

Ваншенкин часто и настойчиво разнообразит метрические схемы классического стиха, достигая гармонии смысла, слова и его звучания то одним, то другим способом, добиваясь усиления нагрузки на каждое слово. Вот строки из стихотворения «Настя»:

Над землей звенела стужа
Когда-то.
Провожала Настя мужа —
Солдата.

Попробуйте соединить их в двустопия — ничего не получится. Эмоциональная пауза диктует здесь такую разбивку строк. Укороченная, двустопная, строка требует нагрузить ее особым смыслом. Гармонию смысла и звучания создает аритмия строк, эмоционально наполненные паузы перед усеченными строками.

В разнообразии ритмических схем, в чередовании длинных и коротких, усеченных строк открываются новые интонационные ходы, новые эмоциональные краски. Об этом задумываешься над стихами другого поэта — Виктора Бокова, принадлежащего к числу тех, кто активно ищет и открывает выразительные возможности стиха в ритмическом разнообразии. Неисчерпаемым источником ритмических вариаций для поэта служит постоянно и любовно им осваиваемое частушечно-песенное богатство народа, его разговорная речь. Ритмическая неординарность, может быть, самая примечательная черта поэтики Бокова.

В этом плане характерна поэма «Свирь», посвященная подвигу карельских девушек-партизанок Анны Лисицыной и Марии Мелентьевой, погибших в Отечественную войну.

Брусница, брусница,
Мне милый приснится,
Приснится желанный,
Приснится женатый,
Женатый на мне лишь —
Он мой царевич,

Он мой баской,
Он мой бажбоний,
Так же, как я,
Весь войной обожженный.

Атмосфера опасности, страха и ожидания в этих строках передается не только лексически, но и ритмически.

В такой метрико-ритмической конструкции немалое значение имеет внутренняя рифма, создается впечатление, что она ведет мелодию, конструирует ритм. Поначалу здесь четырехкратный амфибрахий разбит на два полустопия, а с шестой строки — двухударник, подслушанный то ли в разговорной речи, то ли в народном стихе, количество слогов в строках и состав клаузул не совпадает, поэт не стесняет своей свободы даже в этих элементах стиховой структуры, заканчивая этот отрывок трехударной строкой.

Или другой момент, из начала шестой главы:

Телогречка моя,
Ты согрей, согрей меня.
Ты мне — дом,
Ты мне — кровать,
Ты мне — школа,
Ты мне — мать.
Притулюсь-на я к пенечку
И посплю, как совушка,
Переборет темну ночьку
Утром красно солнышко.

Нетрудно в этих стихах обнаружить две ритмические модификации частушки. Композиционно они служат кратким «введением» в партизанский быт. Развертывая сюжет, показывая действия двух юных партизанок в тылу врага, поэт заметно меняет ритм, во всяком случае он уже не напоминает частушечный.

Последний — в преддверии торжественно-патетической концовки — отзвук ритмических и стилистических вариантов из фольклорного арсенала в начале предпоследней главы:

Хмель мой, хмелина,
Молодо-зелено,
Росно и радостно,
Нет больше рабства.

Завершается поэма и ритмически и образно в характерной для произведений героического содержания манере современного лирико-публицистического стиха.

Опираясь главным образом на опыт русского народного стиха — песни, частушки, былины, причеты, сказы и заклинания, —

Виктор Боков нашел такое сочетание его ритмических вариаций с современным стихом, которое позволяет считать его поэму «Свирь» заметным полифоническим произведением, развивающим традиции блоковских «Двенадцати», «Песни о гибели казачьего войска» Павла Васильева.

II. Эффект парадоксальности

Парадоксальные стихи не всегда плод одного лишь острого ума. Эффект неожиданности часто возникает и непосредственно из лирического переживания. Как в этом стихотворении Евгения Евтушенко:

Какое наступает отрезвление,
как наша совесть к нам потом строга,
когда в застольном чьем-то откровенье
не замечаем вкрадчивость врага.

Оно заканчивается почти парадоксально: «Страшнее, чем принять врага за друга, принять поспешно друга за врага». Но по первой строфе мы можем ощутить непосредственный, эмоциональный опыт, подсаказавший неожиданное умозаключение в конце.

Есть у Евтушенко и интимные лирические стихи, где парадоксальность явно эмоционального происхождения. Несколько строк из такого стихотворения я процитирую:

Не понимать друг друга страшно —
не понимать и обнимать,
и все же, как это ни странно,
но так же страшно, так же страшно
во всем друг друга понимать.

Эффект неожиданности здесь существенно ослаблен оговоркой «как это ни странно», да и внешняя подчеркнутая экспрессия (трижды повторенное «страшно»; с его же помощью нагнетается эмоциональность) говорит не о силе, а о поэтической недосмысленности и слабости, но психологическая основа наблюдения безупречна.

Живой, острый ум и подвижная шкала чувств — неотъемлемые черты творческой личности. Особенность их проявления у Евтушенко в парадоксальности образного мышления, остроте «ударной» строки или строфы, иногда всего сюжета стихотворения (например, «Со мною вот что происходит...», «В погоне за дешевой популярностью» и другие).

Но давайте возьмем в рассуждение такое немаловажное обстоятельство: Евтушенко — мастер поэтической публицистики, и в го-

ды своей молодости (особенно) и после, уже на рубежах зрелости, он постоянно включался в дискуссии о жизни, политике, нравственности, об искусстве, сам бывал зачинщиком таких дискуссий. Полемическим оружием его нередко являлся парадоксальный образ. Обычно такой образ у Евтушенко притягивает к себе все компоненты стихотворения, в нем суть, идея, формула. Вот, пожалуй-та:

Я делаю себе карьеру
тем, что не делаю ее!

Это последние строки из стихотворения «Карьера». Сюжет его построен так, что с самого начала ведет именно к этой формуле, и тем не менее звучит она неожиданно, весело, с вызовом. Кстати говоря, парадоксальна и первая строфа:

Твердили пастыри, что вреден
и неразумен Галилей,
но, как показывает время:
кто неразумней, тот умней.

Здесь нам наперед известна историческая, научная правота Галилея и неправота «пастырей», и намек на всеобщность в самой формуле кажется натяжкой, и все же сюжет привлекает своею остротой, нетривиальностью. Про ученого, «сверстника Галилея», сказано, что и он был «не глупее», что и он знал, что «вертится Земля», но, будучи семейным человеком, предавал научную идею — считал, что делает карьеру, а между тем губил ее. Галилей же шел на риск ради научной идеи и потому стал великим: «Вот это я понимаю — карьерист!»

В восклицании поэта парадоксален смысл слова «карьерист», которое мы привыкли употреблять только в отрицательном смысле. И — согласитесь — художественный, эмоциональный эффект от такого превращения слова велик. Евтушенко и дальше со ссылкой на исторические примеры развивает идею «карьеризма» вопреки собственному благополучию, «карьеризма», за который преследовали, клеймили, подвергали остракизму, — чтобы заключить: «Забыты те, кто проклинали, но помнят тех, кого клаяли».

Поэт не ограничивается конкретными примерами (Шекспир, Пастер, Ньютон, Толстой), он в духе времени жаждет более широкого обобщения, я бы сказал, демократизирует идею, как бы открывает возможность большему числу людей (не только исключительным личностям) выламываться

из общего ряда и бескорыстно, ради идей, ради добра и справедливости «делать карьеру» в человеческой памяти, а не в успешном продвижении по службе. «Я верю в их святую веру. Их вера — мужество мое», — говорит поэт, предваряя две заключительные строки, с которых мы начали разбор стихотворения «Карьера». Оно типично для Евтушенко-публициста заострением проблемы, доведением обобщения до больших масштабов, свободой и раскованностью высказывания. Никакой банальности, никаких общих слов, они надоели. Если и можно в чем упрекнуть поэта, то, пожалуй, только в некоторой словесной расточительности, в разъяснительстве. Это в характере времени и в характере всеобщей дискуссии о жизни, которая велась с подробным выяснением позиций.

Примерно в одно время с «Карьерой» написано такое стихотворение:

У трусов малые возможности.
Молчаньем славы не добыть.
И смельчачи из осторожности
подчас приходится им быть.

И лезут в соколы ужи,
сменив, с учетом современности,
приспособленчество ко лжи
приспособленчеством ко смелости.

Сразу вспоминается замечательное стихотворение К. Ваншенкина «Трус притворился храбрым на войне...», не менее парадоксальное, психологически выверенное. Стихотворение Евтушенко не имеет такой точной психологической подоплеки (в рамках его образной структуры), как у Ваншенкина, оно более рационально, более абстрактно, оно (это все же надо отметить) раньше написано, и написано человеком, не пережившим военной, фронтовой ситуации, где чувства проявляются более обнаженно. Но жизненная основа его не вызывает сомнений, наблюдения автора имеют под собой реальную почву.

Обращенность поэзии к душевной жизни человека, стремление выделить его из массы как индивидуум, как личность привели Евтушенко к такой мысли, выраженной четко и категорично: «Людей неинтересных в мире нет». Формула эта прочитывается в ряду других: «Будем великими», «Кто мы — фишки или великие?» и т. д. Она — как знак времени, как знак на повороте пути.

Сравнение людских судеб с «историями планет» выводит обобщение почти за пре-

делы достигаемости читательского знания, поэт предлагает поверить ему, настаивает на этом. И тут же идет на парадоксальную уступку:

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самою незаметностью своей.

Уступка сделана ради человека, ради его возвышения, она оячь-таки демократизирует общую идею; поэт возвращается к ней в конце стихотворения, утверждая ее убежденно и страстно.

Одно из самых драматичных и внутренних выношенных, может быть, выстраданных стихотворений Евтушенко — «Граждане, послушайте меня...». Эта строка из полублатной песни, услышанная на пароходе, была воспринята поэтом с той затаенной, готовой прорваться в слове болью, с какой, может быть, была произнесена впервые. А тут, на пароходе, где каждый занят своими делами, где волею случая собрались люди разные, большею частью незнакомые друг другу, и где никому вроде бы ни до кого нет дела, песня под гитару с ее надрывной просьбой-обращением: «Граждане, послушайте меня...» — звучит почти ритуально, обыденно, привычно, как и плясовая и перестук каблучков под гармошку, как щелканье карт о стол...

Поэта поражают это безразличие и спокойствие потому, во-первых, что он-то слышит в песенной строке «смятение и боль» — почему же другие не слышат, почему же им только бы «выпить да откушать и сплясать, а прочее — мур!»? И потому, во-вторых, что «ведь сколько раз в любом кричало и шептало это же начало: «Граждане, послушайте меня...».

Евтушенко не судит этих людей, он хочет их понять, хочет вникнуть в диалектику их бытия, в диалектику характеров... А может, эта боль — «Граждане, послушайте меня...» — еще не боль, еще не последний крик о помощи, на который непременно отзовутся все эти жующие, играющие в карты, пляшущие, подвыпившие, занятые собою люди?.. Ведь и их когда-то кто-то не услышал, когда «высказаться суть их не могла»...

Нет, Евтушенко далек от того, чтобы осуждать этих людей («Вряд ли что с недоброю душою, но не слышат граждане чужое: «Граждане, послушайте меня...»). Правда, оттенок упрека в слове «чужое»

все же есть, и он становится понятнее, когда смысл песенного рефрена переносится на себя, выходит, что и сам поэт, как и солдат с гитарой, по сути дела, повторяет эту же просьбу-обращение к людям...

Неожиданна концовка. О чем она? О себе, о других, но больше о себе, об ответственности за слово, за песню.

Страшно, если слушать не желают.
Страшно, если слушать начинают.
Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,
вдруг в ней все ничтожно будет, кроме
этого мучительного, с кровью:
«Граждане, послушайте меня...»?!

Вот здесь экспрессивная лексика (опять-таки дважды повторенное «страшно») образно, эмоционально подготовлена. Эта концовка с «разъяснением», в данном случае необходимым для освещения диалектики характеров, для понимания всей картины, замыкает стихотворение вопросом, полным важного смысла. И, кстати говоря, если подставить реально существующую песню с этим рефреном, то она полностью оправдывает предположение насчет ничтожности и (за скобками стихотворения) уже одним этим оправдывает равнодушие пассажиров парохода.

Стихотворение «Граждане, послушайте меня...» в какой-то мере переходное от молодой, резвой страсти обличения и публицистического напора к самоанализу, это 1963 год. Год для Евтушенко переломный в психологическом и нравственном плане, год самоанализа, раздумий.

Парадоксальность лирического высказывания выявляется и в более поздних стихах Евтушенко. Рассмотрим стихотворение «Зашумит ли клеверное поле...» (1977). Это стихотворение на вечную тему — о счастье. Философский смысл его бесконечно варьировался в лирике, особенно в 50-х и 60-х годах. Но ведь и тема неисчерпаема, потому она и вечна, что представления людей о счастье меняются со временем и зиждутся на опыте.

Понял я, что в жизни столько жизней,
сколько раз любили в жизни мы.

Конечно, это итог опыта и личного и наблюдательного, он подводит нас к пониманию счастья: где же как не в любви обретает его человек! Но Евтушенко — уже не тот, молодой, рвущийся на трибуну, в полемику, бросающий в толпу призывы и афоризмы, а зрелый, все чаще задумывающийся

о смысле жизни, — начинает медитацию издалека, не отказываясь совсем от привычной для себя парадоксальности образных конструкций, хотя и смягчая их:

Зашумит ли клеверное поле,
заскрипят ли сосны на ветру —
я замру, прислушаюсь и вспомню,
что и я когда-нибудь умру.

Но на крыше возле водостока
встанет мальчик с голубем тугим —
и пойму, что умереть — жестоко
и к себе и, главное, к другим.

Сжатые формулы находим и дальше: «Чувства жизни нет без чувства смерти»; «...живые, те, что мертвых сменяют, не заменят мертвых никогда». Мы верим поэту, что он «кое-что... в этой жизни понял», в частности то, о чем сказано в первом процитированном из этого стихотворения двустишии. И еще здесь важно понимание причастности к опыту поколения, к людям всех времен (вспомните Галилея из «Карьеры»). И вот, кажется, главная поэтическая формула:

Понял я, что человек несчастен,
потому что счастья хочет он.

Не напоминает ли она более раннюю, из стихотворения 1968 года? —

А что такое счастье вообще?
Страдание, которое устало.

Пожалуй, нет. То есть напоминает, но не повторяет. В том стихотворении образ однолинеен, он раскрывается уже в первой строке: «Страданье устает страданьем быть...» — и, обогащаясь оттенками, завершается процитированными выше строчками.

В новом стихотворении после парадоксального двустишия сюжет мысли круто меняется, выявляя контраст противоположных состояний — счастья и горя:

В счастье есть порой такая тупость.
Счастье смотрит пусто и легко.
Горе смотрит, горестно потупясь,
потому и видит глубоко.

Счастье — словно взгляд из самолета.
Горе видит землю без прикрас.
В счастье есть предательское что-то.
Горе человека не предаст.

Почти все тропы неожиданны, оттого резче выступает мысль, образ принимает совершенно четкий, законченный смысловой характер. Но он развивается как бы в стороне от главного поэтического тезиса.

Нет ли тут некоторой перенасыщенности парадоксами?

Обычная евтушенковская расточительность — черта его стиля, и парадоксальность, завершенность метафорических конструкций, эмоциональная напряженность оправдывают такую черту. А когда эти размышления о счастье и горе соотносятся с личным опытом, накладываются на местоимение «я», то и жесткость уже не кажется жесткостью и напряжение до предела натянутой струны снимается открытым и широким душевным жестом (разрядка моя.— А. М.):

Счастливы был и я неосторожно.
Слава богу, счастье не сбылось.
Я хотел того, что невозможно.
Хорошо, что мне не удалось.

Я люблю вас, люди-человеки,
и стремление к счастью вам прощу.
Я теперь счастливым стал
на веки,
потому что счастья не ищу.

Вот вам еще одна парадоксальная формула—не она ли здесь главная? Ведь она, по сути дела, опровергает ту, что показалась нам главной...

Давайте подойдем к рассуждению диалектически. Для молодого Евтушенко с его максимализмом любая этическая формула приобретала категорически императивный характер, исключения делались — не в декларациях, а в исповедальных стихах — только для лирического «я». Вспомним, например, это: «Пусть злость сидит у вас в печенках, пусть осуждают вас, корят, но пусть не купят вас почетом, уютом не уговорят». Подобных строк у Евтушенко 50-х и 60-х годов много. Но тогда человек, выступавший под местоимением «я», время от времени давал себе свободу от нравственных обязательств максималистского толка («Я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый»), ставя себя в преимущественное положение перед другими.

Что же ныне? Ныне он прощает людям слабости, ничего не прощая себе, поднимает планку на новую высоту, как прыгун, идущий на установление рекорда. Доброта к людям, которая когда-то мыслилась не только Евтушенко, но и другими поэтами его поколения в сочетании с кулаками (С. Куняев: «Добро должно быть с кулаками»), ныне обретает более человеческий, мягкий характер.

Но и сам-то поэт, провозгласив запоминающееся двустипхию-формулу, тут же и отступает от нее:

Мне бы только клевера сладинку
на губах застывших уберечь.
Мне бы только малую слабину —
все-таки совсем не умереть.

Как видим, поиски счастья не прекратились, изменились представления о нем — в этом все дело. И потому парадоксальная поэтическая формула кажется более гибкой, более вместительной и менее жесткой и императивной, чем парадоксы молодости.

III. Перед тайной природы

Кто из поэтов не пытался понять язык природы, чтобы проникнуть в ее заповедные тайны! Евгений Баратынский был уверен, что гениальный Гёте владел им:

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Материалистическая философия, завладев умами человечества, развенчала антропоморфизм в представлении о природе. Но как поэтическая идея он живет, ибо мир природы по-прежнему таит в себе множество загадок, и его поэтический образ наполняется обаянием тайны от предположения, что мир этот имеет свой язык.

Деревья, растения, строит догадки Олег Дмитриев, «испытывают муки наследственной, врожденной немоты», и, будучи надежным материалистом, но и слушая полный смещения и звуков «мир растений», восклицает: «Неужто не придет на землю гений, который разгадает их язык?» От желания, вопроса и ожидания, которые слышатся в нем, поэт идет дальше, он предлагает поверить в «чудо»,

Что в шуме трав, среди лесного гуда,
Надеясь наконец наш слух привлечь,
Звучит еще невнятная покуда,
Пока еще непонятая
Речь!

Образ природы в современной лирике почти неизбежно несет на себе следы экологических проблем, волнующих все человечество. Конечно, наряду с подлинно драматичными, сильными стихами, раскрывающими социальную и нравственную суть этих проблем, начало которым на нынеш-

нем этапе положено сибирским цижлом Твардовского, написано немало конъюнктурно-эпигонских сочинений «на тему».

Стихи Олега Дмитриева не попадают в эту струю. Они ближе традициям русской философской лирики. Поэт ищет моменты взаимосвязи и взаимопонимания человека с природой. Они возникают в стихах не как прозрения, а, как это ни странно на первый взгляд для городского поэта, как итог интимного общения. Потому так спокойно, убежденно говорит поэт: «...я понимал, чего хотел прилив, в чем заключался вечный труд отлива...» Собственно, понимал как будто бы то, что уже открыто и «понято» наукой, но все же тут содержится намек на нечто большее, в чем и заключается поэзия тайны.

Угадывать, ощущать тайну там, где как будто ничего нет загадочного и все объяснимо с точки зрения современной науки,— это и значит поэтизировать мир природы, искать в нем свои поэтические смыслы. Только так можно читать строки о снежинке или о листке, которые явились знаками чьего-то внимания к человеку:

Снежинка в окно залетела,
Растаяв на гладком столе.
Какая душа захотела
Меня разыскать на земле?

Листок закружился устало,
Неслышно прилип к рукаву.
Какая душа угадала,
Что я ее втайне зову?

Все это знаки природы, все это вести ее живых сил. Поэт считает, что посланы они неспроста и не случайно и что разгадку этой тайны природы надо искать... в самом себе!

Интересный поворот вечной темы! Поворот внимания от объекта к субъекту. Наперекор традиции, или, скажем поосторожнее, не в русле ее, ибо в поэзии прошлого века хоть и противоречиво, но ощутимо проявлялся интерес к таинству природы (объекта), человек же (субъект) перед природою как бы отступал в тень: «И перед ней мы смутно сознаем себя самих — лишь грезу природы» (Тютчев).

Как видим, и сегодня поэт высказывает предположение, что «знаки» природы посланы человеку не зря и что в каждом из них, «наверное, прячется тайна, разгадка которой» в нем самом, в человеке. Так, значит, поэт пытается разгадать ее, эту загадку, в человеке и через него постигнуть тайны природы? Нет, так далеко он не

идет, на это у него не хватает дерзости. Поэт (пока, по крайней мере) довольствуется догадкой насчет человека как носителя тайны природы.

Но кажется мне, что из этой своей догадки наш современник извлекает какие-то новые возможности поэтических вторжений в жизнь природы. Можно заметить, например, что взаимоотношения человека с природой в стихах Дмитриева становятся интимнее: «Деревья нам протягивают руки, издалека кивают нам цветы». Человек отвечает тем же, хотя и не без опаски: «Тайком от всех пожмите руку клену, погладьте светлый тополь по коре, хотя б на миг, хотя бы незаконно приблизиться к замечательной поре, когда мы их поймем...»

Еще он замечает, что «природа любит молодых». По крайней мере, поэту так кажется. Встреча с лесом, с осенним бором наводит его на мысль о несколько преждевременном старении, ибо, само собою разумеется, формула «природа любит молодых» имеет не буквальный, а переносный смысл. Но стихотворение «Осенний бор», пожалуй, ни на что и не претендует, кроме того, чтобы передать настроение момента.

Более сложный замысел виден в стихотворении «То ли сосны гудят...». Здесь мы с первых же строк встречаемся и с поэтической символикой: «То ли сосны гудят, то ли ветер поет, то ли, путая наши дела, вдохновенная птица бросает вразлет два своих белоснежных крыла!» Идея родства с белою птицей и создает поэтический фон стихотворения. Вначале рождается желание, «как птица, пронзая облака и, как птица, царить в вышине!». А уж потом — скромное, вечное, со времен пращуров: «...чтобы белый костер надо мной не потух, чтобы посвист крыла не затих!»

Однако скромное и вечное не раскрывает сложности символики. Поэт намекает на «незримую связь» с птицей, как сказали бы мы на языке деловой прозы — двустороннюю связь, ибо о родстве с нею человека птица знает... Символический образ птицы графически запечатлен в конце:

Свищет ветер, и рамы в окне дребезжат,
И за дверь выбираться не след...
Но снаружи к стеклу
Тайной силой прижат
Белой птицы сквозной силуэт!

Наверное, тут следует обратить внимание на дисгармонию в природе. Символика стихотворения не особенно четка, но сквозь нее все же проглядывает идея борения

разных сил. Белая птица в такой интерпретации представляется силой, которая мирволит человеку.

Ассоциации из жизни природы и из жизни человека сегодня питают и иную символику, как бы пеликом спроецированную на явление или на черту характера. В одном случае, тот же О. Дмитриев отталкивается от простейшего наблюдения об одинаковости листьев, похожести их трепета (для не постигших их «тайных знаков»), чтобы удивиться и восхититься неповторимостью их полета, когда листья срываются с веток. Загадка: «Но отчего же, отчего же мир покидающий близнец так не желает быть похожим на милых братьев под конец?!» Отчего же он, листок, «самой страшною ценою», то есть ценою гибели своей, готов заплатить за один прекрасный миг, когда становится самим собой, ни на кого не похожим?!

Ясно, что не только само по себе это наблюдение взволновало поэта, что нечто похожее он наблюдал в людях, когда — не важно, в какой момент жизни, может быть в острый, кризисный, — резко проявляется человеческое «я», характер, индивидуальность. Не зеркало ли, отражающее жизнь человека, — природа, или не есть ли «поведение» падающих листьев «тайный знак» людям?.. Впрочем, вопросы могут быть еще и другие, как и ответы на них. Наиболее бесспорна ассоциация, сближающая жизнь человека с поэтически загадочными явлениями природы.

Но вот другое стихотворение — «Природа», где, осмысливая философски взаимоотношения человека с миром природы, поэт не прибегает к символике, ограничиваясь простым и весьма открытым сравнением. Но сначала исходный поэтический «тезис»:

Я — часть твоя,
Твое дитя,
Природа!
Но, словно пред тобою не в долгу,
Когда стенает в мире непогода,
Я счастлив и спокоен быть могу.

Человек здесь осознает себя частью природы. Впервые же он заявляет о своем безучастье к ней. В этом уже видна, вернее угадывается, завязь какой-то значительной идеи, что в особенности становится ясно из сопоставления: «Зато, когда во мне бу-

шуют страсти, бывает мир невозмутимо тих...» — природа не выказывает сочувствия переживаниям человека.

Но поэт убежден, что целое и его часть должны существовать в гармонии; он высказывает догадку: «Быть может, мне — и в радости и в горе — ты не мешаешь осознать себя?»

Догадка кажется ему пронизательной (иначе не было бы стихотворения), и вот тут вводится солидное, житейское сравнение с человеческим опытом, с матерью, которая не мучает сына опекою, когда «он безразличен к ней», когда «с самим собой в разладе». Значит, так же по отношению к человеку ведет себя природа?

Вот так и ты —
Ненужную заботу
Отводишь от созданья своего.
Чтоб все сильнее
Я любил свободу,
Все больше помнил
Кровное родство!

Основательное, несколько даже отяжеленное сравнением раздумье это восходит к традициям русской философской лирики прошлого века.

Так как же все-таки понимать подобные стихи о природе и человеке, о их взаимосвязях, стихи, написанные в середине 70-х годов, совершенно не затрагивающие экологических проблем, в то время как лирика наших дней буквально кипит страстями по этому поводу? Не усмотрел ли поэт переходящий характер современных проблем перед вечною загадкой бытия? Или ему не захотелось быть статистом в общем поэтическом действе?

Вопросы, рождаемые стихами. Вопросы, на которые хочешь найти ответы в самих же стихах...

* * *

Как жанр критического выступления этюды о различных аспектах художественности, мне кажется, могут дать представление не только об индивидуальном нравственно-эстетическом своеобразии поэта, но и расцветить общий поэтический фон современности. Хотелось бы, чтобы детальные разборы конкретных явлений литературы — естественно, наряду с типологическим анализом — давали все более полное представление о неисчерпаемых возможностях реалистического метода.

КНИЖНИ ОЕ ОБ ОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Кузнецов. Почему мы не можем не писать о войне... — Сергей Чупринин.
Школа долга.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Карпушин, Я. Поварков. «Китайская карта» в политике Вашингтона.

Литература и искусство

ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ НЕ ПИСАТЬ О ВОЙНЕ...

Алесь Адамович. Избранные произведения в двух томах. Минск.
«Мастацкая літаратура». 1977. Том 1. Романы. 590 стр. Том 2. Повести. Интервью.
Статьи. Выступления. 495 стр.

А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник. Я из огненной деревни... Минск. 1977.
463 стр.— Библиотека «Дружбы народов». М. «Известия». 1979. 528 стр.

На вопрос журнальной анкеты «почему мы пишем о войне?» А. Адамович отвечал, что его, вопрос, следует перефразировать — «почему вы не можете не писать о войне?».

Более развернуто на тот же вопрос отвечает вышедший в Минске двухтомник писателя. В первом томе — диалогия «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой», а также хорошая вступительная статья Л. Лазарева. Во втором — повести, статьи, интервью, выступления. Все вместе — нечто цельное, объединенное такой огромной проблемой, как «Отечественная война и современная литература». Более того — тут редкий синтез мысли художественной и мысли аналитической, таланта прозаика и таланта критика и литературоведа.

Когда А. Адамович опубликовал свои первые романы о войне, то выяснились две весьма характерные подробности. Они были написаны очевидцем и участником событий, но этому очевидцу было четырнадцать лет. Прошло всего несколько дней после начала войны, а в его родном поселке на Бобруйщине уже были оккупанты и началась та полная смертельная опасности «война под крышами», о которой он и создаст свой роман... И еще — написаны же эти романы были уже сложившимся

филологом. Адамович в те годы был, наверно, самым молодым доктором филологических наук в литературоведении. И эти два обстоятельства, как увидим ниже, наложили свой отпечаток на его творчество.

Признаться, берясь перечитывать некоторые ранние произведения А. Адамовича, я несколько опасался... Всем знакомое такое известное и в то же время несколько грустное явление: произведение, чутко откликнувшееся на запросы времени, встреченное тобою очень горячо, спустя годы как бы выцветает. Жюль Ренар как-то саркастически обмолвился о сходной ситуации — «очень знаменитый в прошлом году писатель»... Скажу наперед: мои опасения рассеялись очень быстро. Есть нечто в романах и повестях Адамовича, выделявшее их даже из среды хорошей военной прозы. Что такое «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой»? Пережитое. Часть (притом существенная) биографии. Но не только! Ибо перед нами не записки, не хроника партизанской жизни и борьбы — нет, тут уже найден, выношен некий художнический ракурс, романы не «вылились», а построены по законам искусства. Причем построены, как оказалось, с весьма дальним прицелом. Добавим: построенность эта не привнесена из-

вне, как нечто сочиненное — нет, она родилась и из непосредственных обстоятельств жизни, и как результат глубоких размышлений.

Ключевая ситуация обоих романов: мать и дети в борьбе с врагом. Народная война — та, в которой народ, не щадя дорогого, встает на защиту свободы и независимости. Уже посвящение к романам с суровым пафосом определяет главную тему книги: «У войны не женское лицо. Но ничто на этой войне не запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей».

Мать — как тот солдат, что встречает танковую атаку в окопе, где вместе с ним сидят его дети. Только она еще вдобавок сама привела сюда своих детей. И это не на одиночный бой — так каждый день месяц за месяцем, на все бесконечно долгое время партизанской борьбы. Так и текут в романах эти два потока сознания — сына и матери. Подчас трогательного, подчас наивного, подчас и мужающе-проницательного у ребенка и полный отчаянной, рвущей сердце тревоги у матери. Полюса напряжения, между которыми — магнитное поле трагедии. А когда пересекаются эти два потока, когда до матери доходят спутанные вести о гибели то одного, то другого из сыновей (вести поначалу ложные, пока не придет одна, последняя) — что творится тогда в сердце матери?

Позднее Адамович — литературный критик скажет: «Народная война — это когда воюют и дети, это когда убивают детей на глазах матерей». И добавит: «Об участии детей в войне надо говорить, видимо, как о трагедии народа, который на войну должен брать своих детей».

Многие из писателей, писавших на военную тему, могут сказать о себе — «я писал о народной войне», и будут правы, ибо у Отечественной войны было много ракурсов и в каждом из них раскрывался ее народный характер. Но у Адамовича — ракурс особенный, я бы сказал так: пронзительно-гуманистический... Писатель остро почувствовал и талантливо изобразил, может быть, самую бесчеловечную сторону войны.

Есть еще две важные особенности его книг.

Выступая в Лейпциге на международной конференции, посвященной творчеству Михаила Шолохова, Адамович говорил:

«Помните мысль — выражение Михаила

Шолохова про то, как «безобразно просто» умирали на войне люди. На той — первой мировой. Как «просто» — об этом мы уже читали в эпосе о великой освободительной войне 1812 года — в толстовской. Шолохов добавил лишь эпитет «безобразно». Но в этом эпитете (и в том, что за эпитетом) так много всего! Горечь осадка, назовем это так — исторического осадка, оставленного в жизни, в душах людей первой мировой бойней.

Затем была вторая бойня, еще более глобальная и страшная. Про которую можно сказать (и литература современная говорит): как безобразно просто убивали люди!»

Книги Адамовича не только трагедийны. Это страшные книги. Он не боится показать во всей полноте ужасный лик войны. Ту самую ее, войны, сердцевины, которая и делает ее бесчеловечной. Смертей много в романах, и каждая, повторяю — каждая, оставляет в душе читателя свой страшный, болезненно ноющий отпечаток.

То были первые убийства, запечатлевшиеся в детской душе. Ей предстоит еще многому ужаснуться. Прежде всего тому, как это «безобразно просто». Ибо ведь речь идет о самом существовании человека — останется ли в нем среди всех этих ужасов человеческое или погибнет. Будет затоптано насмерть, выжжено, выморожено, расчеловечено. Можно ведь и так определить главную тему писателя: уцелеет ли человеческое в человеке? Вторая особенность — народ на войне у Адамовича поразительно многолик. Юный партизан Толя размышляет: «Для одних партизаны и сейчас — сплошь герои, легенда. Толе это знакомо. Для других: «приходили, грозили, забрали». А они, партизаны, не то и не другое, они — это очень разные люди, поразному хорошие и плохие...»

Разные... Казалось бы, мысль простейшая! А часто ли мы встречаем даже в хорошей прозе эту вот реальную, «густую» человеческую разность? Иной раз как будто она и есть, но на поверку это все вариации одного и того же характера, который автор ежедневно видит в домашнем зеркале... А у Адамовича — редкое богатство типов, биографий, судеб, взглядов на происходящее. Если вражеский лагерь дан суммарно, лишь блеснут отдельные острые, характерные зарисовки, то свой лагерь — множество, индивидуализированное в каждом отдельном характере. Обаятельно ли-

хой Разванюша из староверской семьи, написанный с фламандской сочностью и щедростью красок вплоть до своего мученического — за людей погибаю! — конца. И неистовый борец за справедливость, кристально-прямой правдоискатель Сергей Коренной, которому «трудно в жизни». И трагический Бакенщиков, чья судьба так обожжет читателя. И всех подозревающий Мохарь, про которого мать в сердцах скажет: «Вы неисправимый и вредный дурак». И комиссар Петровский с его огненным темпераментом, суровостью и подкупающей прямой честности... И еще многие другие, которых не перечислять бы, а над каждой судьбой подолгу поразмыслить...

Народ на войне — это море, в котором хорошее и дурное. А на войне самое отвратительное из преступлений — предательство (впрочем, и в мирной жизни тоже). Адамович со всем бесстрашием аналитика вскрывает разные человеческие вариации этого явления.

Жигоцкий — кто это? Карьерист? Да, но расчетливый, с дальним прицелом. Делать карьеру при любой власти? Нет, где гарантия, что «эти» останутся навсегда? В немцев он не верит, несмотря на их победы. Главное — войну надо пережить. Любой ценой. А те, кто, как Толя с братом и их мать, помогают партизанам, те просто опасны, из-за них можно погибнуть. Так лучше их сейчас уничтожить — выдать гестаповцам, а потом встретить своих в ореоле мученика. Толина мать размышляет о нем: «Этот человек не просто предает. Он еще старается остаться правым и чистым перед кем-то и в чем-то более правым, чем тот, кого он предает». Тем и страшен.

Предавать народ, живя среди народа, и остаться незамеченным невозможно. И, как точно пишет Адамович, «как-то сама собой выросла стена скрытности, отчуждения, которая отгораживала жителей не только от оккупантов, но и от всякого, кто оказался предателем или на кого нельзя было положиться».

Три последующие повести писателя не о войне (впрочем, о «Хатынской повести» разговор особый). Но и в них эхо войны.

Позволю себе такое сравнение. На месте падения знаменитого тунгусского метеорита спалили уцелевшее после давней катастрофы дерево. На срезах годовые кольца. И вот на том кольце, когда случился космический взрыв, резкий выгиб, изменивший картину всех последующих

годовых колец. Вот так и в повестях Адамовича «Асия» и «Последний отпуск»: в них сегодняшние конфликты и драмы, но мысль героев возвращается в военное прошлое (в «Асии» мы побывали даже на встрече бывших партизан, на которой узнали о послевоенных судьбах героев «Войны под крышами» и «Сыновья уходят в бой»). Это не только романтическое ретро, нет, это и глубокий повод для раздумий о современности, о сегодняшнем осмыслении войны. Это станет главной, важнейшей, самой кровной и кровотокающей темой с конца 60-х годов и по нынешний день в творчестве и Адамовича-прозаика и Адамовича — литературного критика. Тут и произойдет для него лично «второе рождение военной темы». В дилогии война без прикрас, ужасающе правдиво она течет перед вами — вот так, как снилась фронтовикам в первое десятилетие после войны... Теперь же, в новых произведениях, не просто продолжение, а война, увиденная из сегодня, размышления о войне, наконец, самое тесное и неразделимое переплетение: современный мир и прошедшая война.

Такова «Хатынская повесть». Она родилась из... фильма.

Адамовича давно влекло кино, он даже окончил Высшие сценарные курсы. По его сценарию экранизирована дилогия (увы, без особого блеска и глубины); позже он участвовал в создании документальных фильмов о сотнях Хатыней — страшной трагедии белорусских деревень, начисто сожженных фашистами, уничтоженных со всем своим населением. Через шестнадцать лет после пережитого вернулся писатель в эти места, ездил с киногруппой, «записывал в блокноты рассказы людей, которым в глаза — изнутри! — бьет нестерпимый свет невыносимой памяти».

Из этого — из встреч с народной памятью — родилось многое. Не только и не просто возвращение к теме войны, но и ее новое, повторяю — новое, рождение. Более того — новый взгляд на минувшее, новая позиция художника и мыслителя. Наконец, рождение новых жанров, я бы не побоялся сказать — нового слова в литературе, в современном нашем литературном процессе.

Вдумайтесь немного в ту обстановку, в которой возникал этот новый взгляд на минувшее: время мирное, а не военное, значит, нет той психологической защиты, что

давала вам война, а матери рассказывают, как на их глазах убивали их детей, как, залитая кровью отца, матери, мужа, всей семьи, она лежала в своей избе под телами убитых, как чудом спаслась... Или это: «Женщина в Борках Кировских, поняв, что будут убивать, живьем жечь людей, сказала мальчику восьмилетнему:

— Сынок, сынок мой, зачем ты в эту резину обулся? Твои ж ножки очень долго будут гореть. В резине».

Все воскресало вновь — но как! В неугасающей скорби матерей, в пламенеющей памяти народной.

«Хатынская повесть» — произведение своеобразнейшей художественной структуры: сплав документа, публицистики, глубочайшей лирической взволнованности. И какого-то необычно нового качества правды: востину не трепещущей ни перед чем, перед самыми страшными безднами ужасного, бесчеловечного.

Повесть начинается и кончается рассказом о современной поездке группы бывших партизан в мемориал Хатыни. Основной же корпус повести — воспоминания бывшего партизана Флера, ослепшего уже после войны, о том, что неотступно стоит перед его мысленным взором слепого. Об ужасном на войне. О том, как он, Флера, был среди погибавших в пламени, под автоматными очередями карателей — и чудом уцелел... И размышления — почему же они, эти европейцы, эти жители Германии, могли так «безобразно просто убивать»?.. При этом, как верно заметил автор вступительной статьи Л. Лазарев, основа повести не рассуждения, не оглушающие документы, а чувственно-пластическое изображение действительности.

...От контузии Флера на время оглох, а в партизанский лагерь ворвались немцы: рвутся гранаты, гремит стрельба, а он только видит, но ничего не слышит. «Внезапно сосна, к которой мы подходили, прямо перед глазами нашими брызнула белой щепой, нemo и страшно, точно изнутри взорвалась». И мы видим это, словно кадр немого кино, видим глазами внезапно оглохшего человека.

Самые страшные страницы «Хатынской повести», которая вообще читается нелегко, ибо читатель глубочайшим образом потрясен, — те, где описано уничтожение карателями жителей деревни. Тут жесточайшая точность рассказа — от нее перехватывает дыхание и буквально замирает сердце.

И когда кажется, что больше уже не выдержишь, автор включает в текст документ: рассказы людей уцелевших после этого ужаса, «репортаж с того света». И только при втором, при третьем чтении, когда вернется способность к анализу, заметишь, как многослойно повествование, какая это неповторимая и... страшноватая пластичность.

Василь Быков сказал однажды, что путь современной прозы — это «аналитика, максимальное углубление в социальность, нелицеприятный реализм жизни». Адамович и идет этим путем, открывая новые грани военной темы. Его «Хатынская повесть» — это, как сказал сам автор, «мысли сегодняшние о вчерашнем и завтрашнем». Завтрашнем, ибо война не умерла, не закопана глубоко в землю вместе с ее мертвецами. Ее злое пламя живет и убивает то в одном, то в другом месте земли. И нет гарантии, что это проклятое пламя не сожжет однажды всю планету. Чтобы этого не случилось, и пишет писатель свои огненные предупреждения из прошлого.

«Хатынская повесть» открыто публицистична, она прямо вмешивается в современный спор о мире и войне. Правда, порой эта публицистика как-то не контактуется с эмоционально-пластическим строем произведения. А некий Бокий, постоянный оппонент главного героя, остался всего лишь голым рупором. Но сама тенденция прямого выхода в мир сегодняшний, в споры о завтрашнем дне — она, несомненно, плодотворна.

Дальнейшее движение Адамовича-прозаика чрезвычайно интересно. Оно лежит, правда, за пределами двухтомника.

Вместе с Я. Брылем и В. Колесником он создал уникальнейшую книгу «Я из огненной деревни...». Главы из нее несколько лет назад были напечатаны в журналах «Октябрь» и «Неман» и вызвали тогда самый горячий отклик в печати. При всей той истинной силе воздействия, которой обладали главы, сама книга, вышедшая недавно, действует на нас еще сильнее. Люди пишут авторам: «Я плакала, читая вашу книгу»...

Ее можно не только читать — ее нужно смотреть.

Тетки! Простые белорусские деревенские тетки, пожилые — что же так жадно всматриваемся мы в их лица, чего ищем в них? А ответ того, что они пережили три-

дцать пять лет назад! Где он, в чем, этот отпечаток, кто подскажет? И другие фотографии — фото палачей, тех, кто «безобразно просто» стрелял в годовалых детей, им интересно было смотреть в лица заживо сжигаемых... А ведь, казалось бы, люди, — но где же в них человеческое?

Есть в книге зрительный ряд, он необычен, странен, ибо ищем мы в нем то, что не поддается фотографированию, то, что за кадром, ищем, ищем...

Есть и еще один ряд — «сверхлитературный», звуковой! Приложены две пластинки, их ставишь на проигрыватель, слышен дрожащий женский голос, а у тебя обрывается сердце... Маленькая девочка молила немцев: «Дяденька, не забивайте меня! Я вам лучше песню спою «Посеяла я гурочки». Она спела им. Они выслушали ее и забили...»

Выслушали, понимаете, спокойно, с некоторым сентиментальным удовольствием выслушали детскую песенку про огурчики! А потом спокойно пристрелили дитя...

Несколько лет назад, начиная свою рецензию на главы, автор этих строк писал: «Я не знаю книги страшнее». Повторю это сейчас и добавлю: эта книга навечно. Ее соавтор — народ. Рассказ народа о своих неслыханных мучениях. Но именно соавтор. Ибо перед нами факт литературы художественной — тут великий труд писателя: в отборе материала, построении книги, ее архитектонике, в найденной точной мере соотношения документа и авторского голоса.

Родился новый жанр литературы — запись художниками народной памяти о войне. А. Адамович продолжил этот жанр в минувшем году, опубликовав написанные вместе с Д. Граниным главы из «Блокадной книги». Это уже нечто иное, нежели «Я из огненной деревни», хотя голод, на который гитлеровцы обрекли ленинградцев, столь же страшен, как и расстрелы и огонь карателей. Но теперь говорят жители города, да еще такого, как Ленинград. Тут все иное — обстоятельства, люди, их внутренний мир. И это полностью отразилось в главах и в самих рассказах блокадников и в авторских отступлениях. Когда «Блокадная книга» появится целиком, отдельным изданием, будет возможность поговорить о ней как о значительном явлении всей нашей литературы. Но главы — это продолжение, хотя и в ином, своеобразнейшем ракурсе,

записи художниками народной памяти о войне.

«В народной памяти — вот где мера правды, — пишет Адамович, — мера боли, мера справедливости исторической. Этим всегда руководствовались великие литературы. Сквозь память народную пролегал и сегодня дорога большой литературы в завтрашний ее день».

«Блокадная книга», «Я из огненной деревни» — несомненно, новый жанр в нашей военной литературе. Но обращение писателей к народной памяти вовсе не означает создания произведения только такого типа, как бы он ни был перспективен. Сам Адамович, размышляя об этом, приходит к выводу: «„Вся правда“ о войне, которую знает народ, не отменяет художественную литературу о войне. Но она что-то корректирует в наших произведениях. И вообще наше восприятие художественной литературы корректирует».

Итак, обращение к этому источнику вызывает двоякую коррекцию — и в процессе рождения произведения и в читательском (а следовательно, и в критическом) восприятии художественной прозы. Вот пример.

Роман А. Рыбакова «Тяжелый песок», казалось бы, вполне традиционен. В нем дана история еврейской семьи за полвека, от начала столетия до середины его. В романе много страниц, повествующих о судьбах и событиях дореволюционных, времен революции, 20-х и 30-х годов. Но самые жгучие страницы — о войне. О страшной трагедии гетто. О мученической гибели большинства героев романа. От поголовного уничтожения евреев в оккупированной Европе спасла в первую очередь Советская Армия, вынесшая на себе главную тяжесть борьбы с фашизмом. В «Тяжелом песке» нашла свой отзвук народная память о войне, о неслыханных страданиях. С другой стороны, в самом романе, хотя автор и не вводил туда оглушающие документы, повествование, не утратив своих индивидуальных героев, вышло на военных страницах на дорогу по-настоящему народной трагедии.

Я уже говорил выше, что в двухтомнике Адамовича есть редкая цельность художественной мысли прозаика и аналитической мысли критика. Но эта последняя, критическая, мысль — она верна по отношению и ко многим явлениям всей нашей литературы, прежде всего военной прозы,

Мне лично по душе критика Адамовичем некоторых военных романов «с огромными претензиями на историзм при явном пренебрежении самостоятельными художественными характеристиками, а также реальной психологией лиц исторических, когда для автора имена — лишь рупоры для оглашения «Документов», и рупоры те легко можно поворачивать туда-сюда, как на машине ГАИ». Он за литературу правды, все время сверяемую с той великой правдой, что живет в памяти народной. Она, эта литература, должна обладать толстовской беспощадной искренностью, у книг о войне обязательно должно быть «нравственное обеспечение», ибо писать надо лишь тогда, когда «оно кричит в тебе».

Адамовичу по душе литература мысли, он убежден, что «поэзия мысли», которой все больше оснащается проза наша, одна

из форм развития и укрепления жизненной правды в нашей литературе.

Собственно говоря, тема «Адамович-критик» заслуживала бы отдельной статьи. Читателю легко в этом убедиться, прочитав вторую часть (увы, далеко не полную) двухтомника. Сейчас же я хочу закончить свою статью мыслью самого Адамовича: «Мы не можем не писать о войне, потому что необходимо побуждать читателя к более глубокому пониманию жизни». Тут верно все: во-первых, это «мы», ибо по справедливости также надо сказать о всей выстраданной, предельно правдивой, обладающей высоким «нравственным обеспечением» нашей военной прозе. Верно и второе: книги Адамовича понуждают тебя к самим раздумьям о жизни вчерашней и завтрашней.

М. КУЗНЕЦОВ.



ШКОЛА ДОЛГА

Борис Слуцкий. Время моих ровесников. Стихотворения. М. «Детская литература». 1977. 159 стр.

Борис Слуцкий. Неоконченные споры. Стихи. М. «Советский писатель». 1978. 232 стр.

Легко пользуясь трудами старших поколений, возводя новые этажи на фундаменте, ими обдуманном и заложенном, всегда ли готовы мы к благодарности, а точнее к пониманию того, сколь многим обязана нынешняя, скажем, поэзия и нынешняя, скажем шире, мысль их отваге, их инженерному азарту, их новаторству? Восстанавливая собственную духовную родословную, устремляя взор в тьму времен, не позабыть бы нам и про недавнее наше прошлое. Про те, к примеру, ожесточенные баталии, что разворачивались вокруг каждой новой книги и едва ли не вокруг каждого нового стихотворения Бориса Слуцкого.

«Лошади в океане», «Я говорил от имени России...», «Баня», «Физики и лирики», «Интеллигенция была моим народом...»... — что ни стихотворение, то вежа на пути живой мысли, аргумент в споре, который и сейчас не окончен ни самим поэтом, с первых шагов признавшим полемику формой своего творческого существования, ни нами, в урочный час подключающимися к сети высокого духовного и нравственного напряжения.

О чем спор? О том, надо или не надо

ломать лирический распев в угоду голому смыслу. Стоит или не стоит пренебрегать испытанным поэтическим лексиконом, считывая лишь на просторечье, на крепкий говорок пригородных электричек и районных чайных, на язык телеграмм и солдатских писем. Можно ли и надо ли обуживать выразительные возможности стиха ради достижения неукоснительной прямоты высказывания и его обеспеченности только личным опытом, только фактами, известными не понаслышке.

Все о поэтике вроде бы речь, о стилистике, версификации, стихотворчестве. Но так уж устроена отечественная поэзия, что в ней на вопрос «как писать?» не ответишь, отвлекаясь от вопроса «как жить?».

И Слуцкий не отвлекается. Он знает: «Ответственные повествования словесность составили нашу». Он убежден: «У народа нет времени, чтобы выслушивать пустяки». «Именем режима экономии» он готов решительно оставить за скобками лирического сюжета все, что отличает его неповторимую судьбу от судьбы сограждан: сугубо единичное — значит несущественное, не стоящее стиха. Он беспощадно укротит свое воображение, ибо оно «безответ-

ственно», «произвольно», и опереться найдет возможным лишь на то, в чем не усомнишься. «Ежели увижу — опишу то, что вижу, так, как вижу. То, что не увижу, — опущу. Домалевыванья ненавижу».

Жесткие контуры, непререкаемость интонации, грубая, ребристая арматура, проступающая сквозь звуковой, музыкальный покров стиха, отпечатавшего в себе «девятиугоградусность, прямизну углов реальности», — вот что такое поэзия Слуцкого, какой мы привыкли ее знать. Только «тьма низких истин», недвусмысленно противопоставленная любому обману и самообману, в том числе и «возвышающему», только черный хлеб правды, только мысль, рассчитанная на однозначное, точное прочтение... Маловато? Пусть маловато, зато надежно, ответственно, основательно, а ради этих достоинств Слуцкий сто раз готов поступиться и многокрасочностью, и нюансировкой, и артистизмом.

Впрочем, и эпоха, вытолкнувшая его на свет, плохо располагала к утонченному, богатому оттенками артистизму. Иные проблемы были в чести, иное пламя закаляло характер, иной наждак обдирает душу, выявляя суть, зерно личности, спрямая путь судьбы:

Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули —
Кратчайшим расстоянием была.

Вот детство, раннее, хрусткое, звенящее, как льдышка на весеннем сквозняке: «Долгий голод — в начале тридцатых годов, грозы, те, что позднее над страной разразились, стойкости перед лицом голодов обучили, в сознании отразились». Вот отрочество, пора первых влюбленностей, пора первого строптивного смятения пред грозным ликом миропорядка: «Важнее всего были заводы. Окраины асфальтировали прежде, чем центр. Они вели к заводам. Харьковский паровозный. Харьковский тракторный. Харьковский электромеханический...» Вот юность, оборвавшаяся в тот же миг, когда погибли первые сверстники: «Сгорели в танках мои товарищи до пепла, до золы, дотла». Вот рубеж зрелости, послевоенные годы: «Мы еще молодые и ранние. Нам по три года до тридцати. Но — на носилках — повторно раненные и разбомбленные по пути...»

Эпоха — она же биография — и минуты не давала на передышку: только вперед,

только на линию огня, только по сигналу долга, что и сейчас, во времена куда более просторные, теплые, обустроенные, не умолкая звучит в ушах: «Труба поет с утра. А что она поет? Она поет: пора! Она поет: вперед! Она поет: вставай и приступай к труду. Вставай и план давай! Я слушаю трубу». Некогда расслабляться, разнеживаться, давать себе волю. Некогда с доброжелательной пристальностью осматривать свои душевные владения, вести счет потерям и приобретениям. Какой уж тут самоанализ, если и на выбор-то, личный выбор, времени не отведено: атака-жизнь столь неотложна, столь стремительна и неуступчива, что сомнения, колебания, рефлексия могут лишь толкнуть под шквальный огонь, отнять шанс и без того последний, отпущенный по странному недосмотру общей судьбы!

Конечно, и самому железному человеку может порою взгрустнуться: мол, «выбора, этой единственно подлинной человеческой роскоши, — выбора нет». Но чаще вопрос о выборе, альтернативах, вариантах попросту не придет в голову. Придет иное, и отнюдь не фаталистическое, как кому-то вдруг покажется, а солдатское понимание неизбежности, обязательности именно этого поступка, именно этой линии жизни: «Не обходи необходимости, ведь все равно не обойти». Отсутствие выбора в данной системе нравственных координат воспринимается вовсе не как лишение жизненно важной свободы, а как реализация той высшей свободы, имя которой — осознанная необходимость, долг:

Выбираешь, а выбор задолго
сделан, так же и найден ответ —
смутной, темной потребностью долга,
ясной, как ежедневный рассвет.

Этика Бориса Слуцкого есть прежде всего и по преимуществу этика долга. Солдатская этика.

Аскетическая строгость, дисциплина, подтянутость, самозабвенность входят в нее на правах непременных условий. Да и остальные нравственные категории, столь много значащие для поэта, становятся понятными вполне, лишь когда поставишь их в подчинительную связь с категорией долга. В этом суровом и требовательном мире каждому завещано «жить очень очень долго, но не дольше, чем нужно по долгу...». В этом мире любую хандру, любое уныние, любую растерянность переборет «убежденность не

года примерялся к завтрашнему скудному пайку, кто до белизны застирывал на гражданке свою армейскую гимнастерку! Воистину «внимательной стоит любви» все то, что мы так снисходительно порою именуем бытом, прозой, условиями жизни...

Никаких тебе «с точки зрения вечности»! Только с позиции сегодняшнего дня, только о сегодняшнем, вместившем в себя и память и конкретный прогноз на завтра,— вот Борис Слуцкий. Недаром ведь и в одной из недавних своих публикаций («Литературная Россия», 12 января 1979 года) он с прежней истовостью утверждает тот же символ веры: «Самое важное будущее — ближайшее, где-то за первой горкой лежащее... Это самое важное будущее, а тем, что будет за гранью веков,— не интересуюсь... Обойдусь и этим текущим, этим ревушим за окном двадцатым веком, ближайшим грядущим. А дальше будущее — что мне в нем?»

Такой прикованностью к эмпирике, достоверности, простому счету земных радостей, такой привычкой выщипывать «зерно практического» грех иной раз и не пображивать. И поэт, случается, бравирует, не забывая, впрочем, об иронической подсветке, пресерьезно прищуривая снайперский глаз. Осень, скажем, «это лучшее время года» исключительно потому, что в пору, когда «рынки, словно крынки, полны», «даже самой скромной зарплаты хватает вволю груш поест». Но если разобраться, и это ироническое преувеличение собственной хозяйственной сметки, и эта нарочитая как бы «близорукость» (мол, отдаленным «не интересуюсь») тоже берут начало в психологии бывалого бойца, надежно обживающего сегодняшний день, как рубеж, что с боем добыт. Обживающего так, словно ему век здесь находиться, а про себя прикидывающего, как бы ему полнее овладеть рубежом дня завтрашнего. Истинно солдатское, народное свойство! «А я,— скажет Слуцкий,— не отвернулся от народа, с которым вместе голодал и стыл... Я — часть его. Он — больше, а не выше. Я из него действительно не вышел. Вошел в него — и стал ему родным».

Быть родным народу — великая честь для поэта, но и великий труд, ибо поэт, по понятиям Слуцкого, не птичка-певунья, не пифия, вдохновенно бормочущая смутные предсказания, и уж отнюдь не демиург, творящий собственную, только ему принадлежащую вселенную. А кто же? На ум ча-

ще всего приходят иные сравнения, продиктованные личным — фронтовым и послевоенным — социальным опытом поэта:

Стих встает, как солдат,
Нет. Он — как политурик,
Что обязан возглавить бросок.

И еще:

Все писатели — преподаватели.
В педагогах служит поэт.

Уделы преподавателя («Я учитель школы для взрослых...») и политурика уравнины в поэзии Бориса Слуцкого. Уравнины и обязанности: быть таким, как все, может быть, и знать-то не больше, чем все, но думать больше, чем все и больше, чем все, быть готовым к ответственности, поступку, атаке. Та же землянка, то же довольствие, тот же долг, но именно поэту-политрику, поэту-преподавателю верят, именно за ним готовы подняться под шквальный огонь. Значит, слово его должно быть вдохновенным, уверенным, мобиливающим: «Ежели снабжение не обеспечит сражение, его обеспечат речи взволнованных политуриков». Значит, оно должно быть точным, емким и однозначным, как приказ, как строка в телеграмме. Значит, оно должно быть авторитетным, а авторитетным будет лишь то слово политурика и преподавателя, что подкреплено личным примером. «Делай, как я!» — вот и вся мудрость, но какого напряжения, самоограничения, какой постоянной мобилизованности и собранности в кулак оно стоит!..

Поэту, чья этика основана на стойкости, чести, долге, и в голову не придет поплакаться, пожаловаться на судьбу, отпущенную ему веком: «Этот черновик не перепишем...» Ахматовская гордая строка: «Я была тогда с моим народом...» — всегда найдет отзвук в душе Бориса Слуцкого, убежденного, что долг и святое право поэта прожить жизнь так, как прожили ее его сверстники, так, как прожили бы ее те, кто не вернулся. Он благодарен судьбе, ибо знает: «Пар под очень большим давлением превращается в душу...» Ибо помнит классическое: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат», ибо эпоха требовала именно булата. Правда, и булат, рассчитанный на тектоническое давление времени, на жизнь-атаку, рассчитанный с большим запасом прочности, тоже подвержен усталости, износу, старению. И об этом лучше нас с вами тоже знает Борис Слуцкий. «Я — словно матерьял,

испытанный на сопротивление матерьяла. Я годен, но во мне усталость, как в Тереке после Дарьяла — горестные и гордые (послужил-таки!) признания, срывающиеся с губ поэта, в особые, драматические тона окрашивают его позднюю лирику.

Те стихи Бориса Слуцкого, которыми были отмечены последние годы, показывают, с каким мужеством и великой пользой для поэзии преодолевает поэт «кессонную болезнь», вызванную перепадом давлений — военного и нынешнего, как смело открывает он шлязы чувствам и переживаниям, прежде подавлявшимся усилием воли, целомудренно утаившимися от читателя. Теперь можно увидеть, «как хороша в окне звезда, пусть хоть одна звезда, большая...»; можно позволить себе тихую, просветленную радость «пустого» созерцания: «Неописуемо прекрасно и просто так глядеть во мглу»; можно дать волю жалости, незлобивой мудрости, грусти. Можно, забыв на час все насущные хлопоты и заботы, побыть наедине с самим собою: «Кромкою береговой тихо бреду во тьму. Птичьи переговоры я никогда не пойму. Ключ к ним надежно спрятан. Не к чему вынимать. С птицами можно рядом жить и не пенять»...

Так что это, «новый» Слуцкий? И да и нет. Шлязы открылись потому лишь, что время потребовало этого. А значит, вновь прозвучала труба долга. Рассказавшему о трагической и прекрасной юности своего поколения, о его ясной и обильной трудами зрелости как же не поведать и о том, как поколение это достойно клонится к своему

естественному рубежу? «Хочется основательно все рассказать о себе и о своей судьбе» — так сказано в книге «Неоконченные споры», сказано с надеждой: «Не как повод, не как довод, тихой нотой в общий хор, в дрящущий извечно спор, я введу свой малый опыт. В океанские просторы каплею вольюсь одной. Неоконченные споры не окончатся со мной».

И опять нельзя не подивиться поразительной жизнестойкости этого поколения, его мужественности: «Я проснулся от сильной боли и почувствовал: я живу! Мне еще ходить через поле и покачиваться на плаву». И его требовательности к себе, и его веры: «Грехи прощают за стихи. Грехи большие — за стихи большие». И его ясному, честному пониманию своей сути, своего жизненного предназначения — так в пронзительных стихах о «цепной ласточке» — душе, «цепной, но ласточке, нет, все-таки цепной, хоть трижды ласточке, хоть трижды птице...».

Меняется время, меняются эстетические ориентиры и контуры созвездий на небосклоне, а поэзия остается — и в ней остается поколение. Благодаря надежным стихам, что еще не раз сослужат свою службу, благодаря бессмертному творчеству жизни:

Поэт растет не как дерево,
поэт растет как лес,
выдерживает порубку
и зеленеет снова,
поскольку оно без плоти,
поскольку без телес,
наше вечнозеленое слово.

Сергей ЧУПРИНИН.



Политика и наука

«КИТАЙСКАЯ КАРТА» В ПОЛИТИКЕ ВАШИНГТОНА

В. В. Кузьмин. Китай в стратегии американского империализма.
М. «Международные отношения». 1978. 271 стр.

«Кое-кому в США и в других западных державах,— сказал Леонид Ильич Брежнев, отвечая на вопросы американского журнала «Тайм»,— так полюбили враждебный Советскому Союзу курс нынешнего китайского руководства, что возник соблазн превратить Пекин в орудие нажима на мир социализма. Такая политика представляется мне авантюрой, весьма опасной для дела всеобщего мира... расчеты использовать набравший силу пекин-

ский режим как орудие политики НАТО, канализировать его воинственные устремления в угодном Западу направлении — это, простите меня, не более чем самонадеянная наивность. Достаточно вспомнить, чем закончилась для западных держав та же мюнхенская политика. Неужели уроки истории так быстро забываются?»

В этих словах Л. И. Брежнева выражена глубокая и принципиальная оценка внешнеполитического курса США по отноше-

нию к Китаю, раскрыта направленность длившихся многие годы поисков американо-китайской нормализации. Вместе с тем в них содержится и серьезное предостережение об опасности и близорукости любых попыток разыграть «китайскую карту» против Советского Союза и других социалистических стран.

Чтобы уяснить современное состояние американо-китайских отношений, надо представить себе их историю хотя бы за последние десятилетия, в чем несомненную помощь нам окажет книга В. Кузьмина. Ценность и привлекательность ее состоит в том, что перед читателем проходит подробный анализ американской политики по отношению к Китаю начиная с 50-х годов. В книге раскрываются причины сближения сторон, их намерения, планы на будущее. Несмотря на всю сложность переплетения противоположных тенденций во внешнеполитических курсах этих стран, постепенно все очевиднее становится расчет Вашингтона на усиление националистической, антисоветской, антисоциалистической линии в политике Пекина, а последнего — на расширение и углубление противоборства США с Советским Союзом.

В книге прослеживаются две линии в китайской политике Вашингтона. С одной стороны, это открыто враждебная позиция, с другой — тактика заигрывания. Первая из них коренилась в жгучей ненависти империализма США к победившей китайской революции, в боязни потерять не только влияние в Китае, но и рычаги воздействия на многие страны Азии. Образование КНР нанесло в то время мощный удар по политике Вашингтона, стремившегося направить Китай в русло своих интересов. Этим объяснились и те миллиардные инъекции, которые получал от США их ставленник Чан Кайши. Отсюда и яростная антикитайская реакция, одержавшая верх в правящих кругах США. В результате — известные три условия Ачесона (тогдашнего государственного секретаря США), выдвинутые 12 октября 1949 года, явившиеся грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нападки на Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, заключенный между СССР и КНР 14 февраля 1950 года. Своего апогея антикитайская кампания в США достигла в период корейской войны, когда Генеральная Ассамблея ООН под американским нажимом 1 февраля 1951 года объявила КНР агрессором. Одно-

временно правительство США продолжало вооружать чанкайшистскую армию и оказывать экономическую помощь Тайваню, с которым 2 декабря 1954 года заключило договор о «взаимной обороне».

Враждебная политика США по отношению к новому Китаю, однако, не означала прекращения попыток заигрывания с руководством КНР, налаживания контактов с националистическим крылом в руководстве КПК. В книге рассказывается о характере и содержании контактов 40-х годов, об откровенном заявлении Чжоу Эньлая генералу Маршаллу в январе 1946 года, что «демократия» в Китае должна быть осуществлена по примеру Америки, об усиленной деятельности в Китае спецслужб США и их агентуры. Известно также, что в эти же годы в американской печати началась кампания восхваления Мао Цзэдуна. Уже тогда, как пишет автор, «националисты из КПК вынашивали планы сближения с США на любой основе». Характерны в этой связи высказывания самого «великого кормчего» (в беседе с американским дипломатом Сервисом 13 марта 1945 года), в которых он весьма благожелательно отзывался о перспективах отношений с США, назвав их «единственной страной, которая полностью сможет участвовать в развитии Китая». Вынужденная до определенного времени маскировать свои подлинные намерения, националистическая группа Мао в руководстве КПК усиливала свои контакты с эмиссарами США, ищущими и подготавливала почву для открытого перехода в фарватер империалистической реакции.

Дальнейшую эволюцию отношения между США и Китаем претерпели в 50-х и 60-х годах. Начались диалоги после окончания корейской войны по поводу военных инцидентов в Тайваньском проливе. И хотя дипломатические встречи того времени еще не имели своей целью нормализацию отношений с Соединенными Штатами, Пекин не отказывался от этих контактов. Факты, изложенные в книге, показывают, что, несмотря на возросшую враждебность со стороны США и усиливавшуюся напряженность в районе Тайваня, китайские руководители продолжали и даже расширяли эти контакты.

Своеобразным векселем явилось заявление министра иностранных дел КНР Чень И в сентябре 1966 года: «Напряженность в китайско-американских отношениях не будет длиться вечно». В свою очередь пред-

ставители США отмечали, что Китай никогда не делал каких-либо предупредительных относительно вторжения американских войск на территорию ДРВ. Более того, взятый китайским руководством курс на раскол с Советским Союзом и другими социалистическими странами не случайно по времени совпал с началом эскалации американской агрессии во Вьетнаме. Процесс пересмотра китайской политики США усилился в 1969 году с приходом к власти в США республиканского правительства Никсона.

Значительный интерес представляют обобщенные в книге факты о действиях американской пропаганды в связи с обострением советско-китайских отношений. Обладая огромным аппаратом и техническими средствами идеологического воздействия, органы массовой пропаганды США обрушили нескончаемый поток тенденциозной информации, направленной против СССР и других социалистических стран. Они ратовали за сближение США с КНР, заведомо уменьшая глубину противоречий между ними, стараясь сбить с толку широкие слои населения. Апологеты маоизма, так называемые очевидцы, посетившие Китай, умышленно скрывали экономическую отсталость и хозяйственный хаос, политическую неустойчивость, прославляли «исторические» успехи маоистов. Небезызвестный Д. Рокфеллер, побывавший в Китае в 1973 году, расхваливал в американской печати китайский «социальный эксперимент» как наиболее важный в «человеческой истории». Ныне покойный обозреватель Д. Олсоп распространял клеветнические измышления о неизбежности советского «превентивного нападения» на Китай. О «советской угрозе» Китаю разглаговствовал научный сотрудник Института китайско-советских исследований университета Дж. Вашингтона Г. Хинтон в книге под сенсационным названием «Медведь у ворот. Разработка политики Китая в условиях давления со стороны России».

В 60-х — начале 70-х годов в США вернулись дискуссия и расширилось изучение проблем американско-китайских отношений. Рецензируемая книга знакомит с эволюцией общественного мнения в США, деятельностью прочанкайшистского «старого китайского лобби», многочисленных неправительственных организаций и групп «давления», бизнесменов, политических маклеров, ратовавших за оказание помощи

Чан Кайши. Вместе с тем новые веяния в китайской политике США все сильнее пробивали себе дорогу на политическую арену. В 1970 году прочанкайшистский «Комитет одного миллиона» прекратил свое существование. Поиски путей сближения с Китаем еще более усилились после поражения США во Вьетнаме. В них включается и сам президент и другие члены правительства. Появилось «новое китайское лобби». Был создан Национальный комитет по вопросам американско-китайских отношений, который вначале выступал лишь за «лучшее понимание» Китая в США и установление с ним новых связей. В нем объединились видные государственные деятели, ученые, представители деловых, религиозных и научных кругов. Возникли и другие неправительственные организации, также пробивавшие дорогу «новому курсу» в отношении Китая.

Значительно расширилось академическое изучение проблем Китая. В середине 60-х годов исследованием Китая занималось в США около тысячи различных учреждений. К этой работе было привлечено более 4 тысяч ученых, сотрудников информационных служб, ЦРУ и других организаций. В 60-е годы было опубликовано более ста книг и монографий по проблемам Китая и Азии, в 1972—1973 годах опубликовано или подготовлено к печати 14 трудов. Вышел последний, 24 том «Ученых записок Гарвардского университета по Китаю» (начали выпускаться в 1947 году). Было подготовлено два конфиденциальных доклада о Китае для Белого дома.

Что касается дискуссий о том, какой должна быть политика США по отношению к КНР, то их, как и разногласий, было немало. Автор книги выделяет три основные точки зрения, сложившиеся в свое время в политических, деловых и академических кругах. Первая — острокритический подход к прежней официальной политике Вашингтона. Ее сторонники доказывали давние проамериканские симпатии Мао Цзэдуна и его окружения. Они идеализировали маоизм как единственно приемлемую доктрину в условиях Китая. Одним из инициаторов нового подхода к Китаю выступил сенатор Э. Кеннеди, рекомендации которого позже были учтены Р. Никсоном. Вторая точка зрения была более «умеренной». Ее защитники признавали необходимость изменения американской политики в Азии и в отношении Китая, требовали

приспособить ее к задачам ближайшего будущего. Особый упор они делали на возможность использования китайского фактора для приобретения тактического выигрыша в противоборстве с мировой системой социализма, для нажима на СССР. Наконец, третья позиция — позиция «старого китайского лобби», оправдывавшего курс жесткой политики, политики «военного сдерживания» Китая, выработанной еще во времена Даллеса. Влияние приверженцев этой политики постепенно падало. . .

В книге особо отмечен характер тех дискуссий, которые были связаны с американо-китайским сотрудничеством в военной области. Их участники взвешивали возможные пути такого сотрудничества. М. Пиллсбери, специалист по военной стратегии Китая, высказался за передачу военной технологии КНР, что должно было, как он считал, способствовать сохранению хороших отношений между двумя странами даже после смерти Мао Цзэдуна. Вооружение Китая, заявляли специалисты из Пентагона и некоторые политики, поможет маоистам противостоять Советскому Союзу, а США — обеспечить возможность маневра во многих районах мира. Подобной позиции — погреть руки на трудностях советско-китайских отношений — придерживались и другие деятели США, в частности бывший губернатор Калифорнии Риган, добивавшийся выдвижения своей кандидатуры на пост президента США.

Последующие главы книги Кузьмина освещают характер новой китайской политики США, прежде всего республиканской администрации Р. Никсона. В статье «Азия после Вьетнама», опубликованной в журнале «Форин афферс» еще до прихода в Белый дом, Никсон рассматривает изменение политики США в отношении КНР через призму антисоветской линии Пекина. В то время он полагал, что для значительных изменений этих отношений еще не созрели условия. Однако уже в начале февраля 1969 года президент поручает своему помощнику по вопросам национальной безопасности Г. Киссинджеру изучить возможность улучшения отношений с Китаем.

Автор описывает первые шаги на пути сближения США и КНР. Он рассказывает о «дипломатии пинг-понга» (приглашении Мао Цзэдуна весной 1971 года американской команды по настольному теннису и приеме им лично этой команды). В это же

время Пекин дал разрешение на въезд в КНР нескольким американским журналистам, ученым. Со своей стороны американская администрация выразила готовность выдать визы отдельным лицам и группам, желающим приехать в США. Было объявлено о прекращении контроля США над экспортом 47 категорий нестратегических товаров, которые могут быть свободно проданы Китаю. Это означало снятие торгового эмбарго, сохранявшегося более двадцати одного года.

В книге рассказывается о визите президента Никсона в Китай в феврале 1972 года, приеме его Мао Цзэдуном, переговорах с китайскими лидерами и совместном американо-китайском коммюнике, опубликованном в Шанхае. Как явствует из его содержания, по ряду важнейших вопросов, в частности по проблеме Тайваня, стороны остались на прежних позициях. Но одно стало совершенно очевидно — китайские лидеры, подписавшие шанхайское коммюнике, по существу зафиксировали в нем разрыв Китая с социалистическим сотрудничеством. Со своей стороны администрация Никсона выразила прямое поощрение дальнейшему продолжению великодержавного внешнеполитического курса Пекина. «Сегодня два наших народа, — заявил Никсон, — держат в своих руках будущее всего мира».

Заключительная глава рассматривает аспекты сохранившихся противоречий между США и КНР, характеризует период определенного застоя этих отношений в середине 70-х годов, излагает цели и итоги визита президента Дж. Форда в КНР в начале декабря 1975 года. С приходом в Белый дом администрации демократической партии начинается новый раунд поисков путей сближения с Китаем. О намерениях президента Дж. Картера, о визитах в Пекин С. Вэнса и З. Бжезинского в книге приведено много документальных данных и фактов. Характерны переговоры Бжезинского в Пекине в мае 1978 года, когда помощник президента по национальной безопасности старался убедить китайского партнера в сходстве его интересов с США в «противодействии советскому влиянию повсюду в мире».

Американские ястребы и их пропагандистская машина, таким образом, полностью смыкаются с маоистами в их подрывной деятельности против разрядки международной напряженности и разоружения.

Они выступают единым фронтом в поддержку фашистской диктатуры в Чили, агрессии Израиля на Ближнем Востоке, соображают клеветают на миролюбивую внешнюю политику Советского Союза.

Дальнейшему сближению наиболее реакционных кругов американского империализма с пекинскими гегемонистами на антисоветской основе послужил визит Дэн Сяопина в США в январе — феврале этого года. Пекинскому вояжеру в США охотно предоставлялись трибуны для выступлений, проникнутых махровым антисоветизмом, враждебных политике разрядки международной напряженности, ограничению гонки вооружений. Дэн Сяопин клеветнически назвал Советский Союз «главным очагом войны» и призвал к «объединенным и твердым совместным действиям против Советского Союза», нагло заявлял о намерении Китая преподать Вьетнаму «несколько нужных уроков».

Разбойничье нападение китайской военщины на социалистический Вьетнам, во многом ставшее возможным благодаря фактическому поощрению агрессора со стороны определенных империалистических кругов, — это логическое продолжение всей предшествующей гегемонистской политики Пекина. Известно высказывание Мао Цзэдуна (оно приведено в книге) о том, что Китай должен «непрерывно держать в своих руках Юго-Восточную Азию, включая Южный Вьетнам, а также Таиланд, Бирму, Малайзию, Сингапур. Этот район богат природными ресурсами и стоит наших уси-

лий». Вот они — неприкрытые, наглые притязания на территории и богатства других народов.

В последнее время буржуазная печать ряда стран, в том числе и США, многие здравомыслящие политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, на какой опасный край ядерной пропасти толкает мир сближение между Вашингтоном и Пекином, подыгрывание воинственным амбициям Пекина. «Нападение китайцев на Вьетнам, — пишет газета «Нью-Йорк пост», — является первым плодом нашей политики разыгрывания «китайской карты», причем, судя по всему, колоду тасовал Пекин».

Преступные действия китайских агрессоров вызвали единодушное осуждение народов всех континентов. Во всем мире вновь поднялась могучая волна солидарности «Руки прочь от Вьетнама!». О решительной поддержке справедливой борьбы СРВ заявили братские социалистические страны, коммунистические и рабочие партии всего мира. Что касается позиции Советского Союза, то она была недвусмысленно выражена в Заявлении Советского правительства, которое решительно требовало немедленного прекращения агрессии и вывода всех китайских войск с территории Социалистической Республики Вьетнам.

В. КАРПУШИН,

доктор философских наук.

Я. ПОВАРКОВ,

кандидат философских наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



МИХАИЛ КОТОВ, ВЛАДИМИР ЛЯСКОВСКИЙ. Курган. «Роман-газета», 1978, № 4.

Летопись о Великой Отечественной войне начинается с первых дней боев. Трудно было отражать вероломный удар фашистов и нелегко было писать об этом. Отступление, потери в людях и технике, все больше родной земли под сапогом гитлеровцев. В эти тяжкие, трагические дни совершались первые героические подвиги советских бойцов и рождались первые рассказы и повествования о них. «Курган» — одна из таких книг. Она была издана осенью 1941 года.

Сейчас мы ее читаем как достоверное свидетельство о тех далеких днях, а тогда повесть имела еще и самое реальное и практическое значение для распространения боевого опыта, воспитания стойкости, укрепления веры в свои силы и победу над оголтелым врагом. Заместитель начальника Политического управления Южного фронта бригадный комиссар Л. И. Брежнев в письме к секретарю Ростовского обкома подчеркивал именно эту действенность повести и вдохновляющую силу подвига ее героев, о чем свидетельствуют в письме Л. И. Брежнева такие слова: «Быстрейший выпуск книги о них крайне необходим». Почему такая срочность, в чем крайняя необходимость быстрейшего издания книги? Ответив на этот вопрос, мне думается, мы выясним главное — и значение повести, и ее достоинства, и документальную ценность.

Одной из особенностей боев первых месяцев войны было массированное применение противником танков. Клиньями, таранами они пробивали нашу оборону и устремлялись вглубь. В те же дни, в которые происходят события в повести «Курган», под Москвой стояли насмерть панфиловцы. Генерал Панфилов, еще готовя своих богатырей к бою, учил: «Танки надо у фашистов выбивать! Прежде всего выбивать танки!»

Эту же истину поняли вполне самостоятельно и на Южном фронте.

На высоте Бербер-оба батарея лейтенанта Оганяна создала прочный противотанковый узел и стояла на нем насмерть, до последнего вдоха.

В повести с документальной точностью и строгостью письма сочетаются мягкий лиризм, сердечное уважение к замечательным героям, отдавшим жизнь за отчизну. 16 воинов — представителей различных нацио-

нальностей во главе с лейтенантом Оганяном и политруком Вавиловым на наших глазах вступают на легендарный путь бессмертия. Час за часом читатель проследит этот ратный подвиг и восхищается простотой и величием людей, его совершавших.

Они погибли. Первой весточкой о их славленном подвиге была статья в «Комсомольской правде» корреспондентов этой газеты Михаила Котова и Владимира Ляскового. Журналисты сделали свое доброе и нужное дело. Однако суть подвига батареи Оганяна несводима к личному мужеству воинов. Рождалась новая тактика борьбы с танковыми таранами врага, и этот драгоценный опыт нужно было сделать достоянием всех войск. Именно поэтому бригадный комиссар Л. И. Брежнев пригласил к себе журналистов и порекомендовал им подробно рассказать о замечательном подвиге батарейцев Оганяна.

Л. И. Брежнев понимал ценность нового боевого опыта и, несмотря на огромную занятость и тяжелые бои, стал редактором первого издания этой повести, которая тогда называлась «Бессмертие» и вышла в Ростове осенью 1941 года тиражом 50 тысяч (весь тираж был разослан по частям Южного фронта). В том самом Ростове-на-Дону, который еще дымился от бомбежек и который вместе с другими воинами отстояли герои повести.

Ненавязчиво, убедительно, именно художественными средствами показывают авторы корни героических поступков героев повести. Хорошо они просматриваются, например, в рассказе старшего политрука Островского Дмитрия Алексеевича, брата автора бессмертной «Как закалялась сталь». Дмитрий Островский приехал на курган, когда там уже кипела битва, пробыл он на кургане с бойцами, как было ему приказано, всего несколько часов, но запомнил воинам надолго, Дмитрий Островский рассказал солдатам о последних часах жизни брата. Именно в последние часы жизни писатель говорил своему брату о боях в Испании, так живо напоминавших героям 1941-го сегодняшние бои.

Огромное эпическое и даже поэтическое звучание обретают простые строки, написанные в дни боев карандашом на тетрадном листке, под который была подложена каска. Это протокол партийного собрания.

бережно донесенный до нас авторами повести. Вот лишь несколько строк из него:

«Партийное собрание было прервано в 9 ч. 27 м. ввиду того, что танки противника (семь штук) и батальон мотопехоты попытались сделать прорыв к селу. Голосование отложено до окончания боя».

Так защищали родину коммунисты. Об их замечательных делах рассказывают нам М. Котов и В. Лясковский.

Владимир Карпов.



БОРИС ПАВЛЕНКО. Вернись к юности. Повесть. М. «Молодая гвардия». 1977. 351 стр.

Книге Б. Павленка «Вернись к юности» можно было бы предпослать как эпиграф знаменитые строки Павла Когана:

Разрыв-травой, травой повилыкой
Мы прорастем по горькой,
по великой,
По нашей юрьюво политической земле...

Я назвал сейчас рядом имена двух литераторов, хотя понимаю все различие между ними. Один поэт, другой прозаик; один вышел из ифлийской поэтической молодежи, другой в юности кузнец, едва приобщившийся к образованию, но сорвавшийся со школьной скамьи на войну; один не успел оубликовать ни одной строки, стал знаменитым, увы, посмертно, другой написал свою первую книгу прозы через тридцать лет после окончания войны: поэт написал о войне как гениальное предчувствие ее масштаба и трагизма, прозаик — как воспоминание о пережитом историческом катализме. Одного я знал в юности, другого знаю сейчас, в моем сознании их рядом поставила война, они оба ушли на нее добровольцами, и она оказалась главным делом их жизни.

Книг о войне у нас теперь уже немало, немало и кинофильмов, а также произведений, созданных в других видах искусства. Но по мере отдаления от тех событий возникает ощущение масштаба происшедшего, в трактовке войны возникают новые и новые аспекты, а это значит, что тема остается современной и злободневной.

Повесть «Вернись к юности» начинается с пролога, в котором герой Андрей Ковальчук вспоминает о поездке в Чили. Чилийская трагедия дает теме современное звучание, углубляет ее исторический смысл.

Герою повести юному Ковальчуку вначале казалось, что он о войне знает все. Но втягиваясь в водоворот событий, он не вполне осознает их подлинный масштаб и трагизм.

Автор не опережает событий. В каждый момент герой знает то, что он должен знать и мог знать. Война описана как жестокая реальность. Автор, как и его герой, от лица которого ведется повествование, был десантником, он хорошо знает практическую сторону боевого труда десантников. Философия же войны: открывается не сразу.

Люди воевавшие не приукрашены ни в какой степени. Живыми в своей неповторимой конкретности выглядят и герои и трусы, впрочем, автор не делит людей на тех, кто заранее должен вызывать у нас симпатии, и на тех, кого мы должны осудить или даже презреть. Автор анализирует поступки, и часто открывает в человеке неожиданное содержание, совсем не соответствующее впечатлению, которое он вначале производит. Лиц в повести много, они иногда воспроизведены как бы средствами моментальной фотографии, неожиданно показаны в ракурсе, который запоминается.

К лучшим страницам повести относится, на мой взгляд, история трех десантников, заброшенных в тыл фашистов: их колоритные фигуры и действия в быстро меняющихся обстоятельствах столь поразительны, что, думаю, соблазнят кинематографистов воплотить этот сюжет на экране. К сильнейшим сценам я бы отнес и описание «вдовьяго хутора», эти жестокие сцены было бы невозможно читать, если бы не искусство, которое очищает прозрением. Об этом я думал и тогда, когда в повести тяжело раненый Ковальчук в момент падения вдруг поразился белизне снега, которым была застлана вся израненная войной земля.

Ощущения героя истинны. в его истории — не только правда о молодежи военных лет, он близок нравственным исканиям и молодежи нынешней. Об этом убедительно написал Константин Симонов, рекомендуя читателю эту повесть.

Семей Фрейлих.



ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ. Планета, улыбка, любовь... Стихи. М. «Современник». 1978. 95 стр.

Настроение в стихах Владимира Шленского постоянно воспламененное. Поэт любит напряженность, предельность. Есть в этом некий поэтический максимализм. Я назвал бы это максимализмом лирической образности. Между сердцем молодого поэта и жизнью находится это образное силовое поле, требующее предельно ясных и определенных слов:

Летит Земля — гончарный круг,
жизнь лепит наши души...

Все в его поэтическом мире находится под постоянным воздействием преобразующих сил — природы, космоса, человеческого «я». Иногда, правда, этой лирической философии не хватает убедительной достоверности пережитого. Конечно, здесь многое зависит от возраста души, от остроты памяти. Я не сомневаюсь, что со временем стихи Владимира Шленского, обогащенные осознанным переживанием, приобретут большую лирическую глубину. Но сейчас, на данном этапе, лирика его пока что несколько иная. Вот он пишет про приангарские поселки:

Здесь деревянные дворы.
Дома, поставленные ровно.

Коричневый отвар коры,
впитавшийся навечно в бревна.

Здесь все конкретно, детализировано, но хочется, чтобы все это объединяла действенная мысль, как, например, в его же стихах о земле, которая вечно занята работой:

Земля, пропахшая смолою,
ее работа не легка —
в воде полощет облака
и сушит их над Ангарою...

В стихах о природе Владимир Шленский наиболее интересен — здесь взаимопроникновение лирической души и природы совершается постоянно, отсюда утяжеляется и удельный вес эпитета, важного слагаемого в лирическом монологе.

В 1973 году в предисловии к первой книге Владимира Шленского критик Александр Михайлов писал: «В своем самоопределении молодой поэт придает большое значение соединению чувства и мысли. В этом он видит гармонию развития человеческой личности. Взгляд его на мир добр и светел...» Все это Владимир Шленский еще раз подтвердил и своей новой книгой «Планета, улица, любовь...». Разрыв между выходом первой и второй книг у Владимира Шленского — пять лет. И несомненно, что за эти годы молодой поэт вырос, обрел твердость письма.

Темперамент энергичного письма, лиризм, самобытность и композиционное мастерство дают мне основания с уверенностью сказать: этот поэт не будет потухшим вулканом.

Владимир Шленский много ездит по стране. И несомненно, что эти поездки не проходят для него даром — весь накапливаемый жизненный материал, пропущенный сквозь призму души и разума, откристаллизовывается в стихотворные строки.

Мне кажется, что новую книгу Владимира Шленского можно смело отнести к удаче молодого поэта.

В. Цыбин.



АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ. *Любовь моя, Армения!* Составитель Г. Я. Снимщикова. Предисловие А. М. Мкртчяна. Ереван. «Советакан грох». 1978. 182 стр.

Александр Дымшиц, автор этой книги, оставил ряд работ и статей по марксистско-ленинской эстетике, о современной советской поэзии, немецкой литературе прошлого века, писателях ГДР, прозаиках нашей страны и о воздействии народного творчества на письменную литературу. И вот — книга об Армении, ее истории, ее писателях, ее художниках, книга, где точность избранной позиции сочетается с глубиной, эрудицией, размахом.

«Когда-то мы с Александром Львовичем собирались написать книгу об Армении вместе — об этом есть в его письме, приведенном в заключительном разделе сборника. Мне предстояло написать о Егеше Чаренце — блестящем поэте-новаторе, о Мартirosе Сарьяне, которого я знал и с кото-

рым был в переписке, о моих друзьях Арутюне и Армине Галенцах, о Геворге Григоряне (Джогго) и других. О традициях Маяковского в армянской поэзии и искусстве мы должны были написать вместе; о Туманяне, Исаакяне, о многих других — Александр Львович. Написать задуманную книгу не удалось, а вот книга Александра Дымшица лежит передо мной — не совсем та, о которой мечталось, но, во всяком случае, «выплата долга» Армении («часть сердечного долга», как он писал Л. Мкртчяну).

В книге «Любовь моя, Армения!» есть серьезные, глубокие статьи о С. Г. Шаумяне и проблемах литературы, о прозе Аветика Исаакяна и его значении как поэта. Есть статьи и очерки о М. Сарьяне, Е. Кочаре, Арутюне Галенце. И об очень многих поэтах, живописцах, прозаиках и ученых этой страны.

А. Дымшиц (и в письмах, адресованных своим близким — жене Г. Я. Снимщиковой и дочери или друзьям, — и в статьях всегда одинаков, всегда человек, живущий на одной и той же волне доброжелательства, веры в людей, стремления поддерживать все новаторское, смелое, революционное. Он писал много, с удовольствием и интересом, выражая свой острый интерес к новым людям, поискам, жизни. А. Дымшиц был человеком широкого круга интересов, с волнением, с нетерпеливой радостью воспринимавшим жизнь. Читаем в одном из писем (о художнике Е. Кочаре): «Он все-таки поразительно интересный тип, художник по натуре, думающий и страдающий, каким и должен быть художник. Сегодня он долго ликовал, когда я сказал ему, что «Отелло» не вполне Шекспир, а где-то трагедия на грани мелодрамы, что, в принципе, Шекспиру не свойственно. Потом он много рассказывал о Пикассо, о Леже, о Ваграме Папаяне. Интересно!».

Он хорошо знал народное творчество не только русское, но и немецкое, и чешское, и многих народов СССР — в книге есть ссылки на эпос «Давид Сасунский» и произведения армянской устно-поэтической лирики. Интересны мысли А. Дымшица об армянской песне: «В фольклор властно и трагично врываются мотивы истории, народных страданий, песни изгнания воплощают эти мотивы с потрясающей драматической силой... Резкий максимализм чувства, типичный для армянской лирической поэзии, прорывающийся в ней сквозь все нормативные влияния и каноны, показателен уже для фольклора». Но есть и другое — огромное знание литературы XIX века ощущается в его оценке первой армянской монографии о Л. Н. Толстом. С интересом к новому материалу и с глубоким проникновением в исторический процесс написаны очерки о литературе древней Армении — «Есть и будет!», «Народу жизнь я отдал...» (о Саят-Нове) и другие.

А. Дымшиц был человеком с прекрасным чувством юмора, умел вести веселую литературную игру. Как-то в 20-е годы Михаил Светлов опубликовал несколько стихотворений, написав, что это пере-

воды из Артавазда Мкртчянца. А. Дымшиц и его друг Л. Мкртчян написали от имени этого поэта новые стихи, пародировав этакое задумчивого эпигона, — в письме к Г. Я. Снимщиковой цитируются строки этого самого А. Мкртчянца.

Очень интересны этюды о Георгии Якулове или о Геворге Григоряне; восторженной речью звучат строки о Мартиросе Сарьяне: «Какая это большая радость — Ленинская премия Сарьяну!.. Когда думаешь о Сарьяне, испытываешь радость и гордость за человека и искусство, за жизнь и творчество, принадлежащие современности и грядущему».

Подлинным интернационализмом, печатью яркого таланта отмечена эта маленькая и яркая книга.

Д. М. Молдавский.

Ленинград.



И. В. ШТАЛЬ. *Поэзия Гая Валерия Катулла*. М. «Наука». 1977. 263 стр.

В римской поэзии, давшей Лукреция, Горация, Вергилия и многих других великодушных поэтов, Гай Валерий Катулл занимает особое место. Его стихи не только в оригинале, но и в переводах звучат с такой пронзительной и щемящей грустью, что как бы скрадывается расстояние в две тысячи лет, отделяющее нас от Катулла. Вот хотя бы:

Только о моей пусть любви забудет!
По ее вине иссушилось сердце,
Как степной цветок, проходящим плугом
Тронутый насмерть.

Поэзия Катулла прошла сквозь века и в новое время была оценена и принята Петраркой, поэтами Плеяды, А. С. Пушкиным, Э. Ростаном.

Сутубая личность, подчеркнутая субъективность мировосприятия поэта порождали подчас видимое разногласие критических оценок его творчества. Так, Фет видел в лирическом герое Катулла «светского юношу, ищущего жизненных наслаждений», а Блок призывал в стихах Катулла слушать музыку революции.

Противоречия снимаются, если рассматривать поэзию Катулла как единое целое во внутренней взаимосвязи и взаимообусловленности частей. Именно эту цель ставит перед собой книга И. В. Шталь «Поэзия Гая Валерия Катулла». Это первая в советской науке монография о поэзии замечательного римского лирика, поэзии борьбы и поисков человеческого духа. Мир поэзии Катулла берется здесь в соотношении с определяющими художественными системами римской литературы. Речь идет преимущественно о системе народного героического эпоса, римской драмы, философско-риторических трактатов Цицерона. Особое внимание уделено исследовательницей лирике малых форм, произведениям, наиболее полно и открыто передающим художественное мироощущение поэта. К достоинствам работы следует отнести новизну и тонкость

в интерпретации характерных для поэзии Катулла мотивов дружбы, искусства, красоты, в частности убедительную трактовку знаменитого двустишия Катулла «Ненавижу и люблю».

Перед нами во многом заново открытый мир поэзии Катулла, мир его лирического героя, осознавшего всю ценность человеческого «я», мир, противостоящий тенденциям разъединенности, включающий элементы социальной утопии (в сознании своем поэт конструировал идеальное общество, свободное от пороков современного Катулла). Преодолевая мировоззренческо-стилевые традиции римской драмы, герой поэзии Катулла осознанно, на новом уровне, возвращается к изначальному единству мироощущения народного героического эпоса.

Книга открывает дальнейшие перспективы изучения римской литературы, намечая тему смены систем художественного мышления в римской литературе республиканского периода.

А. Немировский.

Воронеж.



Р. В. СТРЕЛЬНИКОВ. *Империя кривых зеркал. Телевидение в идеологической экспансии империализма. М. «Международные отношения»*. 1978. 270 стр.

— Леди и джентльмены! Сейчас на экране первого в стране телевизора вы увидите впервые изображение без проводов... В качестве контрольного образца... будет использовано то, без чего Америка и вы, джентльмены, не могли бы прожить ни одного года, месяца, дня, часа, минуты, даже секунды...

В это время юпитеры погасли, в довольно громоздком ящике с тусклым голубоватым окошечком посредине что-то щелкнуло и зашипело, и почти в полной темноте присутствовавшие — крупные бизнесмены, ученые, инженеры, многочисленные представители прессы — увидели на экране размером с дюньшко бутылки из-под виски холодно поблескивающий кружок американского доллара.

Так более полувека назад, в 1927 году, в Сан-Франциско родилось американское телевидение. Рассказывая об этом в своей книге, Р. Стрельников замечает: «Из своей колыбели «электронное чудо», как назвали его сами американцы, сверкнуло своим холодным долларовым глазом... Это было не только символично, но и определило в дальнейшем социально-экономическую основу развития телевидения США, которое субсидировалось его финансовыми и духовными родителями — монополиями. Именно доллар стал основным источником питания телевидения».

Книга Р. Стрельникова содержит интересные сведения, относящиеся к истории развития телевидения США. Но не это в ней главное. Основная задача ее иная: показать, что представляет собой американское телевидение сегодня, в какой мере оно может служить барометром политического, культурного, нравственного климата Америки

наших дней, что видят на своих голубых экранах миллионы американских зрителей, как выглядит на деле индустрия телевизионного бизнеса, которая возникла и развилась в условиях «свободного предпринимательства».

Есть у книги и еще одна не менее важная задача: показать место и роль телевидения США в усиливающейся идеологической экспансии, осуществляемой американским империализмом одновременно со своим экономическим и политическим проникновением в зарубежные страны, охарактеризовать используемые телевидением США приемы и методы «психологической войны» против социализма.

Думаю, каждый, кто уже успел ознакомиться с исследованием Р. Стрельникова, согласится со мной в том, что с этими задачами автор справился. Опираясь на многочисленные документы, факты и цифры, не вызывающие сомнений в их достоверности, на анализ содержания американских телепрограмм, предназначенных как для «внутреннего употребления», так и экспортируемых в другие страны, он всесторонне аргументирует мысль о ведущем месте, занимаемом современным телевидением США в гигантском пропагандистском механизме крупных монополий.

На страницах «Империи кривых зеркал» прослеживается та особая активность, которую проявляют в осуществлении идеологической экспансии реакционные политические круги США, прямо или косвенно связанные с военно-промышленным комплексом. Именно они, эти реакционные круги, прикрываясь фальшивым лозунгом «свободного обмена информацией», предпринимают попытки использовать новейшие научно-технические достижения, в том числе в области космической связи, для создания сети «телевидения без границ», то есть сети беспрепятственного, так называемого непосредственного телевидения — без согласия правительств суверенных государств на такое телевизионное вторжение. Автор исследо-

вания оправедливо квалифицирует эти попытки, вызывающие тревогу и противодействие широких кругов мировой общественности, как попытки инфильтрации и вмешательства во внутренние дела других государств, противоречащие духу и букве подписанного в Хельсинки Заключительного акта общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству.

С особым, пожалуй, интересом читаются страницы книги, посвященные анализу арсенала средств, взятых на вооружение сегодняшним американским телевидением, средств, с помощью которых оно искажает действительность, камуфлирует истинный смысл намерений и классовый характер политики противников разрядки, противников дела мира и социального прогресса. Широкий спектр этих средств — от самых тонких, изощренных приемов дезинформации до грубо сработанных фальшивок. Ничем не брезгает американское телевидение. Особенно когда речь идет о Советском Союзе, других странах социалистического содружества. Тут, как писал Дж. Сельдес в книге «Лорды прессы», все этические нормы журналистики теряют силу. «Тут мы можем делать что вздумается. Границ нет. Говори что угодно, лги как хочешь — никто тебя не остановит... Ложь будет принята благосклонно...».

Но, гласит народная мудрость, у лжи короткие ноги. А правда шагает широко и неудержимо. И «как бы ни маневрировали, как бы ни изощрялись идеологи империализма, какой бы интенсивности ни достигали антикоммунистические усилия американской телевизионной «империи кривых зеркал», других буржуазных средств массовой информации, — подчеркивает Р. Стрельников, заключая свое исследование, — они не в состоянии воспрепятствовать глубоким сдвигам в сознании отдельных людей и целых народов, неудержимо распространению идей социализма, демократии и прогресса на мировой арене».

В. Косолапов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Очередные задачи Советской власти. 144 стр. Цена 20 к.
А. Курелла. На пути к Ленину. Перевод с немецкого. 159 стр. Цена 25 к.
В. Пономарев. Реальный социализм и его международное значение. 47 стр. Цена 15 к.
Союз создателей нового общества. Краткий очерк истории союза рабочих и крестьян. 1917—1977. 304 стр. Цена 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Капутинян. Меридианы карты и души. Перевод с армянского. 335 стр. Цена 1 р. 40 к.
Е. Лось. Птица счастья. Стихи и поэмы. Перевод с белорусского. 160 стр. Цена 50 к.
С. Орлов. Костры. Стихи. Предисловие Е. Исаева. 247 стр. Цена 70 к.
Г. Поженян. Феодюниинские высоты. Стихи. 128 стр. Цена 45 к.
А. Стреляный. В Старой Рябине. Очерки. 388 стр. Цена 1 р. 60 к.
Н. Тихонов. Великим океаном нашей жизни. Избранные стихи и поэмы. 352 стр. Цена 1 р. 20 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р. Валье-Имман. Избранное. Перевод с испанского. 462 стр. Цена 2 р. 20 к.
М. Зарецкий. Вязьмо. Роман. Перевод с белорусского. 318 стр. Цена 1 р. 40 к.
Помни: вперед шагая, единством мы сильны. Рассказывают участники немецкого антифашистского Сопротивления. Перевод с немецкого. («Библиотека Победы») 413 стр. Цена 2 р. 70 к.
Я. Порун. Забавный денек. Рассказы. Перевод с латышского. 332 стр. Цена 95 к.
Б. Рейзов. Стендаль. 407 стр. Цена 1 р. 30 к.
Х. Рисаль. Флибустеры. Роман. Перевод с испанского. 319 стр. Цена 1 р. 60 к.
С. Шуртаков. Избранное. Повести и рассказы. 639 стр. Цена 2 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Никулин. Почти серьезно... 575 стр. Цена 2 р. 30 к.
Поэзия. Альманах. Выпуск 23. Редактор Н. Старшинов. 223 стр. Цена 1 р.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Белов. Кануны. Хроника конца 20-х годов. 335 стр. Цена 1 р. 40 к.
Н. Глазков. Первозданность. Книга стихов. («Новинки «Современника») 142 стр. Цена 45 к.
И. Деднов. Возвращение к себе. Литературно-критические статьи. 319 стр. Цена 70 к.
В. Шефнер. Сторона отправления. Книга стихов. 239 стр. Цена 75 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Куняев. Глубокий день. Стихи. 284 стр. Цена 1 р.
А. Недогонов. Троянов вал. Стихи. Вступительная статья Н. Старшинова. («Подвиг») 252 стр. Цена 1 р.
Б. Шергин. Поэтическая память. («Писатели о творчестве») 125 стр. Цена 20 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Беркеши. Свежий ветер. Роман. Перевод с венгерского К. Иванова и Ф. Осколкова. 479 стр. Цена 3 р.
М. Бубеннов. Зарницы красного лета. Повести и рассказы. 423 стр. Цена 1 р. 80 к.

«ПРОГРЕСС»

П. Валё и М. Шеваль. Наемные убийцы. Роман. Перевод со шведского. 286 стр. Цена 2 р. 40 к.
Р. Греньев. Зеркало вод. Рассказы и повесть. Перевод с французского. 223 стр. Цена 1 р. 20 к.
Н. Хоанин. Избранное. Перевод с английского. 297 стр. Цена 2 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Зульфия. Такое сердце у меня. Стихотворения и поэмы. Перевод с узбекского. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства им. Гафура Гуляма. 365 стр. Цена 1 р. 40 к.
Г. Кругляков. Золотое руно. Предисловие М. Львова. Алма-Ата. «Жазушы». 102 стр. Цена 40 к.
И. Лавров. Из января в январь. Повести. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 207 стр. Цена 80 к.
В. Д. Пришвина. Пришвин в Дунине. «Московский рабочий». 159 стр. Цена 70 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 23/II 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 9/IV 1979 г.
А 00908. Формат бумаги 70×108^{1/2}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
Тираж 275.000 экз. Зак. 704.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 61857

Цена 70 коп.

70636